

ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ "БОЛЬШАЯ КНИГА"

Александр Терехов

*Это невыносимо  
светлое будущее*



Это неважно  
светлое будущее

---

Александр Терехов

---

**ЭТО НЕВЫНОСИМО  
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ**

---

повести и рассказы

аст / астрель

москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т35

Редактор *Елена Шубина*  
Художественное оформление и макет *Андрей Бондаренко*

**Терехов, А.М.**  
Т35 Это невыносимо светлое будущее / Александр Терехов. – М. : АСТ : Астрель, 2010. – 510, [2] с.

Александр Терехов – известный прозаик, автор романов “Крысобой” и “Каменный мост” (шорт-лист премии “БОЛЬШАЯ КНИГА”).

Герой сборника повестей и рассказов “Это невыносимо светлое будущее” – молодой провинциал – начинает свое личное наступление на Москву в то смешное и страшноватое время, когда вся страна вдруг рванула к свободе, не особо глядя под ноги. Невероятно увлекательные, пронизанные юмором и горечью истории. Никакой жалости – прежде всего к самому себе.

ISBN 978-5-17-061487-5 (ООО “Издательство АСТ”)

ISBN 978-5-271-24959-4 (ООО “Издательство Астрель”)

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44



Подписано в печать 14.09.09. Формат 84x108/ 32.  
Усл. печ. л. 26,88. Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 0732.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

ISBN 978-5-17-061487-5 (ООО “Издательство АСТ”)  
ISBN 978-5-271-24959-4 (ООО “Издательство Астрель”)

© Терехов А.М., 2009  
© ООО “Издательство Астрель”, 2009



**Бабаев**

**Я** давно хочу написать про Бабаева, но запутался в своих бумажках — все разрозненно, я записывал про Эдуарда Григорьевича случайно в дневник и на отдельных листках, после его смерти расспросил некоторых — и тоже записывал, прибавил стихи Бабаева, куски лекций, рассказов, вбил в компьютер, а потом мучился от необходимости все так расставить, чтобы появилась идея, а нету идеи — умер человек, очень жалко — какая идея? Я и так прочту, на кого еще я должен рассчитывать?

Я гонял по экрану монитора двести тысяч знаков туда и сюда — свалку, с повторами, ошибками, лишним — набросанные куски сжирали пробелы, безумно сцеплялись; вывихнуто, сама собой текла историческая река — родная только мне, жизни в ней выходило больше, чем в неизбежной для печати расстановке “по росту”, — как некролог. А я обязан это напечатать. Вернее, обязан хотеть.

Скрепившись, я взялся сортировать и составил за несколько дней план, прошло пять лет — ничего не написал, вот только сейчас сажусь, уволив главного бухгалтера, дальнюю родственницу Бабаева, — взял ее в свою газету без прописки, из Ташкента, из уважения к фамилии, а она завалила, тварь, все, что могла, и украла из кассы пятьсот долларов!

Теперь я не помню, что значил мой план, не все цитаты проверены (слова точно, но чьи?), несколько бесхозных обрывков текста я сейчас раскидал наугад.

Выходит: план составил один человек, а пишет другой. Выполняя чужую волю. И пускай: любая, даже чужая одежда сойдет, если надо на улицу, а нечего надеть. Сокращать я ничего не стал, пусть все останется. Если берешься сохранить подольше чужую жизнь, ты должен гнаться не за выразительностью, а за полнотой — до последней искры, щепочки, до последнего пера, а не отбирать потяжелей, и только бронзу, и ровно столько, сколько на могилу, памятник герою и себе.

Я родился 1 июня 1966 года в Новомосковске Тульской области, в городе без корней. Его начали в тридцатых годах прошлого, XX века на макушке Среднерусской возвышенности. Строили химическую крепость Советского Союза, и рядом понадобился город, сперва его называли Бобрики (на земле князей Бобринских), потом Сталиногорск (царь Иосиф Сталин умер в марте 1953-го). Когда открылись злодеяния Сталина, город получил жалкое имя Новомосковск, нашли ветеранов-комсомольцев-первостроителей, вспоминайте, они вспомнили — когда мы строили подмосковный гигант, насыпали величайшую в Европе земляную плотину, мы говорили: строим Новую Москву. Разве это родина?

Наша семья из южных областей России — из прежней Курской области, поделенной на Курскую и Белгородскую. Мой дед Василий Максимович жил в деревне Тереховка (есть такая

в Солнцевском районе) и работал в колхозе плотником. Мой отец закончил знаменитый в тех краях Курский железнодорожный техникум, его направили в Новомосковск кочегаром на паровоз. В общезнании отец познакомился с моей матерью — Людмилой Федоровной Калашниковой. Мама из Валуйек — Валуйки поставил Борис Годунов на границе с Украиной. Мама после Харьковского медучилища устроилась лаборантом на санитарно-эпидемиологическую станцию — тоже на железной дороге в Тульской области. И жизни пересеклись.

Калашниковы не слышали, что есть вымирающая Тереховка — двадцать восемь дворов, однофамильцы, в магазин за хлебом — двадцать километров. А Тереховы знали про Валуйки — река, большая станция, монастырь, дед ходил туда на ярмарку, а бабушка, получив на суде четыре года заключения, перебирала на валуйском складе картошку, дожидаясь попутного поезда в лагерь.

Глубже родословную я копал, но там шепот, мозоли, соль и обыкновенное: пахали, сеяли, пасека, семь десятин, гнули колеса, высматривали невест в церквях, мужики воевали, женщины побирались после пожаров, терпели от злых, добрые спасали, не воровали, хоронили первенцев, умирали бесследно и молча, не увернувшись от сабли в Старом Осколе, посидев на холодном камне, застудившись в ночевке на постоялом дворе, объевшись огурцами, пропав под Курском в атаке, извещение пришло только в сорок шестом, иссохшись и коротко сгорев. Университет закончил один я.

Сейчас университетов полно, любых, и за деньги, а в Советском Союзе “университетом” выглядел один — МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова.

Для провинциала “поступать в Москву” значило дерзать, а “поступать в МГУ” — замахнуться на подвиг. Все провалившиеся отчитывались одинаково: на экзамене полностью и блестяще ответил и на вопросы билета, и на дополнительные

и уже поступил, но следом вошел сын директора универсального магазина, дочь генерала или грузина (бедные грузины не приезжали) — “блатного” соискателя мигом вбивали на место провинциала — вычеркнули прямо из списка зачисленных синим карандашом и сверху вписали новое имя красным. Все поступившие не рассказывали ничего, ибо не возвращались.

Я атаковал факультет журналистики летом 1984 года, не зная английского и часто ошибаясь в письменном русском. Нарядные пожилые “англичанки”, волосы крашены в белый цвет, в конце экзамена писали для меня на бумажке русскими крупными буквами то же, что спрашивали по-английски вслух — ну, понял? а теперь?! — и поглядывали с тоской, а чудилась в них брезгливость. Что мне оставалось? Ныть заученное: “Я приехал из Белгородской области. Работаю в районной газете. Пишу про сельское хозяйство” (мать, не губи, как мне тягаться с выпускниками спецшкол, приписанными к журфаку с колыбели?! я работяга, я вашего не откушу, буду пахать овраги и болота, все, что вашим даром не нужно!) — и пожалели, перо качнулось от убийственной “три” к “хорошо”, “четыре”, — дыши до следующего экзамена.

Лишние и отсутствующие запятые в сочинении я объехал, изложив “Жанровое и стилистическое новаторство лирики Некрасова” краткими предложениями без единой запятой: “У каждой эпохи есть свой поэт. Свое знамя. Таким был Николай Некрасов”. “Только орфографические ошибки не дают возможности поставить автору высшую отметку”, — начертал на моих страничках человек, решающий судьбы (так я тогда думал, дурак!), чье имя не важно. Три четверки, одна пятерка — “одного балла” не хватило, по совету добрых людей я написал заявление о приеме на заочное и на два года ухнул в армию, чтоб после службы вернуться сразу на дневное. Вы ничего не теряете, говорили добрые люди, они так думали, оставаясь на местах, когда земля выворачивалась из-под ног, накрывая ме-

ня на два года, переделывая на всю жизнь. Я потом устал ненавидеть уродов, при встрече разевавших рты: “Га? Ты уже отслужил? Так быстро?”

Вот только что подумал: самых красивых девушек на журфаке я видел среди абитуриенток — те, что поступали рядом с тобой и поступили. На журфаке красивых хватало, особенно на вечернем отделении (вечерников мы редко видели и не знали имен — объяснение в этом), в библиотеке меня еще потрясала одна, в читальном зале периодики, не буду описывать, чтоб в памяти не убивать, я четыре года не осмеливался на нее прямо взглянуть — а на четвертом курсе отступить стало некуда, подползает регистрация брака по соседству с кинотеатром “Форум” (на место ЗАГСа въехал потом “коммерческий магазин”, на место “комка” въехало отделение “Мост-банка”), и тогда я посмотрел — что оставляем на берегу, что не суждено, — так, ничего, тонкие губы.

А абитуриентки — да (да это просто переживаемая минута их раскрашивала) — последние экзамены, солнце, уже ясно, что поступаем, попали, да, легкость, башка, набитая годами, битвами, решениями партийных съездов и земских соборов (забудутся вмиг, когда рука отработавшего свое экзаменатора потянется к зачетке), сидишь, подталкивая ногой под соседний стол ненужную шпаргалку, и улыбаешься незнакомой, но твоей девушке в белом, длинном, черные короткие волосы (чуть помню еще, а скоро забуду совсем и буду врать, а может, и сейчас) — доплыли, общая судьба, и не спешишь: никуда ведь не деться друг от друга, никуда она, такая красивая, московская, таких прежде не видел, не денется, как и все вокруг, — посмотри, улыбаются и знают то же самое.

Больше я их не видел. Может, просто не поступили. Хотя я знаю: сработала смерть, одна из ее веточек, листочков, которые так далеко от ствола, от корней, от плотной глиняной ямы, что хоть так же неотвратимы, но еще не черны — бледненькие,

в них что-то проглядывает на просвет, какая-то красота, которая, выходит, в смерти по-предательски есть. Ладно, не хочу про это думать.

Из армии я вернулся, когда осень хрипела последней хорошей погодой, и поселился в 806-й комнате Дома аспиранта и стажера на улице Шверника, лежал на кровати, вот ветер, сильный от простуды, то дальше, то ближе, а то вообще нет, и ночь, и должно хорошо быть потому, что в тепле, мало что тревожит, кроме своего тлена и пока не оскаливших свои пасти неумолимых болезней родителей, хорошо и просто — в армии это называлось счастьем, а теперь никак не называется.

Факультет журналистики находится в здании “нового университета”, через дорогу от старого, что строили Казаков и Жиллярди. На левом углу улицы Никитской, на месте Опричного двора, по дороге в Новгород, на волю, архитектор Тюрин в 1835 году перестроил для нужд университета дом XVIII века, а в 1904 году дом еще раз переделал Быковский. Правый флигель с полуротондой (я видел, что это, но словами объяснить не могу). Отпевали здесь Гоголя.

Я перечитал воспоминания своих предшественников от эпохи “студентства”, когда на курсе училось двадцать человек, и через конец 30-х, 1848-й, 1857-й, 60-е до конца 80-х, — все смешно одинаково заканчивали свой труд: с моим уходом все прекратилось и “высокое значение Московского университета в жизни русского общества утратилось навсегда”! Почему? Либо это понятное заблуждение, что твоя лишь молодость прекрасна и больше не будет таких красивых девок, как твои, и что величие России утасло с той минуты, как ты зашаркал, опираясь на палочку. Либо и вправду ступеньки все время бежали вниз и мы учились уже на дне подвала.

Черт его знает. Они описывали какую-то каменную крепость: “святое место”, “святилище просвещения”, любовь к отечеству, заронить семена, которые будут плодоносить всю

жизнь, возбудить страсть к идеалам, любовь к свободе, отцы и дети, кто виноват, поколения — от всех глыб нам (вот здесь удобно прятаться за “нам”) не осталось даже песочка под ноги. Какие-то там клятвы на Воробьевых горах. Лично у меня не имелось никаких “святейших достояний души”, связанных с университетом, да и вообще хоть каких-то; я не видел студентов, к которым можно пристегнуть “духовная биография”. Какие там споры о правде, когда в гости ходили только за тем, чтобы выбрать бабу. Наша студенческая жизнь не науки, а общага — свобода от домашней привычности.

Профессор Редкин (в “профессоре” руку тянет на вторую “ф”) в сороковые позапрошлого века начинал первую лекцию: “Милостивые государи, зачем вы сюда явились?” И сам отвечал: “Вас вело в университет предчувствие узнать здесь истину и сделаться в отечестве защитниками правды”. И заканчивал своей любимой поговоркой: “Все минется, одна правда останется”. И ведь это так и было, так чуялось, если не считать русскую литературу девятнадцатого века большой ложью или большим заблуждением, как и всю нашу страну.

Если все так жило, значит, теперь умерло, русский дух, русская жизнь, университет; скрепки проржавели, бумажки разлетелись, никаких умственных устремлений я не замечал и уж тем более не чуял, на последнем в моей жизни экзамене по истории русской литературы преподаватель Воздвиженский спросил: “Что вы читали у Ахматовой?” Я ответил: “Стихи”. “Где ваша зачетка? Четверки хватит?” — “Хватит”. Это моя единственная четверка по литературе. Точно помню: я смутился, но обрадовался. Ура.

Может, я кого-то проглядел, не в ту комнату поселился. Но кажется: не учился никто, кроме штук пяти толстозадых или близоруких или страхолюдных отличниц — они изнуряли преподавателей вопросами после лекций, провожали выбранных в дойные коровы преподавателей до метро (подносили сумки),



окапывались на спецсеминарах, строчили конспекты (покрывавшая лектору: “Повторите, пожалуйста!” — и за спину: “Тише! Ничего же не слышно!”), на экзаменах доказывали авторам учебников, что лучше их знают предмет, пересдавали “четыре” на “пять”, жили в библиотеках — но так страдали только голые провинциалки, целившиеся в аспирантуру и рассчитанным броском накрывавшие мужа-москвича, или профессиональные отличницы, им мама в первом классе объяснила: учись хорошо, на пятерки, и в тетрадке записи чисто веди; они как встали на эти рельсы, так и поперли от золотой медали к красному диплому — безумно и бессмысленно.

Тут для справедливости: может, такой народ подбирался только на журфаке? В последние годы советских времен в журналистику народ ломился темный. Все знали: будешь писать, будешь печататься (хоть на факультете тройки, прогулы, угроза отчисления) — возьмут с третьего курса на штатную работу в центральную газету, с пропиской помогут и с квартирой — мало кто умеет писать. А будешь до одури учиться — дадут повышенную стипендию, похвалят, после пятого курса поцарапаешься в столичные двери, там зевнут: “Да? Ну, напишите что-нибудь”, да и вернешься на родину на полставки в сельхозотдел районной газеты, и через год оскотинеешь, провинция в ту пору для журналиста — смирение, слабосилие, смерть. Как сейчас — не знаю, оторвался.

Отвлекусь — про пятый курс. Мы, первый курс, дембеля и школьники (поступившие после армии и поступившие после школы), жили на окраине журфака, на восьмом этаже Дома аспиранта и стажера (сокращенно — ДАС), выше — почвоведение и все другое, комната на пять человек, я дружил с Владимиром Кушником, хохлом (он дружил с Виктором Анатольевичем Карюкиным), еще пограничник Лагутин. Настоящая, та, что от отца, у хохла фамилия другая, но отцовскую фамилию он для безопасности отбросил — отец пострадал за связь с бендеровцами.

Хохол, белобрысая голова, утиный нос, отличался мудростью, умел поспать, любил выпить, с девушками никак не дружил, когда напивался, у него под левым глазом кровянилось непонятное пятно вроде синяка. Меня раздражало умение хохла спать, и спать, и спать (служил в армии пожарным, натренировался, тварь): вечер, ночь, утро, пожрать — и опять спать, при включенной настольной лампе, под будильниковый звон, крики — ни в карты, ни куда-нибудь сходить, лежит и дальше без просыпа — сколько можно?! Я тоже пробовал, но не мог даже с валерьянкой. Но я недолго завидовал и страдал. После встречи с первой сессией хохол расстался со стипендией. И не поспишь! — таскайся к закрытию метро, мыть “Академическую” — зарабатывай деньги.

Каждые вторые сутки, в начале первого ночи, хохол с омерзением втыкал окурки в огнетушитель (наша пепельница) и, вздыхая “эх-хэх-хэх, твою же мать”, морщась, кряхтя, начинал собираться на работу — отдирает от батареи носки, чесал грудь, вдруг замирал напротив черного окна (бушевали февральские ветры), словно не веря, что пройдут какие-то едва различимые четверть часа и что-то жестокое повлечет его заледеневшими дворами, вот в этой самой короткой и невесомой фуфайке, сквозь ночь, хрен знает куда, далеко от кровати, три часа подряд возюкать моечную машину по платформе под присмотром дежурной по станции (а не все они имеют доброе сердце в груди) и тащиться пешком обратно в тот страшный час, когда звенят будильники у дворников, но дворники еще не проснулись.

Я не помню, чтобы когда-нибудь еще в жизни испытывал столько светлой радости. Я не отходил от хохла. “Володя, — я ласково, он потерянно сидел на кровати, с сапогами в руках, — не высохли сапоги, да? Идти не хочется? А делать нечего. Придется! Молодец! — Хохол тщательно наматывал трехметровый шарф, намереваясь спасти хотя бы горло, и норовил отвернуться от меня, но нет: — Передавали “минус двадцать, ночью до двадца-

ти шести”. Холодногато, да? — Он плотней насаживал шапку. — Я тебя провожу”. — “Не надо, Александр, — наконец отзывается хохол слабым голосом. — Ты, знаешь, иди-ка ты”.

Я не отставал. Я провожал его по долгому коридору, хлопал по плечу: “Володя, молодец. Давай. Владимир, давай! Вперед. ТЫ СМОЖЕШЬ”, по пути я обязательно с осторожным (что особенно зловеще) скрежетом поворачивал ручку соседней двери и что есть силы налегал плечом на самую эту дверь — за нею жили провинциальные первокурсницы — они подолгу, замысловато, на все обороты всех замков запирались на сон, а потом, судя по звукам, еще заматывали дверь проволокой — мы старались дать их опасениям надежную основу.

Я провожал хохла до лифта, притворно всхлипывал и прощально взмахивал рукой — дверцы лифта съезжались — возвращался — полосато освещенный коридор — легкий и веселый, счастье, общага засыпала, кроме отличников, кроме влюбленных в читальных залах и влюбленных у телефонных аппаратов, кроме любителей всю ночь потрепаться, кроме картежников, кроме вороватого быдла, запах общаги, я гасил свет и опускался в кровать головой к форточке (за ней мы в сумке хранили сало, однажды выронили, и Виктор Анатолич Карюкин понесся на улицу — поздно, хохол до сих пор считает: сумку перехватили на лету, на уровне третьего этажа), засыпал, не выдерживал и смеялся: какая ж у хохла была жожа! Спал.

Запах общаги — кухня, тараканья отравка, курица, душная ванная (семейные стирают) и еще что-то вроде нашей молодости — его чувствуешь после каникул, первые полчаса, как пьяный, заплетаются под ноги картинки абитуры и первого курса (тащишь сумку за толстым администратором Верой Николаевной, жить вот здесь! — выпившие и безымянные пока хохол и Виктор Анатолич Карюкин, с забинтованными руками — сдавали кровь, чтобы покрыть прогулы физкультуры), и тотчас тоскливые идеи, вроде: не успел оглянуться, а все, наигрались.

Однажды (в те самые сутки) хохол курил в коридоре (ту самую предподходную сигарету), я торчал рядом, по коридору девушка — ничего не видно, свет в спину ей.

— Девушка, да что вы в ту комнату стучите — там никого нет. Идите лучше к нам. У нас тут комната, мы тут с хохлом, — девушка уже шла, светлые волосы, ничего такого. — Здесь я вот сплю, вот тут у нас... Тут гостевой диван, — над диваном было наклеено все, что нам понравилось в выпрошенном у негра “Плейбое”, — Володя сейчас на работу. Виктор Анатольич сторожем в кафе. А я сегодня один. Приходите. Все будет.

Она говорит: вы что, с первого курса? Да. Она говорит: видно. А я жила на первом курсе в вашей комнате. А теперь я на пятом курсе. Странно понять, что в нашей комнате кто-то до нас жил. Она как-то кисло все осмотрела, покивала, поулыбалась и ушла — старшекурсница. Конечно!

Прошло там сколько-то. Хохол намотал шарф, я начал: — Володя! Давай. МОЛОДЕЦ. Давай, — вдруг: тук-тук-тук.

Постучали в дверь.

Я высунулся. Та самая девушка.

Только вымытые, влажные, зачесанные, заколотые позади волосы, длинная белая рубашка, протягивает на ладони большое яблоко, красный цвет, улыбка:

— Вот я и пришла.

Да. Я собрался собраться что-то сказать, отвернул морду к хохлу, но он уже, убегая, протискивался мимо, фуфайка, шарф и прикусывая фыркающие губы. Остановился, важно насунул рукавицы и — счастлив, тварь: “Ну, Александр... Давай! Молодец. Ты сможешь!” — и ржал как скотина, даже от лифта слышно — в прекрасном настроении!

“Туши свет. Садись поближе”, — услышал я и разволновался пуще: она ведь не знает, как звать меня.

Ничего там такого. В смысле результатов. Хохла, конечно, не переубедишь.

Наутро, близко к полудню, когда немногие ушли учиться, а многие — по своим делам, мы сидели с хохлом в столовой (опоздали, только булочки и сметана), я сказал:

— Это пятый курс, хохол.

Я сказал: вот живут некоторые девушки, учатся в Москве. Ждут того, что вознаградит за ранние засыпания, пятерки и курсовые. За чистоту. И как-то проходят пять лет, всё уже. Что остается? Курсы. Зачеты. Два раза в Третьяковской галерее, спортлагерь МГУ в Пицунде (один раз), где многие обещали писать, но — никто. Сто двадцать семь учебников и четыреста шестьдесят два методических пособия. Бессмысленные гуляния по Арбату. Свирепая Светлана Николаевна с кафедры физвоспитания. Раз в месяц в театр. Четыре автографа артистов эстрады. Выставки. И всё. И вот-вот уже навсегда кончится даже куцее это. А впереди, потрогать можно — двадцать два — двадцать три года, опять заранее невыносимый дом, проживание с мамой, чье ежедневное “пора!” выдавит замуж за ближайшего ублюдка. То есть: нету вознаграждений. Москвичи как-то мимо. Тем более иностранцы. Наука счастья не дала. И вот этим некоторым девушкам начинает казаться, что все, что они считали жизнью, тем, что надо защищать (и мамы писали), — это, оказывается, нет, не жизнь. Что они стояли не на том. А вот те, другие, что жили через стену (приблизительно, приукрашено: гитары, вопли, обливания водой, шальная беготня по коридорам, гости из соседних факультетов, из соседних общежитий, выезд за город на чужие дачи, перепродажи, пробуждения в пять вечера, песни, многочисленные мужики, взрезания вен, многочисленные бабы, страсти, радостное невежество и разговоры, чай, разговоры, неупорядоченная половая жизнь) — вот жизнь. Вот так надо. Однажды в жизни. Молодость. Чтоб помнить, как мы, эх. Но поздно. Почти. И в это “почти” пятикурсницы пытаются втиснуть всё-всё. Даже страшно становится. Обычно такие громче всех смеются на ступеньках журфака.

А эта девушка написала мне потом три письма из города Тирасполя. Длинное, чуть меньше и маленькое. О жизни, работе, свои публикации выслала. Я, конечно, не отвечал. Ей чего хотелось? Ей хотелось, что: жизнь продолжается, все то же самое, даже на расстоянии. Будет и там. Рост, творчество, писать, что ты сейчас читаешь? И я читаю. Я в курсе, я также, и даже в чем-то впереди, осенью буду в Москве. И часто буду в Москве. Но только ни разу не написала — а что это ты мне не отвечаешь?

Потом я видел очень похожую на нее — у кинотеатра “Художенственный”, переводила через дорогу какого-то иностранца загорелого цвета. А может, не она.

Вернемся: может, на филологическом или философском учились другие, хватало убогих, но только не на почвоведении — там одни проститутки. Факультет — это от латинского слова. Слово означает “способность”, “возможность”.

После армии я убедился, что не могу запоминать написанное в учебниках. Честно пробовал слушать лекции: слова русские, предложения — складные, да, но через пятнадцать минут уже душит тоска: да что я здесь сижу? не понимаю ничего, тяжелая башка, тянет жрать, шипать булку под столом, спать, хохол заснул однажды, уткнувшись лбом в газету, и очнулся с отпечатком типографской краской на лбу “Правда” — в зеркальном отражении.

Англичанка (пожилая, породистая, Лиля звали, такую кофточку надела на первой сессии, что прямо не знал, куда смотреть) пыталась меня оживить: “Этот английский глагол образовался от существительного “рука”. Ну, кто скажет? Ну, вот недавно пришедшие, Саша, какой у вас глагол ассоциируется с существительным “рука”?” Я подумал. “Держать”. Англичанка рассмеялась: “Ложку, что ли? А вот у меня почему-то “делать”. Наверное, кому что ближе”. Но часть мозга, отвечающая за изучение иностранных языков, за время армии у меня отмерла. Пока я в этом не убедился, страшно силился выучить

английский, но начал лысеть. Ничего приятного. В больнице у кабинета номер пять сидело человек десять — или шапки, или парики. Врач: “Вы не болели сифилисом? Значит, на нервной почве. Много волнуетесь? Не надо”. Я перестал волноваться и лысеть, смирился с тупостью. На военной кафедре из нас готовили военных переводчиков. Проверяющий спросил: “Кто знает язык хуже всех?” Я сразу встал. Проверяющий поллистал в учебнике: “Ну, ну хотя бы почитай вот здесь...” Я запыл: пык-мык, из, хэв, май, инту. Он долго смотрел в учебник, потом спросил: а где ты читаешь?

На четвертом курсе “англичанкой” оказалась моя поклонница (я печатал очерки и рассказы, граждане тогда читали всё подряд), я редко ее видел, она терпела. К государственному экзамену ее беременность подвинулась к девятому месяцу, все некогда, она собрала зачетки (пять человек) и объявила: “Есть возможность три четверки и две “отлично”. Я согласился на четверку. После третьего курса мне предложили работу в журналах “Молодой коммунист” и “Огонек”, я выбрал “Огонек” и, как и все, в университет приезжал только на физику и на экзамены.

Про Бабаева я часто слышал от преподавателя Шахиджяна. В его перечислении, что мне следует делать (вести дневник, учить английский, снять комнату и уехать из общежития, подружиться со студентами-кинематографистами и студентами-актерами и еще много), звучало: и походить на Бабаева. То есть — походить на лекции. Сейчас кажется: имя Эдуарда Григорьевича звучало на факультете, произносили, писали — как что-то хорошее и прошедшее, как черно-белая, но больше уже черная, треснувшая по углам фотография, словно Бабаев уже не существовал. Наверное, потому, что Бабаев читал лекции только на вечернем отделении. В царстве мертвых. Не знаю.

Короче, Шахиджян: и походить на Бабаева. Шах верил, что, если его слушаться, можно получить всё: купить автомо-

биль, стать главным редактором главной газеты СССР, прославиться, жениться (абсолютно на любой, какую только захочешь), вылечиться от алкоголизма, — всё, кроме физического бессмертия, но предлагал легкий способ избавиться от страха смерти (надо лишь десять минут в день правильно думать, что придется умирать); я пошел на его семинар, через месяц возвращались ночью из ярославского цирка, я спал, Шах шептал в диктофон ежедневный дневник, вдруг возвысил голос над железнодорожным грохотом: “Александр Михайлович, если будете слушаться меня четыре года, вы останетесь в Москве, у вас будет работа в лучшей газете. И московская прописка. Вас будут печатать. Ваши книги издадут”. Декабрьская ночь, запах казенных простыней, я, понятно, не заорал: “Да!”, усвоив в армии, что — ничего хорошего даром, я промолчал, Шах помогал, много, мы были чуть ближе, чуть дальше и разошлись: он умер для меня и вспоминается легко.

Московская прописка! Небось звучит пыльно, как “целовальная грамота” или “черта оседлости”, а когда-то (судьбы людей, недостижимый рай) — а, не буду объяснять, скучно.

Шах хвалил свои новые приобретения и спел что-то Бабаеву про меня, Бабаев вспомнил (преподаватели читали публикации студентов, а “Огонек” пылал на всю страну). “Он вспомнил, — доложил Шах. — Можете к нему подойти. Слово такое про вас сказал: алармеец. В смысле — армеец, что вы после армии начали печататься и пишете про армию”. Шах перепутал незнакомое слово. Бабаев сказал “алармист” — нагнетатель страстей (это относилось к любому журналисту времени с осточертевшим именем на букву “п”, когда богами дня стали цитаты и цифры, каждый нарывал на лугу букетик — цитаты и цифры, противоречащие друг другу до жизненной несовместимости (в сумме — ноль, напрасная страна), — цитаты и цифры, коротко и убедительно, так и долбили по башкам выдранными из жизни цитатами и выдранными из истории цифра-



ми), лекция в Коммунистической аудитории, Бабаев там произнес это слово: нагнетатели страстей. Традиции античных трагедий не в нагнетании, а в очищении страстей.

Бабаев приглашен на семинар к Шаху, гостем, высоченный третий этаж, первая аудитория (идеально подходящая для поцелуев) от боковой лестницы налево, там за глубоким, как лодка, окном всегда вечернее солнце на золотой макушке кремлевской колокольни, зеленоватая крыша Манежа, весенний Александровский сад. Я собрался ничего не врать, я ничего не знал о госте, но для удобства давайте: я сидел за последним столом, ждал Бабаева и перебирал в памяти все, что будто бы я знал: профессор кафедры русской литературы, ходит с палкой — хромой, доктор наук, составитель “Стихотворного альманаха” студентов (вымер к описываемому моменту), собирал “Среды на Моховой” (что-то культурно-музыкальное, стихи, студенты Консерватории, античный театр с участием историков и филологов — посещали единицы, “Среды” засохли), история Эдуарда Григорьевича — Ахматова.

Седой журналист Амбернади научил, и все время пользуюсь, если клиент попадает не тупой и не политик (тупым клиентам и политикам кажется: журналист на интервью должен спрашивать кратко, радостно записывать ответы, одобрительно сопя, подхихивая и поощрительно подгавкивая: “Да, да, да”), приличному клиенту втыкаешь: “Когда люди собираются надолго покинуть землю — корабль, экипаж незнакомых людей, им многое придется пережить — испытания, возможная близость смерти, мука обязательного общего проживания в тесноте — люди должны стать выносимыми друг другу, не помогут детали, спасет только главное знание о человеке — они собираются в кубрике: “Расскажи свою историю”, — и каждый (сидят вокруг стола, и каждый, по очереди) рассказывает, несколько предложений, случай, тонкая бумага, сквозь нее просвечивают судьба, прошлое, цена, очертания сердца. Расскажите свою историю”.

Клиент растерянно смотрит на свои руки, теребя невидимые школьные аттестаты, ордена и медали, покладистость или жестокосердие давней красавицы, рыбу лещ в шестьдесят семь сантиметров. Потом говорит.

Эдуард Бабаев жил в Ташкенте, война, 1943 год, пятнадцать лет, пожизненный друг Валя Берестов (затем известный детский поэт), стихи, литературный кружок Дворца пионеров, преподаватель Надежда Мандельштам: “Ну, вундеркинды проклятые! Поэтов из вас не выйдет. Но я обязана заниматься с вами, иначе карточек на хлеб и зарплаты мне не дадут”. Она “перетасила в Ташкент Ахматову, нашла ей работу, поселила в своей беженской лачуге...”. Первые встречи, помощь по хозяйству, доставка дров Ахматовой (саксаул), библиотеки, переписанные стихи, находки запретных в Империи поэтов, рукописный журнал “Улисс”, “дышали стихами”, “ловили себя на том, что целые строки Хлебникова, Мандельштама, Ахматовой и Пастернака, неузнанные, входят в наши стихи”, за столом “в кухне-аудитории”, вечера, у окна Ахматова, рядом “Эдик”, напротив Н.Я. Мандельштам и Валя Берестов, поэзия и война. Ровно год. 19 марта 1944 года Ахматова передала мальчикам (юношам, подросткам, поэтам, друзьям — видите, сколько слов — от каждого тошнит!) через Н.Я.: у них “просто хорошие стихи”, все зависит от дальнейшей жизни, не дай бог, она окажется благополучной, а за стихи должна быть расплата. Через двенадцать дней, в начале ночи Н.Я. (она их называла Бим и Бом) отказалась ставить им отметки за стихи — Берестову “и Эдику ничего советовать нельзя, все зависит от судьбы”.

Вот всё. Этим жили. Эту историю Бабаева (написал “Что было в юности, то будет вечно”) и Берестова нельзя расписать с “итога”, как магазин сельхозинструментов, на “уроки”, “напутствия”, “счастье общения с выдающимся” кем-то там, эта история не умирала и не давала ребра себе перечесть, она оставалась живой, обнаженной, болезненно откликающейся на

каждое прикосновение. Необъяснимой — Берестов и Бабаев молчали, но с весов уйти не могли: что именно Ахматова и Н.Я. поняли про каждого из них, можно сдохнуть от собственной неопределенности — хранились старые письма с документально точными характеристиками, прошлые слова (с интонацией!), но всплывали другие письма — грубые, безжалостные печати навсегда — или слегка обнадеживающие, или невидящие; вымирающие свидетели припоминали (а чем еще им зацепиться за край могилы, кроме “помню, сидим мы как-то с Анной Андревной и, как не знаю сам, зашел разговор про...”!) устные отзывы — все приходилось сносить (раз уж приняли подданство), писать на свой счет, да, это про меня, я. Страшная власть цитат и слепая вера в правоту поэтов, и лютость поэтов в “красных словцах”, и убогая зоркость двухсот последних лет к пищеварению русских богов — анекдоты, рассказанные по пьяни в постели немке-проститутке, матерные рифмы, предсмертный бред, подслушанный извозчиком, похоть — всё записали и признали как “русскую правду”.

Я хочу сказать: история Бабаева могла позволить себе все. Как первая любовь. Только еще понаглее.

Если тупо глянуть — чего хорошего в ней? Да ничего! Конструктор “жил и умер” складывается из обыкновенных историй, затертых и неизбежных, а каждый мальчик, умеющий читать, ожидает “великих историй”, которых поменьше, но они тоже заиграны до лживости и предсказуемы до тоски. И когда не получается завоевать Индию или десять раз шагнуть по Марсу (тем более молчу о победе медицинским способом над смертью), то необходимо под оседающей на грудь глиной выскрести ямку на один выдох: “Могло (ведь начиналось!), но не вышло потому, что (болел и пропустил эту тему, кассир глянул в старое расписание, женщины оказались... пошли дети, пришлось уехать из города, врачи запретили, не захотел унижаться, так далее)”.

А эти два мальчика, едва попав под гнет русских стихов, тут же въезжают в великую историю “гений берет на выучку мальчика”, а в пятнадцать лет русские мальчики уже наизусть знают, как должно плясать дальше: гений добродушно, мимоходом заглядывает в магазинчик, что, ну-ка, да? как мило, а у вас что-то есть законченное, ну, хорошо, давайте, я возьму, только разборчивым, пожалуйста, “Загляните ко мне через пару дней”, дрожащие шаги через пару дней, “каким я выйду из этих дверей?”, пора? нет, еще рано! пора (дальше только дыхание), гений буднично (видно, что вы мало знаете...), отвлеченно (поэзия, как это ни парадоксально...), изнурительно долго о себе уже давно написанное и прочитанное (Василий Иванович Сидоров, когда услышал мое, помните, вот эти, из ялтинского цикла, так у него прямо какая-то ревность...) и, наконец (так говори же, урод!), — какая-то искра, да, какая-то искра есть, настроение, что-то, вот эта строчка мне даже понравилась, надо много работать, ведь поэзия и я, я, я (все, пошел на второй круг, но уже сладость — я! он разговаривает со мной!), вот мой телефон в Нью-Йорке — приезжайте, гений берет на выучку, хочу вас познакомить, из Ярославской области, мой юный, но уже, поздравляю, надо только вычитать гранки, кухни, гостиные, залы, стадионы, смотрите, как шагнул наш орленок, одной рукой, поправляя гробовую подушку, гений шепотом на ухо: “Ты! Что я... Ты! Запомни. Вот ты кто! Неси высоко, не расплескай. А теперь и умирать не страшно”, — все земное (тропинка, колодец, гуси забрались в колхозную рожь, их гонит объездчик, и они спешат вниз по склону и вот уже летят, расставив толстые крылья) — вон оно осталось, облака влажно касаются лица, остаешься один, отлипает даже имя и почтовой маркой клеится на бок улице, которая плывет от площади до базара, восемь страниц в учебнике русской литературы для старших классов, девушки пишут сочинения о роли любви в твоей жизни — другого рая в России не было. Только это.

А у них не заплясало. Ахматова повертела в руках и вернула на место. Ветер не задул в паруса с бешеной силой. Оставалось утереться и жить по средствам или взять саблю, не есть, не спать, не мыться, тужиться и нагнать все-таки царский поезд, доползти до горы, откуда видать море, протаранить и спалить полстраны со своим чумазым сбродом и вытащить за волосы царскую дочь из терема: “Ну что? А теперь гожуся? А? Не слышу. Громче! А-а, вот то-то”.

История Бабаева и Берестова тяжелая, она ломает хребет. Подносит зеркало к носу. Вы, конечно, понимаете, что написал я это “про себя на месте Бабаева”. Это не точно, это правда.

Вернемся в аудиторию, воображаемый читатель, студенты вяло спрашивали, но Эдуард Григорьевич (черный костюм, очки, осторожные движения выздоравливающего, глуховат, седеющие усы, седые волосы, отступающие с головы, голос — хрипловатый, задыхающийся, актерский) упрямо сворачивал и свернул на “лучше я вам почитаю стихи”, то есть: ему было все равно кому; то есть: ему это было важно (Берестов уперся на похоронах, когда все кто про что: “педагогическая деятельность”, “научные труды”, “талант лектора”, Берестов с несгибаемым упорством единственного свидетеля от защиты, словно только за этим и пришел: “Он был поэт. Не забывайте, он был поэт”); я чуял неловкость, когда Бабаев читал, я знал свою глухоту и неодаренность, что не мне судить, но те, кому судить, наверняка бы сказали: несовременно. Если не хуже. А я? Я сейчас решил: он поэт. И поэтому неважно, как писал.

Такая поэма: мальчик, армянин, сын фронтовика, едет в Москву, учится в Архитектурном, женится, везет жену на стройку в пустыню, строит город и сам в этом городе живет в новом доме: он, жена, маленький сын; он рассматривает развалины древнего города, стертого землетрясением, две арки — уцелели только две арки, почему, думает он, — значит, их строил мастер. Однажды он возвращается домой, вдруг земля начи-

нает трястись и ломает каждый шаг, не дает, он, падая, подымаясь, бежит к дому, где живет все, что у него есть, — когда земля усмиряется надолго, наконец он поднимается последний раз, разгибается на последнем холме — город, его город стоит невредим, белые стены.

То есть: человек должен строить надежно и жить в том, что он построил. Уцелел мир Бабаева? Только уроды могут отвечать. “Кратчайшие пути” — название его стихов. Большие дороги ложатся на старые тропинки: кратчайший путь один, мы не первые, и за нами тоже кто-то пойдет.

Я провожал Бабаева до его дома на Арбате, после лекций, после семинаров, его шапка казалась похожей на папаху (сейчас подумал: что бы он сказал на это — точно? — а, ничего нет, есть урна на кладбище, все там, от последнего слова стрелочку до земли), он спешил надеть пальто, не давая помочь. Холодно, я спросил — шуба? “Шуба” живет неподалеку от “профессора”. “Разве я похож на человека, у которого есть шуба? Я из малоимущих. В детстве я мечтал о кашне, шарфе вокруг шеи”, шли мимо стеной студенческой газеты (статья “России нужны умные люди” подписана “Михаил Баран”). “Есть вещи, которых я не умею. Однажды встал на лыжи, казалось: лечу как ветер! Оглянулся: где там старушка, которую обогнал? — а вот она! прямо за спиной. Встал на коньки — служитель катка по собственному почину вынес кресло, чтобы я мог опираться”.

Я шел по дороге (несколько лет), Бабаев по высокому тротуару (улица за спиной Консерватории), получалось вровень, он говорил: “Студенты не меняются. Не поймешь, что им нравится, что они любят.. Я стараюсь прочесть хорошо, а дальше уж как знают”, “Россия на самом деле самая не приспособленная для литературы страна. Литература для России вольность”, “Чтобы быть писателем, надо на чем-то сойти с ума”.

Он разговаривал с городом (не знаю, мог ли он назвать его родным), где островки зелени — там остатки усадеб, деревья

стоят испуганные и молятся: лишь бы не поклониться, не заболеть, а то мигом выкорчуют; на этом месте стоял дом, где арестовали Мандельштама, александрийский стиль в домах, тот же, что у Пушкина, ему нравился — белые невысокие колонны, дома без особых затей: два флигеля, окна арками, желтая краска на фасаде. Ему нравился ампир, он повторял: “Перед войной Россия строила на века”. И: “Так же, как “дворянское”, гибнет и “советское” гнездо”. Я боялся, что Бабаев скажет какое-то грубое слово или ненужное и его сила станет земной (а после дождя грязной), и мы подравняем, но никогда.

“Есть предания, которые не надо объяснять”, — говорил он, а про свои лекции: “Контурные карты”. Одна девочка так записала слова Бабаева: “Я никогда не исправлял карту звездного неба. Я хотел, чтобы мои контурные карты совпадали с истинными очертаниями” — и вставила в статью, но Бабаев попросил не печатать. Неточно, может, записала?

Чтение лекций — дело мертвое. Понятно, когда в начале позапрошлого века не было учебников, и профессор, обучившись в Германии, сообщал слушателям новости, переводя на русский язык и на свой рассудок. Лекции, как дубы среди пустоши, из желудя росли, умножая силы, укореняясь, целясь в небо, раздаваясь в объёме, чтобы однажды (если кто-то решит над головой, скажет в небе над кафедрой: годится!) сплотиться в “курс” и подновить в народном знании все, что пора, — стены, оконные рамы, крыльцо.

Сейчас? Для больших отличников по каждому “предмету” есть сто пятьдесят два учебника и полторы тысячи монографий. Здоровым людям для “зачета” или “хор.” хватает библиотечной брошюры — принес ее на экзамен в рукаве и развернул на коленях, как только изнеможенного преподавателя (слушай подряд тридцать шесть идиотов!) закрывала очередная спина.

И лекции — мучение (старик лежит на кафедре, как под розгами на лавке, и бу-бу: “Записывайте тему лекции “Мотивы лирики Некрасова”. Первый мотив... Второй мотив... Третий мотив... Войдите в экстаз!”), больные отличники (две) строчат конспект и просят: повторите, пожалуйста! — тридцать трусливых спят или дремлются (аудитория гудит так, что долгожданного звонка не слышать), а семьдесят человек приходят и не собирались, несмотря на людоедские обещания учебной части казнить прогульщиков. Преподаватель (если не дурак) страдает и бубнит сам себе, если молодежь, съездил на Запад и хочет успеха у девушек в коротких юбках, то басом требует тишины и в тишине рассказывает постельные подробности и зачитывает охальные цитаты — после звонка девушки хлопают в ладоши и на экзамен одеваются броско. Так, одна моя товарищ: “Сходила на лекцию к Линькову. Обалдеть! Так интересно. Оказывается, Батюшков был сумасшедшим! А Жуковский женился на племяннице!”

Как читал Бабаев, что. Я пришел вечером в среду (бурчал Шахиджаняну: “А если он меня не узнает?! Так и сказать: можно я вас провожу? А он скажет: а с какой стати? а меня вон те ждут!”): Бабаев старался, чтобы казалось так: от него — только голос, лекции он выкладывал из цитат (как и свои статьи, книги), сокращая переходы; цитаты, как камни, выступали из-под воды — по ним можно было перейти реку, если не сбиться. Получалась пьеса, где живьем говорили люди, действие шло. Он был прозрачен, за его спиной раскрывались книги. Он собирал мозаику, складывал цветные камешки и полировал, а потом все озарялось светом — его голос.

“Так кто же был Александр?”

Он был человеком долга. И, приняв на себя тяжесть царской власти, стремился всеми силами служить России.

Его можно назвать заложником истории. Он предполагал, а она располагала, и ему приходилось принимать ее условия.



“Император Александр, — пишет историк Ключевский, — испытал на своей деятельности всю силу исторической закономерности, незримо направляющей дела человеческие”.

Так он выдержал семь военных кампаний и одержал победу над Наполеоном, “похоронил под своими снегами величайшую из армий, какие появлялись в Европе”.

В нем были черты романтического героя. “Приняв власть без охоты к ней и с охлажденным чувством... он вынужден был ходом мировых дел вести одно из самых тревожных царствований в нашей истории”.

Он был встревоженный царь тревожного царствования. Во всех событиях, и в “ребяческих мечтаниях”, и в государственных деяниях, чувствуется личность Александра, его характер, душа и образ мысли.

“Он человек”, — сказал о нем Пушкин. И это лучшее, что можно было о нем сказать”.

Все. Здесь конец. Нараспев повторял: “Александровская эпоха”. И особенно: “Пушкин”. Закончив читать великие стихи, он тихо говорил (словно впервые): “Прекрасно”, и потрясал руками над головой, словно поднимал невидимую икону. Словно кричал: “Караул!”

“Когда начинаю лекцию, сам увлекаюсь. Сам начинаю волноваться”.

Так, почти каждую среду, по вечерам я начал ездить на Моховую слушать лекции, в окнах Ленинской аудитории (Бабаев не остался в университете ничем — ни аудиторией, ни читальным залом) отражалась люстра каруселью огоньков.

“26 августа произошло Бородинское сражение.

Русские войска продолжали отступать, была сдана Москва, Наполеон въехал в Кремль, но война продолжалась. И теперь она была гораздо дальше от завершения, чем когда-либо прежде. Перед началом Бородинской битвы Наполеон воскликнул:

“Вот восходит солнце Аустерлица!” Но это солнце померкло в огне пылающей Москвы”.

“Трактат о капитуляции Парижа был написан на листе почтовой бумаги”. “Самую страшную работу люди делают в усталости. Декабристы устали от войны”.

“Сверчок — что-то бесконечно печальное в прозвище Пушкина в “Арзамасе”. Слово домовой, непонятно где обитающий”.

“Извините, у меня сегодня две идеи. А надо одну”.

“В русской литературе очень развита идея бунта, совести и почти нет идеи закона”.

“Когда не хватало аргументов, он указывал на сердце и восклицал: “Вот моя эстетика!””

“Пушкин — это расширяющаяся Вселенная... Пушкин погиб потому, что у него не было одиночества”.

“Однажды мы с приятелем решили выбрать в “Евгении Онегине” ключевую фразу. Он выбрал: “Смирненные не без труда”. Я выбрал — “Тоска безумных сожалений””.

“Жаль, что приходится касаться биографий. Кто я такой, чтоб говорить о Наталье Николаевне?”

“Достоевский всегда был в капкане. Он никогда не был один”.

“Романс — гигантская банальность”, “и корсетом изнуренные сердца”, “Фраза заела не только Рудина. Это про целое поколение”. Чехов: “Оскотинеть можно не от идей, а от тона”. Писарев: “Мы отважные дровосеки. Когда мы окончим свое дело, мы первыми полетим вниз головами”. Аксаков, “Семейные хроники” — “Такие книги появляются тогда, когда из жизни что-то уходит”. “Вечерний звон” Бабаев на лекции пел: на русском и на английском — послушайте, звучит.

Все “пройденное” кончалось, когда в особый день он, словно обрывая что-то, говорил: “Сегодня я буду говорить о Пушкине”.

Да, когда он “читал”, говорил, вернее — пел, на кафедре играл алтарный отблеск, на кафедре, украшенной надписью “Слушать вас никому не интересно”, под портретом Ломоносова, шибко смахивающего на Ленина, в играющих тенях угадывалась наша жизнь — кавказские войны, власть среды, общество, покоренное наживой, художник продается сатане или не продается, отчаяние шильонского узника, вышедшего на свободу и пожалевшего о своей темнице. И он так понимал свое дело, русскую литературу, по-старому высоко — “настоящие поэты берут на себя бедствия своего времени”. “Литература — крепость. Ворота открыты, а они лезут по приставным лестницам”. Эти “они” жили в его речах. Кто “они”? Мне казалось, что никаких “их” нету.

Но Бабаев верил, наверное. И бросал свои, запечатанные в бутылки — река несла их в море-океан. Неужели искренне говорил: “Вы к этому еще вернетесь”? “Я даже завидую вам, что вы будете читать эту книгу впервые” — неужели надеялся, что кто-то бросится читать?

По рукам спустилась записка. В конце лекции, без подписи. “Написано: “Представьтесь, пожалуйста...” Я состарился в этой аудитории. Ну ладно, забудем, — свернул записку, раз, еще раз. — А листок-то взял какой грязный. Будто от стельки оторвал”.

Я верил? Нет. Я верю, что в девятнадцатом веке — да, Бог руководил русской страной гусиными перьями и чернилами (да, я верю: прочитай Пушкин “Преступление и наказание” — Россия стала бы иной, доживи Достоевский до бомбы, убившей Александра II, — Россия стала бы иной, эта цепочка неумолимо тянется до главного воспитанника русской литературы: “Проживи бы Ленин еще пару лет...”) — пусть эта наивность доживет со мной, как старая собака. Но теперь — нет. Книги больше не двигают русскую судьбу. Но в лекциях Бабаева чувствовалось представительство какой-то силы. Он был знаком с Шер-

винским Сергеем Васильевичем (перевел на русский всего Овидия), написал про него: “В работе настоящего мастера есть всегда что-то простое, наглядное и обнадеживающее”. Вот что-то такое.

Они ехали с Шервинским осенью на машине за книгами. Бабаев сказал: “Осенью Москва похожа на Третий Рим”. “Я бы предпочел Первый”.

Эдуард Григорьевич ходил, опираясь на палку, я думал — болит нога. В университетской газете один умный человек в заметке, подписанной псевдонимом, назвал палку Бабаева “трость”: “Конечно же, Бабаев прогуливается по факультетским коридорам не с тростью, давно вышедшей из обихода, а с обыкновенной палочкой. Но точность образа, созданного им самим, требует именно трости: оружия самозащиты благородства — от черни, и в ней что-то и от пушкинской тяжелой прогулочной трости с железным набалдашником, и той легкой “волшебной трости”, которой наделил Батюшкова Мандельштам”.

Он начал опираться на палку до университета — в музее Толстого, Бабаев — заместитель директора по науке, Шаталина раздражало: “Взял палку какую-то и ходит!”

Шаталин — директор, человек посредине славы, позже прославился его сын академик-экономист-реформатор, прежде гремел брат — член Политбюро, портрет в праздники висел на здании Телеграфа. Лично сам Шаталин служил начальником лагеря, образовывался в Высшей партийной школе и на излете возглавил музей. После прочтения ленинских работ о Толстом взялся за “Войну и мир”, долго ходил с первым томом, восклицая: “Запу-тан-ная книга!”, заметил экскурсоводам: “Да, Толстой — неисчерпаемая глыба”, в бешенстве звонил в Радиокomitee: “Почему у вас в программе Лев Толстой “Кавказский пленник”?! Это же Пушкин написал!”, часами сидел мрачный в кабинете после свежей газеты — “Что-то случи-

лось?” — “В мире неспокойно”. Бабаева он мучил нерешительностью (ничего не подписывал, “что вам не нравится?”, “не знаю что”), темнотой, Эдуард Григорьевич (совсем не представляю) на партийных собраниях подымался и в лоб: “Уходи! Куда угодно — в жэк, в автобазу, ну, что ты тут сидишь?” — “У меня заслуги перед партией”. — “Я уйду от тебя. Как Фурманов. А ты, как Чапаев — потонешь в первой реке”. Так и вышло, Бабаев — в университет, директор поблагодарил на прощанье: “Мы с тобой неплохо поработали. И я очень ценю, что ты ни разу не пожаловался на меня в райком партии” — и оказался в жэке, про нового директора Эдуард Григорьевич говорил вскользь: для нее музей как авианосец, она с него взлетает то в одну, то в другую страну. Музей он любил, это дом, тепло, ходил туда до смерти, не терпел ничего тошнотворно коллективного, типа поздравления с днем рождения на работе, Бабаева с холодком встретил знаменитый толстовский секретарь Гусев (будущий оппонент на защите диссертации): “Откуда ты такой взялся?”, но подружились, потом.

Что еще из биографии? Экстерном закончил университет. 1961—1969: музей. И до конца — МГУ. Приказом министра отмечался как лучший лектор. Лектор. Почему моя затея безнадежна? Вот написал умный: “Образ Бабаева, им самим созданный, неповторим, оригинален и трудноуловим. Каждая его лекция точно поставленный спектакль, в котором интонация, темп, паузы и модуляция голоса значат не меньше, чем смысл сказанных слов. Знакомиться с бабаевскими лекциями по конспектам — все равно что нюхать бумажные цветы. Даже читая его книги и статьи, я пытаюсь восстановить интонацию, жест — без этого текст кажется неполным”.

А голос я передать не могу. Есть магнитофонные записи (дураки записывали), но это тоже мимо — Бабаев не повторялся, он по-честному служил, пел, и эту службу нечестно записывать для повтора, к магнитной ленте не приделаешь движение,

взмах руки, течение крови по артериям и венам, семь часов вечера, единственный костюм черного цвета, жизнь Бабаева и жизнь тех, кто его слушал, все необъяснимое, что выражается коротким: “Он был поэт”. А если ты сел писать — ты высунул голову из кустов и каждая пуля уже имеет отношение к тебе, каждая кочка, все идет в твои руки, и все спорит с тобой, воспоминания — это не поле, это колодец, щель в земле, и ты ворочаешься в этой паскудной тесноте, зажатый датами, скверной памятью и самой сомнительной идеей — а для чего? Сохранить время? А сохранишь? А почему твое? А почему ты? А вдруг простое-повальное-простительное “покрасоваться”, “про меня вот написано!” (не беда, что сам и написал) и самое: как относиться к своим давним фотографиям? Как часто вспоминающие себя (даже про войну, даже про тюрьму) сваливаются в сожалеюще-насмешливое отношение: да-а, братцы, дураки мы были по малолетству — добрая снисходительность к пьяному родичу. Смешочки и подлости запоминаются. Эту позицию для боя со смертью занимают чаще всего. Почему?

Шахиджаниян говорил: они гуляли с Бабаевым и много разговаривали. Даже про смерть. Трудно представить. Они соприкасались в трех всего точках. Работали на одном факультете — раз. Знамениты среди студентов и выделены из толпы — два. Третье — армяне.

Хотя Шахиджаниян — подробнейшая еврейская внешность, еврей-образец из учебного пособия общества “Память”, он настаивал на армянской родословной (но в разговорах не давал покоя антисемитам) — на видном месте держал старинные фотографии армянской родни, произносил несколько непонятных слов, утверждая: это единственная фраза на родном языке, которую он знает (слова каждый раз звучали по-разному), на публичные выступления Шаха (он читал лекции об интимной жизни, об искусстве найти самого себя, об умении правильно говорить, о технике машинописи — множество) всегда сходи-

лось множество армян — шли на фамилию. Мать Владимира Владимировича — армянка, он всегда помнил день ее смерти и навешал могилу, но не приглашал с собой (однажды я ждал в машине у кладбищенских ворот), Шах родился весной 1942 года в Ленинграде, в блокаде (этот факт он приводил часто, доказывая неизбежность своей ранней смерти), но никак не объяснял свое спасение от голодной гибели.

Отец Шаха — тайна. Владимир Владимирович верил в необычность своего происхождения. Возможным отцом считал известного во времена царя Гороха кинорежиссера Григория Рошалья — мальчик встретил его случайно в Летнем саду (якобы случайно, считал Шах), и кинорежиссер фактически его усыновил и воспитал. Шах ждал: мать на смертном одре откроет ему наконец-то — кто. Имя! И мать заговорила, увидев могилу: твой отец — инженер, кажется, Ленэнерго. Шах не собрал сил согласиться, решив: мать забирает тайну с собою в землю, в дым. В поведении Рошалья и в своей внешности Шах находил неисчислимое множество подтверждений своей веры и вспоминал ситуации, когда решающее признание уже проступало на устах кинорежиссера, но — нет, смолчал!

Шах гремел, я узнал о нем еще не студентом, не абитуриентом, никем, просто попав в первый день в общежитие в комнату к заочнику Гене Филимонову (печатался в “Пионерской правде”, учился вечно, я Гену видел два раза в жизни: в свой первый день в общежитии — он ел смородиновое варенье, и в свой последний день в университете — в буфете после получения диплома: он спросил у меня, сколько времени, я уверен: он учится на журфаке и сейчас) — и сразу: Шах, Шах! Шах никогда не ждал, он брал лучшее, свежее, еще в сентябре он вступал в аудиторию, где первый (и последний) раз собрался скопом весь первый курс (я на сеанс не попал, дослуживал в армии, потерял комсомольский билет и страдал, возьмут ли меня после такого преступления), две сотни пушечного мяса, и вслед

за щуплым бородатым евреем в очках в аудитории являлся какой-нибудь там певец Валерий Леонтьев, или актер Александр Калягин, или Юрий Никулин (актер, клоун, директор цирка, собиратель анекдотов) — хозяева славы, люди из телевизора залезали на кафедру и говорили, как же вам повезло, как же вам повезло — вы сможете учиться у моего друга Шахиджаняна, которому я обязан всем, который меня сделал тем, что я есть, которого я слушаюсь, как верная собака, — а затем Шах громовым, актерским, странным (бывший радиожурналист, умеет) голосом трубил: все, кто будет мне служить, все, кто меня слушает, кто придет на мой тяжелейший, страшный (многие наслышаны), загадочный спецсеминар и пройдет до конца, — победят, весь мир будет их. И уходил.

На первое занятие приходило сто пятьдесят человек. Все, кто мог самостоятельно передвигаться. Через полгода оставалось десять. Еще полгода — два. Или один.

Пришедшие слышали вступление: не опаздывать, называть друг друга по имени-отчеству, ежедневно вести дневник (помня: на семинаре его будут читать вслух), выполнять упражнения, вот первое: напишите на листке имена пятерых людей, вам интересных. Сто пятьдесят человек собирали из букв имена тех, кем дышали, кого видели рядом с солнцем, доказывая Шаху выбором свою неповторимость и продвинутость.

“Написали? Первого человека из этого списка вы должны пригласить к нам на семинар. В эту комнату”. После онемелого ужаса пелось что-то нищее “откуда взять его адрес”, “а он не пойдет”, “мне звонить неоткуда”, “как я ему скажу”, “он же в Киеве”, “кто я такой и кто он” и замолкало после: “Или вы не будете у меня заниматься”.

Начиналась охота на телеидолов, красавиц, спортсменов, певцов, актеров — ласковые письма, вычисление родственных и дружеских связей, ублажение секретарш, подстерегание у примерок и телефон, телефон — телефон может все. Шах по-



казывал. Одна несчастная не ловила Бориса Гребенщикова (рок-группа “Аквариум”), он в Петербурге, он на гастролях, он не подходит к телефону, Шах выслушал сводку последнего бес-  
силия (в 17:00, в здании “Известий”, семинары шли на седьмом этаже), взял телефон: “Если у меня получится, вы уйдете”. Мы смотрели и слушали. Через сорок минут к столику в ресторане “Пекин”, за которым сидел Б.Г., подполз официант: “Вас к телефону”. Через неделю Б.Г. сидел на седьмом этаже “Известий” и утолял жажду (несчастливая вылетела), еще через три дня он ловил машину в Сокольниках и в первой остановившейся увидел Шаха (это случайность — но Б.Г. не поверил), в ближайшие выходные он гостил у Шаха дома на Егерской (район Сокольники), два часа долдоня: не дают зарабатывать, у музыканта ставка двенадцать рублей за концерт, а вот нам бы полтинник... Между прочим, у народного артиста — полтора! А нам еще осветителям платить, звукорежиссеру... Шах кивал и зевал, дивясь идиотизму студенческих пристрастий, но взялся вылечить Б.Г. от алкоголизма с помощью стеклянного шарика — в шарик Шах верил свято, злясь, что я не соглашаюсь избавиться с помощью стекляшки от заикания, — водил шариком перед глазами Гребенщикова и под носом, музыкант брезгливо отстранялся, как отдохлой мышки, я пытался унять: “Да, Владимир Владимирович, да...”, и закрывался руками от стыда — через неделю Гребенщиков приехал снова и попросил: “А с женой моей можно?” — “Что?” — “Повторить”. — “Что повторить?” — “То же самое, шариком”. — “Каким ша... Помогло?!!” Шах изумился даже больше, чем я.

Семинар начинался в четыре часа дня и кончался ночью. За годы работы на факультете Шах выдумал кучу упражнений. В университете он появился как-то непрямо, из Саратовского университета, сел трудиться в московское такси, такси поймал вечный журфаковский декан Засурский (Шах считал его генералом КГБ) — и вскоре таксист начал в присутствии декана

свое первое занятие по “Технологии журналистского мастерства”, получив от студентов единственный отклик, в письменном виде: “Застегните, пожалуйста, штаны”. Я не собирался писать про Шаха (про Бабаева собирался) ничего, кроме некролога. Вырвалось в минуту благодарности: как бы тепло и благодарно написал про вас, если бы умерли — в ответ у Шаха беспричинно для меня болело сердце два дня, — короче, его биографию я слушал вполуха.

Упражнения: дежурить на “скорой помощи”, дежурить на справочной “09”, провести ночь на вокзале, ходить по улице Горького (теперь Тверская) с вопросом: “Где можно купить крокодила?”, придумать ассоциации к слову “телевизор”, проникнуть в театр без билета, погасив свет, два часа говорить без умолку все, что приходит в голову (прочие слушают), поднявшись, хором кричать: “Ба-би-бо-бу! Ка-ки-ко-ку!” (развитие речи), стоять у газетного стенда и смотреть, как люди читают твою напечатанную, долгожданную, переворачивающую мир работу (так ведь, козлы, ни один не читает!), зайти подряд в десять кафе и выпить в каждом по стакану сока, придумать десять вопросов министру торговли, разузнать, как работают в родном городе пункты проката, упражнение поначалу нравилось одно — Шах сажал посреди комнаты незнакомца: “По кругу. Попробуйте что-нибудь угадать про этого человека по внешнему виду”. И неслось: “У вас двое детей и плохие отношения с женой. Вы не любите манную кашу”, “Вы легко предаете учителей”, “В армии вас тревожили сексуальные проблемы”, “Вас зовут Виктор, вам двадцать семь лет, вы инженер, вы живете в сорок девятой квартире, в двери не работает нижний замок”, “Вы похожи на тигра”, “Нет, на кролика!”, “Я думаю, у вас нет жены, есть две любовницы!”, “В жизни вам труднее дается то, что требует решительных шагов” — резвились, пока один умный, Олег Васильевич его звали, не заметил: “А ведь каждый рассказывает про самого себя”. Я понял: ах, черт,

правда, перестал угадывать и смотрел на руки (происхождение), часы, прически, ботинки (достаток), отклик на предположения других (творческий или конторщик), но все опять выходило: про себя.

Но удивительно попадали: “Да, действительно, я живу в сорок девятой квартире и в двери не работает нижний замок”, “Я не знаю, как вы догадались, но у моей машины правда поцарапано левое крыло, и точно: дедушку моего звали Павел Иванович”. Не знаю, как и что это значило. Наверное, про что-то мы думаем слишком серьезно.

Гостям упражнение нравилось невероятно. Шах ловил богачей и командиров на эту радость — они становились должниками. Я сам пробовал, когда постарел и сгодился в незнакомцы.

Такая штука: есть возможность поиграть, как детьми, просто: полвремени сиди надутый, напряженная спина и заметно волнуешься — дети скажут: Константин, вам тридцать пять, вы мелкий предприниматель, занимаетесь восточными единоборствами, дома собака ротвейлер; полвремени сядь боком, поглядывай на девчонок, смейся глазами в сторону Шаха на самые глупые слова, скажут: вам двадцать семь, не женаты, не спортивные, любите шумные компании, имя Олег (все мои знакомые Олеги люди с придурью) — но не играешь. Стараешься: буду обыкновенным, как есть. Пусть разглядят. Хочу услышать правду. И что тогда, выходит, правда? Это — возможности, это неизвестность пути, на тебе скрещиваются женские взоры, судьба виднеется толпой и разбегается в разные стороны, короче, правда — это молодость. И она кончится, замолкнет последний наблюдатель, Шах кивнет: после паузы сразу вступайте вы — тишина ляжет полянкой, и ты тоскливо шагнешь: “На самом деле, я...” Я. Я. Нечего сказать. С Шахом оставались немногие, раз-два. С каждого курса. Они знали, тащили за собой, устраивали новеньких, на кого Шах указал “наш!”, он говорил: “Мы добрая ма-

фия. Мы будем повсюду”. В каждой редакции будет его ученик, Шах состарится — всюду ему уважение и горячий чай.

Да, оставались родственники. Похожие чем? У Шаха никогда не учились красавицы (он кричал: неправда! учились! эта! вот эта! вы просто не застали, если б вы видели, как клонились и падали в сторону вон той госте семинара (Валентин Распутин просил ее телефон! Олег Табаков!), я сам потерял голову, чуть не женился, у нас даже было что-то похожее на роман, да вон, кстати, она — но там из-за редакционного стола подымалось опять что-то усатенькое, сутулое, сложно говорящее, тонко чувствующее, злобненькое, легко открывающее огонь по всему, что смело видеть ее такой, как есть, мальчики оставались провинциальные и слабые (инвалидная трещинка в каждом).

Шах восхищался учениками, он считал нас талантливыми, всемогущими. Если работать, если слушаться его. Он ошибался. Старшие ученики уже шагнули за сорок, из наших не вышло “номер один”, обочина, второй ряд, “да работает у нас, мы им довольны”, мир не оглядывается на такие детали.

Бабаев написал, наверное, о себе, как о приятеле:

*Он любил Московский университет,  
Как, наверное, космонавты любят  
Свой Звездный городок.  
Здесь перекрещивались орбиты  
Его мечтаний и путешествий.*

Университет сопровождал его, как заклинанье. Ташкент, отец военный инженер на ленд-лизе, мать простая работница (родился в 1927 году в Средней Азии. Отец — Григорий Нерсесович, военный инженер штаба Туркестанского военного округа, мать Сирануш Айрапетовна (урожденная Тер-Григорянц), окончила медицинский факультет университета, дома из книг только справочники. С голоса патефона и радиоприемника за-

учивал трагические монологи (особенность времени, многие увлекались), “Эту книгу иди выброси на помойку. А то руки отсохнут”, — сказала бабушка, единственная казенная книга — богохульные стихи Демьяна Бедного “Тебе, господи!”. В Ташкент, на другую сторону земли, что-то доходило, например смерть Гумилева. Из писателей ребенок, школьник не любил Сетон-Томпсона, тот красиво описывал, как убивают живых — пуля попала бельчонку в пушистую шею, и кровь алыми бусинками брызнула на бархатистую... Как сообразил, куда идти? Он отвечал: больная собака знает, какую искать траву. О происхождении не скажешь — судьба, скучно, а про географию — да, география — это судьба. Война поставила на Ташкенте крестик — здесь, у города, словно соединились океаны (“Ташкент вдруг сделался Касабланкой”, Бабаев коротко стригся и носил испанку), к нему приехали все — Толстой, Чуковский, Луговской, Благой, Надежда Мандельштам, в библиотеках руки находили недобитые книги Розанова, Бердяева, Константина Леонтьева, появилась удивительная женщина, которой посвящал стихи убитый Павел Васильев (поэт, “замах на гения, но чуть не хватило”), Бабаев пошел к ней: “Васильев?” — Она ладонью запечатала ему рот, мать сказала: “Я видела афишу Ахматовой”. Мать читала стихи. И запоминала имена.

И два ташкентских мальчика пошли туда, Берестов и Бабаев, Бим и Бом, Бабаев повыше (потом наоборот): “Эдик, когда пойдешь через дорогу, возьми Валю за руку”, почему они дружили до смерти? — в ночной январской Москве Бабаев, скользко, лед, черное пальто, черная шапка, седые усы, сказал: “Он знал моего отца и мою мать. И я помню его родителей”. Берестов мечтал стать путешественником и поэтом, Бабаев — учителем и прозаиком. Над стихами вместе смеялись. Читали и смеялись.

И он оказался на солнечной стороне, в своей истории.

Потом Ахматова уехала. Поцеловала: “Храни вас Бог”.

Опустело, все забывается, кроме слов, Ахматова: “И поступить в университет”, Надежда Мандельштам: “Будешь и ты в университете! Может быть, даже самого Гудзия увидишь...”, Шкловский: “Идите в университет. Иначе вам не о чем будет писать”, Андроников: “Университет, как консерватория, учит играть гаммы: до, ре, ми, фа, соль... Но одни, пользуясь этими гаммами, играют Моцарта или Баха, а другие...”, Шкловский: “Важен не университет, а среда”, Ахматова:

— Мы все учились с голоса... Было кого слушать.

— А нам что же делать? — спросил я.

— А вам надо поступать в университет и все начинать сначала.

Они приговорили и уехали. Бабаев сделал, как сказали. Не студентом, так преподавателем (как Шах), но что он там встретил, в университете московском государственном, куда его гнали люди, учившиеся до революции, почему повторял (и с каким настроением?) некрасовское:

*Будешь в университете —*

*Сон свершится наяву!*

Я не знаю. Сразу в МГУ не вышло, учился там, в Ташкенте, и дернули памятьвые люди, когда государи запретили Ахматову и Зошенко: “Мы знаем, что она тебя любила. Расскажи на собрании о вредном влиянии, которое на тебя оказала Ахматова”. Надо платить, он спускался по лестнице и плакал, платить надо, девятнадцать лет, та самая судьба, от которой все зависит. Ну что? Бабаев пустился на хитрость (не умел, и никогда потом) — в отделе кадров оставил заявление: прошу перевести в экстернатуру в связи с тяжелым материальным положением, сложившимся из-за смерти отца. Ага, сказали ему, погуляй, через час зайдешь, и отчислили — в школе на окраине Ташкента появился новый учитель младших классов.

А первокурсник Поспелов объявил: за оскорбление чести и достоинства Анны Ахматовой посылаю по почте Жданову (ближний боярин, глядел за культурой) вызов на дуэль. Верная тюрьма. “Самый храбрый человек нашего поколения! — восклицал Эдуард Григорьевич. — Или провокатор. На всех собраниях, позорящих Ахматову, Поспелов сидел в президиуме”. У Бабаева есть стихи “Мое поколение”, отрывок:

*Все люди были братья,  
Мы знали о них все!  
И в кузове попутной полуторки,  
В распахнутых отцовских шинелях,  
Мы говорили друг другу слова,  
От которых кружилась степь.*

Он хранил записи убитых и гонимых, как раковины на память об отхлынувшем море, оливковую тетрадь — записанные стихи Мандельштама — осталась в его детской комнате, потерянной среди школьных тетрадей. После землетрясения сестра Бабаева собрала на развалинах бумаги, дочка Лиза прямо в аэропорту: “Я привезла из Ташкента оливковую тетрадь с детскими, твоими стихами” — Мандельштам, тетрадь легла кирпичом в русскую — даже не знаю, что написать — науку или филологию? Еще Эдуард Григорьевич напомнил Ахматовой ее стихотворение, “О, эти стихи потеряны”, принес свою ташкентскую запись, как запомнил — Ахматова благодарно поцеловала в лоб. Он перебирал эти воспоминания на ладони. Не знаю, что получилось с университетом, но еще главным словом звучала библиотека — там получилось точно, хоть также не пускали, “с большим трудом добился права посещать читальный зал” — это про Ташкент, изнурительно пробивался в профессорский зал Ленинки (кажется, только ради этого докторскую защитил), где только именитые старики и иностранные студенты, приносящие валюту (клали ноги на соседний стул),

и, когда получилось, сказал: ничего больше в жизни не надо, и выглядел хозяином сокровищ: “Давайте и вам буду заказывать книги!” — там он и прожил свое (“я как китаец, у меня нет выходных”), читая, и описывал свои путешествия, сбор гербария в лекциях, а оставшиеся крохи — те мгновенья, когда отдыхали глаза, он хотел описать в рассказе — рассказе о библиотеке, как аспирантки, нагрузившись книгами, встречаются посреди зала и разговаривают, придерживая подбородками высокие стопки.

Все остальное — только рядом, счастливое воспоминание: сидел на даче у Шкловского и целыми днями читал “Русский архив”, выходил только купить кефир. Бабаеву — восемнадцать, и дочери Шкловского — столько же, Шкловский показывал на дочь: “Вот вам невеста”. И спустя время получился, был, случился роман, но не совпало. Это рассказ Бабаева о любви.

Стихотворение он назвал “МГУ”:

*Покажутся наброском смелым  
Верхи деревьев и дома.  
Посмотришь в окна между делом,  
А на дворе уже зима.  
Как будто стало больше света,  
Свободней саночек разбег,  
И с лестниц университета  
Счищают падающий снег.  
Из глубины родных историй  
Правдивый вырастет рассказ.  
Высокий мир аудиторий,  
Он выше каждого из нас.  
Лишь веток мерное качанье  
И снегом занесенный след,  
И после лекции молчанье*



Александр Терехов

*Отрадной дружеских бесед.  
А там Москва за снегопадом  
Или кремлевская стена.  
И молча мы стояли рядом  
У незамерзшего окна.*

Бабаев казался неустроенным, не прижившимся в Москве, не показавшим полную силу, не оцененным — что-то одно из перечисленного чувствовал и он, и причину находил, я думаю, в одном: в начале не было университета.

По шкурным делам его обходили, он не знал, как заводится эта машинка: Литфонд не давал нужных путевок, старший брат, член-корреспондент, — служебный автомобиль, командировки за границу, а младший — клоун, трость, Чаплин, на работе мало платят: “Купил бы рубашку, да дорого”, “Ради того чтобы поработать в субботу над рукописями, я много продавал руки, голову, искал заработка. Лишь один раз хорошо заплатили за редакторскую работу. Больше не давали, как ни намекал”. Служа на одном из самых вкусных и сладких факультетов имперских времен, он никого не проталкивал в сложном подпольном товарообмене и засаживании блатных абитуриентов (как это происходит? собираются все деканы? меняют “один на один”? или “я возьму вашего одного на журфак, а вы моих троих на геологический”? или “возьмите моего безвозмездно, я в следующем году буду должен”?) — осмелился единственный раз: натаскал к экзамену сына знаменитого и сановитого детского писателя Лиханова и решил услугу усилить (попомнят потом добро!), подошел к председателю приемной комиссии профессору Толстому — тот расхохотался на весь этаж: “Да за него уже армия просила! Флот! ЦК ПАРТИИ!!! А тут приходит такой тихий Бабаев и шепчет что-то на ушко!” Да еще глухота.

Эдуард Григорьевич плохо слышал. Он оглох лет в тридцать, он ночью проснулся от смутной тревоги и увидел за окном:

молнии, дождь, и догадался — гроза, но ее не услышал. Беззвучно лаяли собаки за окном.

*Он с улицы прислушивался к школе,  
Хотя уже не слышал ничего,  
Ни пенья птиц, ни ветра в чистом поле,  
Что было удивительней всего.  
И в ожидании неторопливом  
Глядел он на немое полотно.  
Машины пролетали над обрывом,  
Без стука опускалось домино.  
О, пониманье — трудная наука!  
Вот он уже читает по губам.  
И вдруг услышит тень от тени звука  
И благодарно улыбнется вам.*

Он думал “почему”: тиф, болезненное детство, работа в войну — отбойным молотком срубал накипь с паровозных котлов, книжно думал “за что”: “Всегда любил устную речь. Может, это грех. Учились с “голоса”, книги были редки...”, “Судьба мне послала таких удивительных собеседников”, “Начала надвигаться глухота, словно наказание за любовь к голосу”.

“Я уже никогда не смогу ощутить прелесть тихой, доверительной речи”. Возненавидел телефон. Начал опираться на палку. Перестал преподавать, ушел в редакцию журнала. Уход описан в “школьном” рассказе: учитель Беркутов скрывает глухоту — не заходит в учительскую, не разговаривает с коллегами, детям на уроках задает только письменные работы, его спрашивают: почему? Беркутов в ответ историю: “Пифагор беседовал с музами и особенно почитал одну из них, которую он называл Такитой, то есть Молчаливой...” Но не вытерпел, не смог: “А Беркутов думал, что педагогический век долог, но не дольше того дня, когда учитель перестает слышать своего ученика...” Ушел, дверь закрылась. На партсобраниях в музее садился ря-

Александр Терехов

дом с Гусевым (бывший секретарь Толстого, я уже писал про него), тоже глуховатым, — переспрашивали у соседей. Гусев не носил слухового аппарата: “А то наденешь — и такое услышишь”.

Думали — поражен нерв и оперировать бестолку, но в Москве ультразвук показал — можно побороться. Сделали первую операцию и — получше, но оперировать второе ухо Бабаев отказался наотрез: “Мне вполне хватит одного”. Его потрясли гимны уличной Москвы, воющее метро, невозможность сказать собеседнику тихое слово, прогулки вдоль Садового теперь казались кошмарными (разве он не прав?) — слишком много звуков рвалось в него. Так и остался. И я говорил с ним всегда подготовленно, законченными, отчетливыми фразами и, получается, не мог говорить обо всем, о себе, не мог ответить или спросить молчанием. Когда человек худо слышит, твои разговоры с ним похожи на тюремное свидание: все, что надо, все, что можно, и — ничего больше. А может, так и надо говорить.

*Ранней весной в Москве  
Мне возвратили слух.  
Я лежал с закрытыми глазами  
В палате Боткинской больницы,  
Еще не веря чуду.  
В руках у меня был спичечный коробок.  
Спичечный коробок —  
Это самый чувствительный прибор  
Для измерения силы звука...  
Если поднести его к ушной раковине,  
Можно услышать, как шумит море,  
Гремят лавины в горах,  
Шелестят пески;  
И я слушаю эти звуки жадно,*

*Неотрывно, пока сестра не коснется  
Моего плеча.*

*И вот я подошел к окну,  
И окно растворилось настежь,  
Ветер взвил занавеску перед глазами,  
И на подоконник взлетел воробей,  
Серый, взъерошенный,  
Московский, мартовский воробей.  
Дружище!*

*Он покосился на меня острым глазком  
И чирикнул: “Чив-чивить?”*

*Десять,  
Почти десять лет  
Я не слышал этих звуков.  
И я выронил спичечный коробок из рук,  
И спички с грохотом рассыпались  
По кафелю солнечной палаты.*

Хотя откуда могли взяться спички в пустом коробке?  
Еще — бездомность. Он жил в чужом городе среди чужих людей. В Ташкент все приехали к нему, он — хозяин, знает, где взять дрова. Гости уехали, он отправился вслед, за своей жизнью:

*У юности всегда свои тревоги,  
Душа подскажет вещие слова.  
Скажи, как станешь подводить итоги:  
В твоем XX веке все дороги  
Ведут в Москву — и вот она, Москва!*

Вот она! — он приехал в 1960 году, Ахматовой сам не звонил, считая: все сужденное уже случилось, встретились несколько раз, Ахматова находила сама, соседка, подзывая к телефону: “Голос как судьба...” Дочь хотел назвать Анной, но взбунтовалась жена: “Что это за Анна Эдуардовна?!” Москвичей долго

не мог понять. Один писательский сын из “золотой среды” (как из Золотой Орды) поучал: “Все москвичи — змеюки!”

Литературный советский мир маршировал и кормился колоннами, армиями, но Бабаева никуда не зачислили, жирные куски делились на “своих”, в Домах творчества ядовито острили антисемиты и сионисты, а Эдуард Григорьевич в стороне кушал свой компот и гулял со всеми, не обрстая связями.

Он разглядывал достижение литературного “имени”, денег как желанный, но недоступный вид спорта, издавлек, понаслышке: говорят, издателей надо водить в ресторан, рецензии организовывать. Он искал внимания нужных людей. И не получалось. Его не брали играть, словно он не знал языка. Начал читать свое генералу Смелякову, тот грубо: “Что ты мне читаешь? Носи по редакциям. Это твоя судьба”. Тронул Трифонова своей рецензией “Повести романиста” (угадал, романы приближались), и вроде срасталось, Трифонов позвонил, спасибо, вместе сходили в музей и с удовольствием молчали, но только: не дадите ли рекомендацию в Союз писателей?— сразу надулся: “Я сейчас уезжаю в Париж”, и заговорщицки прошептал: “В Париже Зинаида Шаховская считает меня первым писателем”.

Последний раз Бабаев видел его в Центральном доме литераторов, показал жене: “Смотри, он выглядит, как бык Апис, которому золотили рога, прежде чем принести в жертву”. Через неделю Трифонов умер.

Рассказы о писателях заканчивались одинаково — нет.

И он откликнулся (словно ждал), когда я сказал про жестокость русских писателей девятнадцатого века между собой: “Они не успели понять, что такое время бывает у народа только раз и больше не будет. Вообще, — он оглянулся: никто не слышит? — Пушкин написал: в России главное чувство — недоброжелательность”. Он часто говорил, шуточно оглядываясь: “Есть такие темы — только затронешь, так Центральная группа войск начинает прогревать моторы”.

И написал на клочке: “Не думайте, что Москва оставит без внимания ваши слова, которые вы написали или сказали из каких-то видов или для какой-то цели, покривив душой, в надежде, что все это так... никто не заметит”. Но это Бабаев так, на коленях подумал, я бы сказал: Москва неправильно поймет твою искренность и свою неправду про тебя запомнит надолго. Наверное, мы приехали в разные города.

Не свой, один, стоял и смотрел в окно на дождь и до смерти боялся заблудиться в лесу, держался опушек, не научился плавать, но умел нырять, жена отпирала в магазин только за хлебом и картошкой, в выборе прочего мог ошибиться, боялся вокзалов — вдруг не купим обратный билет? — дом, Карабах, стерли до крови, Ташкент вдруг за граница, Бабаев ходил с такими глазами, словно готов в любой миг собраться и уйти, как только скажут: так, где тут у нас... ты? — собирайся и вали.

Я провожал его домой, на Арбат, в дом, где ночной магазин торговал водкой, что было внутри, я не знал, какие-то отблески — “моя лежанка”, “Книжный шкаф закрываю шторками — книги шумят, мешают работать”. Он приехал в Москву с печатной машинкой и чемоданчиком, снимал комнату у таксиста (страх: нет прописки), сидел и печатал у заснеженного окна, ночью, только в его единственном окне свет, идет снег, поднял глаза — милиционер в тулупе, повелевает прямо Бабаеву рукой: иди, открой мне дверь! Ну вот и все. Пропал из-за прописки. Открыл. Можно я у вас посижу, а то замерз, вы все равно не спите. Милиционер, встречая потом, поднимал руку к козырьку. Заходил сосед, ему нужно спрятаться от жены, и сидел в “вольтеровском” кресле тихонько (Бабаев работал), через каждые полчаса привставал: “Я не мешаю тебе?” Было слышно, как по лестнице с криками носится вверх-вниз соседова жена: вы не видели? куда шел? о господи — он без пальто, а мороз на улице! дура я, дура! — сосед поднимал палец и удовлетворенно шептал: волнуется.

Бабаев женился на Майе Михайловне и переехал к ней в коммуналку на Арбат, в комнату — он, жена и дочка, и долго так, пока ему не исполнилось пятьдесят лет, во второй комнате за шкафами жила старушка, Бабаев любил по утрам молчать, она немедленно выходила за ним на кухню: “Эдуард Григорьевич, я вчера в кино была, знаете, “Король Лир”. Я думала, это музыкальный фильм, на лирах играют. А это исторический. Про Англию, кажется. Там был король, у него было три дочери. И когда он решил...” Работать он мог только в музее.

“Когда соседи умерли, то мне на небе кто-то помогал. Наверное, мама моя. Собрал все положенные бумаги и от университета, и от Союза писателей, вдруг приходит вечером мужик: “У меня ордер смотровой на эту комнату”. Как? Мужик походил, глянул: “Нет. Комната проходная. Не подойдет”. Следующий вечер новые — звонок, открывайте дверь, семейная пара: “У вас лестничная клетка отапливается?” — “Отапливается, а на что вам?” — “Тогда нам подходит — мы завтра переедем”. Надо что-то делать. А уже вечер. Я пойду в исполком, хоть узнаю. Жена: не ходи. Пришел, повезло: некоторые окна еще горят. Сидит какой-то чиновник: иди в жэк, это не к нам. Пришел в жэк, там все окна горят (в жизни Бабаева это чудо): “Писатель, что ли? Николай Иваныч, писатель пришел”. — “Ну так пусть зайдет. Что ж вы, у вас уже неделю документы лежат. Оформлены”. — “А вы зачем со смотровыми ордерами присылаете?” — “А вы гоните их!””

Они остались в квартире одни. Бабаев сказал: “Что нам еще надо?”.

Он, Майя Михайловна, дочь — “родилась вылитая Эдуард Григорьевич, задумчивая и важная, только без очков”, ей поставили столик в кабинете Бабаева, никогда не мешала, возилась за спиной, он читал дочери “Дон Кихота”, смеялся: пусть будет часовых дел мастером, и когда уходила, говорил: иди и помни, что у тебя есть дом. Еще с ними жила собака.

Дочь позвонила от метро: приготовь маму, я несу собаку. Бабаев приготовил Майю Михайловну просто: “Лиза несет собаку”. — “Через мой труп!” Но “через полчаса они уже ели из одной миски”. “Увидела во дворе чужих собак и такого им наговорила, что сама спряталась от стыда под диван”. Полчаса облаивала Берестова и полчаса извинялась. Собака состарилась, от сильного сердцебиения ей давали валидол; когда Эдуард Григорьевич выводил ее гулять на дикий грохочущий Арбат, собака от страха ложилась на брюхо. Когда начала умирать, Бабаев выносил ее подышать на руках, встречный посоветовал: “Усыплять таких надо!” — “Ах, оставьте меня в покое”. — “А что, жалко, что ли?” — “Жалко”. Спустя много лет к ним прибилась другая собака, я ее видел один раз.

Про то, что выше, мы не говорили. Это понятно без слов, а когда непонятно — молчи, не позорься. Бабаев вспомнил вскользь: трудная минута, ждал важного известия, и он зашел в церковь, молился, попросил. Когда вернулся — жена спала, проснулась: “А ты знаешь, пришло письмо. Все хорошо”. Когда мы заговорили об этом прямее, Бабаев сказал о религии что-то уважительное, что-то такое, что говорят о далеком и в собственной жизни не присутствующем.

*Какой был замысел у Бога,  
Я не узнаю никогда,  
Всю жизнь меня вела дорога  
Через чужие города.  
Гонимый и спасенный веком,  
Я стал ученым человеком,  
Входил в училища как в храм.  
А кто в Нагорном Карабахе  
В простой пастушеской папаше  
Отары водит по горам?*



Бабаев не описал своей жизни в дневнике, не осталось тайного яда, посмертных расчетов, камешков, летящих в висок, муравьиных усилий противостоять смерти — на лекциях все сказал, осталась пригоршня заметок-заготовок среди стружек на полу мастерской, готовых в дело, я их раскладывал, но мало их, даже куклу не сложишь:

“Идеалисты порядка, точно так же как романтики бунта, целят, а все невпопад”.

“Увы, революции свершаются, не спросясь Герцена, а порядок торжествует без вedomо Леонтьева”.

“Если человек говорит: “Я здесь стою и не могу иначе”, не мешает все же убедиться, что стоит он на “платформе”, а не на “эскалаторе”. Иначе вы рискуете в следующее мгновение не застать его там, где он только что стоял”.

“Каждое художественное произведение именно потому и является художественным, что оно уникально. Благодаря этому и сам художник получает черты загадочности”.

“Тот, кто сказал однажды: “Я обещаю вам сады”, должен был впоследствии сказать: “Я жалею, что жил на земле”. Обещание непомерного счастья приводит к признанию непомерного отчаяния”.

“Сюжет — это прежде всего нарушение ритма, последовательности, соответствия. “Шел в комнату — попал в другую” — вот что такое сюжет”.

“Для любви и ненависти нужна большая близость. Далекие друг от друга люди редко по-настоящему любят или ненавидят друг друга. Поэтому искание любви заключает в себе известную долю риска: можно напороться на ненависть”.

“Главное лицо, к которому обращается религия, есть скорбящий. Христос его исцелил; Будда даровал ему покой (небытия). Отрицая религию, мы отрицаем скорбящего. Мы говорим: “Нет скорбящего” или “Скорбящего не должно быть”. А он есть”.

“Голоса учеников интонационно выравниваются на уроке. Но на перемене натура берет свое”.

“Три книги, которые хотелось бы иметь с собою всюду! — кто только не задумывался над этим. “На острове, — пишет Дидро, — я хотел бы иметь три книги: Гомера, Библию и Кларису Гарлоу... Первые две книги остаются неизменными; что касается третьей, то по ней узнают век, характер и стиль”.

“Во всякой редакции есть свой “левша”, который так умеет “подковать блоху”, что она перестает “прыгать”.

“Письмо должно попасть в самое сердце. Если же все недолет и перелет, то переписка, как беспорядочная стрельба, оглушает и постепенно выдыхается”.

“Все великое, земное разлетается как дым...”

И до сих пор мы еще узнаем “великое, земное” издавдалека потому, что там клубится дым.

Я задумался — какую щепочку положить последней, но ни одна не хочет быть большим, чем есть, не хочет в землю фундаментом, ткну наугад, вот эту:

“Все понять — значит все простить; но в том-то и дело, что всего понять невозможно”.

Он жил один, всегда, закрываешь глаза: Эдуард Григорьевич идет по коридору к Ленинской (или переименовали давно?) аудитории журфака — один, один — стоит на балюстраде, опершись локтем на тумбу, придерживая рукой голову, словно вслушиваясь. Редакция “Русской речи” — единственная, где ему предлагали сесть и выпить чаю. Друг Берестов времени полюбился и столовался отдельно — сияющий, плодовитый, радиопередачи, распевание песен и пританцовывание на сцене, литературные анекдоты, молодые влиятельные почитатели, гастроли, заграница, легко (по крайней мере внешне) находимые спонсоры на многочисленные книги, продажные находки, “наша взяла!” на счастливом лице. Бабаев глядел на него с братской тревогой — как монах смотрит на похмельного брата-кавалериста, за-

ехавшего проведать родича по пути с ярмарки на веселую войну. Или он смотрел на Берестова с восхищенным ужасом как на человека, отыскавшего слово, на которое откликается время, — но тайна этой находки неповторима, и когда я искал пять тысяч долларов на посмертное издание книги Эдуарда Григорьевича (и постыдно, позорно проиграл) — способность Берестова “привлекать средства” вдруг легла в траву, мертва, и не пожелала себя проявить ни в каком, даже в плевом размере, — даже сходить в богатый кабинет, даже постучаться в красную дверь с золотой ручкой, позвонить! — нет, дыхнуть не желала — вот тебе, на тебе, великая дружба людей (пятьдесят лет!), вскормленных русскими книгами, Бабаев признавал, что они разошлись, но лишь в том, что имело для него значение, — его удивляло, что Берестов восхищался стихами Высоцкого. Действительность переступила через одинокий труд Эдуарда Григорьевича получить и освоить клочок земли и все завоевания навроде бессмертного, неразменного “я печатался в “Новом мире””. В действительности быстрее всех бегали борзые, натасканные на доллар, — и одна такая борзая (из журфаковских студентов, теперь профессор) разьясняла Бабаеву: “Вы будете в этом семестре читать лекции вечерникам. Мне так удобно. А когда мне понадобятся вечерние часы, я вам скажу”. Бабаев тосковал, принимая экзамены у негров: “Ну что ты здесь делаешь? Зачем тебе русская литература? Езжай домой!”, после лекции подошла аспирантка Дженифер — она приехала на три месяца из Соединенных Штатов Америки, напишет работу “Русские поэты от Державина до Цветаевой”. Дайте, пожалуйста, список основных произведений. Эдуард Григорьевич отмолчался и словно попросил: “Может быть, “Державин и Цветаева”? Интересная очень тема”. Нет, сказала Дженифер, “от и до”, у нее будет большая работа.

Девушка вспомнила, как сдавала экзамен (о, эти рассказы рыболовов, сердцеедов, молодых родителей и первокурсников, сдавших первую сессию!), Бабаев ей якобы сказал: “Душа

моя, я не хочу вас ни о чем спрашивать, почитайте мне что-нибудь наизусть”. Она исполнила:

*...Ущерб, изнеможенье и на всем  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья...*

“Последние строки договаривали вместе, в пустой аудитории под приглядом гипсового Ильича.

— Понимаете, именно этому я и хотел вас научить. Страданием нельзя кичиться”.

Цитата: “Считается, что Бабаева легко сдавать. Говорят, достаточно к месту прочитав наизусть несколько строчек или назвать по имени-отчеству Краевского, чтобы получить у него зачет. Некоторые хитрецы берут на его экзамен хрестоматию и из-под полы заучивают стихи по своему билету”.

В университет он попал случайно (кому нужен глухой), попросили почитать о Толстом. На первую лекцию пришли четыре студента, на последнюю человек двадцать — слава, его взяли. Первые годы он карал ленивых, кровь, неумолимость, и получилось: три человека с курса вытянули на пятерку, восемь человек знают на “хорошо”, остальные — три балла. Потом смягчился, милосердие, благодать — поспели плоды: трое — пятерка, восемь на “хорошо” и три балла — остаток. Похоже на легенду. В историях “про себя” он смеялся, не поймешь, так закрыт. На вступительных экзаменах Бабаев не ставил двоек-троек. Почему?

Лекция, князь Одоевский, декабрист, заговорщик, стоял накануне восстания 14 декабря 1825 года в карауле у спальни императора, сдал караул и побежал бунтовать — на площадь, не зарезал, короче, царя:

“Вообще это был человек роковых минут. Он всегда оказывался там и в то мгновение, когда начинались роковые собы-

тия. Во время наводнения в 1824 году он выскочил на мостки и увидел, как борется с волнами близорукий Грибоедов, уже не чаявший спасения. Он бросился в Неву и вытащил на берег Грибоедова, чтобы он не утонул, не окончив “Горя от ума”...

Когда после суда, каторги и ссылки он оказался на Кавказе, рядовым, разжалованным, осужденным, он в Пятигорске увидел кривоногого офицера с лазурными глазами. Это был Лермонтов. Они узнали друг друга.

И потом, когда Одоевский погиб в боях за Кавказ, Лермонтов вспоминал его с удивлением и душевным волнением:

*И свет не пощадил, и Бог не спас...*

Удивительно ли, что стихи Пушкина “Послание в Сибирь”, когда они достигли “сибирских затворов”, оказались в руках человека роковых минут, в руках Одоевского...

В последние годы жизни он пережил глубокий душевный кризис, обратился к вере отцов, написал замечательную, лучшую свою элегию о птичьих станицах, летящих на юг от холода: “Куда несетесь вы, крылатые станицы?”

*Пора отдать себя и смерти и забвенью!  
Не тем ли после бурь нам будет смерть красна,  
Что нас не севера угрюмая сосна,  
А южный кипарис своей укроет тенью?*

С той минуты как Одоевский бросил свою шпагу на пол кардегардии Зимнего дворца, после того как восстание было подавлено, вся его жизнь прошла в тюрьмах и скитаниях. Переведенный из сибирской ссылки в армию на Кавказ, он погиб во время экспедиции на берегу Черного моря”.

Про лучшего русского царя: “Николай I научился внушать страх. И считал его великим орудием охранительной политики. Пушкин еще в “Руслане и Людмиле” сказал: “Дрожишь? Покорствуй русской силе”. Эти слова могли быть точной фор-

мулировкой николаевской политической доктрины. Этой идее подчинялась и его внутренняя политика. Умирая, он сжимал кулак и говорил своему наследнику Александру II: “Вот так надо держать Россию...””.

“Ну, пойдём?” — я ждал его у кафедры русской литературы, зимой по льду мы ходили сцепившись, Бабаев ни разу не поскользнулся, но меня пару раз твердо поддержал, говорил (“Жизнь Сократа прошла в беседах”), Вяземского в сердцах мог назвать дураком, “Ахматова была очень красива, только перед смертью вдруг пополнела и очень этого стеснялась. Но не молодилась. У нее был какой-то уговор со временем. Многие, вспоминая ее, пишут только о себе и лишнее. Она даже лишнее говорила с очень важным видом”, “Студент как увидит Достоевского, хватается кувалду и бежит с замахом: “Отойди! Поберегись!!!””, “Один студент на экзамене сказал: “Я приехал в Москву, чтобы прочитать Баркова и “Тень Баркова””, “Есть писатели судьбы и писатели мастерства. Есть писатели многих книг и писатели одной книги” — так и хочется написать, что Бабаев писал одну книгу — студентов, нас, написанные страницы пускал на ветер — все время на ветру; не могу сказать, что он надеялся, что все прорастет и вернется. Он просто пел, осенью все облетало.

В своей церкви он ходит за кафедрой, как челнок, мычит, трясет головой, палка зацеплена за край стола, он читает стихи в шушукующийся зал, он ничего другого не слышит при свете поэтических звезд, в лесу кудлобородых прозаических дубов — лесником, астрономом, пляжным загорающим — застеклен, он по ту сторону, где цари, псары, сюртуки и поэты, там он единственный живой и потому — смертный, и со своей палочкой уходит от нас, сжимается сердце, когда он поднимает правую ладонь: “Ну, я с вами прощаюсь!” — и делает такое движение ладонью над головой, словно стирает пыль с невидимой лампочки; слова его живые, не покрытые лаком, “прощаюсь” — горькое, детское слово.

Он в том времени, когда литература (то, что заворачивалось в это слово в русском языке) умерла, больше не золотоносная порода, литературные критики для Отечества уже не генералы — прииск опустел, остались старушки, которым некуда идти, слепцы и нахлебники, обнаглевшие от жестокости времени. Линия Бабаева, казавшаяся прямой и безусловно одинокой, оставалась неуловимой — признавал он власть? — в то время когда у каждого лектора, как огородик, заводилась своя литература, у одного — пыточная камера, у второго — плот с потерпевшими кораблекрушение — кто гребет из последних сил, кто помирает от жажды, кто уже помер, лохмотья, язвы, сочение гноя и кровей, у кого-то — магазин ковров: страна происхождения, известный мастер, развитие стиля, цифры продаж, обратите внимание на отделку и густой ворс, а у кого-то веселый дом (из окон летят пустые бутылки и сонный незлой матерок, за окнами жеманно повизгивают, “Стихотворение “Что в имени тебе моем” поэт посвятил К. Собаньской, любовнице царского шпиона Витте”) — Бабаев зашел в музей Пушкина: на стене вот он — висит красочно нарисованный “донжуанский список”, интересно, а что у вас за стол такой стоит? это как бы стол Карамзина! а это (мрачное, черное кресло высокое)? это как бы кресло Чаадаева! Да-а? А это тогда что (бюро, красное дерево, маленькие ящички, медные ручки)? а это бюро Булгарина! Так за каким в музее Пушкина бюро Булгарина?! а Пушкин любил все красивое! а вот портрет А. Пушкина, рядышком портрет Е.К. Воронцовой (любовь), сверху над ними, понятно, насуспенный М. Воронцов (обманутый муж). Портреты счастливых любовников разделяет розовая кисея.

Вот так и расположились, всех видать, все думают о людях, все думают о покупателях, все — о потребителях конечного продукта, и Бабаев — да, он думал “для кого”. Он говорил: в истории литературы все живы. Надо читать то, что есть. Это как астрономия, ботаника. Трава растет сама. Не надо исправ-

лять карт звездного неба. “История литературы ничего не доказывает”. Читать надо не для умных и не для глупых. Надо читать для тех, о ком. На ученом совете слушали доклад о Толстом. Хлопнула дверь. Среди слушателей сонно заозирались: что? кто-то вышел? а кто? Бабаев подсказал: “Лев Николаевич”.

Любовь студентов, слава. Бабаева, мне кажется, любили, как красивое, непонятное и очень другое, любили из сочувствия к самоотверженности и сочувствия к чудаку, по привычке, его слушали как музыку, не веря (и я) — но сам Эдуард Григорьевич служил правде (жаль, нельзя на письме передать звучание слова, хотя бы так: слово “правда”, здесь прочитать буднично, серым голосом), он воевал, утверждая: “Многие вас будут обманывать!”, он требовал (точнее: хотел) от людей определенности в душе, честных правил, и сам он, тихий, несвоевременный, был крепким доказательством существования таких правил, и еще — мудрости, которая примиряет всех, не смешивая и не предавая. И он это знал, боялся лекций всю жизнь, “если я не напишу, это пропадет”, “нельзя давать детям писать сочинения по классической литературе — они на горностаевых мантиях катаются по мокрому снегу, оставьте литературу в покое”, “перед студентами совестно импровизировать”, “слово “курс” указывает на навигацию” — за лекции он был готов ответить. Литература вставала из саркофагов дат, за спиной Бабаева открывались лес, поляны, ручьи и он, проводник, легкий, как мальчик, ведущий палочкой по забору, — там все живы и нас ждут. “Есть способы забытые, но не уничтоженные” — так говорил.

И он, я думаю, сильно верил, потому что сам однажды пошел на зовущий голос и жизнь его стала очень другой: “Когда бы я узнал об Аполлоне Григорьеве, если бы не семинар Лидии Корнеевны!” Вот — он не учил (“Учить — это так страшно. Так невозможно”) да и не любил людей, которые учили, усмехался:



жреческое сословие вообще очень склонно к вырождению — он просто верил в поэзию (какое все-таки некрасивое, кудрявенько-бакенбардное, крахмальное-грудое, пчелиное это слово!).

В его рассказах отставные матросы читали Жуковского, школьники учили наизусть страницы из Ломоносова, саперные капитаны играли на стареньких роялях симфонии Бетховена, Бабаев виден был далеко и говорил издалека, настолько неблизко, что, когда Поклонную гору срыли и на ее месте выстроили мраморный, исполинский музей в память павших, окруженный мелкими скульптурными пошлостями, сосисочной торговлей и фонтанами, он: надо было посадить дубовую рощу на Поклонной горе — дубовые рощи посвящают героям, и я потом узнал — да, официально рассматривали такой проект, но скомкали и выбросили — издалека я понимал: рядом с Бабаевым смерть не страшна, только с ним рядом не встанешь. У него хватало сил быть живым.

Одного писателя (истрепался язык, начало любой истории звучит анекдотом) пригласили на встречу с детьми, в школу. Он приготовил веселое, живое выступление, объявили — он пошел, заранее улыбаясь, остановился напротив детей — и вдруг ему под нос сунули микрофон. Писатель посмотрел в микрофон и сказал стальным голосом: “Советская драматургия находится на подъеме!”

Того редкого человека, рядом с которым не жмет могильная, ночная, выгуливающая тебя на цепочке смерть, хочется разобрать, как игрушку, чтобы глянуть: сколько батареек, почему жужжит, когда гаснет лампочка — нельзя ли то же самое купить и поставить себе, ближе к сердцу, может, и я научусь — какие книжки надо почитать? Сейчас подумал: неужели ради этого (два дня до ноября, пасмурно, в комнате прохладно, наверное, на улице сильный ветер, первый этаж на улице Удальцова, 48) я пишу? Да нет. Не хочется врать. Собственную

смерть не переубедишь. Это у чужой постели легко: “Ты должен бороться! Кто тебе сказал, что надежды нет?!”

Все-таки: как это работало? Ну, Бабаев — казался старым (старым в чем-то более глубоком, чем возраст), а в человеке, живущем долго, не впавшем в ничтожество, есть надежда. Даже в слове “Туркестан” (из его биографии) есть что-то удлиняющее жизнь Бабаева, поднимающее над временем, и я удивился над одной вспоминающей статьей: “Сегодня пойдём к Эдику. Гениальный чувак, сам увидишь”, — “чувак”! — слово из моего провинциального детства, и вдруг про Бабаева?! — а тут еще его жена: “Эдуард Григорьевич не признавал джинсов”, — я не мог понять: Бабаев — современник джинсов?

И никто не понимал — в театре “Эрмитаж” (шли осенью, по черному Козицкому переулку, женщина бегала за мужчиной вокруг его машины и била сумкой по голове, он молча уворачивался, хорошо одеты, и машина богатая) “Нищий, или Смерть Занда” (по наброскам Юрия Олеси: “Олеша знал, как писать, но не знал, про что”), в литчасти после спектакля чай, люди, девушка “с телевидения”, Бабаев вспоминал: “Я шел с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Навстречу — Олеша. Юрий Карлович спросил: “Наденька, вас обижают?” — “Да!” — “Ну, так вам и надо”. Немедленно вопрос: “А правду пишут, что Олеша много пил?” Бабаев медленным голосом: “Олеша бывал скучноватым. А пьяным лишь тогда, когда было достаточно людей, чтобы это оценить”. Вот тут девушка “с телевидения” дожевала пирожное: “А Булгакова вы знали?” — “Так один внук спросил у бабушки: “Бабушка, а ты помнишь охоту на мамонтов?””

Старым его делали знания, но не делали его живым, верно? Спасение ведь не в ответах на вопросы. А в чем? Бабаев повторял: “Старцы жили для беседы”.

Я искал (не так самоубийственно, как все мы ищем в пятнадцать лет, но все же) одну мысль, корневую, способную

убить смерть. Или хотя бы: убедить, что да. Она будет. Всех. Река с русским, бездумным названием Лета. Жестокость. И что-то ответить ей.

Я пытался представлять себе ее (смерть, я просто не хочу ее называть по имени) точно. Словно комната. Сырой брезентовый фартук. Побеждающие юные морды. Мартовский грязный снег, когда рано темнеет. И не мог — в голову не помещается. Жизнь так уступчива всему, что не верится в неуступчивость смерти. Сознание очень мясное, животное — все можно исправить, все вырастет заново. И я снова пытался раскрыть глаза, почуять смерть точно, увидеть ее целиком, как написанное слово, как иногда страшным ледяным мгновением чувалось в детстве (мертвые звезды, мертвая Вселенная — слепая жрущая пасть), разом прорывая ожидаемую толщу лет собственной жизни и грядущие успехи науки, ты закрывался ими, как подушкой от могилы в детстве, и как нечасто чувствуется теперь, на грани сна. Ничего не выходит. Я умираю. И не чувствую. Книжки бессильны: убирают лишнего героя, продвигают действие, героиня поплачет. Люди пишут о мертвых абсолютно непричастно — высокомерно. Если человек решил написать честную книгу о смерти, он не напишет ее до конца — сам должен попробовать. И даже к чужому уходу невозможно прорваться. Умер человек, даже родной, и не понять: что это значит. Шагнуть не можешь за хозяйственно-хлопотливую пошлость прощания и легкие облегчающие слезы, хоть тащишь себя за волосы к могиле — назад тащит куда большая сила.

Я знал двух людей, у них была сила жизни — они защищали, но я не знаю как. Это моя бабушка и Бабаев. Но я вырос, бабушка умерла, ее больше нет. И Бабаев ничего не объяснил, а вычислить его способ достижения силы из его жизни я не могу потому, что не знаю его настоящей жизни. И никто не знает. Может, он сам не знал. Он спокойно мог сказать: “Я прочитал курс лекций о Пушкине в Московском университете — теперь можно

и умирать”. И ты тотчас всерьез понимал: да, умрешь, и кто-нибудь скажет: “А вот был такой А.М. Терехов”, и не чуял обычного ужаса, Бабаев многое хотел: написать, издать — например: антологию русской поэзии, “не простую, а золотую”, от каждого поэта — три стихотворения, он уже отбирал, вот из Сологуба:

*Подыши еще немного  
Тяжким воздухом земным,  
Бедный, слабый воин Бога,  
Странно зыблемый, как дым.  
Что Творцу твои страдания?  
Кратче мига — сотни лет.  
Вот — одно воспоминанье,  
Вот — и памяти уж нет.*

Шах рвался (не очень настойчиво) обучить меня смирению (он изобрел способ: каждый день думать о могиле по десять минут, правильно думать, он знает как), но я не согласился — изобретателя самого почему-то давил в кровать смертный ужас — я Шаху никогда полностью не верил, и к огромной благодарности у меня (так у многих) всегда подмешивалось легкое чувство, которому я не нахожу названия, все просящиеся на это место слова — омерзение, противность, неловкость, брезгливость — грубы и несправедливы, — я любил своего учителя, но не хотел с ним говорить о родных людях и смерти: Шах хотел знать все, чтобы властвовать человеческой душой, и касался неприкасаемого; Шах, берясь помочь, рубил топором и правду говорил непоправимо больно и неправду, Шах все объяснял физиологией, что оскорбляло любого человека, читавшего русские книги, Шах исходил из того, что все бесследно умрут, мне это не подходит, Шах с детским простодушием торговал чужими тайнами, но это меня заботило меньше всего.

После первого курса 806-я наша комната поехала в Пицунду, Черное море. Хохол, Виктор Анатольич Карюкин, я и Ми-

ша Смирнов (толстый такой, могучий, низенький малый, забудем про него), пограничник Лагутин не поехал, его девушка обставила все так, что деваться некуда, стала матерью и женой — Карюкин (уроженец Алма-Аты, в армии носил красные погоны, кудрявенький, губастый, нечистое лицо, ночами сторожил кафе на “Октябрьской” с большим уроном для заведения) целился всегда далеко — в москвичек и пост в профсоюзе. И попадал: нам выдали бесплатные путевки на море в спортлагерь.

Виктор Анатольевич увлекался (в основном водкой совместно с хохлом, напившись, Виктор Анатольич пел, а хохла рвало — они дружили), как профорг курса (понятно, что такое? лень объяснять) прославился сбором денег на моментальную лотерею — время, когда Москву, народ накрывали увлечения новыми, идиотскими товарами: медными браслетами, лечившими все, электронными часами, певшими разные мелодии, моментальными лотереями — стереть монеткой “защитный слой”, откроются картинки и, если совпадут три картинки из шести, ты выиграл! — автомобиль, магнитофон, телевизор, аудиокассету или видео, то же самое — курс сдал деньги на триста билетов — Виктор Анатольич стер за ночь все, начав со своих и не сдержавшись. Выиграл две видеокассеты и плеер, курсу доложил: собранные деньги украдены.

Я перебирал камешки — серые, сиреневые, ноздреватые, в синеватую крапинку, голубовато-розовые, с белыми прожилками, с металлическими серебряными вкраплениями, цвета сметаны, плоские, с ямками и выступами, я посмотрел на море: вода приближалась, вздымая грудь, словно на вдохе, вечером солнце высвечивало в волнах тропинку цвета неспелой рябины; глянул на берег: коряги, вымытые и высушенные до костной белизны и прочности, коровы, сцепившиеся рогами, свиньи на свалках поднимают морды — мутные глаза, горы с залысинами на вершинах — далеко видна сияющая цинковая

крыша, пальцы, черные от ежевики, в домик наш поселили идиота.

Однокурсник по фамилии Нинкин. Нинкин был “энтузиастом”, я не люблю заемного, но в русском языке такого цензурного слова нет. Душно рядом с людьми, способными два часа спорить о жизни на глазах скучающих девушек, среди нормальной жратвы взять гитару, взглянуть на потолок и завывать: “А на-па-следок я скажу-у...”, обсуждать прочитанное, ездить на экскурсию за свои деньги, затрагивать проблему исторической правды в разговоре с соседом по купе, делать замечания некультурным милиционерам и митингующим коммунистам, доказывать священнослужителям лживость и лицемерие христианского вероучения, доказывать атеистам существование Бога, привлекая для доказательства астрофизику, учить плачущих: покойнику на покрывало надо сейчас же насыпать землю крестом, а в ноги положить список усопших родственников — водку поставили в стаканчик? как нет?! несите и ставьте в угол! черный хлеб на стакан — и не забыть на сороковой день стакан вынести, дверь только закройте за собой, и водку вылить под дерево, только не на проезжую дорогу, есть надо строго в полночь, какие вилки — вилками нельзя! — что? что вот это?! — это же семечки! грызть сейчас семечки — это все равно что плевать покойнику в глаза! Вот Нинкин такой. “Я тебе не дам взаймы потому, что ты просишь на водку, а не на хлеб!”, и работал он в морге (чтоб что-то такое понять) — конечно, где же он еще мог работать? — в прошлом году наши видели его из окна, поезд полз вдоль Черного моря — Нинкин ждал на переезде в белой панаме, рюкзак за спиной — странствовал небось.

Отдыхали, “два бугая, слезьте с буга!”, заходишь утром в море, на песчаном дне солнечные разводы, круглые и упругие, как кроватные пружины, и ты стоишь, словно по пояс в матрасе, цвета пыльной, комнатной зелени, оглядываясь на белые пуговицы медуз, веранды, обрызганные виноградными кистя-

ми, утесы с растрепанными вихрами зелени, небритые щеки скал, в них ударяет волна и откатывает, как огромный синий платок с рваной пенной бахромой, похожей на арабскую вязь, чайки тяжело бредут в вязком воздухе, расставив толстые крылья, словно несут коромысла, к вечеру наползают грязно-сиреневые тучи, и только одна сторона неба раскалена малиновой топкой солнца — Карюкин окапывал и удобрял двух теннисисток с московской пропиской, богатых дочерей, мы с хохлом били мух, гоняли в футбол и ныряли в море, исчезая, как только над лагерем: “Спортсмены третьего отряда! Ну-ка, кто больше всех поднимет двухпудовую гирию?!” — спали и кидали камешки. Из неспортсменок там встречались красавицы, но они или пропадали на ночь в автомобилях с местными базарной национальности и наутро показательно выпроваживались первым поездом домой, или гуляли с ватерполистами.

Вечер за полтора дня до отъезда сложился успешно, начальник отряда по фамилии Жеволупов (прозвище Выключатель, тренировал женский футбол) выстроил и спросил: “Кто уже дежурил на кухне?”, хохол профессионально отметил, что начальник пьян, и поднял лгушую руку, дав мне пример дерзости. Карюкин заметался, его замешательство было понято без ошибки, и Виктор Анатольич загремел на (предпоследние на море!) сутки чистить картошку и скрести копать с бачков. Пытаясь скрыть свое отчаяние, он высовывался из мойки в белом грязном фартуке и показывал на мокрых пальцах, сколько ему досталось котлет, и обещал отдельно рассказать про поварих, а мы с хохлом получили наказ утром выступить на спасательной лодке дежурными на море (и купнуться можно, и девушек покатать, после обеда — свободен!) — пожрали и после дискотеки залегли спать — отбой, свет погас. И вдруг зажегся — посреди нашей комнаты чуть меньше пьяный Жеволупов: у вас все на месте? Да.

А кровать вот эта пустая? Это? Ну это Нинкин. А где он? Не знаем. (Идиот. Мог только очередь в столовой занимать на

всех, спорил в очереди с парнем, получившим золотую медаль по философии из рук ректора.) Да прибежит он. Ладно. Ушел Жеволупов. Только спать, чуть пригрелись, опять свет — не пришел? Нет. Одевайтесь. Куда?! (Карюкину вставать в шесть утра!) Ваша комната идет со мной. Да за каким хреном?! Да за таким, что туда дальше вдоль берега вытащили утопленника какого-то. А из лагеря нет в кровати только вашего. За это утопленника понесете до машины, заодно посмотрим: ваш — не ваш.

Мы зевали, из коричневой “скорой помощи” подали носилки, мы шли за Жеволуповым по берегу. Да не холодно, встретить бы Нинкина. Ночь оказалась заполнена людьми. На ночном песке, я привык видеть его пустым — в двадцать три начальники отрядов разгоняли влюбленных спать, — лежали люди. Они лежали скопом, на одеялах, на тряпье, завернувшись в одеяла, тряпье, не разжигая огня, безмолвно, тихо пошевеливаясь, словно людей шевелил ветер, — мы обходили их, как больных, мешки, рюкзаки, особо не вглядываясь — они здесь жили, этого мы не знали, куда шли, — в море переговаривалась и шлепала руками пара, и было не видать, в трусах или нет, но, конечно же, казалось, что бабы и без трусов — все вот это, песочная ночь, мешалось с тупым нашим походом, с бессонной тупостью, оставляющей в башке место только для одной-двух жвачек, что не хочется уезжать, быстро как кончилось, и особенно с тем, что уезжать уже послезавтра и ничего, что вот сейчас и что будет вот сейчас, уже не имеет значения — можно сказать: этого нет, всего этого. Мы остались в своих кроватях спать. Хоть идем куда-то. На юге это совсем другое дело, как верно заметила в ответственный момент девочка из наших лагерных знакомых, зашедшая в Москве продлить отношения — и это отношение продлилось ровно до этого замечания, после которого все увидели, что в одном ее глазу зияет слово “обязательства”, а в другом слово “ответственность”, —



никто даже не пошел ее провожать. Сейчас преподает философию в университете.

Мы прошли километра полтора в темноте между скалами и водой, поднимаясь, спускаясь, тропинка между камней, и пришли, там жгли свет — от фонаря, наверное (я не помню), сидели на корточках люди, милиционер, доктор щупал. Как всегда бывает, народ расступился так, что всем хорошо стало видно. Баба лежала на спине, чуть раскинув руки, головой к берегу, будто загорала. На одной ноге висела резиновая тапочка-вьетнамка, зацепившись единственной целой лямкой меж пальцев. В отдельном купальнике, светлый и узор, верх разорван, и одна грудь наружу — ничего так, голая грудь, хотя лежа любая грудь так ничего, то есть смотрелась так, как грудь живой. За пояс зацепилось какое-то мокрое тряпье. Конечно, надо было смотреть в лицо, бывают в жизни такие случаи, когда настолько припирающее “надо”, что твоими “хочется — нет” вытирают зад. Все равно придется. Лица там не осталось. Волосы длинные, космы остались, а из морды торчала красная и синяя шишка размером в полбуханки черного — когда баба умерла, вода ее подогнала к берегу и била о камень башкой, и башку раздуло на правую сторону, сожрав скулу, глаз, нос и сильно наехав на губы и все остальное — лоб еще кое-как устоял. Получилось удачно, на лицо можно не смотреть, раз его нет, — я смотрел на голую грудь, как на живую, на живот, ноги, слушая, как официальные лица, как умственно отсталые подростки, нудят друг другу одно и то же, встанут, сядут, и заново: а кажется, она отдыхала с мужем, а на юг приехали после свадьбы, а там еще были какие-то художники, а собирались ее рисовать, а чего она пошла днем на скалу, а или они поссорились с мужем, а или там ее рисовали, а голова, наверно, закружилась, а нет и нет, а муж бегаёт по берегу ищет, а рыбак (сидел тут на камне) смотрит — кого-то там трет о камни? Они переступали,

присаживались, подымались и еще нудили, словно ждали, что баба проснется и даст им на водку.

Хохол, ничего не делающий даром, отпятился подальше, снял кроссовку — и ласкал пальцем незримую болячку на ступне. Я задумался. Думать ночью тяжело, но я догадался: понесем-то, конечно, мы все без исключений, но кто будет “за руки за ноги” переключивать на носилки? Те, кто окажется ближе, когда главный очнется: “Пора!” Я тотчас отшатнулся, спасая ладони от хватки мертвой кожи — это не заспишь и не отмоешь. Я не боялся. Просто все не как всегда. Все било в одно: без сна, отъезд, жуткое, быстрая радость южного моря, прощаясь с ним, русский человек прощается навсегда, чужие люди, те, что существуют для тебя столько же, сколько мертвые, тяжелая голова — Карюкин зазевался и грузил с кем-то он, а мы подхватили, подняли и понесли, головой вперед, на голову ей что-то набросили. Кто-то светил фонарем, тяжело получилось, узкая тропинка — вчетвером не возьмешься, а вдвоем тяжело, тепло, что ли, надуту водой? Хохол крихтел впереди, я вторым, и полуоторванная тапочка-вьетнамка качалась и резиново мокро стучала о мою коленку — особенно тяжело, когда хохол тащился в гору, я подтягивал свой край носилок к груди — вьетнамка оказывалась под носом. Карюкин ошалело бежал следом, за-скакивая слева и справа, но камни не позволяли ему вцепиться — не помочь.

Мы тащили без разговоров, вдоль моря, мучительно и быстро, не оглядываясь на оставших служивых, почуяв ясность: донесем — сразу отпустят, во мне уже проснулась и потянулась обычная в пишущих пошлость “как я потом расскажу”, показалось — долго, наконец, выперли на пляж, шуганув шевелящуюся там мусорку, по муравью набежала зевающая толпа, отдыхающие заглядывали в носилки, как в затопленный канализационный люк, Карюкин вцепился помогать хохлу, Миша Смирнов — мне, я открыл рот, чтоб: хохол, заворачивай, вон

“скорую помощь” перегнали к спортплощадке, но хохол с Карюкиным резко присели, бросили носилки, и нам с кабанообразным Смирновым пришлось тоже.

Бородатый мужик в черных трусах, что шел-шел, интересовался слева от носилок, грубовато сказал им, хохлу и Карюкину, что-то не разобранный мной (хочет, чтоб мы отдохнули? но грубо, будто мы не так несли, а что вообще он командует?), а потом я понял — это муж ее. Теснящаяся толпа впиалась ему в спину, муж закрыл собой самое интересное, он сбросил попону с ее головы и сидел, низко согнувшись к носилкам, не делая особых движений, так, слабо что-то трогал — и по этим редким буквам все читали его мозги: так, значит, он бегал эти часы, как заводной, по побережью и спрашивал, спрашивал, глядел, глядел, мы хорошо знаем, как это обычно, когда ждешь-ищешь любимую: мысленно терял навсегда и совсем не верил, не может ведь такая прочная, наша, уже обкатанная жизнь так плево кончиться среди солнечного дня у спокойного моря, сколько раз узнавал свою невесту-жену издали и облегченно хмыкал: тьфу-ты, наконец-то! но нет — не она, но даже эта ошибка успокаивала силой пережитой ошибочной радости узнавания, следующий раз — точно она, что он ей скажет, когда найдет, как все просто и смешно объяснится, как они будут много после вспоминать, а сейчас он строго скажет, чтобы больше так не делала, никогда, как опишет волнения и, украшивая — муки, и что почувствовал в тот момент, когда, а что в другой момент, когда, как защемляло сердце и вдруг щекотно намокли глаза, то единственное, что ты можешь рассказать только единственному человеку, и она пожалеет его разбитые ноги, посмеется его страхам, полюбит еще больше за отчаяние, его нечаянно обманывали свидетели: похожая стояла на автобусной остановке, сидела с двумя мужиками в кафе под спасательной вышкой, уехала на катере в Пицунду — все невероятное, но он находил бетонно правдоподобные объяснения

каждому всему, пусть она будет и там, и там, и там, пусть только будет, и ждал, когда вернется катер из Пицунды, и следующий, и следующий, выучив расписание, задумываясь, а не сидит ли она дома, вернувшись автобусом, прохаживая лишнего на рынке, плохо себя почувствовав, а скорее всего, носится и ищет его так же, как сейчас он, просто разминулись, и держит их сила всей будущей жизни: дом, дети, общий век, опершиися на короткую священную историю от “а помнишь, когда я тебя первый раз увидел” до “а как ты поняла, что...”, записки, взгляды, ночи, которые пытаешься повторить всю жизнь, и никогда не получится, только во сне (ведь он не думал, сколько стоит переправить в Москву покойника и делать ли вскрытие!), он то отвлекался на попутное — встречных знакомых и цены на чебуреки, то вдруг осязаемо сильно его пронзало: чем он на самом деле занят и что ничего не выходит, душило предчувствие топчущей все его прочности правды, а следом подымало столько же точное предчувствие счастья и невозможности сокрушить их начавшуюся жизнь — а из камней, из тьмы выперлись четыре человека, связанные ношей, и толпа, и покачались дальше мимо, его не касаясь (но ведь не могло все кончиться так быдловато буднично!), не окликаая его, ты можешь не ходить за ними, он заставил себя (он же всюду искал, почему же так же бесполезно не посмотреть и это?) подойти, бегло посмотреть и убедиться, что это что-то там, дикое, не его, он даже в подробностях не поймет, что это там, несли что-то, ему потом расскажут, ему сейчас ни до чего, у него свое, не это, убедиться и побежать дальше, но пошел за носилками, как на веревочке, следом, и рывком впилося и протиснулось меж тесных ребер и продавливало с каждым шагом внутрь — все, вот (хотя все это не так, пока он не крикнул: “Стойте!”, и можно пожить прежним, можно еще не кричать), вот это, не только касается его, это просто — его, твоя, это просто ребята взяли поднести, а ты — хозяин, и он, мертвея от стужи, вложил

руки в незримый мундир (должен выйти к народу), застегнул на ходу прыгающие медные пуговицы, каждую, насунул фуражку, покашлял, пробуя командирский голос, а потом разомкнул уста и велел стоять этим скотам, как они смели?! касаться — обманно надеясь (что не она), он не гладил ее еще, а только угадывающе-неугадывающе трогал, ведь то, что он видел под волосами, — надутый кровью и гноем валун, — не могло быть его ее лицом, накачанные водой избитые конечности тем, не могли быть тем, что — купальник? но ведь так темно, он расправлял меж пальцев тряпье, сбившееся вокруг ее пояса, там должно быть то, что он помнил точно, была в чем одета, и пытался поймать на мокрую ткань лунный свет, и нет, ничего не понимал, пока не вспомнил одно, вывернул ей руку и нашел пальцем на локтевом сгибе родинку и нажал, словно кнопку, и тотчас в его мозгу вспыхнула яркая лампа, и свет ее с запахом медицинской подсобки, пробирки, ваты ударил всем по глазам, мужик сжал ее нагие плечи, как живое тело, только его, которое видно всем, схватил, словно ее пыталась утащить от него волна, а он не давал, в толпе лопнула пружина, качнулся и стал размахивать людей по сторонам невидимый водоворот — тот, кто находится всегда, протиснулся к сидящему мужу и сказал то, что говорится всегда: дескать, пора ехать, парень, людям надо домой, приведя в рабочее положение спасительную ступеньку в сторону несущественных вещей “есть ли в морге холодильник”, “как это случилось” и “где вы думаете хоронить?” — нам кивнули: беритесь. Мы дотащили до ярко освещенного проволочного забора и почему-то небрежно, махом вбросили носилки в задницу “скорой” — и никто не дернулся: вы что? — даже этот парень. Мне хотелось двинуться, что-то сделать, я почувал сдавленно, но лишь бы не одному, остальные застряли у машины, что-то их заставили доделать. По забору пластались зрители. Я сел на лавку и дергал головой, поглядывая на бабочек, большие, как воробьи — не видел ни-

когда, и вскочил, заметив, что под досками лавки скользит блестящая кольчатая многоногая тварь длиной в ладонь и толщиной в палец. Я подошел к забору, на свет — мы никогда не ходили так поздно, и теперь про все виденное казалось: так не бывает — асфальтовая площадка, где обычно футбол, пуста и разглажена тяжелым светом, свет добавил в деревья золотистого гнилья — деревья повисли, как водоросли на невидимых сетях, зрители висели на заборной сетке, зацепившись пальцами за ячейки — их заперла география, не выйти, пилить до калитки — долго (они старые) — не нажмутся, пропустят какие-то мослы и шкурки, они повисли на сетке в пяти шагах от “скорой”, в шаге от меня, но ничего не спрашивали — люди пугали. Сугробом, грузный старик — стоял первый, седые волосы празднично зачесаны назад, пузо, толстый халат из фильма про знатную жизнь до земли, старика магнитила смерть так, что заборная сетка впечаталась в лицо, бесцветные глаза уставились в “скорую” — меня не видел, безумным абсолютно, спрашивающим взглядом, и еще старухи, немые, седые, богато одетые — отчетливо и резко, как не бывает, так не бывает, и это очевидно всем, так, нам кажется, снимают кино, я оглядывался позвать: посмотри, хохол, да кто-нибудь! но, как в плохом сне — все заняты, все отвернулись, вижу только я, увижу только я, мне помнить. За три недели в спортлагере мы узнали всех, кто воспитывает и кормит, — старики и старухи были не отсюда, до ближайшего санатория полчаса пилить вдоль речки, но не могли эти кости дотащить, вид их — только из постели, спят в шаге отсюда, словно тайный подземный дурдом, из-за ночного переполоха охрана зевнула, несчастные вырвались, пошаркали меж заборов, добрались и приклеились к заборной сетке, привлеченные запахом смерти, но не понимая, что же их приклеило — все стерло бы слово, несколько звуков, я встал вплотную, хамски в упор, разглядывая старика, как грязь на ладони (внешне это так, словно я презираю дешевку, тягу на

падаль, но разве на самом деле), мог пальцем потрогать ему выпученный глаз, не разогнув руки, — они молчком, не видели меня потому, что я стоял по другую сторону забора.

Хохол крикнул “идем!”, мы оказались в домике женской сборной по футболу, мы отчитались: ха-ха, “мы только спать, а тут включается свет...” — чай, выпили по таблетке валерьянки, и домой — деревянные домики, обросшие кустами, легкие дома из крашенных досок, без удобств и замков — молчком, что-то почуяв в середине темноты. Разобрали постели, я слева у окна, хохол справа, Карюкин у открытых дверей, жарко, двери не закрывали — домик стоял вплотную к склону горы, за дверью не виднелось небо, а черная земля и кусты, Нинкина так и нет (потом выяснилось: сидел с альпинистами у костра, песни заслушался — я потом преодолел отвращение и уточнил: а может, все-таки баба там тебе какая-то нравилась? Нет, из-за песен. Хорошо пели. Ничего не пил. Здоровый человек?), упали спать, каждый остался с тишиной, лично я не спал, пока Карюкин отчетливо не выматерился со вздохом, вскочил, хлопнул дверь и припер ее тумбочкой, а на тумбочку сложил все чемоданы. Я приподнялся, запер окно на крюк, лег — тогда уснули. Без смеха — мы решили каждое лето ездить в спортлагерь. По две смены. Понятно, что больше никто из нас там не был.

Следующий — оказался паскудным днем. Чуть и муторно поспавшие, мы влезли с хохлом в лодку и в похмельной муке от каждого движения гребли от скалы до скалы, болтались от буйка до буйка вдоль купальщиков. От однообразия и идиотизма занятия болела башка. На корму напрыгивали футболистки. Широкие, толстые спины, водянистые животы, кудрявые разводы мокрого пушка под пупком и внизу спины, сползающие трусы, жир, прошитый синими жилами — коротконогие, голые тела, заклеванные родинками, вислые груди. Косы расплелись и жидко растекались грязными сгустками вокруг плы-

вущих плеч, бабье прощалось с соленой водой и питанием по профсоюзным ценам — с гиканьем сигали с лодки, взрывая воду, брызгали в нас солью и так все раскачали, что меня (еще напекло) замутило. Хохол разрешил: иди. Без жалости. Чтоб не мыть облеванную лодку. И погреб меня высадить в стороне от начальственных глаз и пляжа. Я пробрался в домик, кровать, ложись, закрыл глаза — и посмотрел. Немного времени я не видел ничего, пригляделся и заметил невдалеке покой, казавшийся наслаждением, я хотел подойти, но вперлось уродство по фамилии Жеволупов, как так, наш дежурит отряд, я говорил глухому: плохо чувствую, тошно, погнали разгружать фургон — привезли холодильный шкаф для столовой. Восемь человек, кирпичные морды, свекольные плечи, пытались спустить холодильник наземь по трем доскам — не удержим, и досками по зубам даст. Кладовщица с усиками, в цветастом халате. Перевернем набок и сам съедет? Померяйте. Сколько? Нет, за крышу зацепит косяком. Разбирайте на части. Ковырялись, крутили — не разбирается. Если только ломом. А если по краям поставить трех здоровячков и все же по доскам? Ноги обломаем. Молчат. И досками по зубам. Не удержишь, конечно. Мной уже можно мыть полы. Липкая тишина. Трещат твари, которых хочется назвать цикадами. Жеволупов ухватил подбородок, как стакан. Все лупятся на холодильник. Да разбейте его на хрен и выбросьте по кускам — надо отпускать машину. Как в армии. Подряд три часа. Хохол спал, по-особому мертво вывернув локти. Я без “ну все, до свиданья” покидал в сумку тряпки и ушел в Пицунду, я не хотел ехать автобусом скопом со всеми, купившими билеты в поезд на Харьков и Тулу. И заранее занять место. В тамбур пришла дышать Лена (по-хорошему бы загар и очертания зада, обойдемся, ладно?): вот, буду с ней ехать-говорить, но по второй полке протянулось что-то длинное в коротком сарафане — из нашего отряда девочка Воробей, город Ясногорск, ее видели только в столовой, купаться



уходила далеко, чтобы одна. Хохол сказал: потому, что сильно волосатая спина. Осенью сказал. А летом я поменял свою нижнюю полку на верх, напротив, она протянула мне яблоко из свежескупленных, только помойте, да, ладно, я протер и сожрал. Все подзаснуло, она перелегла ко мне на полку, чтоб не кричать сквозь колеса и гудки, не будить соседей. Полка сама собой сделалась в два раза шире. В глазах проводника базарной национальности я выглядел мастером. Все близко и ощутимо, но тут заболел живот и с грязного яблока меня понесло в тридцать три струи, всю ночь я летал от купе до туалета: рвать и метать, стонать — восхищенный проводник думал, что я бегаю мыться, с девушкой мы устраивали будущее (ее общага на Ломоносовском, от нас трамвай плюс троллейбус), она читала короткие стихи — длинные я слушать не успевал. Простились на рассвете, и я, как дерьмо — зеленого цвета, вывалился на харьковский перрон, вслепую отстоял парализованную очередь в кассу на Старый Оскол, какие-то там улицы города, и всю жизнь, как мне показалось тогда, медленной скоростью, посылкой тащился до Валук — вечером в городе (еще жила моя бабушка, тополя, побеленные до колен, жареные семечки в мешках) навстречу двоюродная сестра, она катила красную коляску — в июле у меня родился племянник Леха, из него решили растить таможенника или нотариуса.

Валуйская смерть была дальней родственницей (хотя и жизнь там была другой), она жила не у нас, но на глаза попала, во сне ее встречали запросто, как соседа в магазине в час, когда подвозят хлеб; выходит, сон для смерти — близкое место, раз так часто она приходила туда, значит, засыпая, мы ходим неподалеку от ее дверок. “Вижу я Комсомольскую улицу, захожу в вашу хату — печка развалена, стоит мой брат, что помер, и протягивает мне пригоршню вишни. Я проснулась и сразу: надо тетя Шуре позвонить. А она умерла ночью”. “Баба Аня наладилась к Людке ходить по ночам, ходила-ходила

кругами, а потом вдруг: “Говорят, ты к нам собираешься? Ты это брось!” Людка тут не сдержалась: “Что это ты ходишь ко мне? Посмотри, что твой внучек Женька (жил на две семьи. — *Прим. автора*) вытворяет. К нему сходи!” Баба Аня на два года перестала сниться — обиделась”. Ее хоронили — дочь одела ее “на дорогу” по своему вкусу (баба Аня сурова, лишь мертвую посмели послушаться), тотчас она принялась сниться: “Вы почему такие твердолобые?! В каком платье я приказала хоронить?” Дочь дождалась okazji — умерла родственная нам баба Маруся — ей положили в ноги передачу, то самое платье: на! и баба Аня про платье замолчала. Вещи туда передавали часто, мать, ничего не жалея, похоронила дочку в туфлях на высоком каблуке, “Пожалела ты три рубля на тапки, а мне здесь неловко ходить”, ближайшим гробом передали тапки — на родине смерть давала себя немного разглядеть, и про то страшное, что виднелось сквозь ночь, камыши и вишневые деревья, не скажешь “пасть” или “морда”, она была нашей фамилии. И я знал, и, может быть, еще буду знать, что на улице Комсомольской вечность я не буду чужим — сползутся старики, подымутся древние веки, примолкнут лавочки, рентгеном-ультразвуком-томографом просвечивая прохожего, пытающегося заглянуть в окна несуществующих домов под камышовыми крышами, и качнется голова, припечатав: это наш. Так, когда перестала жить моя бабушка, я сидел, сидел, нечего мне было делать, все делали другие, чужие разговоры: “Он повалился на могилу матери и заплакал, и так долго пролежал, что простыл и всю жизнь ходил согнувши”, “много водки не давать, а то как копачи гроб понесут, скользко”, одно доверили дело — провожал до хаты читалку в половине первого ночи, тащил по льду ее и трехсотлетний псалтырь с посвящением на первой склеенной странице живому Александру II и кричал ей, кто кому кем в похоронной публике в родственно-имущественном смысле, бормотала: “Часто бывает сглаз. Вот недавно девочку отпевала, маленькую сов-

сем, плакала и умерла — может, и сглаз. Как, может, и я по молодости свою сестру, она в селе у учителя в прислугах жила, я прям подумала: “Какая же у нас Олька здоровая”, а у нее лицо круглое, щеки как вырезаны, как из миткаля, а она стала сохнуть и умерла. Правда, там ее один железным притыком избил...”, некуда смотреть, нечем жить, собственное ничтожество за то, что уехал, и только раз, когда привели глухого старика, ему кричали про всех, и про каждого он понял, только коротко запнулся на мне, его подтолкнули: “Ну, Саша, маленький Саша”, и он понял: а-а — и поехал дальше, я, тратящий четвертый десяток, небритый человек, замерз, как только понял: я останусь здесь навсегда только тем, кем уже не буду.

Бабушке перед дорогой приходили сны. Последний сон, страшный, она не рассказала никому, наверное чтоб не сбылся. А первый рассказала: новость. Ей приснился муж — мой дед, отправившийся в свою дорогу в 1942 году в районе Курска, пропавший без вести — дед не снился давно. “А все-таки приснился” — ходил по большой, но тесно заставленной квартире: “Давай будем убираться в моей квартире, чтобы вместе жить!”, она радовалась: выходит, переехали в город (а то всю жизнь в хате-столбнянке), и по-молодому забыто позвала его: “Федя, здесь кругом одни ящики...” Дед, коротко стриженный телеграфист, как-то смутился, опустил руки: “Это товарищи мои. Они уйдут, когда ты приедешь”. Бабушка ответила: “Нет пока. Подожди еще”. Она пересказала и вывела недоступное мне: “Значит, его похоронили в братской могиле. Их там всех вместе покидали”. Я представлял “пропадание без вести” взрывом — пыль, теперь я знаю: он ждал ее в большой квартире с товарищами, теперь они живут вдвоем. Мне не снятся.

Потом, после всего, тогда, только доехал грузовик, я, чтоб не идти домой, не видеть, чтоб не уничтожить следы, не отнестись лопаты, лавки, столы, не чистить ковры, я прыгнул с грузовика, поправил лисью шапку, пошитую из енота, и убежал

в редакцию районной газеты “Звезда” города Валуйки, чтобы мое облегчение связалось с чем-то другим, не с выносом тела, — убежал к людям, помнившим меня молодым, год, стиснутый школой и армией, — вусмерть пьющие люди, презиравшие алкоголиков, падавших под кустами в Агошковском лесу. За годы между моими приездами там не менялись пиджаки, прически, настенные календари, фотография ответственного секретаря, летчика, деревянная нога: “Умер Шатский Петр Сидорыч — коммунист. А ты посмотри фотографию похорон. Гроб несли одни члены ЛДПР!” — принес бутылку? больше не интересовало ничего, я умер.

Я не пил и Гена Пазюк. Нас приняли в один день, Гена всплыл с сахарного завода, от контрольно-измерительных приборов. Фотографировал “передовиков” в заводскую историю и “заснимал” для души пчелу на одуванчике, листья, мордастых девушек нога на ногу на диванах — его творчество шагнуло за пределы (в Валуйках шестнадцать тысяч жителей) — иди в газету. Гена невеликого роста, черноволосый, нос клювом, смеется все время, очки, один костюм, две рубашки, отучил меня бояться бедности на три года. Я плакал: нет денег, мало, не будет никогда. Замуж выходит сестра — что подарю? На мои слезы Пазюк рассказал: его сестре для начавшейся семейной жизни понадобилась кровать, машину никто не дал — Гена потащил кровать на горбу с соцгородка до Раздолья. Я представил муку и позор: белым днем кровать, на спиняке, с соцгородка (название района, хрен знает почему) мимо молочного комбината, ж.-д. больницы, через переезд у разбомбленного немцами элеватора, вдоль реки мимо Зацепа, налево у дома слепых и на крутой мост к домику Петра Первого, мимо хатенки 1680 года и бывшего штаба Первой конной армии, до “шкабадерки” (среднее учебное заведение крановщиков) и прямо на Раздолье — мне до этого далеко! — я на три года забыл страх нищеты, и только в Москве эта картина перестала смирять.

В Москве я дошел от метро до ворот Даниловского кладбища, по грязи, по воде, по асфальту — свежо вымылись желтые ворота кладбища и светло от оставшихся листьев, последняя зелень, мокрая взъерошилась на холмике, и две старушки за стеклянной щекой остановки, рельсы впереди уткнулись в туман, рельсы назад растворились в тумане, идет человек, качнул вверх рукой, и с хлопком расцвел над ним кусочек черного неба — зонт, приехал трамвай, полупустой, промокший и замерзший, он поскрипывал, за окном серая кожа брусчатки и качается мир. Как-то все это тогда чисто, просто и очень грустно, будто осень — конец, из-под рухляди последний осмысленный взгляд: я была.

Гена жил с бабищей, она рожала белобрых сыновей и Гена рассверливала башку. Когда сверло прошло череп насквозь и у Пазюка начали сохнуть мозги, художник и сатураторщица сахарного завода развелись. Свободный Гена, несчастный отец, завернул в кино — его бывшая уселась точно перед ним (так сошлись билеты) под руку с неизвестным ублюдком — Пазюк встал да пошел в комаристый валуйский вечер носить веточки в новое гнездо, метаться на велосипеде по детским садам, сгребая халтуру: закажите фотографию вашей(его) малютки — жить особо негде, мать доживала на огороде в Солатях в хате с земляным полом, неожиданно приняв неизвестного деда — там разгорелось, там грело кого-то скупое, скромное пламя, куда там вваливаться с дождя давно отрезанному сыну, которому хорошо за тридцать, ему отдали все, что могли, и готовы отдать последнее — но разве за этим протянешь лапы? Гена поболтался, и его подхватила завуч средней школы номер два, что-то кудрявое, мышье, с тоненькими губками и двумя взрослыми сыновьями — на срочной службе в армии и военном училище.

Завуча задушила идея: дети пристроены, руки развязаны, свобода в стране — деньги, надо зарабатывать деньги. Зарпла-

та — нет, с зарплаты платятся алименты Генкиным родным пациентам — и Пазюк ухнул, как в овраг, в отхожий промысел — там, во тьме, выходными и вечерами собственноручно строился гараж, тархтел ржавый “москвич” (все, что выделила прежняя жена из совместно нажитого), катал с товаром по деревням мотоцикл с коляской, затевалась пасека, пахло подсолнечным маслом валуйского маслоэкстракционного комбината, грузились испачканные коровьей кровью свертки, передавались “на Москву” мешки сахара, на дневной свет изнеможенный Гена вынырнул в джинсовой рубашке, наши алкоголики проснулись: “Гена, ты такой прикинутый!” — “Это вы еще не всё видели!” — ему нравилось, там нарастал жирок.

Чтоб взять капитал рывком, решили доглядать деда. В валуйском слове “доглядать” ударение падает на букву “а”. Доглядать. Завуч, как математик, научно выписала в столбик всех одиноких, готовых посмертно отдать в собственность хату за догляд, и вязала в узелок желаемое, но трудносоединяемое, требуется: дед (живут меньше бабок), кирпичный (или сруб, обложенный вполкирпича) дом, в городе (а не в паршивой Малоездоцкой), газовое отопление (лучше магистраль), вода в доме, постарше (поближе к могиле) — мечты сошлись, и на пересечении золотым рублем сверкнул ветеран ликеро-водочного завода верзила бородатый дед Елкин, дом под железной крышей на восемьдесят миллионов рублей какими-то ходившими в тот момент деньгами (двенадцать тысяч долларов, ну-ну...), за новым мостом налево (в сторону детской стоматологии на Казацкой), огород, сад. Восемьдесят девять лет! Дед похоронил не всех (только бабу и сына) — в Харькове три дочери, но они твари: когда у деда Елкина на губе раздуло опухоль, он поехал облучаться в Харьков — ни одна дочь не пустила жить, и он торчал в гостинице. Дед решил — подпишу дом чужому, кто доглядит. Вот еще опухоль, отметила завуч, всем говорят поначалу “доброкачественная”, знаем, — и подписалась с Пазюком

под “полным обеспечением плюс похороны за свой счет”, и начали ждать прибылей, балуя деда Елкина домашней сметанкой и козым молоком, чтоб ему нравилось, чтоб не передумал.

Радостного ожидания не выходило: дед читал без очков газеты, возился в огороде, неумеренно много ел (Гена катал три раза в день на велосипеде с кастрюлями и бидоном и горбатился в огороде), завуч к затратам на жратву плюсовала задравшись, как назло, цены на гробы, копачей и поминки, спрос и цены на валуйские дома поскромнели — беглецы с Севера, где растаяли баснословные северные надбавки, и не желавшие присягать Украине военные отставники уже купили все, что хотели и могли, молодежь строилась сама, капитально и трехэтажно, объявлялись неучтенные дедовы племянницы и ныли дурными голосами: “Вы, конечно, доглядайте, но насчет имущества пусть смотрит суд!”, а дед Елкин месяц за месяцем вредил — жил. Призадумывался: может, жениться? — завуч просто взорвалась: “Только попробуй! Цыганям отдадим — они тебя живо досмотрят!” Я приезжал в Валуйки раз в год: “Гена, как твой дед?” — “Живой, гад!” Среди лета приперлись дочки: “Хотим проверить, есть ли у нашего папы теплые вещи”. Пазюк вынес два свитера — они забрали и уехали в Харьков. Дом, шальной капитал — разность между нынешними затратами и будущим доходом ежемесячно усыхла (и многих валуйчан радовало это, зрители кричали деду, как марафонцу: держись, давай еще! догляданью чужими людьми за дом мало кто сочувствовал, а чужим доходам не сочувствовал никто), Гена изнемог, он мечтал из дедовой собственности только о ружье, но в ружье, как только деду Елкину исполнилось девяносто, особо посланные люди просверлили дырку, делающую невозможными выстрелы.

На догляде дед Елкин упорно прожил четыре с половиной года. Завуч нашла событие, равное по тяжести потерь и длине: “Как Великая Отечественная война”. Он, может быть, из вред-

ности жил бы еще, но дочери зимой сняли с дедовой сберкнижки три пенсии (пенсии не тратились, в договоре прописали “полное обеспечение”) — дед Елкин огорчился и стал падать, но вредил до конца — умирал месяц (“Ел до последнего очень хорошо”, — добавлял Гена) и, как ребенок: боялся оставаться один — ночевали на пару с Пазюком. Деду Елкину не лежалось в кровати (“Значит, его тянет земля”, — предчувствуя свободу, соображал Гена), каждые полчаса Елкин звал: “Посади меня”, — Пазюк просыпался, подскакивал и, надрываясь, ворочал грузного, тяжеленного длиннородого деда, как колоду — приподымал и держал — дед Елкин утыкался Гене головой в живот — так они сидели, большой и малый, посреди ночи, за мерев, но фактически двигаясь в противоположные стороны.

Бабки, обмывавшие мертвого деда, отметили у него покраснение правой руки и правой половины груди и сделали заключение: инсульт. Умер Елкин, как и жил, — в страшный убыток: в январе, в самую стужу — могилу копать желающих не было ни за какие бутылки. Экскаватором с осени нарыли могил на всю зиму, но дед распорядился положить себя с женой и сыном, посреди старых захоронений — только ручками долбить и копать: лом, топор, лопата. Десять утра, сегодня хоронить, а могилы нету. Гена взвыл и понесся на ликерку: ваш же ветеран! Ликерка: Елкин? не помним, это ж сколько лет прошло, поэтому дали только двоих. Еще с “Горгаза” согласился работяга из уважения к Пазюку. Все привлеченные ковыряли таксыяк, один Гена бешено грыз мерзлоту — своими руками прошел три “шага” вглубь — на три штыка.

Вот и выловили рыбу. Поминали деда Елкина: раз — дочь с мужем, два — дочь, три — двухметровый зять третьей дочери, Гена-обмороженные руки, синюшные ногти и завуч и еще какие-то сопливые внуки. Посидели и в три часа ночи перешли к рассмотрению вопроса: чьи будут старые часы с боем — кто сколько к деду ездил, кого он больше любил, раз — по морде,



два — по морде, муж дочери, чтоб переспорить двухметрового зятя, схватил дедово ружье и пальнул — взорвалось в его руках! — дети обороняющихся в ночных рубашках понеслись по январю к соседям звонить “02” — взрослые рубанули топором телефонный кабель, мигом покидали вещи по сумкам и унеслись, стуча копытами, на станцию — муж и зять уже привлекались на Украине к уголовной ответственности — им не понравилось.

Завуч и Гена, не шелохнувшись, как две сосульки, остались за накрытым столом, внутри пойманной рыбыны и ночи: дом, сухой погреб, летняя кухня, восемь яблонь, десять соток огорода, вода, газ, близко рынок, оформлено в собственность — день победы. Пролито столько пота и крови за полторы тысячи дней-ночей. Это их дом. Хозяева (“а” — ударное). Разогнуться и все кроить по себе (то есть — жить). Жить.

Прощайте, до свиданья, счастливо.

Жаль, что этим не кончилось.

В перерыве никто не ушел, и зрители продолжили просмотр кинофильма. Во второй серии развернулись приемыши — пасынки Пазюка, здоровые такие, моторные ребята — полторы мозговые извилины на двоих.

Младший, сломав армию (дважды едва не сев в тюрьму за длительные самовольные отлучки, Гена с завучем облизывали всех военкоматских, вздрагивали от ночных звонков: опять сбежал?), женился, сидел на съемной квартире в Москве, кушая и тратя, но не работая — завуч слала ему деньги, Гена таскал к московскому поезду неподъемные сумарики с продовольствием, большие, словно подушки молодоженов. Старший бросил военное училище, приехал “подыматься” домой, купил заметный для Валукет автомобиль БМВ — и разбил в металллом на Зацепе. Но приемыш не стал размазывать сопли по лицу, а огляделся и смекнул: можно хорошо положить в карман на поставках в Белгородскую область дешевого украин-

ского бензина — бензин, так совпало, возили хорошие друзья-сослуживцы. Он собрал по Валуйкам немало денег под большой процент, перекинул сослуживцам-друзьям — в той стороне что-то сразу лопнуло, и навсегда пропало изображение и звук.

Приемыша вызвали вечером поговорить: деньги. Он пытался показать свои договора и расписки, в ответ ему показали что-то такое, что “Гена, мы должны продать квартиру!” — зарыдала завуч и перестала спать, и — они продали квартиру.

Семья вылетела и приземлилась в завоеванный дом деда Елкина, деревянный туалет рядом с навозной кучей. Но через неделю продали и дом — завуч била ластами, пытаясь поддерживать темп, чтоб Гена скакал дальше, греб, возил, не отвлекался и нагружал, хрипела: ничего, так бывает, не повезло, Васик не виноват, его обманули, найдем на догляд нового деда, бабу — нашли одну в развалюхе (“Так себе бабка, на двадцать пять миллионов!” — прикидывал Гена), но кандидатка потребовала образцово содержать огород, Пазюк постоял на краю этой земляной финишной ленточки (ширина всего метров двадцать пять, но длина девяносто четыре) и почувал: сдохну. Нашли другую, в квартире — мать, подписывай все бумаги, квартиру сразу продаем, при твоей жизни (чтоб наконец перестали пасынка вечерами выводить за гаражи), для тебя снимаем дом, живем вместе, кормим и холим, но бабка уперлась: не хочу доживать с туалетом во дворе, мне холодно, привыкла к унитазу — так, так твою мать, билась мордой об стены завуч, но ничего — знаешь, что: мы поедем на Запад, мы заработаем на уборке овощей в Испании, мы будем собирать мусор на пляжах, в песке попадают монеты и браслеты (в газетах таких объявлений печатали много) — пиши, им ответили почему-то из Саратова: заполните анкету и вышлите по десять долларов с носа, послали, в ответ открытка — давай еще по двадцать долларов на подбор места работы — все стало понятно.

Завуч заклинаяще крикнула: пмж! Мы поедем на пмж: на постоянное место жительства, звони Терехову, он в Москве, все знает, какие нужны документы, — разбуженный, я тупо спрашивал: Гена? Ну на какое на хрен место жительства без профессии, без языка? Завуч: все равно поедем, а ты пока продавай свой гараж, продавай свой “москвич”, давай, давай!

Гена Пазюк (я никогда не видел его грустным и недовольным) вдруг пошатнулся и убрал одну ногу с педалей: как я могу “москвич” свой продать? Чем я своим детям помогать буду? А нечего им помогать, ты вон сколько алиментов им платишь! Или продавай, или проваливай, чтоб завтра наклеил объявления в городе и на вокзале и дал на телевидение и в газету. Гена наклеил объявление на забор у библиотеки, а на вокзале — рука не поднялась, постоял над рельсами, как над водой, разорвал объявление и бросил клочки в железную реку.

Наклеил? Да. А на телевидение дал? Нет. Почему?! Не телефонный разговор. Тогда я сейчас сама приду и дам. Давай, но... Но я... Все равно: продавать не буду. Ах, ты... Дебил! Пьявка! Трах! — удар телефонной трубки. “Ты — дурень!” — сказал пасынок Васик Пазюку при личной встрече. Гена переехал в редакцию и в доказательство, что наслаждается свободой, купил себе магнитофон-двухкассетник: “А что делать, если я не могу без музыки?”

Я думал: почему ему было больно? Что же держало его среди тех людей, там? Страшно остаться одному?

Я видел его пять лет назад и больше не увижу. Последний раз: ну, что у тебя? Гена нашел и доглядал за дом бабку на Пушкинке, двор тридцать восемь на восемнадцать, огород семьдесят пять метров длиной, про дом я не спросил. Что вечерами? Телик и стучу с бабкой в домино. Что бабка? Бабка — молодец, забыла ключи от ворот и самостоятельно перелезла двухметровый забор, который Гена не может осилить. Сколько лет? Всего-то шестьдесят пять. Но — сахарный диабет!

Меня мутит на любых качелях, самолет должен меня выворачивать, и я не летал, пока не приперло (послали в Баку, азербайджанский хан захотел почитать мою запись беседы с прежним азербайджанским ханом, который укрылся в Барвихе, рядом с Москвой, играл в больного, глядящего в землю, жelaющего только — хоть одно доброе слово над могилой! — и всех переиграл, передал и правил еще сто лет, приучая подданных к старшему сыну, ветеран госбезопасности, чтец-декламатор Маяковского, известный изнасилованием женщины-агента на конспиративной квартире, я слетал напрасно — в Баку начали убивать армян, пришли войска, не до меня), я согнуто чистил зубы во тьме половины шестого утра в квартире тестя и тещи на Бутырской улице, собираясь на самолет, и уже тошнило, вдруг проблеск: а ведь большую часть своей жизни я проведу без Шахиджана. Я математически подвигал цифры — да, точно. Меня это поразило в сердце, стало холодно и страшно. Через годы я сумел сказать: он всех переживет. Еще через годы это стало не важно.

Каждый русский житель провинции в прежние годы, приезжая в Москву, чуял странную потерю движения навсегда: точка, ехать дальше некуда. Рельсы уперлись в Павелецкий вокзал и дальше не ведут. Над русским мальчиком витало многое, но последним: в Москву поедешь, Кремль посмотришь. Ничего выше нет. Каждую осень я решал бросить университет и, брызгая бешеной слюной, загибал под носом Шаха пальцы: военная кафедра, английский, долбанутая Светлана Михайловна с физвоспитания, сессия — пять экзаменов и четыре зачета! — курсовая по западной философии, отчет за производственную практику — Владимир Владимирович, ну какая на хрен производственная практика, и отработки по физкультуре, и “здравжелаю, товарищ полковник” в восемь утра?! — я два года как специальный корреспондент “Огонька”, я женатый человек — мне двадцать три года! — да за каким хреном мне си-

деть и потеть, что я не готов ответить по теме “Карл Маркс и “Новая Рейнская газета”, и списывать со шпаргалки трясушей рукой, вздрагивая от окрика, “Революционное искусство 20-х годов”? Мне жить надо! Мне писать надо! (“И поэтому прежде чем думать, что лучше — многопартийность или однопартийность, начнем с того, что решающий этап перестройки пройдет, безусловно, при однопартийности” — так я тогда писал. Нецензурное слово мужского рода. Правда, тогда все так примерно писали.)

Шах в ответ пробивал зачеты, отдельную комнату в общежитии, приносил справки о моем остеохондрозе, чтобы по четвергам меня не ждали вечером на теории и практике печати, где профессор Гуревич полтора часа размеренным голосом рассказывал, что в газете бывает дядя, которого все называют редактором, а есть еще дядя — заведующий отделом, — я в это время на рукопашном бое поднимал ногу выше лба. Шах ходил к декану, объясняя прогулы. Шах водил к стоматологам, окулистам, дерматологам, кардиологам, подвозил на вокзал, ждал после экзаменов. Выслушивал все, помечая на бумажке, переспрашивал: “Все?”, свалив голову набок, как птичка-очкарик, и задавал броневой вопрос: “Александр Михайлович, ваша мама гордится, что вы учитесь в Московском университете? Гордится. Ей будет приятно, если вы получите диплом? Будет. Доучитесь для мамы”.

Шах верил: человеческое желание сильнее атомной бомбы. Это его делало похожим на Ленина (сам Шах считал, что внешне напоминает Маркса). Все можно. Шах показывал. Он мог переустроить любую жизнь. В каждый свой поход в Цирк на Цветном он оглядывался на пороге на безбилетных и тыкал пальцем в ближайшую маму с ребенком: и повсюду — эту маму с ребенком — на первый ряд, на манеж (клоуны вытаскивали гостей Шаха за руки: это наши люди!), за кулисы верхом на верблюде, морковкой кормить цирковых лошадей, за руку

с дрессировщиком: “Медведей сейчас лучше не тревожить, но вам можно посмотреть”, маму с ребенком на чай в примерке у фокусника Кио, в кабинет к директору Никулину — автографы и конфеты, в кафе, на машине по вечерней Москве — это был обыкновенный день Шаха, но он знал — с ребенком этот день останется до гроба. Мама заикалась: “Вы кто-о?” Шах любил про себя так: “Добрый волшебник!”

В июле, в день объявления результатов битвы за Москву, когда на дверях факультета журналистики жалкая бумажка делала пушечное мясо списками на уцелевших и трупы (уцелевшие пили шампанское и весело плакали на маминых плечах, трупы синего цвета отходили, держа спину прямо и сжимая пыльные кулаки, ехали в метро, раздавливая на щеках слезы, качались в трамвае номер 26 к Дому аспиранта и студента на Шверника, погружаясь в горячий бред: ничо! попомнят! будут меня еще проходить на пятом курсе! декан еще побегает за лауреатом и звездой: “Пал Сергеич, шо же вы не заходите?!” — года не пройдет! — видите ли, трех запятых не хватило! — и с заплечными мешками и ручными сумками, пахнущими круглым московским хлебом и колбасой, достигали нужного вокзала и исчезали навсегда), — в этот день Шах приходил на факультет и цеплял рукой, как багром, проплывающий мимо труп, задавал несложные вопросы: пол, возраст, почему хотите писать? Труп молчал, расходуя все силы, чтобы не заплакать прямо на проспекте Маркса (теперь Моховая), 20, у памятника Ломоносова, чтоб дотерпеть до вагонной подушки, труп жестикулировал: не прошел по конкурсу, правды нет — Шах листал в приемной комиссии его “дело”, если в предъявленных на конкурс публикациях что-то шевелилось, агукало и поднимало голову — Шах наваливался на Ясена Николаевича Засурского, декана, американиста, и душил: надо взять, талантливый парень, не хватило полбалла — декан хрипел, пытаясь сорвать с горла цепкие руки и кликнуть секретаршу из приемной (все-

го было две, одна — корова, вторая — единственный опыт удачного скрещивания собаки и человека), елозил ногами по ковру и сдыхал: да на!!! Шах выходил на высокое крыльцо факультета и бросал горсточку праха: “Живи”, — из праха вылетал белый голубь, и Шах с высокого крыльца смотрел, как делает первые шаги заживо сделанный им из осинового бревна студент Московского университета.

Ему написал (до Интернета Шах обожал переписку, телефон, в конце своих появлений на страницах, экранах и радио указывал: звоните, пишите, вот я такой) педераст из Оренбургской области: тридцать три года, нету зубов, живу в деревне, ношу почту. Читаю книжки, да мало их доходит, тянет писать, да не способен. Живое письмо, глаголы, существительные. Что ждало этого сельского оренбургского педераста? Ничто! Бутылка и срамное слово на воротнике. Шах вытащил п-та письмом в Москву, у себя поселил на Егерской, измучил декана именем оренбургского самоцвета, поступил п-та на подготовительное отделение журфака, через год засадил на первый курс, устроил работать дворником и жить в шестикомнатную квартиру на Волхонке (счастливый п-т кухарил для соседей и весело пил), его статьи печатали черно-белые газеты и глянцевые журналы, мужские, женские и профильные, Шах выгнал п-та из дворников и вогнал в штат “Вечерней Москвы” и в хитрое общежитие, плывущее к приватизации (об этом знало только московское правительство) — п-ту надо было полгода пожить не шевелясь — и он собственник московской однокомнатной квартиры (тридцать тысяч долларов США по минимуму — ну почему не я?!) — я много видел таких глиняных человеков, которых вылепил Шах: глухоманистые белорусы, не знающие русского языка и мечтающие о психиатрии, чтоб переделывать людям пол, участковые милиционеры, детские писатели, главные редакторы, клоуны, врачи, певцы, мастера спорта по стрельбе из лука, пианисты, отцы психоанализа и любители

животных, начинающие массажисты, компьютерные дарования, дремлющие в акушерах, — люди, поначалу ничего не знавшие про себя.

Я сперва холодно думал: врет. Мы сидели на концерте, Сергей Захаров — такой певец с оленьим носом, прославленный как тюремный сиделец, любимец моей мамы, и Шах пел: “Каким я его встретил в семнадцать лет, работал в ресторане, из историй вызволял, повозиться пришлось...” Я подумал: врет — Шах протащил меня за пазуху сцены до Захарова: “было? было?” (не упуская деталей, в таких случаях Шах не шадил), и тот стоял навтыжку, и сверху вниз покорно кивал: да. Да! Да и сам я — разве нет? — Шах таскался по исполкомам, выкапывая из-под песка мне жилье, квадратные метры, искал заказы, носил по редакциям статьи, возил к родителям в Тульскую область, перепечатывал рукописи, издал три книги (я только ездил подписывать договора и улыбаться), познакомил с будущей женой, и только вышли на вечернюю улицу: будет ваша жена! — да я ее увидел пятнадцать минут назад, она же днем подала заявление в ЗАГС с одним ублюдком! я шел на ту работу, про которую Шах говорил: да! (может, он угадывал, что мне хотелось), — и главное: Шах слушал. Днем, ночью можно позвонить 269 41 сколько-то там, не видевшись год, позвонить: не спрашивайте ничего, сейчас к вам приеду. В каждом (себе, мне, московском мэре Лужкове) он видел несостоявшегося клоуна. Людям, которые ему нравились или шкурно были нужны, он говорил: “Мне кажется, вы смогли бы стать хорошим клоуном. В детстве никогда не хотелось?” Соглашались все.

П-т не дожил до приватизации общежития, его вышибли за незаконное подселение пожилой женщины, неаккуратное употребление спиртного и высказывания, что я человек немаленький, кого хочу — уволю. Литературу он писать не начал, продолжил пить, со штатных работ его одинаково выгоняли. Когда я начал издавать небольшой журнал “Кутузовский про-



спект”, я дал п-ту небольшое задание. С тех пор я его не видел. Зато в булочной на Кутузовском проспекте человек, по описанию похожий на п-та, просил наличные деньги за рекламу в моем журнале.

Моя мама опасалась, не веря в доброту москвичей: “Сынок, а он не аморальный?”, Шах помогал сотням и тысячам людей во времена, когда не все покупалось, все могли только связи и упорство: суды, квартиры, прописка, операции, образование, работа, телефон, похороны, семья, коротко говоря — судьба. Люди Шаха, отдавая свою судьбу на поправку, плакали: “ВладиВлаиыч, чем я смогу вас?..” — “Бутылку боржоми!” — “Да я... Ящик!!! Двери моей квартиры всегда! Да просто живите в моем доме в Сочи каждое лето!” Шах хмыкал: “Все говорят: ящик. И никто потом даже бутылку”. Шах не ошибался. Я — ни одной бутылки боржоми, хоть божился.

“Ничего не надо. Буду стареньким и слепым, пойду по обочине от Сокольников на Комсомольскую площадь, вы будете ехать на “мерседесе” — остановитесь и подвезите старого Шахиджанияна”. А однажды: “Да ничего не надо. Если только кухню мне помоеете, когда попрошу”. Мы не виделись после этого полгода. Кухню я мыть не буду. Шах попросил прощения. Вы меня неправильно поняли.

Помыть кухню. Внутри меня среди многих людей один считал: Шах обязан делать для меня все. Этот один человек внутри не слышал: “А с какой стати?” Шах подкармливал этого человека, он (и всех, наверное) убеждал: “Если б не я, вам помог бы кто-нибудь другой”. Но внутри меня были и другие люди, совестливые и работающие. Их было больше. Помыть кухню. Многие изделия Шаха батрачили на него впрямую: ходили по магазинам, в прачечную, выгуливали пса, скребли полы, стирали простыни-наволочки, носки-трусы, стряпали, мыли посуду — взамен они получали Москву. Помыть кухню. Шах жил запущенно, сын в армии, жена умерла, внешняя бед-

ность и грязь, поразившая мою маму (бедность и грязь, и особенно дырявые носки, Шах показывал охотно), — сам пауком сидел в чужих бедах, не имея на рубашку десяти рублей старых денег, уборки его, больного и слабого, мучили, и разве стыдно — помочь? — ведь я весело лопатил снег от гаража, пока он грел машину (меня же ночью везти в общагу, уверяя: с удовольствием!), писал заметки для его шкурного интереса. Помыть кухню. Я не знаю.

Бабаев и Шах прожили в Москве, в своих гнездах. Без самолетов, коньков и футбольного мяча, ни разу не увидев Черного моря. Только жизнь Бабаева казалась строительной: он копал шахту, добывал золотые, верные слова для своей песни, копил мудрость — прямо в пасть печи Донского крематория. Шах жил шабашником, бросками, искал золотую жилу, топор Шаха стучал там-сям, ощущение всемогущества поднимало Шаха над ремеслами и дипломами, порядком честного труда, выслугой лет — порядок пинался, гнал волосатого, наглого, в панической обороне затрагивая национальный вопрос и многолетний интерес Шаха к гомосексуализму — и кто переспорил?

Шах из ребенка неясного происхождения вырос в гениального (все признавали!) юношу — пионерским вожатым, руководителем какой-то творческой студии он перезнакомился с будущими звездами советского кинематографа (ленинградцами), а многих из них воспитал. Через наставника и возможного отца Григория Рошаля (и его супругу Веру Строеву, актрису, красавицу) Шах коротко сошелся с монстрами, зубрами, бронтозаврами и сталинскими лауреатами черно-белого кино. В режиссеры (словно “В штыки!”). Шах понимал смысл и опасность желания делать небо: “У вас все хорошо. Я боюсь только, что вы начнете читать философские книги и захотите в режиссеры”.

Нет, Шаха не приняли во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии) — юноша рыдал. Шах ни-

когда не говорил, как он не поступил. Страшная рана. Затянулась, зажила. Но Шах хмуро поглаживал шрам: не пустило КГБ (Комитет государственной безопасности), не простили дружбы с антисоветски настроенными Довлатовым и Гинзбургом. Без конца повторял. Что было потом, в точности мне неизвестно. Работал на радио “Маяк” (километры пленки, Шостакович и проч.), на телевидении (и снова выучил там многих), зачем-то оказался в Саратовском университете (за дипломом, скорее всего), там приплелась любовь с женщиной югославского происхождения, долгая работа таксистом в Москве, женитьба на враче, сын, дружба с клоуном Юрием Никулиным, начавшаяся в львовской гостинице — семь лет они писали книгу (имея взаимоисключающее мнение о том, кто же ее на самом деле написал и кто должен получать больше денег, мнение Никулина перевесило) — актер, клоун, русский любимец стал главной шаховской “плантацией”, основным пробивным устройством таранного типа, народную любовь Шах аккуратно и настойчиво эксплуатировал при жизни (заполучив гостя на Егерскую, Шах через пятнадцать минут вдруг вскидывался: “А давайте-ка проясним этот вопрос у Юрия Владимировича Никулина”, — набирал телефон, переключив на громкую связь, и трубил: “Юрочка! Тут у меня сидит хороший человек Василий Иванович Сидорякин...” — “Привет ему передавай”, — обрыдло подхватывал в миллионный раз Никулин — Василий Иванович Сидорякин краснел и потрясенно оглядывался на задохнувшуюся счастьем жену и гордо заерзавших детей — и обрыдло в миллионный раз отвечал про здоровье свое, жены, собаки, отсутствующие успехи сына, доказывая интимность знакомства), старался и после смерти; пробивание квартиры, журналистика (“Московский комсомолец”, “Советская Россия”), цирк (пробовал как режиссер), студенты факультета журналистики Московского университета — КГБ куда-то делось или потеряло след, и Шах заново шагнул в кино. Это был шаг в бездну:

ставить фильмы в СССР мог человек с дипломом “режиссер кино”, и только. Но Шах поднялся. Государственные постановления значения не имели. Он научился писать куда надо и отпирать кабинеты, в которых “решали вопросы”. Когда Шаху не хватало химчистки, с первого этажа его дома выехал “Ремонт обуви” и въехала химчистка, когда далековато стал магазин, химчистку перепрофилировали в “Продукты”, когда подрос сын, во дворе отстроили детский сад, когда он еще подрос, ближайшая школа вдруг встрепенулась, отряхнулась, оказалась лучшей в Сокольническом районе и не вылезала с экранов Центрального телевидения.

Также Шах пробил подписку “МК” (“Московскому комсомольцу”). Газету любили молодые любители рок-музыки, но продавалась она только в розницу. Подписку не разрешали. Требовалась добрая воля московских коммунистов. Шах зарядил студентов: каждый студент в день посылал десять “писем трудящихся” прямо в Кремль со слезой: отцы, разрешите подписку на “Московский комсомолец”. Отцы ошеломленно лопатали почтовые сугробы, пока один наиболее наглый студент (Воликов фамилия, рыжеватый, я с ним в общаге жил абитуриентом) не подписался “группа старых большевиков” — проверка большевиков не нашла, но Воликова “установили” и схватили — тот отбрехался и учителя не предал — “Московский комсомолец” стал подписным изданием.

Шах убедил правительство Советского Союза — правительство создало сумасшедшее объединение “Дебют” для непрофессионалов — художники без образования, пробуйте делать кино! Шах снял фильм о цирке. “Клоун Муслия”. Ничего не произошло, он продолжил заниматься журналистикой, изучением сексуальной и гомосексуальной жизни, отвечал со сцены Дома культуры авиационного института тысячной аудитории “Может ли активная лесбиянка жениться на пассивном гомосексуалисте?”, создал теорию машинописи, школу “Учись го-

ворить публично”, взял щенка и начал книгу про собак, купил пианино, четырнадцать раз переиздал книгу Никулина, в последней строчке которой бегло и мелко автор благодарил Владимира Шахиджаняна “за помощь”, лечил учеников от алкоголизма, вымучивал кандидатскую, протискивался в народные депутаты, растил из студентов журналистов — вырастали торговцы овощами и компьютерной техникой, выступал в ночном радиозэфире с караваном передач “Путь к себе”, торговал своими книгами на Арбате, рекомендовался как психолог в телепрограмме “Утро” и... так (гуляли с Шахом дотемна в парке Сокольники, затеяли жечь костер. Ветки сырые, береста не рвется с берез. Шах сидел, прижавшись к костерку, и дул что есть сил), погодите.

Фильм не увидел людей. В жизни Шаха, мало интересной окружающим (как и любая. И моя. И ваша!), которую он, справедливо не надеясь на посмертные розыски учеников, настойчиво наговаривал сам правдиво, легендарно (напр.: абсолютно все женщины с первого взгляда на Шаха тяжело и пожизненно любили...), в этой версии кино “Клоун Муслия” не числилось — Владимир Владимирович мимоходом подымал с пола какую-то луковую шелуху: такой-то писал музыку для моего фильма, Носик снимался в главной роли, случилось это в то самое время, когда я делал кино, на премьеру я выставил у кинотеатра слона — и только. Шах (а он мог любое очевиднейшее и позорнейшее поражение представить величайшей победой) молчал, Шах (а он учил, как с величайшей легкостью пережить смерть близкого человека, да все!) молчал, Шах (а он твердил: пишите, книгу за книгой, не печатают, не печатают, не печатают — да плевать, ваше дело — писать) кино больше не тронул, хоть ронял иногда сейчас я бы мог. Вот только здоровье. Вот тайна. Словно он понял про себя нечто не сводимое к спортивному “могу — нет”. Он с большим безразличием смотрел гротескные фильмы и все равно что-то говорил, равнодушно причастное, как равный.

Шах всегда умирал. Слеп, нашупал под кожей зловещие шишки, врачи говорили страшное про изношенное и прокуренное сердце; как про домашнюю собаку, он рассказывал про язву и плакал оттого, что не может вспомнить простые слова, жалкими упражнениями укреплял память — год, год и год еще я сострадал ему, пока я заметил, что единственная угроза его жизни исходит от постоянных переездов, и — успокоился.

Душой Владимир Владимирович страдал дважды в год: в день рождения и когда выпадал снег. В первом случае ему будто бы приносили боль поздравления и знакомые голоса в телефоне, во втором — на глухом, черном осеннем дне ждал утешений (я — все наоборот — поздравлял и не утешал). Мне двухдневные муки казались выдуманными и нескромными, я не признавал за Шахом права на нежную душу.

Шах ждал убийства — его тянуло к жизненным краям, он подбирал в машину и катал ночами странных людей и заканчивал разговорами под магнитофон дома, он приглашал на исповеди малознакомых людей с извилистыми сексуальными судьбами (а люди склонны спьяну порассказать незнакомцу и пожалеть), он наживал лютых врагов, легко поднимаясь на войны за судьбы людей, взятых на вырост или за собственные деньги (Шах считал, что издатели его обирают), ему звонило угрожающее быдло как защитнику педерастов, еврею, непонятному человеку, к нему тянуло странных и пьяных — он шел ночами от автостоянки до дома и ждал ножа: давно от милиции, теперь от бандита — он боялся так сильно, как только может бояться тщедушный человек, у которого есть одна тысяча причин быть убитым, и одну тысячу раз он встречал у подъезда тяжело молчащих мордovorотов в три часа ночи, но продолжал жить, как жил — с невероятной отвагой. Я больше не знал человека, способного с такой легкостью вмешаться в уличную драку или в начале разговора с незнакомым, высокопоставленным быдлом (попали на прием чудом!), разговора, в котором единственная

надежда на квартиру, на целую жизнь, и Шах при первом снисходительном матерке мог спокойно: “Не материтесь. Я не люблю”. Что бы ни случилось, я знал: пока я могу дозвониться Шаху — ничего страшного.

Шах мечтал женить сына и жить одному, сын результативно влюблялся, но девушки срывались и вылетали замуж в другую сторону, и всегда удачнейше, у отца досада: “Может, тебе открыть брачное агентство?!” Мы обсуждали на автомобильном ходу новую попытку, я: “Высокая?”, Шах: “Нет”. — “Красивая?” — “Нет”. — “Кормит вас?” — “Да нет”. — “Любит сына? А он ее?” — “Хватит. На все вопросы “нет”. Кроме одного”. — “Какого?” — “Она беременна?”

В имперские времена по глухим местам катались “мастера психологических этюдов”, афиша объявляла “сеанс фантастической реальности”, “телепатия”, “ясновидение”, “быстрый счет, феноменальная память”, сходящийся народ рассказывал о “резервных возможностях человека” страшноватые и непорядочные вещи: от угадывания взятых у публики предметов и математических решений в голове до вывода на сцену любого, зрители сцепляли по команде гипнотизера руки, он говорил пару слов, совершал тройку движений, и большая часть народа никакими силами руки расцепить уже не могла и с бараньей тупостью по первому свистку поднималась на сцену, тут же теряя обличье и начиная по прихоти гипнотизера изображать плавание, прыжки кенгуру, тьякать и с распоследним бесстыдством отвечать на вопросы личного характера, вызывая в зале дикую жадность — это надолго, несчастному не прощали жалкой правды, — я на представления не ходил из страха попасть в рабы и омерзения — как в одной стране помещались шабаши и социализм?

На свободе эти ребята года на два победили всех: на государственных телеканалах сидели Кашпировский и Чумак, “заряжая” с телеэкрана воду, отращивая лысым волосы, снимали

порчу, отсасывали черную энергию — тысячи писали благодарственные письма: нам помогло! бесплодные рожали, утюги прилипали к животам, Кашпировский пер в президенты, стадионы ломались, и так же быстро все свернулось, сдохло и заново разъехалось зарабатывать по глухим местам.

В горячее время “психотерапии” мы с Шахом приехали на концерт в забытый Дом культуры. Шаха позвали как выдающуюся личность, личного друга Вольфа Мессинга, обладателя глубоких гипнотических познаний, меня пригласили, прочитав в “Вечерке” мое доброе слово клоуну Грачику Кещяну — вот парень, веселое перо, хорошо умеет хвалить, пусть и нас похвалит. Я взял с Шаха страшную клятву, что он не даст сцепиться моим рукам и не позволит испариться моему сознанию. Мастера звали Шойфет или Шайхет, нам он представился учителем Кашпировского из Львова.

Мы опоздали, сели по центру в девятый ряд — пойманные рыбки уже бесновались: ученики Шайхета (пусть так для удобства) теряли чувствительность и падали навзничь на дубовую сцену, не причиняя себе видимого вреда, взмахом руки учитель Кашпировского превращал любого придурка или дуру в Аллу Пугачеву или Иосифа Кобзона — придурки и дуры начинали вопить и подпрыгивать, отвечали на вопросы “журналистов”, описывая свои лимузины и бриллианты, дуры заторможенно целовали Шайхета на глазах деревянно улыбавшихся женихов, сидевших в зале, и задирали юбки — музыка и грохот, и так до конца, мы заперлись в гримерку поблагодарить, мастер в строгом костюме, черном, сидел среди корзин цветов, как покойник, и плавал в успехе: вот! им по букету цветов! — нам сунули гладиолусы — вашим женам! “У меня нет жены”, — признался Шах. “И у меня”, — Шах чуть не свалился со стула, таким образом узнав, что я развожусь. “А будете ходить ко мне, — подхватил мастер, — жен себе быстро найдете! У меня такие чудесные пары образуются на представлениях!” — первый раз я ост-



ро подумал: может, не разводиться? Понравилось? Да? Да? Могу, могу... А вы, сказал мастер, удавом потянувшись к Шахиджаню, сверкнув, то морщась, то расслабляясь, — вы посмотрите на меня, вот так, родились в Ленинграде, у вас... Сын! — Покосившись на меня: точно? Я сделал движение, означающее: прямо шас упаду от удивления. Шах тоже что-то изобразил, а потом поклонился: мы поедем, уже поздно, а вам ехать далеко, до “Текстильщиков”, наверное, снимаете там... трехкомнатную, мне кажется, квартиру — на пятом этаже, собака (должна обязательно у вас быть собака) задалась — возможно, коккер-спаниель, а детей не вижу, нет, от первого брака есть: сын и дочь — свита гипнотизера смолкла и сжалась ледяной кучкой за спиной хозяина, словно его кто-то обижал, — думаю, дочь хорошо рисует. Шайхет с запнувшейся недобротой разглядывал Шаха, тот скромно сказал: “Это я так. Случайно”. Шайхет медленно и как-то жестоко сказал: “Хорошо, что вы это сами понимаете”.

Я присутствовал при нескольких убийственных “попаданиях” Шаха и относился к ним с полным недоверием. Как и все обыкновенные люди, работающие за кусок хлеба, я не верю в сильные проявления духовной жизни — в нравственные страдания, силу раскаяния, муки неразделенной любви, вечную любовь, судьбу, ненасытную жажду истины, возмездие, мне кажется, все эти красивые и обременительные для семьи и соседей вещи происходят от недостаточного питания, тесных квартир, бедности или, напротив, лишнего жира, зависти, сильного влияния на нервную систему менструального цикла, неутоленного честолюбия, злой жены (настойчивый, между прочим, мотив в русских летописях и сказках), уставшего мужа, несложений личной жизни, и возрастных “периодов”, и физиологических изменений. Я верю в то, что может занести в протокол служащий Петровки или Лубянки, “правой рукой проник в левый карман потерпевшего”, это — правда.

Новобранцев семинара Шах приглашал домой, выведывал суть, звонил “по громкой” Никулину, хвастался ласковыми подписями на подаренных книгах великих, указывал на свою нищету, наискось смотрел принесенные дневники и рукописи, у каждого вдруг замечал великое будущее: о, как много вы можете — со мной вы получите все, что захотите, и отвозил заготовку в общагу, по дороге оживляя трупы. У “Националя” ловил машину счастливый кудрявенький парень — книжки прижаты к груди (Шах вез в общагу меня, молчали час, он телепатически заставлял меня говорить, я по настырности дождался его слова — и выиграл!), октябрь, Москва, еще не страшно прощающаяся с советской властью (скучно писать, сколько стоил ужин в “Национале”), подвезем парня, Шах раз обернулся к нему и покатил дальше — я знаю куда, метро “Университет” — не ошибся? — вас, наверное, зовут Никита. Родители биологи? Один в семье. Это я не спрашиваю, это я говорю про вас. Двадцать один год. Парень говорил только “да! да!” или “а откуда вы знаете?!”, протискивая голову вперед, меж нашими головами, и я заодно наливался силой, хоть и молчу, но тоже неспроста, причастен. Проводили девушку — да, Никита Валерьевич? Валерьевич ведь? А девушка Лена или Света. Света. Живет на Сушевском валу. И познакомилась с иностранцем. Испанцем. Интереснейший человек, часто бывает в Советском Союзе. Гуляли, разговаривали, книжки вам подарил — по живописи? да? — зашли в “Националь” перекусить. Он даже предлагал в номер подняться, чтобы показать еще книжки — собирает по истории искусств. Как и вы. Но вы в номер не пошли. Потому что уже поздно. Договорились встретиться еще, телефон не потеряли? Так вот, Никита Валерьевич, испанец ваш — гомосексуалист, и интерес его к вам связан только с этим. Вам надо это знать. Об этом закончили. И еще он что-то вяло поугадывал. Парень продолжал удивляться, но не так сильно, как поначалу. Мы его бесплатно до-

везли, и он ушел: спасибо, чтобы не встретиться никогда, фактически умер. Шах победно взглянул на меня. “Владимир Владимирович, вы это подстроили. А перед выездом позвонили ему и попросили ждать у “Националя”. Он ваш знакомый!” Шах от возмущения пять минут не мог тронуться с места.

Позже я думал: Шах повидал (и в таксистах) тысячи людей в десятках ситуаций (ситуаций меньше, чем людей) и научился их узнавать — да? Но вот родители-биологи, девушка Света с Сушевского вала... Это что? Случайное попадание (закончить точкой, тремя или знаком вопроса?).

Чтоб развлечься, мне хочется написать про Бабаева (на обочине свалка лысых-рваных — “текст”, “произведение”, “воспоминания”, “труд”) без красных словечек — правду, все как на самом деле — один раз за жизнь, как дневник — и пишется как дневник, редкими стежками нитки, пришивающей тебя к жизни: абзацы невидимо переложены днями-неделями, месяцами. Я допрашивал свидетелей в пустых факультетских аудиториях, они испуганно шептали: “Только не ссылайтесь на меня. Декан все знает. И даже то, что мы сейчас с вами говорим”, и по сорок минут многословно шарили в пустых карманах, нащупывая в швах бусинки и хлебные крошки: “Он спросил у меня: что вы делали в 1952—1953—1954 году. Я ответила: я была несчастна. Он: я тоже”.

“Я увидела его впервые: ужасное пальто, закутанный, с палкой, шапка с опущенными ушами, только очки видны — одни глаза...”

Не о чем говорить. Бабаев жил лекциями, был лекциями, “когда вхожу в университет, меня словно бьет током”, все, что кроме, — бессмысленно; читал и быстро уходил, на всех заседаниях молчал.

“Лирика Ростопчиной отличается светской простотой и сдержанностью, благородством слова и мысли. У нее было изящное перо, изысканные эпиграфы.

Никаких “воплей”, никаких “стенаний” или “рыданий”.

Все тихо, просто, поклон, два слова, пристальный взгляд, и целая история жизни в одном стихотворении.

К элегии “Вы вспомните меня” она взяла эпиграф из безымянной французской книги. Это одно из лучших ее стихотворений, где каждая мысль — картина, а все вместе — судьба:

*Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно,  
Когда в своих степях далеко буду я,  
Когда надолго мы, навеки будем розно —  
Тогда поймете вы и вспомните меня!  
Проехав иногда пред домом опустелым,  
Где вас встречал всегда радушный мой привет,  
Вы грустно спросите: “Так здесь ее уж нет?”  
И, мимо торопясь, махнув султаном белым,  
Вы вспомните меня”.*

Вступил в коммунистическую партию в Ташкенте (вдова Мандельштама напутствовала молодого преподавателя: “Конечно, вступайте! В партии должны быть порядочные люди!”) и счастливо улыбнулся, когда коммунистов распустили: “Я бы никогда не отважился выйти сам”. Однажды сказал секретарю парткома: “Я думаю...”, “А мне наплевать, что ты думаешь”. Двадцать пять лет молчал от ужаса на партсобраниях, сидел на одном и том же месте, или мученически застывал, наклонившись в сторону говорящего слышащим ухом, или с первых слов отрешенно смотрел прямо перед собой и не слышал ничего. Свидетельница вспомнила единственное произнесенное после собрания вслух: “Конечно, у нас все есть, зато мы всегда правы!”

Свидетели бормотали: нет, он не боец, не борец, он себя недооценивал, всем уступал, жена Майя Михайловна и дочь Ли-за встречали Бабаева на Прибалтийском вокзале, приехали пораньше отдыхать, его задержали экзамены, люди из вагона вы-

ходили и выходили, вагон пустел, дочь не выдержала и заревела, Майя Михайловна приказала: “Не плачь! Он выйдет последним. Пропустит всех и выйдет”.

Над всей этой ерундой, что окружает человека, он смеялся, особенно оглядываясь: “Я вырос в моровой полосе, когда невозможно было читать. Читали только древнюю историю и литературу XVII века. Нельзя было сказать “эпоха Александра I”. Нечем было дышать. После лекции подходили и спрашивали: а откуда вы вот эту мысль взяли? И записывали”. Вот те, которые, которых невозможно пофамильно, помордно выделить, они его не любили или любили не так много, как ему хотелось (или требовалось), “Вы разделили курс между собой, словно торт разрезали, и разобрали лучшие куски: кому с розочкой, кому с шоколадом”, отдавали не то, что он хотел. Повезло: он замещал ухаля, уехавшего позарабатывать русской литературой в Америку, и когда назарабатывал и вернулся, Эдуарду Григорьевичу велели: давай, дуй назад, на вечернее! — а студенты уже втянулись, им не хотелось другого, они собрали демонстрацию идти к декану — Бабаев попросил: не губите.

Да и он тех, которые вон те, не любил: “С нашими факультетскими можно превратиться в камень”. Они зарубили первую диссертацию Бабаева — инфаркт, а потом ползали перед ним на коленях — защищайтесь, ну защищайтесь же, жена про него сказала: “За внешней сдержанностью — бешеный темперамент. Копится, копится, а потом — взрыв”. Поэт Евгений Винокуров пытался распорядиться Бабаевым (Эдуарда Григорьевича, видимо, не считая поэтом): “Вам надо написать мемуарграфию про меня, на пятьдесят печатных листов. Чтоб в ней были мои детские фотографии... Вам ведь нужны деньги. Договор уже готов, осталось подписать”, — Бабаев пять лет не зоровался с этим парнем.

Шаха тошнило: ну, ну зачем Бабаев затеял эту диссертацию, сгубил здоровье, столько потерянного времени, — давай

сил — зачем ему доктор наук, когда он БАБАЕВ, сокрушался Шах, десять лет упорно и безуспешно в изнурительной вражде со всем миром пытавшийся ночными штурмами, подкопами, ползком, измором защитить кандидатскую, колеблясь от самоубийственного отчаяния до ледяной ненависти: додавлю!

Свидетель, знавший покойника двадцать лет, терялся, спрашивая себя сам: “А какой Бабаев национальности?” — “Вроде с Кавказа. Может, азербайджанец?” Брат Ашот, сестра Седа. Меня к этому Бабаев не подпускал: “Национальное чувство есть нечто сокровенное, как половое чувство. Кричать о нем глупо” — это рукой, на бумаге.

“Он был похож на отца. Люди грубо делят армян на “круглых” и носатых, длинных. Эдуард Григорьевич был круглым. Он отдал почти всю жизнь изучению Толстого, и ему было очень больно прочитать воспоминания Маковецкого о Толстом с презрительными отзывами об армянах. Он не знал языка. Родители его из Шуши, из Нагорного Карабаха. Он страшно болел за Армению...” Я оторвался от блокнота и уточнил: “То есть он считал, что в карабахском конфликте пострадавшая армянская сторона?” Майя Михайловна Бабаева подскочила: “А так оно и есть!”

Я не замечал, что Эдуарда Григорьевича тяготит война в Нагорном Карабахе, потому что она не тяготила меня, но человеку близкому, Берестову, в ответ (у демократической интеллигенции есть привычка отыскать, обнажить, назвать, затронуть, занять позицию, разобраться, наконец, и во что-то поверить, ля-ля-ля, ля-ля-ля) Бабаев, послушав-послушав, однажды тяжело сказал: “О Кавказе говорить не будем”, — навсегда.

Студентка пришла: “Из новой газеты, выходит новая газета, интервью для новой газеты университета; а что вас волнует последние годы, последние годы?” — “А что за газета?” — “Студентов-мусульман”. Он не смог ответить. Пришло время,

когда невозможны прямые ответы и короткие пути, которыми Бабаев ходил, — он смолк.

Хотя, казалось бы, что ему Кавказ — он же из Средней Азии. Да. И это. Он потерял сразу Родину всю, землю — профессор кафедры русской литературы, армянин, не знающий языка отцов, Эдуард Григорьевич Бабаев, выросший в Ташкенте, живущий в Москве, — как в обыденной жизни, в редакциях и библиотеках, среди поэтов он не был своим, так в большой, исторической жизни он стал не своим — по родному Арбату ходил с опаской (это так), “лицом кавказской национальности”, сторонился милиционеров и слушал, как идиот журналист (я, да я это был!) твердит, наклоняясь к уху, чтобы разборчивей: “Я вот тут решил статью в “Огонек” написать, Эдуард Григорьевич! Чтобы с нелегальным проникновением кавказцев покончить! Надо, я тут подчитал, использовать, Эдуард Григорьевич, иммиграционную практику Канады! Чтобы квоту на сто пятьдесят человек в год — начальник РУОПа меня поддержал, статью назову “Гости дорогие”...” — и он слушал, шел и кивал, поддакивал, мы прощались у ограды двора, у входа в ночной магазин, торговавший водкой, и через двор он шел один — я вспомнил только сейчас, и там у себя, “на лежанке”, он написал: “Не годится выходящу, пришлецу и инородцу слишком упорно вникать в домашние споры той страны, где он всего лишь гость; не годится также судить или осуждать тех людей, которых он до конца понять не может”. Я перечитал слова “слишком упорно”, поставленные перед “вникать”. Вот с чем он жил:

*Чужбина есть чужбина. Иногда  
Он чувствует какую-то тревогу...  
Всему научит новая Среда.  
Не сразу. Постепенно. Понемногу.  
Молчанье. Взгляды холоднее льда,  
И отступи. И уступи дорогу.*

Его Родину я могу назвать Советским Союзом, русской литературой, но это все рядом, точно он описывал ее в стихах, но не называя:

*С борта самолета видны  
Млечные трассы дорог,  
Звездные туманности городов,  
Огненные пунктиры  
Железнодорожных переездов.  
И все это — светоносные строки  
Государственности,  
Великой книги,  
Созданной историей  
И наполненной шумом времени.  
Если перелистать  
Страницы этой книги  
На сто лет назад  
И еще на несколько десятилетий  
В глубину истории,  
Можно увидеть  
Черную бурку Ермолова  
На площади в Тифлисе,  
Услышать голос Грибоедова  
В Тебризе,  
Узнать Пушкина в одиноком всаднике,  
Который скачет по склонам гор  
Благословенной Грузии  
И поднимается по каменистым тропам  
Заповедной Армении.  
Он останавливает коня на перевале,  
Чтобы отыскать глазами вершины Арарата...  
“Кавказ принял нас в свое святилище”,  
Когда ты просыпаешься*



Александр Терехов

*И распахиваешь окна,  
Локаторы пеленгуют пространство.  
Часы показывают московское время,  
И самолет преодолевает звуковой барьер.*

На референдуме о судьбе Союза, вместе или порознь, Эдуард Григорьевич поставил “за”, вместе, жену и дочь подхватил и нес поток, они — “против”, Майя Михайловна разрывалась между телевизором и “Эхом Москвы”, легко выходила на баррикады защищать демократию — “Смотри, чтоб тебя там не раздавили”, — он говорил ей в спину, что он думал про смерть Империи — неизвестно, только обрывки: “Горбачеву не надо было ничего говорить, а тихо дать мужикам землю. А они бы из-за забора закидали нас колбасой”, “Жданов грязно обругал Зошенко и Ахматову, но ведь правильно выбрал лучших!”

“Россия — страна кладов Кощея, позарыты на каждом шагу”, “Сталинский режим, совершенно вненациональный, даже вничеловеческий, во внешней политике осуществил все чаяния Российской империи. Поэтому старые интеллигенты не могли напрочь отрицать Сталина. Они видели кровь, но ценили силу”, “Сталин сделал адскую машину, и она идет по рельсам. Но он никому не сказал, как она устроена. Дергаем за одно, а срабатывает другое”. По пути, посреди зимы, согласно кивая, мы ругали уroda Ельцина, демократическое быдло, презирающее наше Отечество, и в счастливом облегчении от совпадений я трогал будни: “Ну, а за кого будете на выборах в Госдуму голосовать?” — “За Карякина”. — “За Карякина?!” (Вот за это самое то, что гвоздили мы сейчас, в самом похабном варианте?!) — “Да. Он алкоголик”.

Через три месяца после смерти Эдуарда Григорьевича Бабаева, в июне, его семья попросила меня забрать тираж его последней книги из издательства. Я страдал: поймаю ли на Поварской свободный грузовик, но тираж — две пачки книжек

тоньше школьной тетрадки — поместился в одной сумке, я ехал на частнике и листал. “Рекламная библиотечка поэта”, “Собиратель трав”. Тираж 1000 экземпляров. Цена договорная.

“Задумали для поддержки писателей издать крохотные книжечки стихов, чуть ли не всем. Дошла очередь до меня. Я рукопись сдал, к печати она двигалась медленно. И как-то зашел в издательство, там сидит серьезный человек “на рукописях”, обстоятельный, все знает, про каждого у него в блокноте записано, раскрывает и читает. Я ему говорю: “Хотел внести некоторые исправления. Посидел тут с рукописью на свободе, и в голову пришло...” Он просто взорвался: “Где вы нашли свободу?!” Я: “Хочу переделать буквально пару строф”. — “Как фамилия?” — “Бабаев”. “Так, Бабаев... — человек полистал блокнот. — Нельзя. Ваша рукопись уже в производстве”. — “Так вот же она на полке лежит”. — “Это уже не ваша рукопись. Это наша рукопись. Вы что хотите, чтобы мы ее дважды редактировали?” — “Жаль. А вот в девятнадцатом веке один литератор прибежал в типографию, где печаталась его книга, и умолял дать ему возможность внести исправления. Наборщики качали головами: поздно, уже вертятся машины. Литератор сорвал с руки золотые часы: вам! Наборщики: а-а, ладно, где там ваши правки, только живей!” Человек “на рукописях” внимательно выслушал и осведомился: “Часики при вас?””

Мне кажется, он с удовольствием писал о юридическом образовании Ахматовой, держа в памяти свое математическое, словно это их роднило, он прожил правильную жизнь поэта, у него были странствия — “бродил по пескам Каракумов и Кызылкумов”, поступил на математический, окончил филологический, летом работал в геодезических партиях, нанося на карты старые крепости, новые дороги и русла высохших рек, — не поэтому; он прожил правильную жизнь поэта потому, что не двигался, врос в свое время, до смерти сидел в сторожке, и все, что написал, можно прочитать без приливов крови на лице,

и просто прочитать, и он не умрет — как подохла литературная братия, работавшая десять лет туалетной бумагой, продавшая (что там идеалы!) свою юность и родителей, отработывая, отработывая, отработывая — нет, не деньги, — просто грызла среда и обсасывала косточки, трамбовали обстоятельства — сперва обстоятельства одни, а потом обстоятельства другие, вот и ложились, как скажут. Когда они идут, когда они пишут, когда они умирают (все чаще), это парад самострелов и саморубов — прошлое мешает: они рубят руки, написавшие не то, рубят ноги, заносившие то и дело в партбюро, выжигают доли головного мозга, “не отдававшие должного отчета”, выкалывают глаза, не видевшие человеконенавистнический характер режима, урезают языки, отнимавшиеся, когда надо было вскакивать и орать: “Фашисты! Не трогайте его!”, даже у самых здоровых — то пальца на руке нет, то шрамик на животе — подвела злосчастная опубликованная статья шестьдесят какого-то года, подвел разговор в пивной, подслушанный и записанный соседом недружественной ориентации, — на месте времени у них появилось “одно время”, “другое время”, “еще одно”, появились разные литературы, совести, чести, национальности. Только смерть осталась одна.

От Бабаева я узнал слово “хронофаги” — люди, пожирающие наше время. Шах звонил мне, когда его забывал: хронофаги.

Бабаев уцелел в своей сторожке, на маяке. Стихи его просты, кажутся неловкими. Сам он про них ничего не говорил. Но они же спасли его, значит, он — настоящий поэт. Он знал, что сторожил: “Поэзия не признает разрывов, храня “связь времен”, единство нашего опыта, истоки и начала нашей жизни”. Это была одна из самых любимых (не осмелюсь на “главных”) его мыслей, он часто пересказывал ее на лекциях математическим языком: “Функция берется только от непрерывной кривой”. В слове “функция” мне чудилась какая-то сила, ее сберечь могла только непрерывность. “Многие несчастья

в нашей жизни вызваны пропущенными и разорванными связями в рассуждениях и делах, из-за которых вопросы не сходятся с ответами или же возникает произвольная замена целей и величин”, “В математике от 1 до 2 бездна. Это для упрощения вводятся какие-то единицы. Так и в литературе”.

Сила Бабаева казалась веселой: “Поэтов не любят за их непобедимый здравый смысл. Именно на нем основана способность поэзии предсказывать или предвидеть будущее — предмет особенной зависти науки и политики”.

Больше писал летом, на снятой даче или в Доме творчества Переделкино, отказывался от переводов, чтобы хранить волю, и любил близкому и не близкому: “Вот, я написал стишок. Послушай”. “У меня голос не сильный, но свой”. Что он думал об отсутствии читателей, когда слушателей находил не каждый день? О стихах Бабаева, двух тонких книжечках, написали раза три за жизнь: “они появились в те годы”, “когда в стране гремела эстрадная поэзия”, и “не привлекли к себе внимания” — так холодно и ясно написал кто-то, а Бабаев прочитал, улыбнулся, наверное, и дальше жил: “Я одинокий, я скромный поэт. Читателей у меня немного, один, два”, и жене: “Мне никто не нужен, лишь бы ты и Лиза были дома”.

“Отдыхал в Переделкине. Там такая публика...” — “Какая?” — “У каждого за спиной колокольня!”

Он сходил со всеми, признавали свидетели, без всякого разбора: со всеми! — такой Жуков, литератор, любил при отдыхающей публике грозно: “Эдуард Григорьевич, я считаю: всех черных давно пора кинуть в топку и пожечь!”, такой Анатолий Знаменский, певец красных казаков, любезно предлагавший на прогулке толстым еврейкам для чтения газету “День” и после брезгливого: нет, никогда! — шептавший в спину: “Ничего, скоро всех мы вас...” — таких обходили дальней дорогой, жена Бабаева с ними не здоровалась — а Эдуард Григорьевич ел за одним столом, дружно гулял тропинкой мимо колодца, обсуж-

Александр Терехов

дая повести и романы, и сносил вечернюю атаку жены: “Зачем ты с ними ходишь?! Зачем ты соглашаешься с тем, что не думаешь?!” — “А мне интересно, вдруг что-то стоящее скажут. А переубедить их я не смогу”. Его жизнь и стихи ничего не боялись.

*Есть у стихов надежная основа —  
Мечты, воспоминания, дела.  
Всего-то надо записать два слова,  
Присел к столу, глядишь — и жизнь прошла.*

Никогда не говорили про собственную смерть, Шах (как я уже упоминал выше) будто бы говорил с Бабаевым: “Я каждый день думаю о смерти”. — “А я нет. Мне не надо”. — “Я все написал, где и как меня похоронить”. — “А я нет. Все равно”, — Шах мог не то чтобы наврать (в его способность тронуть в разговоре с Бабаевым все, что угодно, я ни мгновение не сомневаюсь), он мог неточно запомнить и перевернуть самое важное.

“Я уже старый. Пора все собирать”. Вот, оживляются свидетели, он все время думал о смерти: возился с фотографиями, чистил архивы — но это ничего не значит.

Бабаев ничего не написал о смерти, похоронах дорогих или незнакомых людей. Еще он ничего не написал про университет. Слово смерти и Московского университета в его жизни не существовало. Или написать об этом нельзя. Слово за глухотой наступило молчание. Единственное об университете стихотворение “МГУ”:

*В канун зимы земля крепка.  
И желтый лист в окно стучится.  
Зима покамест далека,  
Но за ночь может все случиться.*

Он удивленно сказал: “Мы с женой стали такие старые, а были такие молодые”, и загадывал, начиная работу: моя последняя статья о Пушкине, моя последняя статья о Толстом, читаю по-

следний курс и — на пенсию... И посреди лекции остановился, чтобы: “Странное дело, смерть! Еще вчера можно было подойти, спросить что-то, а сегодня человека уже нет, и ничего не спросишь!” — смерть в его глазах — это то, что лишает знаний. Жену он просил не ставить гроб в факультетском спортзале и не позволять речей. Спортзал — это впечатление от тоскливых похорон профессора Ковалева, а речи — Бабаев знал, что его не любили (те, кто почувствует себя обязанным выступить вперед, обвести плачущих взглядом и разинуть рот) — чего там говорить.

Он хотел издать курс лекций (издатель не находился) и не мог завершить рукопись долго (мне кажется, понимая, что лекции невозможно сохранить), но: “Не надо торопиться. Надо, чтобы что-то осталось неизданным”. Почему?

Ему нравились слова Марциала: “Книжек довольно пяти, а шесть или семь — это слишком...” Что-то находил он свое в жизни этого человека и непонятно для всех, понятно для себя однажды сказал: “Жизнь стала такой же ненадежной, какой она была во времена Марциала”. Я приехал с похорон Бабаева и ткнулся в “Сегодня” (любимая газета, потом ее удушили): “16 марта 1995 года. Во вторник 14 марта сотрудниками Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью задержан 61-летний авторитет азербайджанской преступной группировки Бабаев, известный большинству по кличке Бабай. При обыске в роскошной квартире авторитета найдены...” — что значит, что значит “ненадежная жизнь”? Жизнь, которой нельзя верить. Жизнь, которая не спрячет. Берет твое и ничего не обещает взамен.

Что он думал и что думает сейчас — и что вышло, остались буквы, сложившиеся в неизвестность: “Золото добывается просеиванием... Бывает, что все написанное просеивается, а имя остается. Но случается и так, что имя просеивается, а кое-что из написанного остается”.

Вот что, мне кажется, он написал для многого, но в том числе и для могильного камня: “Я и сам не решаюсь назвать тот или иной жанр “главным” для себя... В моей работе не было резких переломов... Я помню своего деда Нерсеса. Он был мастеровой и всю жизнь работал: плотничал, переписывал Евангелие, складывал очаг из камней. Так и я всю жизнь работал”.

“В те годы многие студенты гораздо лучше знали в лицо квартальных надзирателей, чем своих профессоров. И Полежаев в духе времени стал завсегдаем “веселых домов” в Марьиной Роще:

*Вот в вицмундире,  
Держа в руке большой стакан,  
Сидит с красотками в трактире  
Какой-то черненький буян.  
Веселье наглое играет  
В его закатыстых глазах.  
И сквернословие летает  
На пылких юноши устах.*

Сказал о себе: “Вот все, чему научился. Свидетель — университет”.

“В 1835 году в журнале “Московский наблюдатель” появилась статья Шевырева “Стихотворения Бенедиктова”, в которой он говорил о новом поэте как мыслителе.

Точка зрения Шевырева казалась достаточно обоснованной и опиралась на суждения знатоков поэзии и на общее увлечение его стихами.

Но в том же году появилась в журнале “Телескоп” статья Белинского под таким же названием — “Стихотворения Бенедиктова”, во всем противоположная статье Шевырева.

Если Шевырев охарактеризовал Бенедиктова как поэта-мыслителя, то Белинский называл его “фразером” и отказывался признать в нем какие-либо права на философичность в поэзии.

“Обращаюсь к мысли, — пишет Белинский. — Я решительно нигде не нахожу ее у Бенедиктова. Что такое мысль в поэзии?.. Сочинение может быть с мыслью, но без чувства, и в таком случае есть ли в нем поэзия?”

“У него нельзя отнять талант стихотворца, — продолжает Белинский, — но он не поэт. Читая его стихотворения, очень ясно видишь, как они деланы...”

Белинский указал на стихотворение “Всадница”, где, по его мнению, особенно заметно “решительное отсутствие всякого вкуса”. В стихотворении “Всадница” действительно “сугубая проза” одерживает верх над “сугубой поэзией”, создавая ощущение чего-то безвкусного и аляповатого:

*Люблю я Матильду, когда амазонкой  
Она воцарится над дамским седлом,  
И дергает повод упрямой ручонкой,  
И действует буйно визгливым хлыстом...  
Матильда прыгнула в роскошном волненьи  
И кинулась бурно на мягкий диван.*

Эта Матильда прямо погубила Бенедиктова. Пример, приведенный Белинским, был убийственным, убедительным.

Между Шевыревым и Белинским произошла дуэль, а убит был Бенедиктов. После скандала, разразившегося над ним в 30-е годы, он в течение двадцати лет почти ничего не писал и не печатал. Однажды он написал в альбом одной из своих почитательниц:

*Не дорожу я криком света;  
Весь мир мне холоден и пуст;  
Но мило мне из ваших уст  
Именованье поэта,  
Итак, да буду я певец,  
Да буду возвеличен вами,*



Александр Терехов

*И мой сомнительный венец  
Пусть блещет вашими лучами.*

Так это навсегда и осталось. Не то чтобы Шевырев был не прав и не то чтобы Белинский был во всем прав. Но Бенедиктов был увенчан “сомнительным венцом”.

Хотя отзвуки его лиры можно услышать и в стихах Лермонтова, и в поэзии Северянина”.

“Опять пошли пиры, Полежаев ушел из казармы, пропилил все, даже шинель, был возвращен в полк, судим и наказан: его провели сквозь строй. Умирал в госпитале. На смертном одре узнал, что произведен в ротмистры: можно было уходить в отставку — и он умер”.

Он всегда внезапно взмахивал рукой: “Ну.. Прощайте!”, неловко поворачивался и брал палку, зацепленную за спинку стула, спускался с кафедры, как со сцены, и уходил по коридору и налево забирать пальто, студенты хлопали в ладоши уходящей спине. “Он же у нас артист!” — весело сказала Майя Михайловна. Он был певец, “человек, промышляющий голосом”, я оставлял его одного за пять минут до начала лекции, казалось, за это время Бабаев поднимается на какую-то огромную высоту и остается на ней с первого шага на кафедру, когда он в полном молчании писал на доске три-четыре названия разделов лекции, словно заполнял театральную программку. В его голосе не было актерства, он не рассчитывал шаги, движения его были экономны. Странно слышалось после лекций Бабаева безнадежное: “Пушкин был...”

Бабаев по обязанности принимал экзамены. Мучительные дни. Изнурительное прислушивание полутлухого к бормотанию идиотов. Выставление оценок. Роспись в зачетке. Бабаев пел кому? — своим героям, на экзамен строем топали те, кому приходилось покоряться учебному плану и слушать, такие, как я, или немного лучше. Я, уже окончив университет, иногда на-

прашивался посидеть рядом. Зачем? Я собирался когда-то написать о “лучшем лекторе”, значит, должен “собирать материал”, повидать его разным. Присоединялось немало жалких соображений: поглазеть на девушек с начальственной высоты, насладиться, как жалко трепещет чужая душа, покорная чужой силе (и моей! я ведь сижу по ту сторону стола, где власть), словно моя душа, ведь, читая вопросы билета, слушая вопросы Бабаева, я представлял: а что бы я? на этом самом месте? — и все метания и прыжки, ужас и мелкие надежды, и надувание шек жертв — все это мое, чувствовалось остро и полностью — услышав какую-то особенную глупость, Эдуард Григорьевич поверачивался ко мне, словно за поддержкой, я сокрушенно поднимал брови, качал башкой и вздыхал: нд-а-а... — на мгновение холодея: а ну как скажет он сейчас — Александр Михайлович, покажите-ка, как надо ответить на этот вопрос, или сам запнется на какой-то ступеньке и попросит: подскажите мне поскорей год написания “Руслана и Людмилы”.

“Я их пугаю поначалу. Катятся у меня, как с горки, — мы выходили погулять по коридорам, давая возможность списать, — люблю студента слушающего. Но его боюсь. Боюсь встречи с ним на экзамене. Ужас перед студентом. Ведь придется с ним еще разговаривать. Даже не знаю, о чем спросить... Студенты записывают на лекции только то, что знают. Говоришь новое — просто изумленно смотрят... Сдать экзамен по русской литературе невозможно, а побеседовать можно. Нельзя ни перед кем на брюхе лежать. А то о Достоевском говорят, как о секретаре Союза писателей. А есть простые пути. Надо говорить то, что понимаешь. Просто встать и открыть окно. Не двигать по пути мебель, не спотыкаться о стулья, не бить горшки”.

Еще он сказал то, во что я не поверил: “Плохой студент всегда на экзамене суетится, ищет учебник, роется под столом в шпаргалках. Этот чаще всего хочет обмануть. Средний —

волнуется, я вижу, что пытается он обдумать свой ответ, но мало у него “золотого запаса” — значит, прошел со мной не весь путь. А хороший никогда не суетится, и сразу я вижу, что этот человек прошел со мной до конца...” — в существование последних я не верю. Я почуял: правда, да, так — когда Бабаев усмехнулся про одного: “К моим лекциям относится с таким уважением, что при ответе их не использует”.

Экзамены он принимал с достоинством.

Два раза в году Бабаеву безжалостно показывали, кто ему аплодирует и что запоминают по свежим следам (нетрудно представить, что останется в памяти через год), священнику приходилось по жаре тащиться на рынок, актер, не смывая грима, выходил к публике и подсаживался за ближайший столик, “Они отвечают, как в игре “Поле чудес”: я не знаю, но попробую ответить”, — он рукой, как козырьком, прикрывал глаза и слушал-слушал-слушал:

“Ну, Мефистофель просто ответил ему, ну, говорит ему...”

“Аракчеев был жестокий...”

“В его творчестве имеют место элегии, идиллии”.

“Пушкин не знал народа. То есть Годунов”.

“Ломоносов окончил МГУ”.

“Стал литературным и политическим реакционером — стал приближенным царя”.

“Мама Батюшкова сошла с ума и умерла”.

“Поэзия глубоко проникнута трагическим и вольнолюбивым характером”.

“Герои басни не такие уж животные”.

“Да, у Толстого очень длинные предложения”.

“По понятным причинам Лермонтов...” Бабаев мертвечины не пропускал: “По каким?” И страшная пауза.

Кончалось почти одинаково: “Ну, братец, ты совсем ничего не знаешь, поставлю тебе четверку. Отдавал зачетку: “Помните, что вы в долгу перед русской литературой”. И уже много

пройдя нашим маршрутом (Большая Никитская, налево в переулок за Консерваторию, еще налево мимо пожарной части и ГИТИСа), он жалобно показал руками, глядя куда-то вверх, как судостроитель на скелеты кораблей, остовы дирижаблей, железо, словно обойдя какую-то стройку: “Духоподъемность, водоизмещение малое!”

Экзамены Бабаева отличались от экзаменов других преподавателей факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова только одним — Эдуард Григорьевич требовал: студент должен выучить одно стихотворение русского поэта и на экзамене прочесть. Это единственное, что не спишешь со шпаргалки. На прямой вопрос: ну, что прочтете?! — студент выдавливал, к примеру: “Пророк” знаю наизусть. На тему “Поэт и общество”, “О самоубийстве знаю — “Не дай мне Бог сойти с ума”, обязательно запинался посреди заученного и жалобно повторял последнюю уцелевшую в памяти строку, какую-нибудь там: “Не найти тебе нигде горемычную меня” — трижды, словно забрасывал удочку в воду, надеясь, как магнитом, подцепить оставшееся, — Бабаев не выдерживал, подхватывал и допевал до конца, преображаясь в героя, героиню, лисицу:

*И говорит так сладко, чуть дыша:*

*“Голубушка! Как хороша!*

*Ну что за шейка, что за глазки!”*

Порой: почему выбрали именно это стихотворение? — народ отчаянно врал, кто попроще, врал к правде поближе: “Просто мне короткие нравятся”. Бабаеву казалось: выбором стихов поколение говорит о себе, ну так вот — чаще всего с наслаждением долбили: “Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ” (Эдуард Григорьевич, к слову сказать, сомневался, что строки эти Лермонтова, как не признавал за Пушкиным “Гаврилиады”) или Вяземского о русском языке:

Александр Терехов

*На нем мы призываем Бога,  
Им братья мы в семье одной,  
И у последнего порога  
На нем прощаемся с землей.*

Экзамены мне казались взаимным обманом, приносящим легкое удовлетворение, мертвой церемонией, поработившей экзаменаторов, но мне ни разу до того, как я выбыл из студентов и развлечения ради посидел рядышком с Бабаевым, не приходило в голову — как это мучительно, мучительно, унижительно (для тех, кто слушает и пишет оценку в ведомости и зачетке) — Эдуард Григорьевич после экзаменов валится спать, как после бессонной ночи, он и умер потому, что на экзамене надорвался.

“Мне все время кажется, что я читаю в последний раз. Но потом все это продолжается”.

“Усталый шел крутой горою путник...”

“Жуковский был новым типом религиозного поэта. Он слушал, что ему говорил “ангел-утешитель”, полагая, что поэзия для того и существует на земле, чтобы человек помнил о небесах”.

“Был некий человек, который тяготился своим крестом. “Господи! — говорил он. — Я согласен нести крест, но какой-нибудь другой, а не этот. Дай мне другой, какой угодно крест: он будет легче моего...” И Бог услышал его мольбу. И сделал так, как просил его этот человек, пожелавший изменить свою судьбу и выбрать себе крест по собственному разумению. Ибо он и сам не понимал, о чем он просит... Но все исполнилось именно так, как он хотел:

*И вдруг великий  
Поднялся ветер; и его умчало  
На высоту неодолимой силой;  
И он себя во хранине увидел,*

*Где множество бесчисленное было  
Крестов...*

И он стал с увлечением выбирать для себя крест. Возьмет один, попробует другой... Но все было не то и не так.

И вдруг он увидел один простой крест, “им прежде оставленный без внимания”. “Господи! — сказал он. — Позволь мне взять этот крест, он мне по росту и по силам...”

Но это был тот самый крест, который он нес всю жизнь и от которого так хотел избавиться.

Эта баллада столь пронзительна по своему смыслу, что ей нужна была простая по языку форма притчи”.

Часто думаю: быстролетно, смертно — годами, пятилетками читал лекции, повторялись темы — что осталось? так, быстро тающие воспоминания о воспоминаниях, и про живого про него писали как про мертвого: “Почему-то совершенно не запоминалось, как Эдуард Григорьевич входил в аудиторию, как здоровался...”, “И сейчас вижу его невысокую сутуловатую фигуру, его непременно трость, его берет, его старомодность — опознавательные знаки особого, скромного изящества...” — но ведь и мы для него умирали, он оставался вечно юным с вечно юными, а нас относил быстрая вода, с ним не оставался никто, “Мне кажется, студенты изменяются, как эпохи... Количество тружеников науки неизменно”, да он и сам не ждал учеников: “Переступая порог школы, учитель ждет ученика и идет ему навстречу. Переступая порог университета, студент может увидеть спину своего профессора, который идет своим путем”. Слово “спина” объяснило мне, что я пишу.

На втором курсе я по совету-понуканию Шаха снял комнату и навсегда уехал из ДАСа, через три месяца женился на девушке, с ней познакомил Шах. В конторе, где расписывают, нас встретила широкоплечая деваха с лицом выразительным, как батарея парового отопления: “Документы. Ждать там”.

Вдруг команда: “Идти!” Собрались в кучку. Деваха пробурчала: “Жених слева. Щас заходим. Невеста-жених на край ковра. Гости в первую шеренгу. Сумки убрали. Цветы целый день держали вниз, теперь — вверх. Так, а что, у вас свидетеля нет?” — “Есть”, — я показал на Шахиджанияна. На лице девахи проявилась мрачная веселость: “Вы? Правда?!” Шах обиженно поднял цветы выше головы, словно пытаюсь подрасти.

Наш курс пытался обогатиться: покупал, продавал, уезжал чернорабочими за границу, наша комната поползла в разные стороны — Костян женился еще на первом курсе, раз — ребенок (до свадьбы), два — ребенок, теща, тесть — в одной квартире, Рязанский проспект, ушел на вечернее и после извилистых движений присел в коммерческом отделе издательского дома “За рулем”, хохол и Виктор Анатолич Карюкин вселили на мою кровать сперва дагестанскую малую народность, представлявшуюся налетчиком, грабителем прохожих у ЦУМа и чемпионом Европы по айкидо, потом негра, надеясь, что он привезет им диктофон с родины. Негр повел себя странно, водку не пил, объясняя это болезнью. Но тут Миша Смирнов женился на здоровенной, жирной бабе из химико-технологического института и вселил ее в нашу комнату, в свой угол за шкаф: “Не моются! Не готовят! Не стирают! Жара, у бабы рожистое воспаление — всю раздуло, а он сидит под боком у нее и шепчет: “Моя рыбка””, — лютовал хохол и обещал молодоженам: куплю кольцо, хрустальную люстру куплю, только уматывайте! Пьяный Карюкин заглядывал на их половину: “Покажите — как вы вдвоем на кровати помещаетесь?”, у отца бабы имелась “вольво”, хохол признавал: это аргумент.

Хохол и Карюкин не собирались бизнесовать (после журфака перевелись в бывшую Высшую партийную школу учиться на менеджеров, спали и пили теперь в общаге на Садово-Кудринской) и строить семьи, хотя хохол вяло атаковал крокодила-официантку валютного ресторана, обещавшую за свадьбу

семьсот долларов (наличными четыреста и на три сотни — товары), но, придя знакомиться в дом, напился, подрался с родителями невесты и заключил: “Ничего. До тридцати лет еще погуляем”.

Зарабатывание денег подхватило Шаха, но не напрямую, он всегда говорил: “Будешь думать о деньгах — денег не будет”, нет, при умирании социализма Шах посвободнее проявлял свою гениальность и удовлетворял непрерывно рождающиеся интересы. Он вырастил “добрую мафию” учеников, пришло время “мафии” заработать. Шах остановил столетнюю войну за кандидатскую, бросил писание статей и рассказов и взялся за коммерчески выгодные книги.

Надо сказать, что писание, письмо, сочинение фраз, постановка абзацев, нахождение слов Шаху давалось невероятно трудно, настолько, что казалось: он физиологически не способен к письму — его беспомощность была трогательна и окончательна, как беспомощность старика. Видя въявь его недельные мучения над трехстраничной газетной мелочью, любой, я восклицал: да, Владимир Владимирович, дайте лучше я напишу! — все, что писал он собственноручно, имело несчастную издательскую судьбу — для учеников Шаха день, когда он приносил для публикации заметку, окрашивался черным цветом — писать Шах не мог — мог говорить, собирать чужие мысли, склеивать из отобранных кусочков композиции, только не писать свое — с каждым годом Шах настойчивей объяснял это нарушениями мозгового кровообращения, провалами памяти и охотно принимал помощь машинисток, корректоров, соавторов, советников, редакторов — учитель наговаривал на пленку, артель доводила до ума — и этот человек двадцать лет учил писать студентов! — воскликнете вы — не усмехайтесь, чужие слова Шах судил точно, замечания его помогали, его предсказания сбывались. Во всяком случае, мне так казалось, сам я не большой знаток.



Он не писал повестей и романов, Шах писал клоунские репризы, кусочки воспоминаний и рассказы — жалостливые, взятые, по его утверждению, из собственной жизни, но выглядевшие терпимо и нетерпимо вымышленными. Их легко пере-сказать. Я записал один. Название: “День встречи птиц”. Содержание: мальчик Шахиджанян учится в ленинградской школе. Вдруг объявляют: ребята, наступает весна, и скоро прилетят птицы, зимовавшие в теплых странах. Каждый из вас должен сделать скворечник — устроим птицам достойную встречу! Кто сделает скворечник лучше других — получит приз. Два старательных дня мальчик с мастеровитым соседом выпиливает, строгают, сколачивает и, наконец, торжественно несет и сдает в школу свое изделие, помеченное особой краской, чтоб потом отыскать, на какое дерево повесили его птичий домик, чтобы узнать, какой поселился в нем жилец. Но поздним вечером выясняется, что мальчик случайно засунул в скворечник документы своей матери, какие-то важные бумаги. Мама ругается. На ночь глядя он бежит к зоопарку (скворечники школьников зачем-то отнесли в зоопарк), никто не хочет его пускать, злой дворник, свирепый вахтер, но он добился, проник, добежал и вдруг видит: скворечники охапками носят в котельную и бросают в печку — жгут. Все сожгли. На его глазах.

Назавтра в школе дают призы лучшим строителям скворечников. И всем дают призы, каждому. Кроме мальчика. Конеч.

В университете Шаха ненавидели. Он решил написать лучший в Советском Союзе учебник машинописи. Ну почему, вы-то? Вы ведь нигде не учились! Что вы можете понимать?! Шах собрал и изрезал на куски все, что вышло про печатные машинки на русском языке, ему привезли и перевели на русский все, что выходило не на русском, — изрезал тоже, кусочки перемешал, выложил по-своему, дописал, придумал упражнения, составил “уроки”, понес по методическим лабораториям и высшим курсам машинописи, где, как рабы на галерах, сле-

ва и справа гнулись над грохочущими электрическими “Роботронами” и “Ятранями” вечно сутулые девушки — их седые надзирательницы, старшие научные сотрудницы вертели в руках Шаховы “уроки”, проседая под ударами молота: как? так? не так? а как? а вот теперь так? теперь напишите предисловие! а отзыв? только должность, пожалуйста, полностью и кандидат таких-то наук — “добрая мафия” зарядила “уроки машинописи” по журналам и газетам, тогда еще отзывчивый народ отзывался письмами — Шах, справедливо подозревая во мне недоверчивость, заставлял читать ему вслух (вел машину), сами, сами открывайте конверты и читайте, все подряд: народ благодарил в счастливых слезах — если бы не вы, когда я бы так классно научился печатать вслепую десятью пальцами — я холодел от прикосновения к чуду в то самое время, когда у народа после телевизионных сеансов “целителей” вырастали волосы в безнадежно лысых местах.

Как бетонобойная бомба, Шах прошибал насквозь издательские этажи, и его принимали только в подвале: вот — он выкладывал газетно-журнальные вырезки: опубликовано! Опробовано на студентах. Двести человек за год, эффективность девяносто два процента! Хотите, мой студент Виктор Анатольевич Карюкин покажет, как он печатает? (Шах любил ходить с адъютантами) — издайте мой учебник! Владимир Владимирович, тянул издатель, Володя (двадцать лет знаю, чудак, радиожурналист, в цирк водит, книжки собирает про секс, но вечно какие-то выверты, выгоды, темные истории...), но уже чуя свой неумолимый конец: ну ведь это же вы самостоятельность, что ли... Два! — потеряла и заменила сумка Шахиджания взрывалась в его руках, разлетелась по полированному столу вееры засаленных конвертов. Что? Две тысячи шестьсот тридцать два письма за два месяца? Вы совсем врал Шах) — читайте, открывайте любое и читайте, страна требует учебник машинописи, молодежь рвется к новой жизни, вы

не представляете, как это связано с психологией мышления. Лев Толстой в восемьдесят лет научился работать на печатной машинке. Я сам соберу сто тысяч заявок на книгу без всякой там “Книги — почтой”. Второе издание — полмиллиона тираж. Сделаю двадцать пять публикаций в газете и пятнадцать в журналах, упоминания на радио и по телевидению (чистая правда). Подписываем договор?

Издатель устало смеялся, жалобно взглядывая на секретаршу, третий раз напоминавшую: полная приемная! — Володя, не купят. Купят! Не ку-пят. Купят!!! — хочешь? Шах совал под нос маловеру бледный ксерокс своих уроков — пачку листков толщиной в ученический дневник имперских времен — вот это, в любом магазине за месяц продается не меньше ста штук — по двадцать рублей (половина стипендии хорошиста), без всякой рекламы! Издатель, теряя силы от смеха (по двадцать рублей!) и терпение (Шах доставал даже близких людей, пробивая свое дело), махал: пожалуйста, я договорюсь, на проспекте Мира магазин, выкладывай, попробуй продай. По двадцать рублей!

Месяц, каждый день, Шах подвозил на своей “шестерке” учеников, знакомых, друзей, цирковых артистов, первых встречных в переулок на проспекте Мира и отсчитывал по двадцать рублей в руки — пассажиры огибали большой серый дом и входили в книжный магазин. Близоруко пошурившись на дальние полки (в прежних магазинах книгу в руки не возьмешь), пролистав с фальшивым интересом партийные коммунистические брошюры, посланцы Шаха спрашивали стиснутыми голосами, с нехорошим предчувствием разведчика-нелегала, переступившего порог проваленной явки: а-а, что, что-нибудь про машинопись у вас есть? Какой-нибудь там самоучитель... Кассир переставала пробивать, снимала очки и просила отодвинуться очередь, чтобы лучше видеть. Продавцы бросали свои отделы (еще один!) и выстраивались за одним прилавком в ряд, как на школьной фотографии, молча и за-

звивно улыбаясь. Покупателя незримым течением несло к этому прилавку с той же скоростью, с которой струйка пота преодолевала его позвонки (ведь ничего плохого я не делаю?! господи, вечно этот Шах!). Вот тут у нас есть несколько пособий по машинописи! вот, пожалуйста! вот — сочно выговаривала та продавщица, которая в школе занималась в драмкружке, остальные сочувственно разглядывали руки покупателя, которые брали, перелистывали и вертели эти самые пособия, а потом принимались шипать одна другую под блеяние: а я-а-а вот слышал, что е-есть такая книжечка такая по машинописи, Шахиджаняна, что ли, какого-то, что можно купить. Вот это? — единственная продавщица, что не ржала, достала из картонной коробки стопочку листов, сдерживаемых скрепкой, — двадцать рублей, пожалуйста!

Смятенный, униженный покупатель грубо совал Шаху то, за чем его посылали, и обиженно забирался в машину — раз в три дня Шах забирал из магазина выручку и пускал деньги по новому кругу, через полгода издавал книгу, собрав под одно название сто тысяч подлинных заявок — одними умелыми разговорами по телефону! трубя о будущей книге в каждой газете, продавая ее самолично раз в неделю в Доме книги — в университете Шаха ненавидели, они не чуяли время, не важно: кто написал, как, что — важно, что продается. А Шах умел продавать. И дальше — книгу за книгой: книга про сексуальную жизнь, книга про гомосексуализм, книга про собак, “Учись говорить публично”, “Путь к себе”, анекдоты, издания, переиздания, сайт в Интернете, толпы учеников, влюбленные поклонницы, обещавшие повеситься от невзаимности на дверной ручке, — все, что делал Шах, было ему очень действительно по-настоящему интересно — он жил не для денег, но свой интерес он хорошо продавал!

Специальные знания стесняли его: в любой книге, даже в учебнике машинописи, он представлял учителем жизни,

и, мне кажется, все броски его на сексуальные перверсии, уроки игры на пианино и “как выбрать щенка”, все это для разгона, от неуверенности на первых порах, а на последних порах, в идеале, в мечте — он стоит на кафедре, вздрагивает седая борода, потрясенно слушают сто тысяч человек — стадион! — и вся страна (телетрансляция), и он нараспев, со странными завываниями (при выступлениях по радио он завывал, репетируя будущее) вещает: жить надо так и так. Задавайте любой вопрос. Я расскажу вам жизнь свою, бедного ленинградского мальчика. Про маму. Как сложно я рос. Как покорял людей. Как растил звезд (сделанное добро бессовестно забывают). Вы полюбите меня. И я всем помогу. (И все записывают.) Больше всего Шаху нравилось представляться и называться “психологом”. Как он стремился поговорить, хоть с полчаса, с Горбачевым, покатать ночью Ельцина по Садовому, корнем протянуться под землей, пробить землю ростком на Тверской, 13, и чуткой лозой обвиться вокруг стана хотя бы московского мэра Лужкова — он бы так им помог, он же видит, как они несчастны!

Ну вам, я думаю, теперь понятно, почему в недобрый день Шаху сделалось интересно избраться народным депутатом независимой России. Он посмотрел на первые тайные и прямые дикие выборы — “партократов” упрекали за икру в пайках, черные “волги”, спецполиклиники, гражданин, заимевший серую рекомендательную бумажку из туалетной бумаги с подписью Бориса Николаевича Ельцина, получал прицепом семьдесят пять процентов голосов в любом округе при любом сопернике при любом раскладе — выбрали ворье, больных и краснобаев — они свели Москву с ума смелыми речами в прямом эфире, живо похоронили коммунистов и Советский Союз.

Среди избранных прославилось немало знакомых и подопечных Шаха — даже при многократном увеличении и сверхнатяжке не находилось сил признать любого из них, потряс-

ших страну героев, хоть в одном таланте равным Владимиру Владимировичу.

Я не помню, что Шаха двинуло на безумие, — я забыл. Возможно, я находился далеко. Мы не всегда жили след в след. Я как комета: улетал. И прилетал, когда появлялась корысть. Мне бы хотелось, чтобы Шах строил только мою жизнь. Зачем мне песни о новых учениках?

Когда Шах брался за новое, старые любимчики отлетали на время, Шах становился нестерпимым: я приехал вечером поговорить о трагическом (уходить ли мне из “Огонька” в “Совершенно секретно”, с трехсот долларов на пятьсот плюс автомобиль “жигули”, с автомобилем обманули), мучительном распутье — а Шах завел овчарку. У меня решается судьба, а он собакой решил убить два главных страха: чтоб не бояться собак и чтобы не замирать от ужаса, топя ночью от стоянки до подъезда. Здравствуйтесь, очень рад, погуляем, заодно поговорим. Мы, я — два часа! — я метал собаке палку, волоком тащил ее на бум и с бума назад, прыгал через барьер, бегал с ней наперегонки по аллеям, чтоб развить собачьи мышцы, затягивал было что-то по заявленной теме и затыкался на полуслове: тс-с! когда у собаки стул, ее нельзя пугать громким голосом, и долго ждал, пока Шах в темноте потыкает прутиком в отходы собачьей жизнедеятельности, определяя: нормальна ли консистенция, не испускается ли какого-нибудь особенного зловония — собака оглушительно, долго, бестолково лаяла — ни сказать, ни услышать, нас тащило за ней сквозь колючки — нет, нельзя сдерживать ее активность! — в две руки вырывали из пасти старую кость — не смей брать с земли! — Шах упрямо и бесполезно учил с ней команды “Ко мне!” и “Сидеть!” — громко и противно (как обычно), на весь парк! — обсуждал течки со встречным свежим материалом — владельцами ротвейлеров, пуделей и колли (тошнит от фанатиков-собаководов!), я улучал минутку, да взгляните вы на меня, а Шах принуждал: щипните, да по-

больней, ее за морду, вот так снизу, как только возьмет у вас (то есть у чужого) печенье с руки, надо ее отучать, и смеялся от души, когда эта бестолочь (овчарка — это моя мечта, но, наверное, никогда, это ведь прощай слабость и воля) бросилась мне на грудь и разодрала новую куртку, дома надо было вытирать ей лапы и заново слушать лай — я в бешенстве усвистел с Егерской самостоятельно решать свою судьбу и не появлялся месяца два, в кругу шаховских учеников объявил: в жизни Шаха овчарка Кристоф играет губительную роль Распутина при Николае II (как раз прочел мемуары князя Юсупова), и нам, честным царедворцам, надо собраться и... — как раз тогда Кристоф, Крис, мучительно, неизлечимо заболел и сделался навсегда худым и хворым, с малой жизненной силой, болезненным отношением к воспроизводству и вихлястой походкой — навсегда, он только с виду, при первом знакомстве казался большой и грозной овчаркой, я смотрел в его беспокойно добрые больные очи и видел Шаха — мне тогда под руку покаянно толкнулось деревенское словцо “сглазил”, подумал: Крис теперь похож на всех учеников, что включает “на меня”.

Шаха цепляли за рукава: выдвигайтесь лучше в Моссовет. На Моссовет-пирог целились мухи помельче. Журналистов избирали обязательно и бесплатно. Но тогда, на заре какой-то там, Моссовет выглядел помойкой, где шизофреники неделями спорили, вынести бюст Ленина из зала или пусть стоит — по телевизору не покажут, не заметит Горбачев, не все чуяли, что и там отрастут сосцы для дойки, — Моссовет для Шаха мелковато, даже Россия, честно скажем, не тот размер, но не ждать ведь следующих выборов на съезд народных депутатов СССР — и так многое упустили, в бой!

Шах собрал в кулак всех обязанных ему по гроб, всех, кто обещал по бутылке боржоми: звонки, листовки, ходьба по домам (все по-деревенски, и остальные кандидаты так же, по первой, никакого там PR — откуда?), а вы, Александр Михай-

лович, выступите на собрании жителей, там решится, выдвинут меня или нет, у вас так убедительно получается, там будет несколько моих соперников, каждого представит прославленное доверенное лицо: актер, певец или композитор, а вы представите меня — студент рассказывает о преподавателе — вы тем более так хорошо ко мне относитесь, даже вызывались написать некролог, вот и...

Вот и! Нет, я уверен, что пробуждаю сочувствие в начальственных кабинетах: стеснительный, потливый провинциал, с разными (мягко говоря) глазами, грубые руки, заика, но как я высунусь перед полтысячей жителей Сокольников после актера и перед космонавтом? Не умею и боюсь. И еще: мне не хотелось врать. (Все настойчиво хвалебное про Шаха всегда почему-то выглядело враньем.) Мне не хотелось унижаться — никто мне не поверит. Такое же безумие, как овчарка Кристоф, только побольше. Мне не хотелось проигрывать. Кто я такой?! — убеждал я Шаха, у вас же есть кого позвать — актер Калягин, клоун Никулин, я — нет. Нет? Нет. Они все не могут, съемки, гастроли, и вы все равно (учитывая непроизносимо “все, что я делал для вас, несмотря ни на...” ) — нет? Нет.

Шах обиделся. Шах никогда не обижался. В этом пункте мы расходились. Я считаю: на уродов надо обижаться. Нельзя уродам улыбаться: “Здрасти”. Я считаю (считал), что человек, который тебя унизил, рано или поздно должен услышать точный перечень своих неправд и ошутить на морде ледяную волну твоего презрения. Я признавал: хозяину правду не скажешь. Но не сейчас — так потом обязательно! Шах каменно твердил: во всем, что удалось, благодари обстоятельства, во всем, что не получилось, вини себя. Простить и забыть. Обидчики или старенькие, или слабые, или разные, или неправильно вас понимающие, все можно оправдать — что толку ненавидеть, завтра ты к нему придешь и попросишь, чтоб дочку устроили в школу. Никому ничего не докажешь, каждый останется при своем.



Делай свое и не оборачивайся. Неправду, что про вас написали-сказали, услышали-прочитали двадцать человек и уже забыли, да кому вы нужны! Те, кто вас знает, не поверят. Те, кто не знает, — им все равно. У вас все хорошо, вам все завидуют. Это было его железное утешение. Как только студент начинал размазывать сопли по лицу и заглядывать из позерских соображений с этажа общежития на асфальтовую смерть, Шах что говорил? -- Шах говорил: вам завидуют девяносто пять процентов населения Советского Союза. Это почему? — заранее радуясь и раскрываясь, как цветок, для приема оздоравливающего дождика, вскидывал глазки самоубийца. А потому. Вы молоды, красивы, вы учитесь в Московском университете, у вас живы мама и папа, вы здоровы. У вас есть деньги на хлеб и молоко. Девяносто пять процентов населения Советского Союза не молодо и не здорово, не живет в Москве и не учится в МГУ, похоронили маму и папу и некрасивы — они завидуют вам.

Мне хотелось (как и всем журналистам времени моего знакомства с Бабаевым) утверждать правду о русской жизни, как я мог это делать? Я писал то, что хотел. И печатал то, что дозволяли. И презирал тех, чья правда убивала мою. Прошло десять лет, и у меня не осталось желания (а когда-то собирался) проехаться по пенсионным квартирам и отставным кабинетам со старыми, исчерканными гранками и потыкать в сизые носы, в золотые очки: помните, вот, вот тут вот узнаете, чья рука? вы у меня вычеркивали — теперь-то все так и вышло! А? Кто был прав-то? Я понял, что рядовой журналист русскую жизнь может поправить, только если он пробивает бесплатную квартиру для многодетной матери или собирает теплые вещи для детских домов, а своих детей растит приличными людьми. Но все равно, мне неприятно смирение Шаха и притворная жизнь без врагов, хотя сейчас бы с Шахом я не спорил.

Шах обиделся, телефон онемел, на собрании жителей учителя представил Владимир Николаевич Софронов из “Вечер-

ней Москвы” (знаменитости обещали поддержать до последнего дня, часа, минуты, а в последний день, час, минуту заболели, внезапно выехали на дачу и угодили в автомобильную пробку), сами кандидаты выступали длинно и жалко, директор Института скорой помощи имени Склифосовского (куда возят задавленных самосвалами и самоубийц) пригласил жителей Сокольников: “Буду рад вас видеть у нас!” — Шах выступал полторы минуты, от соперников остался пепел. Его выдвинули. Началась битва.

Даже Виктор Анатольич Карюкин (хохол — нет) лазил по лестничным клеткам с агитационным материалом, в одну молчаливую дверь стучал особенно упорно. Там наконец-то осторожно отозвались: “Кто там?” Карюкин на всякий случай соврал: “Избирательная комиссия. Приглашаем вас на выборы”. “Придем, придем”, — и торопливые шаги унеслись в глубины квартиры. Карюкин опять застучал. После длительной паузы шаги раздосадованно вернулись: “Да что такое?” — “Приглашаем вас отдать свой голос Шахиджаняну”. — “Да отдадим!” Карюкин завистливо понюхал воздух — в квартире варили самогон.

Меня не звали, я, сколько хватало совести, не шел, но, когда совесть кончилась, явился покаянно на Егерскую и до полуночи бегал по подъездам, разнося листовки, мы выступали перед сеансами в кино и врывались на родительские собрания в школы, нас, как и соперников, не пускали в гарнизон на Матросской тишине (я отслужил за теми заборами полтора года), не пускали к полутысяче покорных избирателей-солдат. Шах таранил ворота с красной звездой журналами “Советский воин” — видите раздел о сексуальной жизни? — я веду! — журнал издает Главное политическое управление! мешки писем! — замполитам, пытавшимся вчитаться в закон о выборах, Шах пообещал подарить машинописные полные копии некоторых пособий по сексуальной жизни, которые еще не опуб-

ликованы в России и вряд ли будут опубликованы целиком в силу некоторой сокровенности сообщаемых в них сведений, — чернопогонную бригаду связи после ужина загнали в клуб, Шах удовлетворенно вздохнул и моргнул: я все сделал, теперь — вы. Я встал, подтянул штаны и уложил бригаду сообщением: ребята, я здесь служил (на самом-то деле служил я в соседнем блатном взводе обслуживания штаба военно-транспортной авиации, чернопогонники, за малейшую провинность часами маршировавшие по ночному гарнизону с песней “Ты гуляй, гуляй, мой конь”, нас ненавидели), и скажу вам, как бывший солдат... Я сказал про Шаха несколько слов, заставивших девяносто процентов связистов “отдать свой голос” Владимиру Владимировичу Шахиджаняну, хотя, если по совести, вклад замполитов в эту победу, я думаю, был весомей — они знали, за что бились, гоня к избирательным урнам своих азиатов.

При включении любой телевизионной программы там обнаруживался В.В. Шахиджанян — ведущим, гостем или зрителем, яростно требующим микрофон, чтобы высказать мнение свое о природе супружеской измены, смысле жизни и продолжительности срочной службы в армии, неизменно начиная: я — житель Сокольников, замечательного московского района, где немало проблем. Что говорить про газеты — “добрая мафия” поливала Сокольники, как система залпового огня “Ураган”. В последнюю ночь Шах мстительно покати́л меня по дворам, и я, как овчарка, высунув голову в заднее окошко “жигулей”, вещал через милицейский мегафон в мирные окна: “Жители Сокольников! Призываем вас! Отдать свой голос на выборах! За жителя нашего района! Владимира Владимировича ШАХИДЖАНЯНА! ЕДИНСТВЕННОГО БЕСПАРТИЙНОГО среди кандидатов”, — последнее утверждение не соответствовало действительности, но Шах считал — так победим.

Первый тур принес Шаху второе место (из семнадцати человек) и соперника — рыжебородого интеллигента по фамилии Шелов-Коведяев, ученого в несерьезном каком-то направлении типа океанологии или скалолазания.

Шах собирался легко и убедительно выиграть сразу же, в первом туре, и после выхода в финал он заскучал: неожиданно ему открылись интриги, сплошное предательство и двойная игра некоторых бескорыстных помощников, власть казалась купленной Шеловым-Коведяевым на корню, у соперника грезились шальные деньги и подпитка из-за рубежа. Убийственная для Шаха поддержка соперника Старовойтовой (Старовойтова Галина — одна из апостолов народного буйна Ельцина, олицетворение демократии, мужеподобная разоблачительница коммуно-фашистов) была главной причиной Владимира Владимировича тоски — он подкатывал к Старовойтовой на общем ленинградском прошлом и общих знакомых, его ласково приняли, перекрестили и отпустили ни с чем, Шах мрачнел: все неспроста, он ее любовник! — и погружался в лживости биографии Шелова-Коведяева — да какой там он Шелов и Коведяев! скрывает национальность, а то по лицу не видно! О своей слабости Шах говорил вскользь: “Все думают — зачем нам армянин...”, но мне кажется, он считал главной причиной своего вероятного поражения собственную фамилию, а еще больше — собственное лицо, профиль. И был, на мой взгляд, прав. Все бы забылось, кабы пробился он к Ельцину и получил хоть какую-то занюханную рекомендательную грамотку, но не пробился и ничего не получил. В тот день непобеды он все же пошел и проголосовал за себя (берег и этот голос!), у избирательного участка народ развлекали со сцены: баянист стоял, ничего не видя, как слепой, баян в его руках разворачивался словно сам по себе, “артистка оригинального жанра”, толстая старуха с длинной крашеной гривой под зимней шапкой, наряженная в пестрый восточный халат, вытащила на сцену провинциаль-

ный чемодан, обклеенный открытками с изображениями дальних городов, и доставала оттуда кольца, платки. Я глянул сей-час в дневник: это было 20 марта — на земле лежали пыльные клочья травы, небо светлело у горизонта, над головами стояла черная неподвижная пыль, и ее не мог сдвинуть ветер.

Мы втроем, Софронов, я и Шах, поехали в крутящийся ресторан “Седьмое небо” на Останкинской башне. Ресторан вращался муторными, тошнотворными рывками, мы с замершими лицами смотрели за стекло: город — не видно людей, беспорядочная роща домов, серые пятна парков, поднявшееся вверх, словно на вдохе, небо, одинокое солнце и не видно птиц — и все это на свету, и так томила эта еле плывущая картина, будто мы на пароходе и он навек отрывает нас от родной земли, и наш дом теперь — эта палуба, вот этот столик, смирились и оторвались — и такой вдруг прекрасной из чужого окна стала наша земля, величавой, родной, присмирившей, и мила стала особенно та сторона, где дом, — ничего не видно отсюда, мы уже далеко, а та сторона света мила.

Софронов вдруг сказал: “Да. Как все-таки ужасна наша советская действительность”.

Мы доели крабов и вернулись в Сокольники. Я, угрызавший совестью, унесся надзирать от демократических сил на избирательный участок, скрыв от Шаха, что записался в доверенные лица журналиста и литературного критика Андрея Мальгина на выборах в Мосгордуму (шли в тот же день), а Шах остался у телефона с какими-то остатками надежды, в ожидании вестей и того, что он с легкостью делал для меня и других, — в ожидании чудес. Которых нет.

Позже, пожив еще, я познакомился с другими не избранными в депутаты, смахивают они друг на дружку — одинаково насмешливо рассказывали о своей “предвыборной эпопее” (в кандидаты попали случайно, друг записал по пьяному делу, на избирательную кампанию плевали и особо не тратились, но

набрали невероятно много, против собственных ожиданий, голосов), радостно — про свою нынешнюю, многообразно процветающую деятельность, при невольном сравнении делающую должность депутата малозначимой и незавидной. Они одинаково презирали избранников вообще: “И тут он говорит: меня избрал народ! Ты представляешь, да?” И — вот главное — по гроб, всем естественном до ногтей и волос ненавидели одного, то самое существо, кому проиграли, — на миг не отрывая от этого скота внимательных, ненавидящих глаз. Шелов-Коведяев быстро бросил избирателей Сокольников, заделался заместителем министра иностранных дел, на этом посту не выделился ничем, кроме бороды и неуставного свитера, и сгинул. Для меня. Шах, я уверен, знает где, кем и что.

Смысл некоторых начинаний Шаха оставался для меня неведом. Пользуясь дармовщиной в “Вечерке”, он накатал убойное брачное объявление: вдовец, состоящий из одних недостатков, собака, увлечения: цирк, кино, журналистика и проч. — зачем? ведь не искал жену! — в него и так трепетно и нежно влюблены, по его убеждению, все вменяемые женщины и студентки, видевшие хоть бы раз: от министра российского правительства до последней слушательницы курсов “Учись говорить публично”!

Сорок писем. Я читал. “Веселая вдова, средней упитанности, 57 лет, любит театр, кино и цирк, цирк, цирк...”, “Недостатков у меня еще больше, чем у вас”, “Уже десять лет каждое утро закуриваю свою последнюю сигарету”, “Я некрасивая, стесняюсь своего роста (176), а так не хочется совсем завянуть”, “Живу в коммунальной комнате, есть сын, но живем недружно. Все проходило мимо, все отдала ему, а он...”, “Я так соскучилась по твоим сильным рукам и надежному плечу”, — написала преподавательница факультета журналистики — я закрыл глаза и покраснел от чужого стыда: год за годом она будет встречать в коридоре шушлого, малоприятного Шаха, не подо-

зревая, что стон свой доверила ему. Сколько собранного, высушенного, ссыпанного в почтовые мешки несчастья.

Я засунул последнее письмо в конверт и: теперь?

Ничего. Можно снять такое кино, сказал Шах: он, человек, давший объявление, собирает под каким-то предлогом всех написавших и ведет в цирк — с ними играют клоуны, их катают слоны, им дарят воздушные шарик и фотографируют с тиграми — женщины счастливы — удивительный, непонятный вечер, расходятся по домам, обмениваясь телефонами, чтобы дальше дружить, мельком благодаря человека, вручавшего билеты. Они уходят и не узнают никогда, что собрало их вместе. Он остается один у цирка, и тотчас гаснет реклама, останавливаются карусели, уводят с улицы верблюдов и пони, мусорщики потрошат урны, сворачиваются киоски мороженого, запираются кассы и начинается дождь.

Многие истории Шах про себя сочинял. Или нет. Шах любил одеваться в рвань: драная куртка, тридцатилетняя беретка, в ближайшем к дому овощном продащица хамила и крыла матом любого, кто не лизал ей руки. Дошла очередь до Шаха, он протянул засаленную записку, нацарапано: “Я глухонемой, но по губам понимаю”. Продащица убедилась в достоверности нищеты и, подчеркнуто растягивая губы, пролаяла: “Вам чего?” Шах на пальцах показал: картошки два килограмма, капуста кочанчик — долго и придирчиво показывал: это надо заменить, нет, лучше другой, и этот тоже не надо — очередь потрясенно смотрела, как лютый зверь покорно, едва сдерживая ярость, обслуживает глухонемого.

Или еще: будто бы во времена дефицита он, обходя редакции, держал в сумке сторевшую лампочку. И когда хозяин кабинета выбегал вон по производственной надобности, Шах мигом выворачивал лампочку из его настольного светильника и вворачивал на освободившееся место негодную свою. Вернувшийся хозяин если и пытался тотчас включить лампу, то де-

ло кончалось растерянным: “Перегорела. Что-то часто стали перегорать”. А Шах уносил годную лампочку домой.

Когда наша комната сдавала бутылки, приемщица стекло-тары произносила загадочную фразу: “Эти ребята, наверное, с пляжа”. Когда стипендии надорвались бежать за ценами и окончательно потеряли их из виду — хохол с Карюкиным встали с лежанок, сдали бутылки и пошли в коммерцию. Они пошли за Костяном в торговый дом “За рулем” и сели менеджерами среди прочего отребья факультета журналистики Московского университета.

Костян уже подросток и вырастил идею: торговый дом для чего? чтобы подкармливать редакцию! Дайте нам деньги подписчиков — мы “прокрутим”. Ему вручили двести семьдесят тысяч долларов, и он уехал в Соединенные Штаты за ходовым товаром. Купил снегоболотоход за шесть тысяч долларов для продажи охотникам и лесникам — снегоболотоход привезли на самолете, собрали (все за деньги) и установили на Выставке достижений народного хозяйства — желающих купить не нашлось. Не берут, твари. Ну что ты будешь делать. И куда его девать? На выставке говорят: убирайте к чертям. Разбирать никто не берется — а вдруг не соберешь. Погнали со страшным грохотом на склад — мальчишки бежали по тротуарам — двадцать километров снегоболотоход прошел за двенадцать часов! Хохол (ему уже не терпелось поучаствовать в нащупывании золотой жилы, когда смотришь со стороны на провалы товарищей, всегда хочется: дайте я!) предложил: давайте загоним машину либерально-демократической партии Жириновского для агитационных целей! Не взяли: сильно грохочет, медленно едет. Снегоболотоход невредимо стоял на складе до весны — весной на него упала снежная глыба и разбила кабину вдребезги.

Костян не знал английского языка и, заслушавшись переводчиков, накупил первостатейной дряни: щеточки, баночки, смазки, колесики — ничего это у нас не продавалось, а если что



и продавалось, вырученные деньги Мартын (Коля Мартынов — четыре раза женат на провинциалках и четырежды брошен после прописки жены на жилую площадь, в описываемый период после последнего раздела жил в Бескудникове, владел диваном) шел и менял на валюту — валюту Костян клал в сейф. Журфаковское отребье, рядовые бойцы торгового дома рубали в дешевой столовой, а Костян взял напрокат “вольво” и кушал каждый день в ресторане с тварью секретаршей, на лбу у которой горела надпись “проститутка” — после двух лет “прокруток” Костяна и хохла (у него хранился второй ключ от складов и сейфа) позвали: ну и, где и, все это, которое? — и показали какие-то длинные, как бычьи цепни, цифры недостач — хохлу поверили после искреннего признания, прорвавшего недостоверные рыдания: “Я бы столько не пропил!” — Костяну пришлось забрать проститутку и двигаться в другой бизнес. Но это после.

Начинались ларьки: период, эра, эпоха ларечной торговли всем, всех — знакомая из ДАСа дагестанская национальность сварила в Малаховке ларек из железа, наворованного братом-прапорщиком, и продала торговому дому в лице Костяна за тридцать тысяч тогдашних рублей — Костян отчитался: купил ларек за пятьдесят тысяч, и на разницу хорошо жил некоторое время. Ларек (газетами, журналами будем торговать, ну, может быть, еще сигареты и спиртное, им все легко подписали, кругом воровали дома и пароходы, тогда всем легко подписывали) поставили у редакции: хохол через день с Карюкиным наконец-то сели на берег ручейка денежек, под железную крышу, быстро набирающую в жару сорок градусов. Через неделю, замерив скорость течения, хохол усадил вместо себя бедную студентку доступной внешности для завлечения клиентов, сам закупал у оптовиков на Киевском вокзале “Мальборо” за четыреста рублей, по бумагам проводил покупку за четыреста пятьдесят — за пятьсот “Мальборо” продавалось в ларьке — то

есть хочу сказать: доли получаемой прибыли торгового дома “За рулем” и Кушнира В.Д. уравнились — потекло, запенилось! — через месяц хохол приклеил на ларек объявление “Сниму комнату” и нашедшейся старушке так наплакал про бедность, что она сдала ему комнату — за шесть тысяч рублей!

Но это довольно долгий, плавный такой процесс, а кругом жир нарастал пузырями, дирижаблями, люди “подымались” и уходили ввысь, как ракетносители “Союз” — мигом, на огненных столпах, в дыме и пламени, хохол и Карюкин озирались: ну где же свободная розетка, куда воткнуть то, что уже изучили, чтобы достигнуть первой хотя бы космической скорости — и тут соплеменник Малков возглавил областную партийную газету на полуострове Камчатка. Ему позвонили: как народ? Што там? Почем “Сникерс”? Да, дорогой у нас “Сникерс”, рапортовал Малков, по двести восемьдесят рублей. А то и триста. (Так “Сникерс” — в Лужниках по восемьдесят рублей, невесомая, маленькая шоколадка, ее напхать можно в коробок многие сотни штук!!!) А как с шампанским, Малков? Новый год, между прочим, скоро. Шаром покати с шампанским, ответил Малков. Нету.

Нету. НЕТУ. Камчатка. Мы (Карюкин и хохол!) летим (минус самолет туда-сюда) к Малкову, две тележки в рост человека, набитые “Сникерсом” и шампанским. День туда, день там, день обратно. Там продаем. На выручку покупаем икру, продаем в Москве. Костян посчитал, глазам не поверил, еще посчитал — опять до хрена, отнял тридцать процентов “риска”, и все равно — очень хорошо получилось, отпер сейф и выдал первоначальный капитал: на товар и билеты.

По Лужникам хохол с Карюкиным побежали, как молодые лоси, и нашли место, где “Сникерс” стоил дешевле на рубль, — набили две телеги, называемые в народе “тачанками” (и шампанского шестьдесят бутылок), впряглись и поперли к редакционной машине — колеса у “тачанок” гуляли

“восьмерками”, руки отрывались — перли пятьдесят метров и дохли: стоп, отдышаться, утереть пот — и перли пятьдесят только метров — далеко не протащишь. До машины и грузить: набили салон, раскрыли багажник — поместимся? ну, давай; как-то незаметно подошли четыре смуглых товарища, чеченцы по национальности, милиционер стоял тут же, посреди дороги, но отвернулся, полностью сосредоточившись на регулировании движения. Ну как, загрузились? Еще нет, грузимся. Угу, все нормально? Да так, неплохо. Ага, так сколько у вас тут... Короче, или один ящик отдавайте, или девять тысяч шестьсот.

Что?!!

Ничо! Видал: вон наш “форд” стоит, люди сидят. Лучше сразу денег дай, мы просто предупреждаем, потом будет хуже.

Хитроумный хохол затрепыхался: это мы для детей купили, у нас в редакции (мы ведь журналисты! жур-на-ли-сты, газеты, демократия, вас, чучмеки, накажут! пожалейте) — детский праздник, хотим детишек порадовать — не отымайте “Сникерсы” у детей. А денег у нас нет совсем.

Те: нам без разницы.

Спокойно говорили, только один (ясное дело) постоянно порывался поразмахивать руками. Для нагнетания страстей они переходили на свой обезьяний язык — и все понятно, и белый день, и центр Москвы и — никаких сил.

Нет денег! Где работаете? Мы ж говорили: в редакции! Наш поедет с вами в редакцию — вынесете деньги, а вот этот (на хохла) остается.

Хохол два часа гулял по Лужникам с обезьянами: да я пойду, наверное, а то чо-то холодно, нет, погуляем еще, давали закурить — вдруг кто-то свистнул, и обезьяны исчезли. Разозленный хохол примчался в редакцию посмотреть на злых Карюкина и Костяна: ну что? А то! — ехали, ехали, за нами “форд”, на светофоре обезьяна сунула лапу Карюкину в кар-

ман, достала десять тысяч, что на авиабилеты, и вылезла. Шофер и Карюкин, русские молодцы, не шелохнулись.

В Домодедово! — багаж надо тащить на склад, сил уже нет, дали денег, наняли электрокар; без упаковки не берем — упакуйте, ну, пожалуйста, не, вас упаковывать не будем — по габаритам не проходите и у нас технический перерыв тридцать минут, не надо здесь стоять, тут таких желающих, мы закрываем — опять сунули деньги и — улетели.

Мучительно — две-над-цать часов! Тесно, темно, некуда колени, как ни ляжешь — все неудобно (это ветерану пожарных войск — хохлу!), раз задремали — стюардесса будит, принесла собачьи кости — такая курятина.

Сели: зима. Пурга. Ночь. Ничего не видно. Светится окошко, в одиноком одноэтажном здании. А где же город? Петропавловск-Камчатский? Это не здесь. Это аэропорт “Елизово”. Чтоб в город, надо дождать утра.

По снегу с чугунными тачанками до аэропорта: там вдоль батарей спали вповалку собаки и люди, упали на пол, на рас свете схватили такси и к Малкову, в пустую двухкомнатную квартиру, Малков крепко выпивал, жратвы дома не водилось.

Побежали в ларьки. Там “Сникерсы” подороже московских. Но не настолько. Не по триста. По двести пятьдесят есть. По двести сорок. Берите у нас! Берут. Но что-то помалу. Плохо берут. День побегали, два походили — холода стоят, коробки стоят, “Сникерсы” не убывают, шампанское никуда — за неделю до прибытия моих (долго подбирал слово) сокурсников азербайджанцы завезли на Камчатку шампанское. Точно такое же. На пять рублей дешевле.

Хохол затряс Малкова: возьми продукт для редакции! распрости по бюджетным организациям! Малков отбивался: у нас наличных нету (у него кровати не было, спал в надутым спасательном костюме морского летчика). Виктор Анатолич Карюкин еще курсировал вдоль ларьков, хохол угасал в пустой

квартире напротив телевизора до того момента, пока не заметил, что по низу экрана вереницей текут рекламные объявления местного происхождения, — хохол сорвался, нашел на телевидении нужное лицо, вложил в его благодарно хрустнувшую ладонь пять тысяч рублей, и назавтра телефон дзинькнул: видел я тут вашу рекламку, могу взять “Сникерсы” в бар. Шесть коробков. Но не по двести. По сто семьдесят пять. Чтоб сами привезли. Автобус до поселка идет от автостанции.

Во тьме в пять часов утра хохол и Карюкин затащили товары в “пазик” — он поехал. Час, другой, третий — русские просторы! — четыре часа, пять — горы, речушки, ни одного признака жизни — через восемь часов автобусного пути они выпали наружу вместе со своим центнером шоколадок: побережье, сушатся сети, туземцы в малахаях катают на снегоходах “Буран” — пустыня.

Здесь нас закопают, вдруг понял хохол, даже “Сникерса” не останется. Нашли бар. Бар как бар: телевизор, стойка, хозяин в тельняшке: ребята, я тут посчитал. Шесть коробков я не потяну. Только три. И не по сто семьдесят пять, а по сто сорок пять. Да ты что?! Да вот так. Не хотите — автобус обратно ждет у почты ровно час. Следующий — через неделю. Возьми как договаривались! Нет, да вы что, у нас столько денег во всем поселке нет. Ну, ну, ну ладно, хрен с тобой — бери по сто тридцать, но шесть коробков! Не. Только три. Ташите обратно.

Больше не бились. За неделю распихали по дешевке “Сникерсы” и шампанское, на рынке купили ящики: два — крабов и десять — самопальных банок икры — по шесть ящиков на тачанку. Покупали придирчиво: дайте нам из той банки попробовать, нет, из вон той, что из глубины, дайте — целы икринки, не лопнули?

Можно лететь. Но зарядили метели: день, два, три... Жрать нечего, дома чайник и заварка, Малков столовался на стороне и приходил домой сытым и пьяным. Завтрак: банка крабов,

банка икры; обед: банка крабов, банка икры; ужин: то же самое и полбуханки хлеба. Прошла неделя. Хохол взвыл: Малков, дай денег, хоть картошки купим!

И тут метели утихли. Хохол и Виктор Анатольевич, прокляв все, через коммерческий склад, за взятки загрузились в два самолета и отправились друг за другом с разницей в пятнадцать минут, еще более мучительно — четырнадцать часов, с дозаправкой в Хабаровске — в Домодедове хохол, изуродованный днями, неделями, бессонной разницей в часовых чертовых поясах, крабами, икрой, самолетным каторжным утробным скрючиванием, вцепился в Костяна: не надо ничего, не надо ждать Витю, отпустите прямо сейчас, не надо никаких прибылей и доходов, поеду в Москву, ты не знаешь, как это, я знаю, как это, всех вас видал, хочу к себе в комнату — упасть и полежать мордой вниз, Костян тряс хохла: что за истерики, все, ну все уже, Володя, денег наварим, все позади, какие слезы, ты меня просто пугаешь; Карюкина дождалась — и на склад за товаром, там сторож тоже человек: легковые машины не положено, отдали пять тысяч — все отворилось, открылось, оформилось, подъехали тележки, грузчики бойко выбросили ящики, охраняла милиция — и ящики летели весело дальше — в машину и на выезд — открывай шлагбаум! Открылся, милиция подевалась куда-то, сторож ушел в будку, и там свет разом потух, к машине подошла во-от такая морда в спортивных штанах: привезли? ага... что тут у вас: икра или крабы? бери вон тот ящик и неси вон, видишь, “газик” стоит.

Как?!

Редакционный водитель, который вообще ничего не слышал, высунулся из кабины что-то уточнить, и ему: ба-бах — с размаху в морду! Голову спрятал обратно. Ящик схватили и, куда велено, быстренько отнесли. Тронулись и поехали в Москву. Водитель с распухшим ухом и скулой заплакал: у леса

они нас догонят. У меня машина больше восьмидесяти километров не бежит. Хохол плакал и кричал: ящик! девяносто банок!

В редакции (всё, дома) хохол подтвердил: мне больше ничего не надо. Никаких денег. Костян, купи мне бутылку водки и посади на такси до дома, лягу спать. Они выпили.

В четыре часа ночи или утра хохол наконец-то вышел на свободу, указал таксисту: “На Лосиноостровскую!” — и заснул на заднем сиденье.

Он проснулся в тот же день, в семь часов вечера — в электричке, идущей по Ярославскому направлению в сторону Москвы, за две остановки до конечной. Без куртки, сапог, шапки и чемоданчика типа “дипломат”.

Скорым шагом (никто не обращал внимания на босые ноги) прошел в вокзал, там тепло, но мокро — нанесли с улицы и растолкли снег, уборщица ахнула, а больше под ноги никто не смотрит. Хохол позвонил Костяну. Жена равнодушно ответила: он сегодня поздно, наверное после девяти. Семь вечера. Два с половиной часа хохол ждал, чтобы позвонить наверняка, чтобы не кланчить еще один жетон на телефон. Алло. Костя, тут такая беда, приезжай, возьми старую обувь с собой. Только точно скажи, во сколько приедешь. А то я уже загибаюсь.

Костян приехал через сорок минут.

На стену повесили объявление “Предлагается икра”. Стали брать и приносили обратно: какая-то не такая. Сперва поругались: ничего-то вы не понимаете в икре, когда вернули седьмую банку, прояснилось — им впарили порченный товар. Попытались раскидать по палаткам, но не пошло, Костян не туда поставил ящики: с мороза сразу к горячим батареям — через три дня нечего продавать.

Я, конечно, понимал, что когда-то придется писать про Бабаева. Мне хотелось. Я не мог сказать вслух, не мог подумать, но внутри выходило: после того, когда... Но ведь я не ждал его смерти. Я собирал материал. И чтобы закончить, мне не хвата-

ло, получается, этого. Чужая смерть заставляет запомнить твой день, твою минуту, когда ты узнал и что-то подумал и запомнил навсегда — так полностью и точно, как редко думаешь и помнишь, когда не ребенок, — вот все, что такое чужая смерть. Это — настоящий ты.

Чужая смерть, и все равно ничего не узнаешь о жизни. Ничего не изменится. Записал, и всё. И все равно солнце встанет, позовет крепкая власть мочевого пузыря, садись съешь что-нибудь, надо сходить за хлебом, звонит телефон — тот, кому нет нужды знать, перед которым неудобно или бессмысленно выглядеть унылым, он-то здесь при чем, никто не должен страдать. А я?

Я думал: Бабаев проживет долго, подрастет Терехова Ася и его запомнит. Но, мне кажется, ему бы хотелось, чтобы кто-то написал, сейчас, до. Помимо паршиво-скучных расчетов впавших в ничтожество после смерти советской власти (что чиновные глаза прочтут, узнают, умилятся и решающая земные вопросы рука поставит против фамилии “Бабаев” цифру на месте, где вечный прочерк) мои или чьи-то строки, кажется, были бы небезразличны Бабаеву сами по себе — нет человека, которого бы они интересовали больше, а я ждал: пусть умрет, но, но, но — не только.

Мы встречались и ходили рядом как записыватель и рассказчик, у нас не могло найтись позиций других, чтобы оставаться рядом: он плохо слышал, он жил там, непреодолимо далеко, у нас не заводилось общего дела или выгоды, не было места, где обязательно пересечешься. Я знал (сколько раз происходило, и с близкими людьми): напишу, напечатаю, встретишься, отдашь “вышедший номер” — позвонят с искренне радушной благодарностью и — конец навсегда, говорить больше не о чем. Что-то кончилось. Напишешь, словно погадаешь по руке — в одно мгновение, больше не удержишься рядом, нельзя поглядеть: сбывается, нет? Я боялся потерять.



Да, и вот еще: я собирался писать то, что думаю на самом деле. Не учитывая нервных систем и направления роста шерсти. Про живого так не напишешь. Да и зачем? — какая-нибудь уборщица в любом случае что-то не так поймет при беглом чтении и что-то скажет на собрании по утверждению квартальных планов подсекции поэтики кафедры русской литературы факультета журналистики или соседке по кабинкам в женском туалете. Да. Вот тут, в этом месте надо еще добавить (глянул в план): я уверен, что строки мои не единственные и не останутся таковыми, написанными об Эдуарде Григорьевиче, что люди, которым он сделал столько доброго, затронул в душе так много важных струн, присоединят и продолжат... что избавляет меня от тяжкой ответственности и необходимости... э-э, ну и так далее...

*Вы замечали? Если ненадолго  
Мы расстаемся, то легко и смело  
Мы говорим друг другу: "Ну, прощай!"  
Но если нам разлука путь укажет  
На много лет, мы говорим: "Всего!  
До скорой встречи! Напишу, конечно!"  
На письмах даты.  
Может быть, вся жизнь.  
И только тем, кого мы никогда  
Уже не встретим в этой жизни (странно,  
Что мы всегда угадываем это),  
Мы не решаемся сказать: "Прощай!"  
Вот так мы покидаем город детства.  
Вернемся — нас никто не узнает.  
И мы глядим с таинственной улыбкой  
На тех, кто и не знал нас никогда...  
Так пролетают годы. Постепенно  
Мы учимся искусству узнавать*

*Самих себя. И в том, что с нами было,  
И в том, что больше не вернется.*

Выше приведены строчки из стихотворения Эдуарда Григорьевича Бабаева “Память”.

Еще на куске бумаги он записал из Уитмена в переводе Чуковского:

*Я страстно любил одного человека,  
Который меня не любил,  
И вот отчего я написал эти песни.*

И добавил свое: “И разве все мы, “ротозеи”, пишущие стихи, рассказы, романы и повести, а также воспоминанья, разве все мы не обращаемся к тем, кто нас уже не услышит?”

Не любит — не услышит, действительно одно и то же, почти. Неуловимость жизни. Все, что получается записать, — не Эдуард Григорьевич, и то, что хотел-надеялся, — тоже нет, и то, что помню еще, — не он. И ясно, что писанием этим (даже посмертным) я отдаляюсь от Бабаева сильно и почти окончательно. Разоряюсь ради выдуманного долга, почти все дешевет. В “почти” останется настоящее, я его не понимаю. Но оно есть.

“Басня “Ларчик”, как нам кажется, является авторской исповедью Крылова, его самозащитой и оправданием права поэта на тайну творчества.

Вот “механик мудрец” говорит:

“Я отыщу секрет и Ларчик вам открою...”

Но все его усилия оказались тщетными.

Механика должна была отступить перед поэзией, у которой другие законы.

И напрасно он “вертит со всех сторон и голову свою ломает”.

Баратынский говорит в письме к Пушкину: “Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову”, — тоже мысль из крыловского “Ларчика”.

Но, как известно, “ларчик просто открывался”.

Как же открывался ларчик?

Он открывался сам, как открываются лилии полевые, как открывается душа человеческая, как открываются великие стихи”.

Это одна из песен, повестей, гимнов, страниц, историй, ощущений, близких голосу Бабаева, — он не выделял этих лекций, они словно сами выделяли его, как яркий солнечный свет, умноженный на всемогущество детской памяти — она больше Вселенной, вот некоторые, что помню: Бородино, коронация Александра I, каждая лекция о Пушкине, баллада Жуковского о кресте, судьба Полежаева, Крылов (Бабаев рассказывал о нем родственно-уважительно и ласково), смерть Державина (лодка с единственной зажженной свечой плывет через озеро в безветренный день к монастырю — плывет в гробу мертвый Державин), писатели, которые дошли до неизвестного предела и замолчали до смерти, — Озеров, Сухово-Кобылин; встреча Жуковского и Пушкина в Царском Селе — “Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творенье! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу...” “Благослови, поэт!” — Бабаев что-то говорил (как встретились два человека), как-то говорил, и я точно видел дорогу, уткнувшуюся в утренний свет, деревья над ней, протянувшие ветки друг к другу, и чувствовал майский ветер, пахнувший сырой землей, и обещание счастья — до слез, Бабаев поспешно отворачивался, брал палку и уходил — лекция кончалась, только однажды: “Прочтешь, согласишься — а никому это не надо”.

Он был певец, и после его ухода...

Нет, еще про слепца, в список надо добавить лекцию, когда он пересказывал стихотворение Алексея Константиновича

Толстого “Слепой”. У меня не осталось рукописи лекции Бабаева, я сам перескажу:

Князь выехал на охоту, погонял вепрей и туров, сел закусить на поляне, кто-то погнался за убогим стариком, слепым песенником, чтоб развлечь князя песнями, но не дождался, охота поскакала за вепрями дальше — все уехали. А слепой приковылял на поляну под дуб — часто его звали сюда, все знакомо. Встал, поклонился в ту сторону, где обычно садилось начальство, и запел: про подвиги минувших дней, правду князей, глубины моря, заколдованные клады; обличал в песне насилие, просил богатых миловать бедняков — лицо старика озарилось, он разогнулся, стал вдруг высоким и властным, словно царское одеяние проступило сквозь лохмотья, и пел так, как никогда еще в жизни не пел — до вечерней звезды. И умолк.

Дубрава говорит певцу: “обманутый дед”, трудился ты, “убогий”, даром, ни похвал тебе, ни награды...

*Он: “Наград мое сердце не ждало!”  
Убогому петь не тяжелый был труд,  
А песня ему не в хвалу и не в суд,  
Зане он над нею не волен!  
Песня “Как лютая смерть необорна!”  
Охваченный ею не может молчать,  
Он раб ему чуждого духа,  
Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,  
Неволей иль волей он должен вещать,  
Что слышит подвластное ухо!  
Не ведает горный источник, когда  
Потоком он в степи стремится,  
И бьет и кипит его, пенясь, вода,  
Придут ли к нему пастухи и стада  
Струями его освежиться!  
И кто меня слушал, привет мой тому!*

*Земле-государыне слава!*

*Ручью, что ко слову журчал моему!*

*Вам, звездам, мерцавшим сквозь синюю тьму!*

*Тебе, мать сырая дубрава!*

Я провожал Бабаева, он рассказал про собаку. Собака, что он выносил на улицу подышать, умерла. Никто не осмеливался заводить разговор о другой, да и время нежирное, вдруг не прокормишь, но уличный пес попросил у Бабаевых крова, “сам пришел, тихий, справный такой мужичок, мне бы только переночевать, а поесть я как-нибудь сам перебыюсь, и прижился, ходит теперь промышляет к заднему крыльцу столовой”.

Я боялся услышать от него грубое или лишнее словцо — часто вырывается у пожилых людей против их натуры — подойдя ближе (но не близко), я страшился что-то разглядеть, что начнет резать глаз, я знал, что у меня не хватит великодушия и ума забыть или объяснить услышанное, я боялся так потерять Бабаева, но он остался таким же необходимым мне, без трещин и лишних слов, далеко и на высоте.

Странно читалось его письмо Ахматовой (письмо молодого, пятидесятые годы) о своем поколении: сердца, посвященные железу. “Слова теряют свою цену, и только молчание спасает от ужасающих формул лжи”, “наше развитие шло неправильными, случайными путями”. Я его таким не знал. Или он таким жил недолго.

Настало другое время, и на лекции Бабаева я ходить перестал. Неловко казалось слушать курс второй раз кряду, да и жизнь поменялась, работа, разочарование в себе. Из страха я не говорил никому, только ему, что вот, возможно, скоро случится так, что у меня, это, в общем, родится ребенок. Может быть, сын. Или дочь, немедленно вставил он и довольно промышчал, когда его предположение сбылось. И чтоб я знал: “Рождение ребенка увеличивает площадь уязвимости человека”.

И мы редко виделись. Перестали видеться вовсе. Вдруг встретились — накануне смерти. Так вышло у многих, словно кто-то дал возможность проститься всем.

Бабаев говорил: в сочинениях Платона его трогают слова “я это слышал от мамы”, а сам часто добавлял, припоминая что-то, “еще жив был отец”; произнося важное, он поднимал глаза на меня, поднимал руку, словно взвешивал в ладони звучащие слова, и голос его делался таинственным — замолкнув, он замирал, вопросительно глядя прямо в глаза, словно проверял: коснулось меня? Или нет. Я страшился заговорить о бесполезности, напрасности творчества, о смерти. О бессмертии. То есть Боге. Это однажды мелькнуло за окнами наших разговоров, он, как обычно, в сторону сказал, что благоговеет перед этим.

Я не спросил о главном. Кроме главного, остались вещи, о которых я не смог бы спросить. Все равно что предложить упасть. Я уверен, что некоторых “тем” для Бабаева просто не существовало. Я так хотел.

Так, что-то цеплял, но все коряво, что-то вроде: а не ранил ли вас малый отзвук? Он без заминки ответил если не с удовольствием, то с готовностью: “Я прошел уже это. Страшно, когда не понимают самые близкие. Когда самым близким не нужно, не интересно все, что ты пишешь”. Еще одну его запись я уже потом подчеркнул: “Семья и дом безусловно нужны человеку для того, чтобы закрыть дверь перед теми, перед кем ее следует держать закрытой. Весь вопрос в том, с кем он останется “по сю сторону”...”

Мы разговаривали, если сжечь мои слова, не стгорит только “Дай формулу!”, что он мне ответил, я не знаю. В моих словах случайно, намеренно зацепилось, как рыбка за сеть, “смысл жизни”, и вышло Бабаеву ответить, и вот: он поехал на целину, ночевал в бараке и не мог уснуть — за стеной студентка терзала подругу: “Для чего ты живешь? Ну вот скажи: для чего ты

живешь?!” Подруга устала и ответила (Бабаев пересказывал тихим, уверенным голосом): не знаю, живу, и всё.

“Так часто бывает, что самое важное оставляешь напоследок. А последние лекции отменяют”.

Я не встречал в дневниках старых людей ясного понимания, что завтра они могут не проснуться. Что думают старики? Заметно становясь травой. Иногда кажется: окружающие почти желают смерти старика. Он уже умер, сохся, пустил корень, поник — он принял овеществленную форму памяти, она отличается от памяти обыкновенной лишь некоторыми неудобствами: надо что-то отвечать, занята комната, следить, чтобы не упал, хоть привязывай — фактически осталась лишь фотография, прежде чем застыть и потеряться, фотография, только говорит и шевелится, и в будущей смерти для окружающих, остающихся — ничего нового, герметическая упаковка, не пропускающая звуков и запахов.

Дней десять назад (время, когда я работал в газете “Совершенно секретно”) Лариса Ивановна: встретила на улице Славу Лосева. Он приехал с дачи. Просил, чтобы ты позвонил.

Слава Лосев — настоящий художник, он рисовал для “Огонька” и богатых журналов вроде “Плейбоя”, у него здорово получались женщины, дети, бабочки, мне нравилось, я попросил: он сделал обложку для моей книги и щедро взялся за небольшие (Лосев ценил себя, а издательство могло только копейки) деньги нарисовать обложку для следующей.

В июне или мае мы плохо расстались: я назначал встречи и пропадал, он спешно выполнял скорый и дорогой заказ (что-то детское) и сокрушался: “Не великий я мастер рисовать “храбрых воробышков””, а потом убито: “Заказ я выполнил. Денег мне не заплатили”. Я предложил займы, но он — нет, “Лучше, когда придешь посмотреть эскиз обложки, купишь мою работу, которая тебе понравится”, я с размаху мыкнул что-то согласное. Не хватило духу сразу отказаться. Я предполагал: рисунки

Лосева стоят дорого. Не торговаться же мне с Лосевым?! Больно он был удручен, я не смог признаться, что денег на покупку рисунков нет.

Я не приехал. И месяц не звонил. Когда в издательстве подошли сроки, начал звонить — к телефону подходили только жена и дочка, я уже бросал трубки при первых женских звуках, грубил жене: “Пусть только отнесет иллюстрации в издательство. Больше мне от него ничего не надо”, и заставил записать свой внуковский телефон, но Слава не позвонил, не звонил. Я решил: обиделся. Лосева задевало, если я обещал: позвоню, например в четверг, и не звонил. Хотя случалось, я звонил, и жена Лосева без стеснения: “Дома. Не может подойти к телефону”. Кажется, Лосев иногда пил.

Лариса Ивановна сказала, и в понедельник по телефону я сразу застал его. Лосев грустно, медленно порадовался мне. “Приехал с дачи. Денег нет. Заказов нет. Может быть, завтра куда-нибудь поеду”. Я пообещал перезвонить вечером, уговориться, как встретимся завтра (в конце недели он заново собрался уезжать, если не соберет заказов), и я опять не позвонил: в глазах обнаружился конъюнктивит, заболел зуб, разнесло щеку, я завяз во Внукове.

Сдурю (ведь выехать не мог!) позвонил в четверг часов в десять вечера Лосеву. Сперва занято. Потом (вот опять!) жена. “Можно позвать?” — “А его нету”, — как-то развязно сказала она, крепко меня раздражала по телефону. “А вы не знаете, он завтра собирался в Москву?” (Лосев жил в районе конечных станций метро и не считал свой дом Москвой). “Он у-умер, в субботу мы его хороним”.

Из живота в сердце и в голову мне плеснула жаркая вода, я послушал молчание жены Лосева, выдал: “Извините”.

Говорили, в четверг он пошел с дочерью на рынок, там они разошлись и домой вернулись порознь. Она вернулась последней, Лосев лежал мертвый на кухне. Сорок один год. Шунти-



рованное сердце. Говорили, ему строго нельзя пить. Говорили, с кем-то подрался. Все хочется выяснить, пока человек жив.

Я представил: было бы мне приятно, если бы Лосев пришел на мои похороны? Да. И под дождем отправился в субботу на отпевание в Лефортово, в церковь Петра и Павла в Солдатском переулке. В кулаке шесть гвоздик. Когда кончил отсчитывать, продавщица сочувственно посмурнела, пытаясь попасть в настроение. Ехал и подумал: эта встреча наверняка, никуда он не денется, не опоздает, Слава опаздывал.

Протиснулся в церковь, сразу слева стояли (точнее, лежали) два открытых гроба, в обоих старческие белые лица, одно с бородой, другое в платке. Казалось бы, понятно: Лосев — с бородой, но я безумно переводил глаза с гроба на гроб, не в силах определить, кого я провожаю, пока не увидел внешне знакомую женщину (лет десять назад я назвал бы ее бабушкой) из огоньковского издательства, она стояла у гроба, что с бородой, — значит, он. И я правильно пристроился. Позже по рисункам Лосева опознал его жену (“Типично красивое лицо”, так он говорил) — жена стояла как-то на отшибе, позади спин, одиноко, и смотрела только на Лосева, потом опознал дочь, зашибленную. Хозяйствовала мать, завмаг, платок, крашенные волосы и губы — все как у завмага, в конце отпеванья сына она уже держала деньги в руке, на ее вопросы все время шепотом отвечал дьякон, разъясняя техническую сторону дальнейших действий.

Я-то стоял так, что видел только холм цветов, толстое одеяло роз, и все не мог сосредоточиться, происходившее действие являлось настолько другим, что выглядело занимательным, в действии проглядывала театральность, и такая, что и тебя вытаскивала на сцену покрасоваться: а достаточно ли я печален, каким боком стою, и все наматывалось на собственное счастливое ощущение своей полной непричастности — я-то жив, постою и пойду под дождиком. Я оборачивал-

ся на входящих, косился на красивых богомолок, проводить Лосева собрались люди молодые и приятные, свежего, не барыжного вида.

Купил свечу за тысячу рублей старыми деньгами, служба в церкви еще не закончилась, когда подошел священник: “Зажигайте свечи”. На куполе Сергию Радонежскому являлась Богородица с апостолами, седобородый старец останавливал занесенный меч. Свечи зажгли, и я увидел: Лосева нарядили в серый стариковский костюм, белая рубашка застегнута на последнюю пуговицу на горле — он походил на крестьянина, второй раз в жизни надевшего свадебный костюм. Из гроба тесно выступали ноги в серых, резиновых, литых, новых, что ли, туфлях. Я положил в самые ноги цветы и увидел уже наших, огоньковцев — Юлию Алексеевну, Вадика Вантрусова, Колю Калугина, Маринку. Вадик и Коля постарели и сбрили бороды, Лосев оставался бородатым.

К священнику подошел гололицый, длинноволосоволнистый дьякон со скорбными бровками и две старушки — петь. Священник было затянул отпеванье, но в первой же паузе заметил: “Где требник? Ищи иди книгу”. Дьякон пробурчал: “Это Нина брала книгу”. Бегали за требником, дьякон долго листал, искал нужное место, священник опять бросил петь и начал раздувать уголек, чтобы бросить его в наконец поднесенное кадило (дым так и не шел), — и запел, старушки там, где надо, подтягивали, различались лишь имена: “Вячеслава, Анны, Анастасии...” — я смотрел на остающихся жить женщин Лосева и думал о своих Анне и Анастасии, дьякон подпевал, священник обрывал то его, то старушек: “Здесь я ниже пою”, “Молчите!”, “Если не умеете, не пойте вообще!”, среди прихожан, стоявших службу, заплакал ребенок, его долго выносили, я заметить не успел: мальчик, девочка?

Продолжавшаяся в храме служба глушила и без того негромкого священника, свеча моя сгорела на две трети, старуш-

ки отпели свое положенное и уходили, нацеливая нас: “Подходите, прощайтесь”, я шагнул в сторону, освобождая проход, прощались, не перекрестился ни один, грузная женщина из издательства наклонилась к Лосеву, но поняла, что грудь помещает дотянуться поцеловать, разогнулась и зашла для новой попытки с изголовья. Жена и дочь прощались как-то робко, испуганно, будто боялись сделать что-то не то.

Крестом насыпали песок на покрывало, слой за слоем снимали цветы, мешающие накрыть гроб, священник уже не читал, а просто, как-то по-дружески говорил что-то уже отдельно “Вячеславу” и отдельно “Анне”, родня “Анны” у соседнего гроба троекратно перешептывалась “Сколько дать?”, я смотрел на Славино калмыцкое лицо — прощай; ровное, ровно легшее накрыло его, белая изнанка покрывала с проступающей славянской вязью — последний шрифт, он не любил шрифты. Тонколицый бородач двумя неожиданно резкими ударами добил два гвоздя, и гроб понесли ногами вперед с неясным удовольствием: все как надо.

Я постоял под дождем с Колей Калугиным, нанятый автобус взял до метро, шофер объявил, как обязанный: “Метро “Авиамоторная!” — все вышли кучкой, а я отщепился в сторону киношного подъезда с надписью “Кассы”. Думал — никто не заметит, но все кивали, кивали, и я остался один, и в кино не пошел, пошел стоять посреди метро, жадно глядя на проходящих женщин и не зная: куда?

Оказался в кинотеатре “Иллюзион” на комедии. И один раз здорово засмеялся.

И вернулся домой, во Внуково — сразу позвонила девушка Ксения Цан-кай-си (учились мы в одной группе), весело предупредила: “Я сообщу тебе печальную новость”, плачуще объявила: “Умер Витя Карюкин”. Она взялась объяснить, где будет панихида, услышав “не нужно”, еще минут пять спокойно пошебетала про свои дела.

Витя. Виктор Анатольич Карюкин. Витя влюбился в какую-то девку. Она гуляла со своей собачкой у торгового дома “За рулем” и зацепилась.

Я допускаю существование людей, способных влюбляться, но ни хохол, ни я, ни Виктор Анатольич в числе таких не состояли. Мне кажется, у Виктора Анатольича что-то случилось с головой. И хохол так считает. Хохол сказал: внешностью эта баба ничего, но папа у нее генералил в Минздраве, там Витей и не пахло (выходит, Карюкин жениться решил? сколько я его знал, он все бил по зажиточным москвичкам).

Виктор Анатольич лишился сна (мысли, говорил, лезут), срывался ночью и на такси за “лимон” (около двухсот долларов) летел в Дмитров (девушка жила на даче), поговорит с этой и назад, “Ладно бы переспать мотался”, — сказал хохол. Витя даже что-то копал и подстрегивал по хозяйству на той буржуйской даче, хотя ненавидел труд.

И в этот день, в этот вечер поздний Витя упрашивал Костяна: отвези к ней. Костян купил новый “москвич”, еще не обкатал — заодно обкатаем, вперед! впереди: Костян и Костянов брат, позади хохол, Мартын (один наш) и Витя.

Зачем хохол поехал? Он сам не понимал, его довели домой на Лосиноостровской, он уже вылезал и — остался! Приехали ночью, Дмитров, выпили — Костян не пил, он вообще не пьет, у него и без выпивки порядок: катил от мамы из Белоруссии с женой и детьми, разогнал машину по мокрой дороге до ста двадцати километров и сшиб почтальона (перелом тазобедренного сустава) — зачем ему пить?

Витя побежал на дачу, в окошко стукнул, эта вышла, поговорили: все, можно уехать. Хохол (уже понял, зачем ехал): давайте сядем у озера, выпьем, искупаемся, выпьем, а по светлому поедem — светает рано. Но все — нет, ехать, ехать!

И полетели. Вдруг — из тьмы! — в лоб! — мотоциклист с включенными огнями — Костян его увидел всего-то со ста мет-

ров в свете своих фар, дал резко — влево! — вправо! и — обошлось.

Остановились и выпили за счастье парня на мотоцикле.

Летят, передние ремнями пристегнулись, хохол и Витя загнули на заднем, Мартын, зажатый спящими в середине, лупился на дорогу.

Костян даванул сто шестьдесят, понесся в ложбинку, прямо в туман, а когда выскочил из тумана — летят в тупик, дорога идет влево, дорога идет вправо, а прямо дороги нет. Если б Костян дал влево — через канаву их вынесло в поле. Костян дал вправо, машина завалилась набок, перелетела канаву и остановилось у самого дерева. Не врезавшись. Что спасло хохлу жизнь (чуть не написал с заглавной буквы).

Костян и брат его как сидели, так остались. Мартын влип в пол и усидел. Витя, животом выбив сиденье и заднюю дверцу, вылетел вон. Хохла выбросило сквозь лобовое стекло, он сломал руку, девять ребер, разинувшийся капот выдрал из руки его бицепс, приземляясь, хохол врезался в дерево и раскроил лоб, но, ясное дело, — не проснулся.

Брат и Костян, очумелые, вылезли, выпутались и вздрогнули — “Вытащите меня!” — из недр металлолома закричал Мартын, ожидая взрыва. Вытащили и рыскали по кустам. Никого в темноте. А, нет, кто-то есть. Вот — наткнулись на стонущего Витю. Витя пожаловался: болит живот. И встал на ноги.

Хохол начал просыпаться и сразу понял, что снится плохой сон, закрыл глаза, чтобы дождать сна получше. Его потрогали за руку: “Так она сломана!” Крикнули: “Володя умер!” — они нашли хохла без туфель, по темной народной примете человек, вылетевший при автокатастрофе из туфель, наверное умрет. Хохол туфли снял сам по-тихому в машине, чтоб не жарко спать.

Ночные машины не останавливались: мало ли какие среди ночи руками машут. Костян побежал два километра до дерев-

ни — милиция приехала, “скорая”. Хохол понял суть произошедшего и плюнул в ладонь — крови в слюне не было. Легкие, значит, целы. Откуда энциклопедические познания?

Хохла схватили бросить на носилки, он поборолся за жизнь: “Беритесь втроем! Чтоб равномерно! Чтоб легкое не проткнуть сломанным ребром!” — никто не слушал.

В деревенской больнице Вите разрезали живот, отрезали селезенку, убедились, что почка разбита, — зашили и отправили в район. Хохла оставили вылечить. Хохол лежал, хохол, жмурясь, глядел на операционные лампы, двигались только пальцы на ногах, на лоб клали швы, отвезли в палату, где лежало шесть полумертвых. В девять вечера палату заперли на ключ, и медицинский персонал ушел спать. Вылезли тараканы и побежали по хохлу — он пытался пугануть насекомых криками и шевелением ножных пальцев, но тараканы не разбежались и щекотно суетились по груди, шее и лицу. Хохол понял: залезет в одно ухо и вылезет из другого. И застучал пяткой в стену. До трех ночи. После трех начал кричать. Бессмысленно звал маму.

В девять утра отворили и хохлу плеснули зеленкой на лоб.

“Дуй!!!” — прохрипел он медсестре.

“Да ладно тебе, потерпишь”.

В Москву, шептал хохол. Да вы что. Мы вас не можем в таком состоянии. Риск для жизни. Приехали племянники (хохол подращивал рядом пьющих, ленивых, туповатых родственников), дядя шептал им: что хотите, чтоб отсюда.

За бутылку шампанского племянники купили дяде непромокаемую “пеленку”, за пять тысяч — обезболивающий укол, оставили расписку от близких родственников, что ответственность на них, донесли до “уазика”, обложили подушками и увезли.

Тем временем Талгат и Костян нашли Витю в районной больнице, больница понукала: шевелитесь, ему кровь нужна, забирать вам его надо, искусственная почка у нас есть, но ни-

кто не знает, как включить. Талгат побежал в соседскую воинскую часть, дал прапорщику пятьдесят долларов, и Витя получил солдатскую кровь от пятерых.

За перевозку просили два “лимона”. Костян погнал в Дмитров, нашел крутого папу любимой Витиной бабы, и тот не кричал: вон! достали! идите на хрен! — он обещал помочь (холол размышлял: наверное, обрадовался и помогал ровно настолько, чтобы смерти не мешать) — за Витей прислали реанимационный “мерседес”, в Склифе Витю опять разрезали, опять сшили, сосед по палате прохрипел: вызывайте родных; навестила та баба, Витина любовь, сестра прилетела, вроде Витя раскрыл глаза и узнавал, когда сестра еще пришла — уже пустая кровать. Витя умер. Костян дал ей денег (пять тысяч долларов), чтобы не заявляла в милицию, чтобы погасить светящиеся ему от семи до десяти лет.

Еще семь тысяч требовалось за хранение и доставку гроба в Алма-Ату — Костян обшарил уральские фирмы-должники Торгового дома, собрал долги и взял с фирм расписки, будто деньги те отдали Карюкину В.А., с него не спросишь. Все подумали: хоронил он Витю за свой счет, а Витя долги украл. По правде, хоронил Витю Торговый дом, а Витя (по данному делу) не вор.

Мы сидели с Витей на семинаре по партийной печати, шушукались, не поворачивая голов, вел маленький Суяров (начальник нашего курса): “Сегодня закончил пораньше, я ведь теперь... Большое начальство! Кто? Скажу кто — сразу начнете подлизываться, да... Правильно. Председатель профкома. Матпомощь там... Если кто становится папой или мамой. Нет, кто просто мужем — это нет. Или когда самое печальное — вот у наших двух сотрудниц умерли матери, и мы им... И у меня, кстати, мать помирает. Так это всё... Ну ладно, мы отвлеклись”.

Я начал радоваться, когда время проходит быстро. Я спешу спать, словно моя главная работа в кровати. Жизни осталось

так мало, что не за что браться — времени ни на что не хватит. Не успеешь даже запомниться детям.

В паршивом марте (коммуналка, пьяные соседи), на первой неделе, после поездок по грязным вонючим дорогам за женскими подарками, после унижительных устройств в печать шкурных заметок, я получил зарплату — и меньше, чем ожидал. Работали мы в редакции “Совершенно секретно” в Хлыновском тупике, зарплату получали в “штаб-квартире” на Полянке — углом, закрысенном, старом доме, отделенном от кинотеатра “Ударник” Водоотводным каналом — добрасывала редакционная машина или метро (“Боровицкая” — “Полянка”) — шестого марта 1995 года первый раз в жизни я вдруг решил: обратно в редакцию схожу-ка я пешком и — через мосты, черная река, день как вечер, снежная слякоть — на той стороне под светофором на углу Волхонки стоял с палочкой старик — я вдогонку понял: Бабаев, мы не виделись давно, он нисколько не удивился, словно мы договаривались здесь встретиться (я подумал: “Судьба”), подхватил меня за локоть, и мы быстро согласно пошли — зажегся зеленый свет на переходе. Он возвращался с защиты диссертации, выступал оппонентом, хвалил женщину или девушку, что защищалась: она не уедет на Запад (он читал лекции вместо ухаря, умотавшего за долларами). “Жена и дочка съездили в Париж. А меня ничем не раскачаешь”. Он: пишу воспоминания, но не связно. Мне кажется, моя собственная жизнь не так интересна, а вот то, что происходило вокруг, сюжеты — это главное, сюжеты, собирающиеся в истории, — это самое важное и в литературе (я неточно запомнил слова в этом месте, мы спустились под землю), я понял, почему не могу закончить курс лекций о девятнадцатом веке: не все в нем одинаково близко, а курс должен быть именно весь. Куда летом? В Переделкино, если хватит моей зарплаты и наших пенсий (я взял у Бабаева сумку, тяжеленная, кирпичи, всю жизнь он носил кирпичи), затащил



я вас? (мы вошли в университет, я жадно рассматривал студентов, студенты казались помельче, а на самом деле просто моложе, казалось — вот, знакомое лицо, но это просто новые исполнители тех ролей, что играли мы, следующие копии с никому не известного первого экземпляра, я завидовал тем, кто чувствовал себя в университете дома, я так и остался солдатом, притопал сюда в белой рубашке и прожил с натянутой улыбкой, не зная: примут или нет, и никогда не чуял ногами дно, вытягивая сеть, я точно и полностью припомнил одну красивую девушку и страшно пожалел о прошлом из-за одной только этой девушки, из-за счастливой общаги, где редко посещаемый этаж казался неведомой и прекрасной страной). Пойдем наверх? (мы поднимались по лестнице, боковой, над аппаратами газированной воды и двумя телефонами-автоматами (это для краеведов), мимо надписи на стене “Монгол-Шуудан”), а раньше встречались остроумные надписи: “История — это реальность, данная нам в ощущениях”, а сверху кто-то зачеркнул “история” и надписал “материя, дурак!”, как вы? (я хмуро перечислил, начав с “ращу дочь”, закончив газетной поденщиной, “романом” в толстом журнале, отчетливо поняв, что ничего не значу, и закомкал: да, все это ерунда) из этого состоит жизнь (и он в сотый раз вспомнил мою помощь в помещении его стихов в журнале “Столица”, я носил его стихи по знакомым газетным лейтенантам и полковникам, и они печатали, зная (реже) меня или (чаще) Бабаева, но — печатали, как из милости к старикам и нищим, принимали, поили чаем (сейчас номерок с вашими стихами поднесут), мы переглядывались (потерпим, это игра), я не понимал и не пойму: почему он так радовался — этому, никому не нужным публикациям — нет, так не могу написать, “никому”, Бабаеву-то они были необходимы! — почему? — почему; читаю дочке, уже ненавижу книжки про зайцев, что читаете вы?) лучшая участь детской книжки — быть разорванной и измятой, а что

надо читать? последний роман Астафьева не читал, перестал читать Астафьева, после его “Печального детектива”, он какой-то антирусский писатель (на второй этаж, в приемную декана), хочу жалованье получить (я уже писал, в приемной декана в очередь работали злобнообразное существо и сонно-крупнорогатое, мы попали на волчицу, и она злорадно захлестала: а вы опоздали! вы думали, вас будут ждать?! а кассир уже уехала на Ленгоры! а теперь деньги переведут на депонент! и не скоро! получать придется ехать за кудыкину гору!), но мне же надо сейчас на что-то жить (я не осмеливался предложить Бабаеву займы, стоял с набитым деньгами карманом и наливался кровяной краской, мы добрались до кафедры, Эдуард Григорьевич пересказывал беду заведующему, Есину), Александра Матвеевна даже с каким-то злорадством сказала, что кассир уже уехала (Есин тут же полез в карман, я облегченно подумал: даст деньги, но он достал записную книжку с телефоном бухгалтерии и строго взглянул на меня: “Зачем вы открыли шкаф? Что вы там ищете?” — “Я хочу повесить пальто Эдуарда Григорьевича”, мы прошлись вдоль балюстрады по второму этажу, к нему подходили люди и спрашивали, Бабаев хвалил студентов, я спросил расписание, честно решил: пойду на лекции опять), позвонил в бухгалтерию на Ленгоры, это — профессор Бабаев, мне ответили: ну и что? — я в этом году не взял спецкурс, два раза в неделю читаю лекции и — тяжело, сердце (пора оставить Бабаева одного, приближается лекция, он должен побыть один, если я, конечно, не выдумал эту необходимость, я отдал сумку, мы простились, я ушел, Бабаев поднял руку и помахал мне вслед с ласковыми, добродушными словами, начну ходить на лекции, и все продолжится, я больше ничего не буду терять), ну, прощайте.

До свиданья! Через пять дней он умер.

Но сперва он рассказал мне приключение — оно его сильно, сильно занимало.

Бабаев шел по Арбату. Подскочила женщина, еще не старая, и неожиданно схватилась за его палку, тросточку, посох и потянула к себе: “Отдай! Ты украл у меня!” И тянула, тянула, Бабаев что было сил вцепился в свою опору и что-то пытался еще протиснуть сквозь смыкающиеся стены студеной зимней смерти первых мартовских дней, что он мог? что у него осталось? — только слова: “Помилуйте... Вы что-то путаете... Это моя палка! Мне подарил ее один старый приятель...” Женщина резко перешла на “вы”: “Отдайте! Вы вчера со мной выпивали и забрали эту палку. Милиция!” Они явились тотчас, из-под земли, два товарища с автоматами, Бабаеву почудилось: все не просто, все подстроено зачем-то — очень просто оказалось в одно мгновение лишиться всего.

Они спросили так, как умеют спрашивать человеческий податливый пиломатериал: “Ну чо? Чо будем делать?”, они спрашивали Эдуарда Григорьевича, виноватого, жертву, он ответил: “Спросите сначала у нее: здорова ли она?”

И это навсегда неизвестно потому, что женщина вдруг проговорила: “Он не сказал мне ни одного грубого слова. Я бы хотела все это оставить без последствий”, — отцепилась и быстро уходила от них, обернулась и бросила Бабаеву: “А эту палку я вам дарю!” Все кончилось, распуталось, кончилось, каменело и едва не стало одной из многих историй, случавшихся с Бабаевым, подточенной, покрашенной и заученной для исполнения.

Я пересказал эту историю всем. Берестов с лету надулся: “Это был его черный человек...”

Мне не понравились его слова, как и многое, что говорил Берестов, — но почему? — потому, что я заикаюсь, и любой человек, говорящий внятно и правильно (а как еще говорить Берестову — поэту, многолетнему повелителю зрительных залов, оседлому жителю теле- и радиопрограммы?), кажется мне пустоватым — наверное, конечно, скорее всего, это не так, да, не так.

На ошупь пальцы достают новый лист бумаги, листы слипаются, словно не хотят, один подталкивает другого: давай ты — двенадцатого марта до обеда позвонили, сочно и раздельными порциями: “Это Валентин Дмитриевич Берестов. Гонцам, принесшим дурные вести, рубят головы...” (вот ведь не может по-людски, умер Бабаев?), “Умер Эдуард Григорьевич Бабаев. Он ценил вас, тра-та-та... Сердце. Не захотел неотложку. Боялся больницы. Дали лекарство, стало лучше. Взял газету, включил радио и задремал... Такая потеря для меня. Я сейчас просто не могу один знать это...” Я дождался своей очереди, подал все необходимые реплики, положил трубку и заплакал.

Что-то из будущего мне никто не звонит. Ни дочка, ни внучка. Ни кто-то там. Что-то не верится, что там, далеко, очень далеко не научились хотя бы голосом преодолевать прозрачное время, про меня свои могут и позабыть, но что-то они никому не звонят. Выходит, дело не в этом. Объяснение может быть только одно: будущего нет.

Вот и кончилось, и больше не будет ничего, все, я положил телефонную трубку и тотчас начал забывать невысокого, пацанячьего, в кроликовой черной шапке, щеточка седая усов, десятилетия по капле собиралось, “Самые замечательные филологи всю жизнь читают одну и ту же книгу”, — подошли и выплеснули на траву, я чуял громаду истории между нами, но не понимал, он никогда не жаловался, в его веселости было мальчишество, он не походил на отца или деда, он походил на человека, знающего все, вся жизнь его прошла словно на моих глазах: я читал его воспоминания о детстве, теперь умер; жалкие мысли: что я делал вчера, в это время — страшно, и не спалось, совсем не верю — так, я вытер слезы и посмотрел за окно, я смотрю на разбросанные игрушки слепнувшими глазами, ощущая приближение выходных как мытья полов, и мне иногда хочется выйти, а куда? — на фотографиях летнего вечера

моя фигура не пропечатывается, меня нет, нет ощущения себя помимо желудка, роста волос, кариеса, прямой кишки.

Так. Мне не могли позвонить просто так. Только чтобы я, что-то. Я должен что-то. Я посмотрел на телефон: некрологи, вот — “Вечерняя Москва”, “Московский комсомолец”, “Неделя” и, кажется, “Первое сентября”, я просил писать Катюку Филатову — что я мог сам написать? В “Вечерке” помог, кажется, Софронов, “Комсомолец” пробил выходец оттуда Леша Богомолов, теперь работавший в “Совсеке”, — я просил, не надеясь (но почему?! заранее сгибался! хвостом виляя! во что я не верил?): совсем немного, хоть четыре строки — вот и вышел некролог крохотным, втиснутым меж фельетоном, объявлением “ОБНАЛИЧИМ. ОБЕЗНАЛИЧИМ. Любая форма договора. Любая сумма” и некрологом переводчицы Веры Марковой, приятельницы Берестова, размером в три раза больше: “В субботу, 11 марта, умер Эдуард Григорьевич Бабаев. Он был поэтом и журналистом, прозаиком и ученым. Те, кто слышал его лекции на факультете журналистики МГУ, поймут, что с ним ушло невозможное — то, о чем никто больше рассказать не сможет. Панихида состоится в среду, 15 марта, в 13:00 в морге Центральной больницы Академии наук (Ленинский проспект, за универмагом “Москва”)). Катюка хорошо написала. В “Известия” некролог точно над карикатурой на распространителей “Гербалайфа” (“Хочешь похудеть?.. Спроси меня, как!..”) устроил старинный приятель Эдуарда Григорьевича по фамилии Меликян, наглухо пропавший, как только я попытался его привлечь к сбору денег на посмертное издание воспоминаний Бабаева: “Умер Эдуард Григорьевич Бабаев, блистательный литературовед, великолепный лектор — на его лекции по истории русской литературы на факультете журналистики МГУ сбегался весь университет. Он был и тонким поэтом — в его стихи еще долго будут вчитываться любители чистого русского слова. Он оставил людям прекрасные книги о Льве

Толстом, страницы об Анне Ахматовой... И добрую память о себе у многих поколений журналистов, для которых был мудрым учителем”.

Виктория Шохина в “Независимой газете”: “...Он и появился на факультете где-то в начале 70-х, и было ему тогда сорок с небольшим. Говорили, что до этого он работал только в архивах и библиотеках. В облике этого человека была какая-то обаятельная старомодность. Будто пришел он из другого времени. В сущности, так оно, наверное, и было — по-настоящему своим временем оставался для него XIX век. Трость, манера говорить, не повышая и не понижая голос, невозмутимость и терпимость ко всем придурям журфаковцев...

Он вообще был весьма снисходителен к нам. Порой даже казалось, что слишком снисходителен! На экзамене студент мог сказать, что не стал читать Достоевского, потому что тот ему непонятен. И профессор не прогонял его, не возмущался, но начинал объяснять Достоевского. В полную силу, совершенно серьезно. И в конце концов каждый уносил от него столько, сколько мог унести.

Потом я узнала, что наш профессор и поэт Эдуард Бабаев — одно и то же лицо. Потом прочитала его воспоминания о встречах с Ахматовой в Ташкенте. Но для меня он так и остался старорежимным Профессором из т о г о времени... Однако ровно год назад, на вечере “Вопросов литературы”, он, единственный из выступавших авторов журнала, проявил адекватное понимание времени и культуры, в которых мы все оказались: “Актеры на авансцене не видят, что там у них за спиной разрушается. Унесли небо, унесли реку. Дерево уносят. А они все играют...”

И вот он умер”.

Бабаев показал мне, как он сказал: “Они все играют, а там уже деревья унесли, реку уносят. Землю! НЕБО уносят! А они все играют”. Вот, написал это еще раз (хоть сто), а все равно бессилён передать, что это значило.

У меня не было знакомых в десятилетия гниющей “Литературной газете”, я не знал, кому звонить, туда подвигали некролог братья-писатели — главное, итоговое по имперскому порядку полагалось там — и вдруг: нет, ничего не будет.

Меня затрясло: почему?! Некто Кривицкий (служил в том полку с фараоновых времен свирепый старец по фамилии Кривицкий, навряд ли жив) сказал: “Я не знаю такого писателя”. Жизнь часто предлагала Эдуарду Григорьевичу унижающие обстоятельства — и он не вырвался, даже умерев, — я шептал, на ночь глядя: скотина, урод, что же ему сделать такого же — как бы посмеялся Бабаев или заплакал, узнав: “Литературная газета” не напишет — ни слова, никто не учтет вспаханные поля и высаженные яблони, и не найдется тяжеловесных подписей, которые, сплывшись в алфавитный порядок орденоносной и всенароднолюбивой силою, ракетоносителем подымут, метростроевским щитом пробурят и горячей буханкой бухнут на полполосы любой текст — некролог перелетел в “Московские новости”, я неделю ненавидел Кривицкого, а теперь забыл, “Литературная газета” извернулась траурным объявлением размером в троллейбусно-автобусный билет или бритвенное лезвие доколониальных времен: “Ректорат и факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова с глубоким прискорбием извещают о кончине писателя, доктора филологических наук, профессора Московского университета БАБАЕВА ЭДУАРДА ГРИГОРЬЕВИЧА и выражают искренние соболезнования его родным и близким” — по “университетской линии”, “в том смысле, что”, русская, советская и российская литература к покойному отношения не имеет.

И почему именно в этот год вклеила меня жизнь? Какой дурак коллекционер вот именно так разобрал нас по сериям? Пусть. Но лишь бы он всмотрелся, а потом уже наслюнявил обратную сторону — лишь бы он ничтожное это движение сделал зачем-то, назначил, посчитал; хоть бы какую пылинку

на спину — неси, материалом для опыта, хоть шпаклевкой под несдираемые обои.

Уточняя необходимые для некрологов точности: адрес-время-проезд, — я позвонил Бабаеву домой, тоскливо смирившись, что нарвусь на Майю Михайловну — случайный человек в такую минуту! — и не смогу порядочно выразиться, она бодро и зычно продиктовала: “Да, конечно, и не надо никаких слов. Просто ужас! И неизвестно, как его пережить”, — только казенное выступление, ничего другого для смерти у людей нет, еще Берестов: “Я тоже плачу, но меня спасают эти хлопоты”. Я лишне спросил, будут ли отпевать. Берестов как-то в сторону проговорил, словно вдруг обнаружил во мне несомненные признаки неизлечимого тяжелого заболевания и это принуждало его как-то особо строить теперь наше общение, — э-э, сказал Берестов, не зна-аю (тут наконец нашел-нажал нужную кнопку и обратился к радиослушателям), Эдуард Григорьевич был человеком, рано почувствовавшим, что в жизни есть высшее начало. Не знаю, обратится ли семья в храм Армянской церкви... Думал ли он о смерти? И что он думал? (и опять заппнулся, а оставались ли они близки? а наверное, держала их вместе только общая юность, то, крепче чего ничего нет: он помнит моего отца, я помню его мать, Бабаев повторял: “Что было в юности, то будет вечно”, вот, наверное, что тащит меня к компьютеру), да-а, несколько раз Эдуард Григорьевич был близок к смерти (и продолжим для радиослушателей), Эдуард Григорьевич походил на глубокий колодец. И никогда не говорил о своем здоровье. Даже дочери и жене.

Сердце — это сердечная мышца.

Шел мимо хохлов, торгующих мясом, мимо разговоров: “Сколько мясо?” — “Три тыщи”. — “А сердце?” — “Три тыщи”. Я оглянулся и увидел красное, отличимое от соседских кусков лишь законченностью, гладким округлением, как кулек.



Дни ушли, каждое утро ложился снег и таял за день, я вспомнил Бабаева не как всегда — зимним, в шапке, пальто (летом каникулы, лекций нет), а летом, в единственном черном костюме и заново почувал острое: умер. Но ведь голос, задышающийся, шершавый, глухой, песочный смех с прорывающимся голосом, размах рук, доверительный наклон головы “со значеньем”, неясные, немые движения поднятой ладони, когда прерываются слова — я же все это вижу еще, жест приветствия и прощания, — медленно поднятая и застывшая рука, вот натянул перчатки, накинул школьную сумку на плечо и по-мальчишески порывисто пошел из университета, из дома, забрав свои очертания из коридора у Ленинской аудитории, не оставшись ничем, даже именем читального зала, именной стипендией, тенью.

Я не собирался жить без Бабаева, я представлял: подрастет дочь, я посажу рядом в аудитории: слушай. Он не мог умереть, бережлив, осторожен, медленно ходит, он с Кавказа, а там люди живучи, у него еще жив старший брат, и очередь не его, всего шестьдесят семь лет, он сперва всех приготовит долгим угасанием, когда за спиной все начнут друг другу печально кивать, и самое важное: он не мог умереть, не закончив учебного года.

Он ходил в музей, в любую удобную минуту — собирался и шел. С дочкой. С собакой. Отрывался от страниц и взглядывал на собаку: “Терпеть не могу, когда ты садишься ко мне хвостом”. Собака подымалась и пересаживалась.

Умер в субботу, а в пятницу Бабаев вдруг пошел в музей, хотя жена отправила за хлебом.

Никто не мог вспомнить, зачем он приходил.

Даже Шеляпина, самый близкий друг из музейных мукомолов. Вспомните, зачем он приходил?

Она смотрела на меня выцветавшими, тусклыми, светло-голубыми глазами с крохотным, мутным зрачком, ватное лицо,

седые волосы — в один тон, не помнит. Сидела как мертвая, движения ее рук пугали. Казалось, ниже пояса тела нет. Но удивительно легко поднималась и убегала за нужной книгой — ее не выгоняли, оставили доживать в библиотеке, и нельзя было даром есть хлеб.

Старая женщина смотрела на меня как на плавающую далеко рыбу, ровно, равнодушно, и коротко говорила о человеке, дружила с ним тридцать шесть лет. Умерла она потом, когда побежала за троллейбусом. Все время торопилась на троллейбус, не успевала, двери сомкнулись, защемили ее шарф, и троллейбус потащил библиотекаря за собой и зашиб до смерти — что она смогла вспомнить?

Ну. Вот. Ну, пришел в пятницу. Побыл. Сказал: провожу вас, хотите до дома, хотите до троллейбуса. Я выбрала: лучше до троллейбуса. Зачем? Надо было с ним пройтись, пройтись. Может, Эдуард Григорьевич хотел рассказать, как сумасшедшая вырывала у него палку на Арбате. Она не знала, что пора проститься, она уехала на троллейбусе, а он пошел один навстречу последней ночи. Жена удивилась: “Ты куда пропал?”

Совсем уже весной я собрался в Ясную Поляну ради шкурной, денежной надобности и зашел в музей за рекомендательными письмами, разрешительными бумагами, смотрительница диктовала мне форму челобитной: “Директору музея Ля-эн Толстого”, я, дожидаясь круглой печати, попросил глянуть последние публикации Бабаева.

Последняя прижизненная вышла в “Первом сентября”, в четверг — над строкой карандашной бабаевской рукой до тошно и разборчиво вписаны пропущенные буквы “не”, меняющие смысл фразы на противоположный, — неужели Бабаев поспешил в пятницу в музей исправить опечатку в музейной подшивке, собираемой для истории, наперекор смерти? Чтобы пропущенные буквы не погубили нашу жизнь.

Жалкое очарование “последней встречи”. Подлый интерес “как умирал”.

“Последний раз я увидела на центральной лестнице, он поднимался, сопровождаемый двумя студентами по бокам, словно они его вели, Эдуард Григорьевич всегда ходил осторожно, но этот раз он шел особенно осторожно, и заметила: руки, заложенные за спину, у него какого-то другого цвета. Я подошла, попросила студентов дать ему побыть одному, надо бы встретиться, он предложил: давайте через неделю”.

Эдуард Григорьевич повторял: мучают сессии. Он надорвался на экзаменах. Не пришла принимать экзамены какая-то Рыбакова. Он столько времени возился с этой Рыбаковой, позвонил и попросил: придите, вместе будем принимать. Рыбакова устами своей матери ответила: из носа течет, болею, не могу. И он вышел на экзамены один.

Не верил, что болен серьезно. Собирался: в понедельник пойду в университет, читать. Бабаев умер в половине седьмого вечера. Я читал верстку. Берестов в Обнинске рассказывал со сцены про своего друга Эдуарда Григорьевича (небось присочинил совпадение для красоты, а потом и сам поверил).

Бабаев не хотел “скорой”, отказывался пить импортный аспирин, Майя Михайловна обзванивала знакомых: что дать? Сошлись на нитроглицерине.

Он выпил нитроглицерин — боль ушла. Осталась сердечная недостаточность, но Бабаев ее не чувл. Лег на диван, на свою “лежанку” с газетой в руках, поставил радиоприемник на грудь (ведь глуховат), нашел подходящую музыку и задремал.

В комнату заглянула Майя Михайловна, приемник грохотал, как сказала она, “гремел какой-то рок”: “Ну вот! Значит, все хорошо?” — она спросила. Эдуарда Григорьевича уже не было.

На похоронах профессору Есину (куда ему деваться — завкафедрой!) дали слово: “Эдуард Григорьевич постоянно жил

в мыслях и думах о литературе. И в последний день, когда он прилег отдохнуть, он думал о ней же...”

*Вам, должно быть, интересно про любовь и брак.*

*Поэт, бывало, в университете*

*Читал стихи и толковал Платона.*

*И все прошло. И ты бывала здесь,*

*И многие тебя не позабыли.*

*А я брожу один по городам,*

*Перевожу старинные газели*

*И новые журнальные стихи.*

*Но белая дорога нас приводит*

*К началу наших странствий и тревог.*

*И может быть, на позабытый голос*

*Вдруг первая откликнется любовь.*

Майя Михайловна преподавала живопись в заочном университете искусств, писала отзывы на присланные почтовым способом работы народных художников — отзывы печатала на машинке, их идеологическую верность проверяло научное руководство, в проверенные отзывы она от руки дописывала советы самородкам, у каких художников надо учиться на самом деле. С Бабаевым они любили ходить вместе в кино, Эдуард Григорьевич мечтал написать киносценарий.

Как они познакомились, если кому-то это интересно.

Майя Михайловна из семьи художника. Когда она сказала, что отец играл с Маяковским в карты на ее животе, чтобы ребенок был под присмотром и одновременно не баловался, я сперва жалко пытался что-то подсчитать (Майя Михайловна вызывающе молода, когда она шла с сыном, приятели отзывали его в сторону и спрашивали: завел себе подружку постарше?), но быстро замер, как замирает любой, заметив, что прожитое время усыхает, как мощи, и расстояние между царями-

императорами становится в ладонь и прошлое подкатывает к носу — можно пощупать.

Майя Михайловна пересекалась с Н.Я. Мандельштам, слышала: приезжает какой-то Эдик из Ташкента и Лариса (его жена), я тебя познакомлю. Странно, что он с ней (подумала при знакомстве Майя Михайловна про Эдика), женщиной вульгарной внешности, посреди умных разговоров пускавшейся в детальные описания ссор с квартирными хозяйками (попадались одни твари, ни с одной невозможно сойтись), впрочем, фактически они уже развелись, но юридически — нет; Надежда Яковлевна двигала Эдику в жены Варвару Шкловскую, невеста носила захворавшему жениху плохо сваренных куриц и отражала наезды Ларисы.

Отгостив в Москве, на прощальной вечеринке Бабаев вдруг взялся танцевать с Майей Михайловной и говорил много любезностей (она задумалась: странно, а Варвара Шкловская?), ему успеть на метро, на ночлег в Кузьминки, он отправил провожать Майю Михайловну на Арбат друга Берестова, и тот всю дорогу, всю дорогу пересказывал Майе Михайловне свою никогда не написанную пьесу (вот в это я настолько верю, что просто вижу живьем!), а на работе ей (время спустя) сказали: можете выехать поработать с заочниками, вот городов несколько на выбор, и Ташкент.

Ташкент — она выбрала Ташкент, когда еще смогу увидеть Ташкент.

Не застала Бабаева дома, оставила записку. Уже чуть свет он постучался в ее номер. Они вышли из гостиницы, на неведомой земле, и купили два шарика на тонких резинках (черт знает как называются, ну, которые легкие, прыгают), бросали их вниз, они подлетали вверх.

Днем она учила сто заочников, вечерами он преподавал русскую литературу, ночами они гуляли, встречаясь в парке, она приносила огромные бутерброды с мясом, он рвал их, как

пес, и урчал: наконец-то у меня появилась нормальная баба! У нее было пятьдесят рублей (подарила тетка), они рванули тратить капитал в Самарканд и Бухару, проезжий москвич сходил с ними в кино, а по приезде домой раззвонил Москве, рассказав только матери: Варваре Шкловской Эдика не видеть!

Майя Михайловна отперла дверь, прошла в коридор, поставила чемоданы, подняла позвавший телефон. Надежда Яковлевна Мандельштам сказала: “Майя. Это правда, что у вас с Эдиком роман?” Ей ответили: да. “Вас-то я не корю, но он-то подлец!” Бабаева она покрыла последними словами.

Майя Михайловна встречала Бабаева в Шереметьево. Рейс отложили. Она приехала в аэропорт, а самолет еще не вылетел из Ташкента. Ждала до четырех утра.

Бабаев шел по летному полю и нес свое имущество: чемоданчик и печатную машинку. Увидел ее, перепрыгнул ограждение и побежал навстречу.

В коммунальной квартире на Арбате они зажили втроем, третий — сын Майи Михайловны восемнадцати лет, пребывавший некоторое время в неведении: “А-а Эдик у нас еще долго будет жить?” — “Гм-м... А ты бы хотел?” — “Конечно!” — “Я за него замуж собираюсь”. — “Что?! И свадьба будет?” Долгожданный и негладкий развод Эдуарда Григорьевича с Ларисой отпраздновали в кафе и на следующий день расписались, свидетели напутствовали молодых: “Да, пора-а, давно уж пора грех-то прикрыть!”, одобрительно кивая невесте, выделявшейся среди прочих невест восьмимесячной беременностью.

Лариса через четыре месяца вышла замуж, Варвара Шкловская быстро вышла замуж, “все получилось как в водевиле”, очень долго еще Эдуард Григорьевич называл жену по имени-отчеству, она объясняла это старомодностью:

Час ждал Катюку Филатову у факультета, сидел — то град, то дождь, студенты — дети с бубенчиками, курят и матерятся.

Девчонки, немного похожие на наших. Мальчишки, похожие на нас. А уже умер Бабаев, и для него цветенья уже никогда не будет. Барышня моя второй день плачет с удовольствием, разборчиво, на улице не отпускает руку и сторонится игр, слово любимое “ба-ма!”, когда упадет.

После смерти ничего не осталось, жена моя в те времена в шестнадцатый раз двенадцатым способом пробовала вести учет наших трат и, доказывая успехи своей, недолго протянувшей, статистики, предоставила мне бумагу с доскональными расчетами. И там: два крестика и цифры расходов. Это что за крестики? Я сама знаю. А все-таки? Я знаю, что это. А почему мне нельзя сказать?! Когда ходили на Бабаева. Цветы, такси. Она сказала, словно мы ходили на лекцию, сказала, как говорила всегда. Хотя мы ходили на похороны.

Я помещу в этом месте четыре строки из стихов Бабаева:

*А чудо, может, только в том,  
Что, связь времен храня,  
Наш опыт прорастет зерном  
Для будущего дня.*

Кто-то написал из седобородых проигравших мальчишек (такие садятся за студенческие мемуары): “Где профессор, там и университет”. То есть в земле.

Засака — это вокруг города поваленный лес, упавшие деревья, чтобы врагу не проехать. Мертвые защищают город. Наши мертвые защищают пустой город.

Бабаев мечтал многое издать, написать — им владели желанья, он мечтал, чтобы выпускникам университета вручали особый сборник Пушкина. Яростные поклонники Эдуарда Григорьевича из числа студентов, похоронив Бабаева, залетали с этой идеей бодро и настырно, как мухи, — лучшего памятника Э.Г. Бабаеву не придумать! — писались письма, велись разговоры с деканом, планы рисовались, достигались договорен-

ности, не утихали звонки — зимой мухи разлетелись по углам и уснули, и я точно так.

Пять тысяч долларов — для рукописи воспоминаний (Бабаев оставил, как и хотел, книгу для издания “на потом”), бесплатного издателя не нашли, за деньги — пожалуйста, пять тысяч долларов, тираж две тысячи, иллюстрации. Майя Михайловна и Елизавета Эдуардовна глядели невесело, но я набычился: найдем-найдем! Дайте мне просительную бумагу с умным описанием содержания и пятью громкими подписями, откройте расчетный счет и ждите. Как не найдем?! Шах с видимой легкостью вышиб из “Московского комсомольца” четырнадцать тысяч долларов на ремонт класса машинопис и на факультете, а для издания Бабаева, любимца студентов, надо всего-то пять тысяч!

План мой был прост (понятно, что провалился) — я обойду всех знакомых по редакциям, я обзвоню всех, кто называет себя учеником Бабаева и скорбел о его смерти, они подымутся и убедят свое начальство — десять редакций должны дать по пятьсот долларов на святое дело. По капле!

И начал долбить.

Берестов с самого начала загляделся в другую сторону, что-то постоянно отвлекало его внимание, он жил своим творчеством, даже не интересуясь поступлениями на посмертный бабаевский счет. Следом отвалился друг и земляк Меликян вместе с “Известиями”. Поплакали о нищете “Московские новости” (я звонил заместителю редактора, женщине по фамилии Телень). Отказали “Собеседник”, “Огонек” и “Комсомольская правда”, “Столица”. Без радости выслушали “Независимая газета” и “Книжное обозрение”. Лучшая ученица Шаха Надька Ожегова-Явдолюк (служила в PR-конторе, про своих буржуев сказала сразу: не дадут) посоветовала: ткнись в “Тверьуниверсалбанк” — и дала пригласительный на банкет, где гуляли банкиры: там проблеял все, что мог, и меня послали, и черт с ни-



ми, но Ожегова, тонкая, ранимая, чтящая вроде бы память Эдуарда Григорьевича, зажирела так, что даже не спросила: получилось или нет? чем же еще помочь? Мне казалось: все обязаны помогать. Я ж не себе!

Шах ничего не делал сам (это немного смущало), но Шах помогал: привез меня зимним вечером во дворец “Аргументов и фактов”, хозяин миллионных тиражей, буржуй Старков принимал нас в холодном кабинете размером в банкетный зал для провинциальной свадьбы, листал, взмывая, листочки Владимира Владимировича (Шах привез на продажу идею дочернего издания про любовь), перевел глазки на меня: “И Сашу ты предлагаешь сделать главным редактором?”, я включился: нет, у меня другое, и уже заученно затвердил: Бабаев, факультетская легенда, недавно умер, вот ходатайство на ваше имя от факультета, академиков и классиков — дай, короче, пять тысяч долларов.

“Но ведь это же сумма!” — значительно сказал бледнощечный Старков и за согласием повернулся к Шаху. “Давайте тогда так, мы дадим тысячу двести. И пусть другие дадут. Шапка по кругу”, — и еще десять минут расспрашивал счастливого человека (меня!), а где можно купить “ОМ”, такой журнал, новый вышел, в киоске у метро? а у какого, к примеру, метро? на “Красных воротах”? я прямо сейчас шофера отправлю — ему так не терпелось, я, бетонобойной бомбой пробив этажи, упал в приемную Манна, хозяина “СПИД-инфо”, есть такая газетная империя (плюс магазины детских игрушек), я слышал, что Манн не из быдла, что отец его профессор МГУ и писал про Гоголя, Манн без тоски выслушал меня, я по слогам “Ба-баев” (вдруг слышал он когда-то от папы или скажет папе потом, а тот воскликнет: как же, как же!): дадим, присылайте факс с расчетным счетом. Я с крыльца усмехнулся бледному небу: а? Кто говорил, что буржуйам легче дать на лифчик, чем на книгу? Половина есть!

Два месяца секретарша Манна усыпляла меня: факс получила, завтра ему покажу, нет, он не приезжал, еще не смотрел, я еще не забирала почту, пришлите факс еще, решение не принято — а потом забыла, о чем речь. Урод помощник Старкова месяц потянул время (ему звонила дочь Бабаева, каждый день, я ж ей хвастал: я договорился, а вы дожидайте!) и обрубил: сейчас подписная кампания, у нас совсем нету денег. Меня обманули. Точнее сказать: не заметили. Я не смог.

Шестьсот долларов — вот все. Симон Львович Соловейчик, газета “Первое сентября”. Незадолго до смерти он отказал Бабаеву в публикации стихов, может, ему хотелось закрасить, извиниться, а может, по своей доброте — я мало знал Соловейчика, он казался живым человеком.

Я в деталях, подробнее повествовал все открывающиеся мне человеческие подлости (обыкновенную жизнь) В.В. Шахиджаняну, ожидая, что терпение его лопнет, всемогущая рука произведет волшебный взмах и откроется чье-то щедрое сердце, но Шах не шелохнулся, в его отдаленных репликах чувлось что-то не сочувственное моему делу (может, думал, с моей рукописью так бы ты не носился, несмотря на... — эх, правда), он берег свои возможности на свой век, а остаток века мог быть разным. Я заткнулся, перестал звонить вдове и дочери Бабаева, убедившись в своей ничтожности, и через пять лет в Петербурге нашелся человек (Н. Кононов), издавший воспоминания Эдуарда Григорьевича за свой счет.

Весной я оглянулся на свой дом, в окнах сидели старухи и смотрели на землю, как желтые листья.

Предпоследний раз мы встретились с хохлом в метро, он ждал меня у первого вагона на “Китай-городе” в синей рубашке и синей джинсовой куртке, я подумал: это машинист вышел из кабины.

Он уже подвыпил и кричал в подземном переходе, удивляясь моим сандалиям: “Тебе что? Носки лень стирать?”, он ра-

ботал рядом, в редакции газеты садоводов, но работу показать не мог — в кабинете торчал напарник, и мы отправились в “Русское бистро”, хохол отважно взялся платить. Я выпил три кваса, он бутылочку рябиновой и кружку медовухи и еще повторил. Мы сидели на втором этаже, поглядывая на окна его кабинета — там горел свет, торчал напарник. Я молчал. Хохол рассказывал: ходил на похороны Геры Верченко — в “Коммерсанте” напечатали некролог, что Гера нелепо погиб. Оказывается, его заколол ножницами будто бы из ревности азербайджанец, торговавший машинами. Хохол поразился: какими надутыми стали наши однокурсники! Серега Плужников растолстел и отпустил бороду. Магай с Ефремовым трясли огромными галстуками и представлялись рекламистами. Еще одна красавица стала хозяйкой рекламного агентства. Толстушка Светка Буркова с вечно прыщавым лицом выбилась в руководители пресс-службы “Северстали” — хохол (от смущения уже поддавший до поминок с жителем Камчатки Малковым) вился около нее, но его оттирали, он через плечи закидывал удочки: вас, кажись, зовут Светой? Я фамилии только не помню. А чо, помните, к вам летчики ходили в комнату? “А на морде у нее на каждом сантиметре вот такой слой крема какого-то дорогого — блестит!”

Никто особо хохла узнавать не хотел, но он упрямо поплелся в журфаковский ресторан на поминки: “А почему я не пойду? Я его на субботнике строил! Я Верченко плохо знал, но я же пришел выпить!” Малков плакал: хотел заработать на мебель на обналчке шахтерских денег, а деньги ухнули все вместе с банком, и тут же в ресторане потерял оригинал-макет подарочной книги камчатского правительства, что привез печатать в Москву, Магай не пил, хохол (не мог вспомнить имя) показывал ему: пей! — и чтобы продлить радость, пристал к двум наряженным казакам, крепким и плечистым: угошайте, ребята! Соревнование началось. Первый казак через час признался, что лично взорвал па-

мятник Николаю II в селе Тайнинское. Хохол закричал: ты зачем лампы нацепил? Ты что, генерал? Тот не отвечал — упал на пол. Второй заметил: ты нас провоцируешь! Нет, сказал хохол, ты вот что, сходи-ка бутылку еще возьми и закуски, чтоб мы уж выпили хорошо. Казак ушел. И пропал. Официант принес листочек на подносе — четыреста тысяч старыми рублями: вы здесь кушали? Ну мы, отвечал хохол, бери с того, кто лежит, а я пойду (у хохла оставалась десятка, десятку он не тратил, десятку в подобном состоянии он показывал таксисту: вези на Лосиноостровскую, я там вынесу денег еще — и падал спать на заднее сиденье, на Лосиноостровской просыпался, выскакивал из машины и убегал прятаться в лес), официант позвал швейцаров, очень мордастых, “Уж на что я вежливый, но они такие, что я не сдержался и матом их обложил”, — и хохла вышибли.

Чем ты зарабатываешь, хохол? Это спросил я.

На Лосиноостровскую зашел Виноградов — он присосался к Министерству путей сообщения и сумками возил деньги по редакциям — оплачивать материалы, защищавшие железнодорожников от наездов Чубайса. Хохол надулся: а мой друг Шпаков, между прочим, работает в пресс-группе президента (Шпаков за пять лет каторги за сто пятьдесят долларов в месяц высидел двухкомнатную квартиру в Митине, из окна которой виден Красногорск), готовит Ельцину вырезки из газет (газеты без вырезок Шпаков приносил почитать хохлу, тот лежал на диване сутками и читал), любую информацию может, между прочим, сунуть президенту под нос под видом газетной вырезки, и никто не проверит, но это дорого, о, как дорого стоит — тысяча долларов! — а в “Известиях”, между прочим, работает ответственным секретарем Анатолий Друзенко — уроженец, между прочим, Ивано-Франковска, как и хохол (это все, что хохол знал про Друзенко).

Виноградов подскочил и побуксировал хохла в ресторан. Хохол, ученный горьким опытом, периодически уточняя:

“Так ты говоришь, деньги у тебя есть?”, наказывал шашлыков с осетриной и лично убаюкал бутылку “Смирновской”, Виноградова принудил выпить две и наел долларов на триста.

Виноградов через день принес бумажку. Что это? Это заметка, нужно опубликовать в “Известиях”. Четыреста долларов, сказал хохол. И спал дальше. Прошло две недели, Виноградов позвонил: нет, не надо, публикация признана преждевременной и только навредит. Хохол зловеще: “Что значит “не надо”?” Что теперь — из полосы вырезать? Типографию остановить? Миллионный тираж гнать под нож?! Что значит, не обижайся?! Тут не в обиде дело! Еще четыре сотни.

Напарник свалил, погасив свет, мы поднялись и завернули к хохлу на работу, он размахивал руками: тут такая баба в соседнем кабинете: трахать можно! Помоги мне компьютер освоить, я самоучитель купил, а все говорят: надо с игр начинать — вот я и начинаю с игр — следующие полчаса хохол играл в раздевание красавиц, но спьяну никак не мог прорваться дальше второго уровня и клял бабу из соседнего кабинета — она набирает по двадцать тысяч очков, а у него вон, всего четыре! Позвонил бывший пограничник Лагутин, мы лет много не виделись, он знал, что зайду к хохлу, долго мекалибекали, а твоя уже ходит в школу, какое это счастье — детки; вдруг я вспомнил: Костян, а помнишь ли ты двух баб с факультета почвоведения, что к нам ходили на первом курсе, одна чмошная, а вторая красивая, представлялась болгаркой. “Албеной представлялась! — взорвался Костян. — Такая женщина! Я из-за нее усы сбрил! Но женщины коварны...” Я закричал: а помнишь, мы говорили им: оставайтесь ночевать, они сказали: сейчас позвоним домой и вернемся... Лагутин кричал в ответ: “Да я ей духи подарил “Тет-а-тет”, советско-французские, а это по тем временам... Но женщины коварны”, — заключил Костян и дальше мне рассказывал,

что в бизнесе его всегда обманывают лучшие друзья, “Это чего-чего там он говорит?” — оторвался хохол от раздевания красавиц, а потом женился на горластой бабе, лазил по приставленной к подоконнику доске, заглянуть в окно роддома, сыну купил детский мотоцикл, уехал за женой в Уфу, продавал газеты, приезжал в Москву на заработки, развелся и появился передо мной год (теперь уже два) назад уже в обличье рекламного агента, весело и стеснительно: “Принес тебе рекламу туристических фирм. Вот. Три модуля. Всего на пятьсот шестьдесят долларов. Тока, Александр, такая просьба... Ты рекламу напечатай, а деньги я заберу у туристов сам, а тебе тогда, короче, после выхода номера принесу, ладно?” Мы еще посмеялись, не могу сказать, что я жалел, — хохол не был моим другом (я живу без друзей), я бы не плакал над его смертью, что мне его жизнь? — чужая история, да еще скучнее прочих потому, что немного знакома, как и моя — ему, меня даже не смущала сумма (ведь он же прикинул ее, верно? сидел и думал: хватит? стоит ли ради таких денег?), за которую он выключал меня из своей жизни, но все-таки, все-таки — “Что было в юности, то будет вечно”, тут ничего не выберешь по своему вкусу. Рекламу я поставил, больше мы не виделись.

Заправлю ручку чернилами. Подумал: пишу “не так”, рука еще не поверила, что — все, умер и больше не будет. Солнце, голубое, но все же холод, с Аськой села теща, мы уже опаздывали (куда-то за универмагом “Москва”), карман раздувала верстка (так совпало, потом сразу ехать в издательство, раз в пять лет, но именно сегодня, и никуда не сунешь, а так похабно нелепо — с набитым карманом), на частнике (“Пятерочку?”) — доехали, но нет там цветов, мы не можем ведь без цветов! — троллейбуса не дождался, хоть был рядом — эти бы минуты в тишине — а вместо: бешено ждали следующего троллейбуса, бегом в магазин — хризантемы, две белые розы,

опять частника, ехать оказалось за угол, открыв дверь, одной ногой бороздя землю, не отпуская машину: “Не подскажете, больница?” — “А больница не работает”. — “А морг?!” — “Одноэтажное вон”. Вон во дворе кружок людей, сто-двести, здесь.

Под небом (как мало осталось смотреть на него напрямую, не сквозь монетки, дубовую доску, два метра глинистой земли) то птицы затевали петь, то шуршала цветочная фольга, то сирена заводилась в припаркованных машинах, ходили мимо строители, плохо слышно, преподаватели, что ли, говорят, от музея Толстого, от Ясной Поляны, обрывки какие-то: “Двадцать пять лет Эдуард Григорьевич отдал...”, “От Толстого — “зеркала революции” он вел нас к подлинному Толстому...”, “Мы вдохнули при нем...”, профессор Есин: “Эдуард Григорьевич постоянно жил в мыслях и думах о литературе. И в последний день, когда он прилег отдохнуть, он думал о ней же”, и из того же гвардейского полка: “Эдуард Григорьевич мог запросто подойти к студенту, что-то спросить...” Берестов вышел и громко и правдиво: “Не забывайте, что он поэт. Над всем, что он делал, была поэзия”, — ну, и, конечно: “Я понял, что все писал для него”. Выступил из людей поэт Субботин и по бумажке: наша первая встреча, Эдуард Григорьевич прочел мне свою статью обо мне, и я... Я косил глазом: где знакомые? — как же мало людей, стиснутые воронкой, теснотой, хороводом, при значительном деле, при ком-то. Вокруг того, кто внутри. Жена протиснулась к Шахиджаняну, он неузнаваемо взглянул: с какого курса? — и она уехала избавлять тещу от гнета искренних желаний и горшков. Все заструились класть цветы, и я протискивался, злясь на встречных, страшась оказаться последним на общем обозрении, со своей позорной версткой, обернутой в грязную газету (два раза выпала на снег), как бутылка раздула карман, гроб, но я еще помнил себя (цветы как трава), свои положил в ноги — не увидя, только что-то глубоко там, побелевшее, задавлено, как тяжелой плитой, втиснуто.

Отплыл к Шаху, подошел Дмуховский, вытирая глаза, неузнанный католик Хруль, Шах зацепил барыжного на вид Меликяна, он взял нас в машину, и Берестова, и дорогой говорили о своем, все только “Эдик, Эдик...”, словно он сел в тюрьму, “Хорошо, что есть Лиза. Лизу он воспитал для себя”. У ворот Донского вылезли, Берестов обнял меня и поцеловал, как-то весело вглядываясь. Холодно, и я задрожал. Люди собирались в кучки, дружно и накоротке, как самые загадочные люди на свете — доноры, сдающие кровь за деньги (я — дважды, чтобы закрыть прогул физкультуры), похожие на отставных спортсменов, шел обходом поэт Субботин, прокручивая каждому записку: “Я знаю, что сейчас не время, но завтра Лев Адольфович Озеров проводит мой вечер в филиале Литературного музея, приходите, пожалуйста...” Я думал “жена Бабаева” про какую-то оглушенную старуху, которую водили под руки, но уже у входа в крематорий узнал Майю Михайловну: свежая, в круглой черной вязаной шапочке, на шее аккуратный шарф, она стояла почти совершенно одна и бодро курила. И все пошли внутрь. В пародийно церковный крематорий. К невыносимой тетке: “Смерть вырвала из рядов... Всем — большого здоровья. Чтобы эта беда была последней. Всего доброго”, люди, заметно поредев, опять сошлись и притихли, словно ожидая сигнала запеть, и тогда я поднял глаза — разве такой? — белое, чужое, подбородок, покойницки опущенный на грудь — всего мгновение, к гробу шагнула Майя Михайловна, слушая традицию (жена должна проводить последней, поправить, пригладить) — встала в изголовье и наглухо закрыла, расправляя, сминая, расправляя покрывало с какой-то опытностью (я присвистнул, сдувая пылинку с пути пера), вступили намеченные на закрытие сезона люди: молодой преподаватель (в смысле подхватить выпавшее знамя) и старый друг; по первому вопросу: “Я, к сожалению, не много знал Эдуарда Григорьевича, но эти десять лет...”, вторым — Меликян: “Эдик, как нам тебя не хватало. А как теперь не будет хватать...”, мужчины, приготовьте



крышку (я в теплом доме, у ног батарея — за окнами ветер), закрывайте, в самый тот миг тетка снова открыла рот: “Там корзиночку с цветами подвиньте, пожалуйста”, — это и стало последними словами. Студенты схватили корзину и отдали Берестову. Конвейер включился, лента поехала в железную пасть.

Дошли с Шахом до метро и стояли меж двух воюющих направлений, я, согреваясь, страшно живо, жадно, захлебываясь, перебирал и путал свои жилищные планы, мечты, тайны: Владимир Владимирович, умер сосед от пьянки, надо комнату присоединять, а потом две комнаты приватизировать и менять на двухкомнатную далеко или с доплатой, но близко, или сделать ремонт, или покупать третью комнату у соседа, но он, тварь, заломит, или покупать ему квартиру, но, тварь, далеко не поедет, а если покупать на полной стоимости, не останется на ремонт, брать ссуду, но тогда я никогда не уволюсь, или выживать эту тварь: он же сам жить не будет, а квартирантов пускать не давать, убрать его стол с кухни или пускай участвует в ремонте мест общего пользования, комната будет пропадать — ему ж выгодней станет переехать в другую коммуналку или не приватизировать, а сперва разделить лицевые счета на Бутырской и свои доли там подарить, но налог на дарение... Шах внимательно слушал меня, запрокинув голову, поезда выли и грохотали в оба уха (ехать нам в разные стороны), выслушал и сказал: “Вам осталось денег подкопить и книжки писать, пока не станете стареньким. А это будет очень скоро”.

У Бабаева есть стихи о песнях, под которые он рос:

*Вступали голоса внезапно,  
Все про войну и про войну:  
“Дан приказ: ему на запад,  
Ей — в другую сторону...”  
Иные школьные уроки*

*Припоминать нам не пришлось.*

*А песни были как пророки:*

*Все, что в них пелось, все сбылось.*

Он не любил спорт в правление императоров, наследовавших Сталину — любителю опер, кинофильмов, спектаклей и книг (императоры-наследники любили спорт — даже императору хочется говорить хоть о чем-то упоенно, свободно, смело и по-своему, они выбрали свободной темой футбол-хоккей), но в юности Бабаев выбрал фехтование, не особенно подходящее для него (короткие ноги, короткие руки, но сильные — надежда в том, чтобы выбить оружие у противника), и запомнил: нужно всегда чувствовать точку пересечения клинков — она все время движется.

Однажды он уснул, положив сумку под голову, у большой дороги посреди Средней Азии, на южном краю Советской империи, кончалась война, Ташкент становился мальчику тесен, как одежда, из которой вырастают и отдают младшим, он спал — по дороге ехали машины, вели строем солдат, гнали ревущих верблюдов — мальчик не просыпался, люди, собравшиеся вокруг, гадали: как разбудить? — один заглянул: что у него в сумке — книги, догадался: вытащил одну, Пушкина — раскрыл и прочитал наугад несколько строк.

Мальчик получил пропуск в Москву и эшелонам пять дней в отцовской шинели ехал зимой в Москву, он приехал в нее другим человеком через много лет, а то первое прикосновение походило на сон, приснившуюся будущую жизнь (а по правде, не стоит делать выводов из случайных совпадений, из несовпадений, которых сводит попарно и разукрашивает в близнецов рубанок и долото человека, делающего последние лодки — гробы), — паровоз остановился, рельсы уперлись в тупик, в земляную насыпь с полосатой шпалой

Александр Терехов

на двух столбах, и он понял: все, ехать дальше некуда — Москва.

Он вышел на Комсомольской площади и пошел в сторону, которую знал.

“Прямо с вокзала я пришел в университет на Моховой...”

Он стоял у дверей большой аудитории — невидимый лектор говорил об Атлантиде, он задохнулся у расписания: бежать на все спецсеминары сразу, к профессору Гудзию, академику Виноградову (имена, весомо звучавшие в рассказах Ахматовой и Надежды Яковлевны); оставил шинель и чемодан в гардеробе и бросился в учебную часть, “пролепетал: хочу поступить сейчас, зимой”.

“С луны свалился, — сказала машинистка, глядя на меня вызывающе высокомерно...”, и Бабаев уехал. Он удивлялся, что люди не заговаривают с ним в метро, что в Москве никто не знает друг друга.

Выполнив письменные поручения знаменитых ташкентских жительниц, он зашел к Пастернаку (и провалился в снежную яму в поисках дачи — я проезжаю Переделкино на электричке: никогда не поверю, что все это было здесь, по этой дороге от станции шел мальчик, которого я знал стариком), зацепился и посидел несколько неположенных минут, Пастернак говорил, что “в наше время герой не столько тот, кто пишет стихи, сколько тот, кто их хранит”. Что совесть поважнее мастерства. Что пути “ухода” изучены лучше, чем пути возвращения.

И еще один поход.

Н.К. Гудзий

*Что мне память насаждала*

*В этот вечер золотой?*

*Как с Казанского вокзала*

*Шел пешком до Моховой...*

*...Как я дверь открыл с поклоном,  
Снявши шапку с головы,  
Как с попутным эшеленом  
Добирался до Москвы.*

Нашел дом, поднялся по лестнице и постучал в дверь. Там долго не открывали, переговаривались, тяжелыми подвижками толкали на новое место мебель, наконец дверь с третьего толчка нелегко отворилась, и все домочадцы Гудзия выстроились на пороге в большой тревоге: “Двадцать лет сюда никто не стучался!” — Бабаев, оказывается, зашел с черного хода.

На лекции Эдуард Григорьевич однажды в сторону сказал: “Гудзий... Был такой профессор, а теперь его забыли”.

И я не знаю, кто это такой. Наверное, филолог.

Он все же верил во что-то, он так говорил: “У меня было столько тяжелого в жизни, но все обходилось”.

Все, университет, прошло, можно получать диплом, я не хотел идти (вот надо было так и сделать!), но Шах меня уговаривал, приведя доводы, сейчас уже забытые мной, я взял с него обещание сидеть рядом, я покатался с утра с обходным, заперся в приемную декана сдавать засаленный задним карманом студенческий и вдруг не своим голосом молвил: “А можете мне его оставить на память?” Соннорогатая корова (я попал в ее смену), прекратив жевать, долго сопела. Я успел подумать о причинах ее молчания. Возможно, ее смущает, что я собираюсь с помощью просроченного и престарелого студенческого получить какие-то неположенные радости. Льготный проезд на ж.д. транспорте, например. И суетливо добавил: пускай даже студенческий будет перечеркнутый. Это бледно-белесое до рвоты животное теперь высказалось: “Я триста штук забрала. Почему я должна один отдать?”

Мне надо было отъехать, что-то начинался дождь, и я отъехал в одну редакцию, дождь намочил редактора Михаила Давыдовича Беленького, он рассказал: в школе привязал козу к звонку, она бодалась и никого не подпускала звонить на урок, я чувал себя влипшим во что-то густое, тяжелое и неотвратимое, но почему? — что такое кончалось? я ж там не учился, компаний не водил, не подымался с докладами на ученых советах; кончалась молодость? — так не в двадцать же пять она кончилась, надо пройтись погулять, разогнать все самое это, но ударил опять дождь, и с “Третьяковской” я вернулся назад, Шах не опоздал, но что-то говорил, что торопится, что со мной, может быть, сидеть и не будет, не успевает, я бешено молчал, таскаясь за ним, как хвост, Шах проломил двери в приемную: корова и еще одно существо сидели друг против друга и рвали в четыре руки наши студенческие билеты и бросали в урну, трещали тугие корочки, отлетали фотографии снова незнакомых мне людей, Шах порылся в урне, достал мои обрывки и вынес с равнодушно-вежливым видом, с каким милиционер возвращает документы избитому по ошибке прохожему, — я сунул разодранный студенческий куда-то, с тех пор ни разу не искал. Ходил туда, сюда, забрел в ремонтируемую Коммунистическую аудиторию, бюсты основателей университета стояли на полу, как инвалиды, снятые с тележек и выставленные на нищенскую работу в переходе метро, но угрюмая гордость в глазах. Огромный портрет Ломоносова завалили набок, я разобрал надпись “Михайло, 1948, Нилин”, потрогал нарисованную руку, кончик гусиного пера и почему-то нос: уголки глаз Ломоносова заливала красная, воспаленная, бессонная хворь, и только по щекам полыхало малиновое здоровье. И все было как-то нервно, я не сдержался и решил свалить, но прибыл старательно веселый хохол: да ты что?! все хорошо! санаторий закончен! да мы погуляем еще до тридцати! звони, и ты звони, да я тебе надоем

своими звонками! — и мы сели на свои места в Ленинской аудитории, где сидели всегда — в последний раз — прибежал всклокоченный Карюкин — проснулся в одиннадцать утра в женской комнате на девятом этаже у почвоведов и почему-то запертый изнутри — вышиб дверь и помчался получить диплом, Шах тоже подсел, томились, не было декана, чужое тревожное прикосновение тронуло спину, сверху передали записку “Поздравляю”, ага; декан сказал краткую речь, начальник курса Суяров начал быстро читать фамилии, а декан вручать вот то, что должен, мужикам жал руки, барышням целовал, получившие поджидали знакомых, собирались кучей и уплывали коридором, я ждал своей буквы, расположенной невысоко, вот декан промямлил: “Поздравляю А.М.”, я расписался за что-то и отошел с пылающей мордой, отличница Машка Гарькавая с первого ряда (даже здесь села в первый ряд) крикнула: “Веселей!”, я тут по подошел к профессору Семену Моисеевичу Гуревичу, Семен подбодрил: “Вот все и кончилось”, влез в свой ряд, сунул трясушимися руками диплом Шаху, утирался платком, остывал, кончилось, все встали и двинулись на выход, все крыльцо забила толпа, пальцем по запорошившей машину Шаха грязи было выведено: “Спасибо от тех, кто умеет писать”, мы погрузились, но выехать не могли — на дороге стоял фотограф — снимал прощальную фотографию курса, расставившегося по ступенькам. Я уговаривал Шаха купить черешни и захватить к Алле Витальевне Переваловой, она не могла, он торопился, и через пять минут я остался один напротив Центрального телеграфа, напротив сияющих золотых букв, и смотрел на свободу грязной газеты, которая моталась по улице Горького (а может, уже и Тверской) — то ложилась, ее переезжали и сминали машины, то вздыбливалась парусом, и ветер ее катил по дороге, то снова белой заплаткой ложилась на асфальт.

Что же остается? Что же остается потом? Ничего. Все кончилось. Все — перестало существовать. Все поглотила Вселен-

ная, прописанная на земле под именем смерть. Как все-таки странно, что есть на свете что-то сильнее моего “не хочу”. Ты идешь по коридору и однажды за поворотом слова, взгляды, коричневый листочек с результатами анализов заставят увидеть дверь, которая будет вот это. И пойдешь к этой двери, и все (или нет?) потеряет смысл (нет?), и даже неувиденный чемпионат мира по футболу — все станет не твоим, потом чужим, потом ничьим — землю сожрет солнце, а потом солнце сожрет что-то еще, а что-то еще сожрет что-то еще побольше, и никто не узнает, что такое, например, сосновый лес и моя мама.

Смерть — я никогда не вижу ее целиком, не умещается в два глаза, представить не могу — кости, песок, абсолютно черная пустота. Даже такую малость — почуять — не могу, еще большую малость — представить, как это чувствуется, — и не можешь. Почему? Старики с остервенением летописцев осажденной Троице-Сергиевой лавры описывают в дневниках насморки внуков и блеск солнечных лучей на больничных подоконниках, мокрых от ночного дождя, оформленность выделенного кишечного содержимого, собачьи плутни — но не это.

Не могу. Но в цирке, когда акробат лезет в ночь по тонкой палке, быстро перехватываясь меловыми ладонями — и у тебя мокрые ладони — ведь ты представил, представил, представил немногую часть того, что чувствовал бы ты вот там, если бы — так почему не можешь это? сейчас, когда еще не высохли мозги?

Не почувствовать. Какое там почувствовать, за тридцать пять лет (к мгновению этой строчки) я всего-то два раза понял полностью: да, умирать придется. Плевые обстоятельства.

Однажды в армии, в наряде по кухне, часа четыре дня, хмуро-солнечная погода тепло-ледяного времени позднего марта или самого начала ноября, паскудное такое время. Я стоял на

мойке в засаленном, задубевшем от воды и грязи фартуке зеленого армейского цвета, брезентового материала, длинном, до сапог, засучены рукава — вода била искрящимся канатом в сотни тарелок, в горы глубоких и плоскогорья мелких тарелок, невыспавшаяся башка (чистили картошку далеко за полночь, а из роты ушли до подъема, чтоб быдло не успело проснуться) — впереди полтора года бессмысленного нахождения вот здесь, и двуручный пластмассовый бак, набитый объедками и отрыжками; солнце заглядывает в пустую столовую, там вытирают столы и стулья поднимают ногами вверх, а то мрачнеет, и в окна ползет тяжелая смолистая хмарь — и вдруг я почему-то понял разом, словно услышал произнесенное: да, смерть будет, — завернул воду и быстро прошел кухню, пробежал столовую насквозь, огибая немногих людей, выскочил в раздевалку, где не осталось ни одной шинели — пустые крючки, и, распахнув стеклянные двери, вырвался на холод, присел и опустил растопыренные пальцы в студеной снег, посреди дороги, протоптанной людьми, которых два года водят строем есть, которые берут хлеб, когда услышат: “К приему пищи приступить!”, в самом глухом месте Люберецкого гарнизона — я так сидел и трогал землю под сапогами, пока не понял: неправда. Не может быть.

Прокрутим вперед, появляется девушка, она учится на врача, хочется для нее что-то постоянно делать. Купить книгу, например, из тех, что могут ее заинтересовать — “Техника ухода за больными”, перевод с венгерского синего цвета, и, как всегда, по прошловековой, позапрошловековой выучке обнюхивать даже ненужную тебе книгу (тираж, фамилия корректора, издательство, послесловие), я полистал, поцеплял слова, доплыл до главы о неизлечимо больных и дальше уже перебирал слова медленно.

“Смерть — это прекращение биоэлектрической активности головного мозга, наступает “электрическая тишина””.



“Наука, изучающая смерть, называется танатология”.

“Верующие утверждают, что тот, кто в земной жизни верил в Бога, умирает легко. Однако это далеко не так”.

“Силы, чувства, мысли, образ поведения человека свойственны и его смерти”.

“Что касается видов смерти, то в наше время очень “модной” стала смерть внезапная. Это связано, в частности, с заболеваниями сердца”.

“Древнегреческая поговорка “Благоволение богов ниспосылает умирающему кому””.

“В результате новых психологических исследований были получены интересные наблюдения над большим количеством умирающих”.

В книге еще написали: “...если мысль о смерти становится постоянной, это патология”. Также мне запомнилось выражение “необоснованный страх смерти”.

Я перевел глаза с розовощеких строчек ниже и наткнулся на таблицу:

“Пять этапов умирания у хронических больных выделили врачи:

1. Отрицание, беспокойство.
2. Гнев, напряжение.
3. Сделка с жизнью (человек думает о Боге).
4. Депрессия, самобичевание.
5. Принятие, полное смирение. Остается лишь одно желание: уснуть, отдохнуть”.

Я быстро закрыл страницу, книгу, отложил ее, не выбросил и, как и хотел, подарил девушке, которая ее не прочла, и не забыл. И теперь иногда. Медицинская литература написана вечно живыми. От первого слова до точки эта книга покоилась на том, что все умрут (все остальные книги пишутся для того, чтобы вышло наоборот), примут участие в неизбежном общественно полезном процессе задыхания и хрипения,

и мертвения, и будут вести себя как рыбки за кормом, собаки с электродом, парниковые огурцы, проще, чем маленькие дети у кондитерской витрины, — тропы, жизненные дороги, все эти удивительно неповторяющиеся лица и несхожие судьбы сольются в одну ржавую трубу, одинаково прожурчат три-четыре-пять колен и кончатся — одинаково легко сломается именно то, что жалеешь всего больше, — неповторимость; я прочел и второй раз в жизни почувствовал дуновение силы, что ломает всех, ломает всех — на несколько невыносимых мгновений я поверил. Но не могу сказать “верю сейчас” и не могу сказать “не верю”, это “поверил” совершенно открыто живет внутри, построило дом посреди каких-то мозговых дорог, стучит молотком, пилит, готовит какую-то упряжь, завело огород и собирается пахать целину по весне, живет особо, выходит ночами, и тогда я вижу эту тень — я б выжег железом это место, забил бы таблеткой, спалил, зашил крестом, да наука не может, и остается: просто не хожу в те края, а это готовит плуги и бороны: сеять, пахать, сеять-пахать, словно все, что я — его, все — год за годом, так все и распашет. Ночью лают собаки и странный, повторяющийся вой, налетели птицы — крохотные певчие и пары дятлов, вода шуршит по колесам, упирается в снежное месиво — я проталкиваю ногой, когда-то не будет, сплав совершенной незаметности и совершенной определенности. На ветке нашел белое, большое, по-детски пушистое перо, стоял и улыбался: чье?

Что же остается? — все полезло в руки, потрепанные журналы, взятые в читалке наугад, открывались на его статьях, купленные книги начинались его предисловиями, я прочел дневник Суворина и понял: мне больше некому рассказать про эту книгу, я уходил от Бабаевых, в подъезд врезали замок, теперь у каждого ключи, гостям (или посетителям) приходится снизу звонить, я нажал запищавшую кнопку на выход и пихнул дверь, в подъезд молча зашла собака на низких кри-

воватых ножках, мы переглянулись, и она пошагала наверх, еще оглянувшись на повороте лестницы, я понял: последняя собака Бабаева — Рыжик, он каждое утро будил Эдуарда Григорьевича, чтобы выпустил гулять, не пробуя поднять остальных, и полгода после смерти не заходил в его комнату — вообще-то как собаки переносят человеческую смерть, также изучено довольно прилично, я вывернул из переулка на Арбат, и первый встречный вежливо обратился: “Подайте бедному панку”.

Умер весной, осенью в музее Толстого собрали вечер памяти, полторы сотни народу, пожилые женщины, два лысых старика, ни одного студента, тесно и жарко, я выставял колени в проход и кособочился, выступая, заикался, утирал пот с бровей, махал руками и позорно ставил ударения не туда, по-человечьи говорила сдержанная женщина, пишущая стихи, по фамилии Шарапова: я не могла отвечать на дружбу Бабаева, боясь своей несоразмерности ему. Он советовал Шараповой найти в прошлом кого-нибудь одного, своего, и она искала, мучилась: какой он? кто? — “в духовном пространстве тоже есть своя ревность и любовь”. Остальные, хоть и говорили не над гробом и в своем кругу, без дальних родственников и торопящихся шоферов, свалились одинаково на: “Часами я могу говорить про Эдуарда Григорьевича. Мд-а... Да, разве все расскажешь...”, мертво перечисляли выпущенные книги, сообщали публике один эпизод, который как-то плавно и сам собой оказывался связанным главным образом с рассказчиком и только отчасти — с покойным, вздыхали: “О Бабаеве можно говорить еще очень долго”, умолкали и занимали свой стул. Последним вышел мужик из музея: “Бабаев, подымаясь на огромную высоту, мог примирять все страсти прошлого и нынешнего века (XIX—XX. — *Прим. автора*), но в последние годы он почувствовал, что все случившееся с нами он примирить уже не в силах”. Открывала и венчала

вечер ужаснейшего качества запись голоса Эдуарда Григорьевича на магнитной ленте.

Меня еще пригласили на годовщину, приходите, будет еще только Берестов, но я отнекался: забирал из родильного дома жену, прибавился сын, через месяц Берестов умер, раздавленный собственным юбилеем: никому не отказывал, выходил на сцены, пел, поздравления принимал, похоронили его далеко, за кольцевой дорогой, вдова села издавать восьмитомник, я не знал, увидел некролог в “Московском комсомольце” на коленях у пассажира метро на подъезде к станции “Аэропорт” (ехал в редакцию на улицу Часовая), выворачивал голову: не пойму, Берестов или нет? — соседство их смерти походило на справедливость.

Я не навещал, не предлагал помощи, пристыженный собственным бессилием в поисках денег на посмертную книгу, только спустя долгое время, когда многое в жизни закачалось, позвонил дочери Бабаева: поедем на кладбище, выбрали день и седьмого марта пошли, мимо Птичьего рынка, гвоздики в руках, по дороге, прерываемой озерами снежной воды, вдоль бетонного забора, я примечал повороты и срубленные деревья, словно собирался ходить сюда сам. Кладбище не выглядело мертвым в снегу, добрые собаки лежали у ворот, поглядывая в теплое нутро церкви — там ждала крышка фиолетового гроба, худошавый товарищ в спортивной шапке воткнул за пояс бутылку дорогой водки с закручивающейся крышкой и спрыгнул под снег, в невидимую глиняную яму, и тюкал там ломом, вынимая на поверхность глыбы, встречных людей попадалось мало — будни, некоторые надгробия укрыли целлофановые домики, похожие на теплицы, старуха обметала веником ступеньки, ведущие к могиле, любовно, как новосел, готовящий полученное жильё к переезду — ее дом уже здесь.

Елизавета вдруг свернула и полезла в сторону по сугробам, и я, набирая снега в ботинки, уже издали заметив, как серой

папахой торчит из снега плита “Эдуард Григорьевич Бабаев”, откопал из-под снега годы “1928—1995” и бросил в получившуюся ямку гвоздики, на снег, под которым спрятались зимовать надгробие тещи Бабаева: четыре года прошло! куда же они подевались?

Дверцу ограды завалило снегом, и она стояла открытой всю зиму, я вытоптал площадку вдоль ограды, и мы разместились на ней, держась за железные прутья, нагнувшись над плитой, как над колыбелью, рассказывая друг другу наперегонки, словно только что увидели там, куда смотрели: что он не любил ездить, даже в Ташкент, считал, что русскому писателю можно ограничиться маршрутами Пушкина, что отказался ехать читать лекции в Японию и к иностранцам относился с подозрением, приняв для беседы лишь одного, заметив вдогон: “Он по-русски знает только одно слово: Эйдельман”. Я тупо спросил: а старшие сестра и брат Эдуарда Григорьевича, что, живы еще?

Елизавета Эдуардовна сказала: да, хотя намного старше. И виновато добавила, что никак не может здесь ничего развести в смысле зеленых насаждений. Траву одну высадила, и она хорошо пошла в рост, но ее выполол какой-то рьяный студент — почитатель памяти Эдуарда Григорьевича, сочтя за сорняк. Да еще вот куст какой-то растет, местные говорят: подымет этот куст могилу, рано или поздно подымет.

Было неудобно поворачиваться и уходить, и я пообещал: обязательно придем еще весной, когда все растает. Я жаловался: не могу найти главного бухгалтера. Елизавета Эдуардовна предложила: возьмите мою двоюродную сестру. Прошли насквозь Птичий рынок: там продавали игрушечные кости, игрушечную колбасу, кошачьи кресла, заводных мышей на колесах, гроздьями висели ремни, магазин сопутствующих товаров назывался “Артемиды”. Что Бабаев написал о весне, которая пришла без него, о лете:

*Не успеешь оглянуться,  
Будет новый разговор.  
Под землей ручьи проснутся  
И рванутся на простор.*

Что же осталось? Немножко запах общаги, ДАСа, ощутимый только после каникул, лица первого курса, которые остро припоминаются вдруг, сквозь позднейшие наслоения, вкус газировки, и осталось: выходя из вагона метро на “Боровицкой”, словно течение клонит тебя налево, в левую сторону, на выход, на улицу, в сторону университета на Моховой, хотя мне уже давно и навек направо и наверх на переход — на красную линию — думаю, это скоро пройдет.

И в наше время скромнее писали на столах в аудиториях. На ученом совете памяти Бабаева некуда было локти поставить.

И несколько детских книжек Эдуарда Бабаева, чья лучшая участь — краткая изорванная жизнь, — это всего лишь бумага, мы договорились, мы садимся, дочка приваливается ко мне плечом, я читаю про жеребенка по имени Алмаз, пытаюсь многое забыть, крепким голосом:

*Распахнуты ворота  
В зеленые луга.  
И ты бежишь с разлета  
За первые стога.  
И скачешь вдоль обрыва  
При слабом свете звезд.  
Летит  
по ветру  
грива,  
Летит  
по ветру  
хвост!*

Александр Терехов

Она спрашивает: кто? это кто говорит?

Это говорит человек, который написал эти стихи:

*А вот и даль открыта,  
Светлеют небеса,  
Звонят,  
звонят  
копыта,  
И моет их роса!*

# Коммуналка

Рассказы



# University

**В**ранье, когда вздыхают: жизнь пуста. Жизнь не пуста, она — бесследна. Все уходит нечувствительно. Спросят: где вы получали образование? — и нечего сказать. Не осталось следа. Да и сам мало следишь, не рыпаешься — просторы Отечества столь велики, что некуда деться — сил хватает на один рывок: дед вырвался из колхоза в могилу, отец вырвался из хаты на асфальт, я из провинции прорывался в Москву, сверяя направление по кленовому контуру Московского университета, верхушку которого в ненастье съедает туман — там живут боги. В земле, где все рельсы обрываются в Москве, где с колыбели райским пределом звучало: Москва, МГУ — дальше ехать некуда. В три поколения советское время исчерпало живую воду и пахнуло пустыней.

Москва знала иные райские кущи, умела их отворять магическим заклинанием “Шереметьево”, но провинция слепыми

кротами прорывалась на Ленинские горы — МГУ звучало священно, как “МОГУ”; и высокий шпиль золотили вовсе не красная профессура, не передовые рубежи советских знаний, не целинные распевы и не сам дворец, окруженный ботаническими садами и альпинариями, — золото светило по наследству, с Моховой, от гранитных имен девятнадцатого столетия, от эпохи мечтаний и первой крови. Русское чутье, благодарное редкому добру, одинаково владело стариком помещиком, крестящимся на Моховой в память о Грановском, о стиснуто-сердечных сороковых годах, и нами, задиравшими головы на самые большие в мире часы университета на Ленинских горах. И кто ж знал, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, если в слагаемых видеть лишь цифры площадей и вместимости и не видеть алтаря.

Нас, провинциалов, разгромили на Ленинских горах, где громили всех, кто посягал на Москву: и Наполеона, и гетмана Хоткевича, и хана Казы-Гирея, лишив даже излюбленного русского занятия: наблюдать конец света — свет кончился раньше. И университет-совокупность раздавили совокупления и купли, писания раздавила прописка, общежитие растерзало жизнь — никаких прощальных лучей: одна холодная пустыня. Для обустройства ее и согрева мы начали пить да гулять, не подозревая, что именно в пустыне главные искушения и воздвигаются высокие, как горы, дворцы, и с вершин открываются царства мира.

И сам дворец манил лишь издалека — вблизи оказался неуловимым, текучим, многолицым и ветреным — за пять лет так и не позволив понять: какая ж сторона дышит для тебя; остался разлаписто лежать сфинксом в высокой короне. Всем чужой в главном: в значении своего размера. В нашей земле высокими строились лишь церкви — а церковь, как бы ни велика, внутри таит еще больший простор, куполом достающий Бога. Нам никогда не понять исполина, сдавленного внутри. Мы по бед-

ности не привыкли гулять и любоваться. Мы строим, чтоб молиться, чтоб жить. Чтоб прятаться от зимы. Мы — внутри. Зачем строить такой высокий дом, если под его кровом над головой всегда этажи и нигде — небо?

И дворец навек замерз немцем на русской службе: скопцем столов для постановки на учет; берлогой хитрых органов, приглашающих студентов на неведомых этажах помогать революции без отрыва от учебы; пастями вечно стопорящихся лифтов; без размаха гуляющей аспирантурой; приличными обителями профессуры и тихой гаванью профилактория с мудро зауженными кроватями и цепной старухой на водоразделе меж двух половинок: сильной и прекрасной.

Не будем сочинять, для чего строили, не побежим за воспаленными дядями, не умеющими выпить стакан без плевка в сталинские усы. Скажем одно: строили не для жизни. Для жизни дворец бы поставили набор — тогда клетушки общежития превратились бы в просторные покои благодаря высоким потолкам. Строили не для жизни — трубы коммуникаций сгнили первыми. Попытки их сменить открыли отсутствие засекреченных чертежей, а вскрытие стен доказало: возможность замены в проекте не предусмотрена. Водопровод и канализацию пришлось проводить снаружи — живым образом перестройки и гласности, ее предвестием и подлинным смыслом: никаких порывов к воле — просто сгнили сталинские артерии.

Я не могу откреститься вчистую от Ленинских гор: было. Было место, смирившее с инвалидностью, — но вот что осталось?

Последнее, что остается в памяти от сношенной, нелюбимой вещи, — ее цена. Цена — то, что помним после всего.

Все, что осталось в университете: мое “Дело” со вступительным сочинением, юными документами, победными сессиями и справками о кровавых донорских жертвах. Это “Дело”

Александр Терехов

необходимо лишь мне, от меня и будут его хранить семьдесят пять лет, а потом сожгут на мусорном заводе.

Все, что осталось от университета у меня, — студенческий билет. В приемной декана, куда я притащил обходной лист, отпускаящий грехи, коровистая секретарша велела:

— И сдавай свой студенческий!

Я глянул на засаленный, серый документ, вросший за пять лет близко к сердцу, и вдруг попросил:

— Можно мне его оставить? Давайте перечеркнем, чтоб я им не злоупотреблял, но оставим.

Секретарша хмыкнула:

— Я собрала пятьсот билетов, почему я должна один оставлять?

Правда, конечно, ее. Я сдал билет и спрятался за шкаф. А она продолжила прерванное дело: один за другим перечеркивала билеты и рвала их пополам, и бросала в урну. Я дождался своей очереди и выудил из урны обрывки: пусть со мной. И только. И никакого студенческого гимна на латыни, хоть и начинающегося столь родственным звуком “гад”.

И от Ленинских гор остались лишь несуразные воспоминания: стоял я с девушкой, и далекая электричка стучала пульсом в мертвой руке метрооста, поздно уж было, стояли одни — чего ж я, дурак, ее не обнял?!

Чехов жестоко сочинил: “Кто хочет понять Россию, должен посмотреть отсюда на Москву” — да нет никакого желания смотреть на Четвертый Рим, приговоривший: третьему не бывать; любоваться волшебными полянами первого российского гольф-клуба, открытого мэром Поповым, профессором чистой ленгорской масти, — клуб раскинулся по наспех перепаханному свежему кладбищу, но об этом никому не скажу потому, что все сходится. Все справедливо.

# Коммуналка

*Песня о счастье*

**В**ообще-то я согласен, что коммунальные квартиры — это тяжелое наследие социализма и до революции большевиков этого, конечно, не было. Но самое счастливое время в своей жизни я прожил в коммунальной квартире.

“Вечером въезжай! — просил предшественник и прятал взор. — Комнатка — восемь метров! У соседки морда — за неделю не переделаешь. Не пожалеешь!”

Затвердив: верхний замок — два оборота, нижний — с нажимом один, шестая дверь налево, я въехал ночью. Протащился во тьме узлами и баулами и упал спать на голый матрас.

На новом месте не спалось. Все время просыпался среди ночи. Поворочаясь, подумаю — как хорошо! И дальше сплю. Опять просыпаюсь, думаю: человек въезжает в коммуналку оттуда, где еще хуже: с улицы, казармы, тюрьмы, общаги, — поэтому такая радость. И снова сплю. И опять пробуждаюсь среди мрака

ночи, и приятно понимать, что всему лучшему в себе я обязан коммуналке. Этой мой корень. Это самый лучший корень. От него все самое лучшее у нас: коммуна, коммунистический субботник, коммунистическая сознательность. И я опять дремал.

А потом спать расхотелось вовсе. И я просто чесал живот и прикидывал, что в ближайшее время надо завести: стол, стул, жену, лампу, а потом глянул на часы и сел: полдень. Черт, а почему же так темно?! Ага, оказывается, мое окошечко наглухо перекрывает стена соседнего склада. Ах вот почему эта сволочь хотела, чтоб я въехал вечером. Ну и ладно.

Почтальонша утром будто кормила птенцов — почтовые ящики на двери — она все знала про нас по газетам, журналам, повесткам, переводам. И мы все знали про нас. Что варится в кастрюлях, что стирается в комнатах.

Соседка все время выходила замуж. Ее немая мать пересиживала очередное сватовство на кухне. А жених играл себе на баяне и пел: “Мы парни brave, brave, brave”. Он еще притоптывал ногой, и поэтому получалось очень выразительно. Утром он выходил в пижаме к телефону и звонил очень важно к себе на работу.

А все слушали. Слушали вообще все и всегда. Голоса, считали звонки в дверь — кому сколько и безошибочно узнавали единственный басовитый и долгий звонок “чужого” — участкового, слесаря. Считали шаги и соседские походы на кухню, в ванну, в места общего пользования. Только недавно покинувший деревню дед никак не мог приноровиться к удобствам в квартире и ходил на двор за ближайшим забором, где детсадовцы выращивали укропчик. Его супруга находила прелесть в борьбе и чеканила любому: “А почему вы присваиваете мои газеты? Что? Тварь — это твоя дочь!” Поздним вечером она любила брести по коридору, вопрошая зловещим голосом у каждой двери: “Это чьи волосы в ванной?”

Одну соседку я увидел только через год. Она всегда приходила очень поздно. Хотя это трудно было назвать приходами.

Обняв стену, как добросовестный мастер-обойщик, и тыкаясь в каждый угол, она как бы ползла до своей двери. Ко мне она завалилась в шесть утра и твердо скомандовала: “Дай одеколон! Помираю”. То, что у меня было, ее не спасло, и вспыхнула короткая схватка у дверей, в ходе которой мне удалось вытеснить ее в коридор, а она мне прищемила дверью ногу.

Семейные жили веселее. Дети плакали, если не спали. Спали они мало и поэтому в основном плакали, вызывая у меня мучительные размышления о природе детоубийств. Когда их привозили осенью из деревни, я сам едва сдерживал горькие слезы.

Когда дети спали, супруги проводили разбор полетов и подводили итог прожитым дням. Жена выходила в безопасный коридор и за четверть часа выкрикивала всю свою судьбу и запас матерных слов родной асфальтоукладочной бригады. Муж хватал в охапку телевизор и делал угрожающие шаги к балкону. Жена вызывала милицию. Милиционер безответно искал свидетелей, у мужа отбирались ключи. Он уходил под ливень. И через полчаса начинал швырять камни в мое окно — я его впускал. Если не впускал — жена со мной не здоровалась полгода. Когда муж был трезвый — он ревновал. Говорят, пришивал жену к себе нитками на ночь — чтобы не ушла. Обстановку накаляли походы другого семейного товарища. Он брал вечером чемоданчик с инструментами, говорил супруге: “Я — в ночную смену”, делал четыре шага по коридору и заворачивал на ночную смену к одной одинокой соседке. И все были довольны.

Но однажды ночью, расслабленный трудами и бутылкой, принятой на грудь, сосед вышел на кухню попить воды, пошугать тараканов, а на обратном пути сбился с курса и ноги его привели в родную комнату. Жена, обнаружив мужа в трусах рядом с собой, не будь душой взяла утюг и покралась по коридору выяснить, какая дверь не заперта, — дело чуть не дошло до смертоубийства.

Это была очень непростая, трагическая, бедная, низменная великая жизнь. Такая же, как во всей нашей стране. Все знали

Александр Терехов

друг про друга все, только души оставались в потемках. И я так порой жалею, что все это закончилось.

Это было самое счастливое время в нашей жизни, потому что было чего ждать, все мечтали уехать. И все было откуда и от кого ждать, вот придет время, вот нарожаем побольше. И все уезжали. Не сразу. И в этом была какая-то стыдная сладость: что ты уезжаешь, а они — еще нет. Счастье не бывает, когда всё сразу. У счастья всегда руки в крови. И счастье кончается тогда, когда мы застреваем там, откуда уже не переехать, как ни мечтай, и сами становимся кровью на руках чужого счастья. Поэтому самое счастливое время в моей жизни было в коммунальной квартире.

В новых временах счастья будет побольше. И крови побольше. Ожидание, слезы, бумаги ничего не дадут. Каждый будет стоить, сколько сможет. И кто-то, родившись в коммуналке, в ней и помрет. То же самое и в дворцах. Наверное, плохо, что это наступило так поздно и мы успели скроиться для других времен. А с другой стороны — как хорошо! Ведь нашего прежнего счастья у нас никто не отнимет.

И когда я буду старым дедом, буду дышать, как паровоз средних размеров, и выписывать “Пионерскую правду”, я все равно не забуду, что самое страшное отчаяние в моей жизни было, когда плохо повешенный мною на гвоздик тазик в уборной рухнул и расколол смывной бачок в час ночи. Я боролся с водой. Собирал ее тряпкой, подставлял ведро, перекрывал вентиль и знал, что в шесть утра мир проснется и спросит меня: ну что? Я был готов лишиться жизни себя.

Я полетел сквозь ночь по подвалам, принес на себе уже “поужинавшего” слесаря, его чемоданчик, принес как хрустальный ларец с бриллиантовой диадемой, как колыбель цесаревича, как хлеб-соль — бережно и с любовью — новый бачок, прикуривал слесарю сигаретку, приводил его в чувство, провожал и махал рукой. И когда он ушел, попробовал: работает? Работает. Я пошел на кухню, попил из чайника воды, посмотрел в окно и вдруг понял, что таким счастливым я не буду уже никогда. Вот такие дела.



## Пятый курс

**Н**у про что ты мне сможешь спеть?  
Про то, что пройдет еще совсем немного времени, пройдет еще совсем немного времени...  
Пройдет еще совсем немного времени, а я томился в читалке над “Доктором Фаустусом”, грозящим перейти количеством страниц в опухоль головного мозга, и ненавидел орущий и ржущий молодняк, а тут еще музыка — ну что там такое? А это тетеньки, дяденьки, лица коснувшихся старости детей — у людей юбилей. У людей тридцать лет выпуска, я их боюсь, и поэтому — за колонну, в холод, но ведь все равно — пройдет еще совсем немного времени, да?

Да! Но пока я макаю себя в тишину факультета, по усталым ступенькам наверх, и высокие двери, и мир белых крыш за окном, и голые сабельки веток под далекой синевой, и мимо скрип чьих-то ног, и до звонка еще жить — да, эти голубые стены и перепончатые окна, и белые крыши, как перевернутые

днищами наверх лодки... Этот дом мертв, когда в нем люди, чужие лица стирают твое, но когда тишина и глоток пустоты, тебя достанет его недоступность и равнодушие к игрушечным баталиям экзаменационных трагедий, скуке, любви, всему, и он сродни лишь незримому, что растет незаметно для нас, серьезно, что в ряду со смертью и жизнью, духовному скелету, что до конца. И мы потом еще поймем мучительную сладость позолоченных солнцем стен, простора коридоров и запнувшейся пропасти центрального провала, ощущение легкости падающего снега и блаженства свободы почти навсегда, обязательности этого ежедневного праздника и шадяще замаскированную его невечность — эти стены не опустятся до нас, а нам — куда уж наверх, но если б смерть была выбором...

Я бы хотел тогда пасть. Пасть снегом мимо мрамора и балюстрады, вниз, бесконечно и благодарно, чужим, признательным, растворяясь брызгами, вкраплениями роднясь с этими стенами, оставаясь в них, приобщаясь, сживаясь, и даже частью своей ничтожной не коснуться пола, целиком растворяясь, распавшись в полете.

И ты никогда не любил меня, как и всех, ты тыкал мне в морду, что здесь я из милости, и ногти мои грязны, и я до сих крадусь понуро, как сквозь строй, мимо столичных пенек, смолящих сигаретки и выставляющих ножки у твоего парадного крыльца, и если я и смотрел на тебя — только исподлобья и больше никак. Тебе не до любви, твоя участь странней: принять всех безымянно, но поголовно, и оставить взамен жгучее клеймо ощущения этого паскудного времени.

И на первом курсе я ходил с чемоданом динамита, чтобы взорвать белый свет, и страждущие народы ждали слова моего, и в пяти шагах до экзаменационного стола умещалась вся трусливая жизнь, и люди, что ходили рядом, были вечны и велики: всемогущая, как судьба, Светлана Михайловна с кафедры физвоспитания, и тишайший, как снег, и седой в тубетейке про-

фессор Ковалев, который был секретарем у Фадеева и очень добр, и сморщенная тень Кучборской, что как уголь вечных пожаров и зов прекрасных времен, колокол, чуть дребезжащий; и цепные вахтерши на входе, и озерные глаза Суздальцевой, и неутомимая проповедь Татариновой, которая на всю жизнь разбередила душу нам этими незадачливыми князьями, что отправились на половцев и что из этого вышло, и незадачливо отстраненный, не по-советски бесшумный декан Засурский, и изумительная Ванникова, что как ваза саксонского фарфора и поразительна так, что хотелось прятать под стол свои мужицкие лапы подальше от этих глаз, и тот козел, что поставил мне три балла, что я не прочел страницу в учебнике про “Крошку Доррит”, и предельно женщина Белая, которая стояла за кафедрой, как на баррикаде, и печально далекий Бабаев — собеседник великих голосов, и незнакомые красавицы, и непроходимые дураки...

Но что же случилось потом, когда вдруг так ясно и неумолимо подурнели красавицы из читального зала, на которых дембелем смотрел с красными ушами и в горле комком, и в пяти шагах до стола экзаменатора стал уместаться лишь неловкий стыд за обоюдную постыдную игру, когда вдруг с отчаянной резкостью рухнул весь этот молитвенный XIX век, на который мы не дышали и из которого росли, который, оказывается, готовил нам лишь смерть с того самого момента, как отправился Радищев из столицы в столицу, а народ при этом страдал, и пошло, покатило, упекли в деревню Пушкина, нахохотался до смерти и помер от скорби Николай Васильевич — великий сатирик, два богатыря Достоевский и Толстой пошагали, да и вырвали к чертовой матери Боженьку, размышлялся товарищ Чернышевский, а потом вернулся из двадцатилетней ссылки, да и оцепенел почему-то, примолк и не ответил на письмо Володи Ульянова, и принесло все это плоды, свалилось-таки дерево, допилили, и все бы хорошо, да онемел от догадки Ленин

в Горках, его верный соратник замешивал последующий раствор и клал кирпичики уже один, да и тот упал на бегу, а Иван Бунин глянул на все это дело, обозлился, да и уехал подальше от греха в Париж гулять по темным аллеям, и увез с собой ключи от XIX века, и все вроде вышло, как хотели, но странно как-то получили Акакии Акакиевичи шинели, да враз нацепили на них маршальские погоны, и голос у них прорезался, вылезли из желтых домов записки сумасшедшего и стали громить за чем-то морганистов и космополитов, пожалел старушку Раскольников Родион Романович, выучился, в люди вышел, но все на жизнь-то глядел с классового подхода и догляделся, и все вышло, как хотели: взошла она, эта самая звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья написали имена, а потом стерли и другие написали, а потом еще приписали, а потом всех стерли, в потом других написали, потом написали “Малую землю” и “Целину”, а потом вообще стали обломки собирать, чтобы из них самовластие опять сложить, и взошли над нами проклятые вопросы, повисели, повисели да рухнули, в пыль растерев, — нехорошо как-то получилось!

Мы бросились к книгам, но они нагоняли сон, мы бросились к женщинам, но Пушкин увез по Тверской всех этих Смирновых да Сушковых, Воронцовых да Ростопчиных, оставив лишь нам податливые тела да спутниц жизни, мы углубились в себя, но внутри лишь был животный стон от дикой жестокости судьбы, случайно обрешей нас отсыревшей спичкой кратко мигнуть во мраке от первых слов младенческих губ “мама” до последней судороги посиневших старческих уст “мама”, сначала получить жизнь, а потом понять, что ее отнимут, и тогда мы сдались, мы протянули руки — берите нас; мы стали много есть и смеяться, мы научились хохотать, и ты один лишь понимал, что стоит за этим весельем. Ты лишь один знал, как уводили нас поодиночке глухими теплыми ночами во взрослую жизнь, подталкивая под ребра домашними ключами

и большими суповыми ложками, и мы, принимая поздравления, все же тянули шеи — ну хоть ты-то видишь, видишь это? И ты это видел — как опускались руки и бумага забывала цвет нашей крови, и вещи, люди, болезни, обстоятельства становились все теснее, теснее, теснее, и нас стал глушить этот слаженный стон: дай! дай! дай! Как уходило на цыпочках лето, будто боясь, что его заметят, не оставляя на губах вкуса вишен и смородины, как зима оставалась лишь холодом, как мечты становились хроническими и вырождались в монстров, как тянула высота больших домов к спасительному асфальту, хотя и это было враньем.

Только что же я хотел сказать? Мой курс уже не соберется вместе. Его уже нет сейчас. Чего собирать-то? Нечего. Наши отцы еще помнили, что были когда-то вместе, а потом заблудились. Мы уже забыли и об этом, чего аукаться... Но все-таки: что же останется? Когда время поставит мой обмылок для финишной фотографии, и вскинет на уровень сердца свой единственный черный глаз, и высокомерно разрешит мне: “Можете стать спиной”, я соберу все силы и скажу: “Нет. Лицом, пожалуйста...” И что тогда выдуют мои неловкие губы, какую короткую песенку, что уместится в ней, что зацепится: булочки с маком в буфете; прохладное прикосновение кленового листа; диспетчер девушка Наташа, что всегда грустная; шемящая пустота Ленинской аудитории; то, как наш начальник курса в конце семинара проронил: “А вот у меня умирает мать...”; незримое ни для кого прощание, когда я пошел прочь, и навсегда и что-то, что-то еще?..

Что?.. Да, хотя вы правы. Все это такая ерунда.

# Лето

**О**н уже во сне чувствовал, как ему плохо, — это неправда, что человек во сне расходится с собой и просыпается всегда наивный, как свежий лист календаря, — нет. Он заметил эту неправду еще со смерти матери: утро уже приходит придавленное горем, оставляя лишь скучную необходимость припомнить — что именно стряслось.

Он уже во сне чувствовал, что ему плохо, как его бесят обтянутые цветастыми наволочками тугие подушки под головой, жаркая податливая перина, собственный рот, сухой до песочного скрежета, чужие неопрятные стены с отставшими у потолка обоями и сальным мерцанием паутины, занудливый куриный стон и присутствие рядом чужого тяжелого тела с осторожным стеснительным дыханием.

Спокойно лежать не давали мухи — он устал дергать ногами и мучительно морщить лицо, трясти головой от их неугоми-

мых, противных касаний — надо было вставать. Надо было перелезть через человека, который теперь — его жена, она спала на животе, чуть выставив, будто робея, из-под одеяла толстоватые икры с рыжеватым на солнце пушком. Это его жена. Он спит с ней всю ночь — он зашевелил пальцами: раз... два... четвертый раз! Впереди предстоит жизнь.

Он зря поехал в деревню к ее родителям. Нет, он знал, что деревня — это не город, и все такое, он сам рассказывал ей, что дед и бабушка его — деревенские, что гостил он у них, гонял гусей с колхозной ржи; но когда ехал, он думал про речку и лес, про поле со стогами до горизонта, а получился дождь, жадная сосущая глина, крысиный шорох под полом, запущенные старики и старухи, которые дышат прямо в лицо и которым надо орать одно и то же по четыре раза, даже собственное имя, жуткое застолье с упорным требованием-воплем “Горько!” — и все жадно плятятся: как это будет? — жена, красная от жары, всем улыбается, толкает его под бок, он встает, закрывает глаза и тянется к ней губами под хоровой счет: “Раз, два, три, четыре...”, столы, покрытые клеенкой с рыжим Карлсоном, уродливые лица, старательно громкий голос: “Поздравляем со сдачей скважины в эксплуатацию!”, еле живой проигрыватель с единственной пластинкой “Черный кот”, щербатая пьяная баба, тянущаяся через стол к нему раз за разом: “Что ж ты за мужик, если столько-то пьешь? Как же ты свою жену.. будешь?” — потом эта баба сидела в грязи посередине дороги и выла какую-то песню, не глядя на ковыряющего в носу белоголового сына в синеньком школьном костюмчике; он ел, вдавливал себе в рот, внутрь, куски противной, жирной пищи, улыбался — у него щеки болели от улыбок, вылезал из-за стола пожать руку очередному, подвернувшему к хате трактористу, чуть не грохнулся с крыльца через протянутую ради смеха веревку, он пытался не глядеть на свою жену, ставшую сразу чужой, ставшую не его человеком — она была в своем мире,

она не могла быть без этого мира и только иногда смотрела на мужа испуганно и жалко, а он хорохорился и опять, опять улыбался, вставал, тянулся к толстогубому, кисловатому от пота рту и с мукой тискал на руке часы, украдкой, когда нагибался под стол гладить кошку, зная — сейчас его обсуждают, что невесел, что брезгует, что мало пьет и чисто ест, и жене неприятно, и ему казалось, что эта мерзость останется на всю жизнь, а потом сдвинули столы, попрытали по пазухам и сумкам оставшийся самогон и повалились спать среди мух и крошек и неубранной посуды.

Он еще глянул на рябую от мух лампочку и полез вставать. Жена проснулась, но глаз не открыла — это было противно, — следила, что ли, за ним? Он торопливо натянул штаны, кривась от скрипа половиц, сунул ноги в сандалии, спеша выйти, пока жена ничего не спросила — это удалось; она не подрастчитала чуть-чуть и сказала что-то, когда он уже выскальзывал из комнаты. Сказала что-то вроде “Доброе утро”.

Какое оно, к черту, доброе!

На второй половине, на лавках и полу, спали синие от духоты люди, уложив под головы жилистые ладони и скатанные фуфайки — над ними старчески цыкали ходики и ровно гудела мушиная свора.

Он прошел сени и отправился через картошку к туалету. Оттуда, видно уже не первый раз пытаясь застегнуть ширинку, плелся мужик с отеком добрым лицом.

— А... Жених! Поспали, гха! Ну? — Мужик отнял руки от несдающихся пуговок и протянул их по направлению к его лицу, нацелясь для родственного поцелуя.

— Давай, иди, — судорожно выдавил он и ступнул в сторону с тропинки прямо в крапиву, после чего свистяще выматерил все на свете.

В туалете пахло рвотой и дребезжала заплутавшая в паутине муха.



Он поднял болевшую голову, посмотрел на муху и толкнул пальцем ее мохнатый бок. Муха качнулась, поворочалась и снова задрезбуждала в липком воздушном плену.

Он помялся у хаты, прыгнул за яблоком над головой — промахнулся и, потирая обожженную крапивой щиколотку, полпелся со двора — что он здесь будет делать целую неделю?

Жена ему кричала вслед, когда он уже порядком отшагал вдоль глубокого оврага. Он не остановился, просто глянул через плечо: она стояла на крыльце со смутным напряженным лицом, махала ему рукой — ей было неприятно перед теми, кто, наверное, тоже уже встал: вот, значит, муж, а сразу — со двора, ни похмелиться, ни порассказать, как ночка сладкая прошла, — он дернул головой и пошел дальше, почти не глядя перед собой, было часов десять. Последний день августа.

Он прошел до пруда и дальше — по берегу, вот вчера был дождь, а сегодня август припас для последнего дня сиреневое небо, редкие лохмотья облаков и не жаркий, но ласковый солнечный свет, присушивший земляную колею и выпивший росу, — трава стала теплой и тянулась в безветрии вверх, посвежели деревья, убрав внутрь жухлую и желтую листву, кувыркаясь, яичной скорлупой, мелькали над зеленой землей бабочки капустницы вперемежку с бесшумно зависающими в тишине стрекозами, детски нежной улыбкой светились пушистые головки клевера, и седые высохшие травы осеняли косматые изза подорожника тропинки.

Он шел вдоль пруда и наблюдал, как по деревенской улице за ним вдогон, важные, как беременные бабы, выступали три стайки гусей, и вожак авангарда уже клонил к земле горбатую шею, выпуская из себя глухой истомленный шип.

— Я щипну-щипну, — обещающе покачал он гусаку головой. — Я так щипну, что... — но шаг ускорил и сошел на обочину, усмотрев здоровенного кузнечика размером со спичечный коробок. Он шевельнул ногой траву — кузнечик сиганул метра

на два. Он прокрался за ним и склонился к траве, пытаясь рассмотреть, и уже заготовил ладонь ковшиком для поимки.

Трава блестела на свету, и кузнечик скрылся в ней напрочь.

— Вот падла, — по-доброму оценил он и провел рукой по траве. Здоровенная зеленая лягва выстрелила вверх, как из катапульти, и через три шага плюхнулась в воду, приведя в нервное состояние гусей, вожак которых чуть шею не свернул от резкого поворота.

Он сам отлетел на шаг и, озадаченно расхохотавшись, пошел дальше, все же косясь за спину — не высунется кузнечик? Нет.

Пруд был разделен надвое: полированная тень от берега, нанесенная будто жирными грубыми мазками темно-зеленого цвета, и свинцово-белесая чистая вода — на ней был виден утиный пух.

Он притормозил у белоголового паренька, которого видел вчера с пьяной мамашей. Паренек стоял на старых мостках, сложенных из двух широких досок, уперев левую руку в бок, правую выбросив вперед с ореховой кривой удочкой, глядя что есть силы на кусок темного пенопласта, служившего поплавком. Солнце палило его худую, тоненькую спину и высвечивало красные и розовые прожилки в оттопыренных ушах.

Он плюхнулся на траву за спиной рыбака, откинулся назад и глянул на солнце — солнце не давало на себя глядеть — оно было как золотая печать на горлышке небесного кувшина.

— Ловится? — спросил он.

Пацан, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.

— Скоро в школу, да?

Пацан вздохнул без восторга и переступил с ноги на ногу. В школу было скоро.

Он повернулся на живот и опустил лицо в траву, в ее жесткое придорожное сплетение, и видел эту траву, как множество крепких жил, странно разумно и одинаково устроенных для

роста, для жизни, для того чтобы тянуться из комочков пыли и грязи, расти корнями вниз, а вверх — выбрасывать коленце за коленцем, выжимать из себя листики, смыкаясь и переплетаясь с подобными себе, выдерживать крохотный бег муравья и незаметную суету еле видимых букашек — он лежал на животе, и сердце его билось в землю, и земля волнами вздымалась под ним, и трава прохладными мягкими перстами трогала его щеку.

Он поднял голову на слабый всплеск. Пацан торопливо приземлился ему под нос головастого пескаря. Пескарь озадаченно дергался, сияя, как портсигар.

— Кулька даже нема, — прошептал пацан.

— Ха... кулька. Надо делать снизку! — довольно протянул он. — А ты умеешь делать снизку?

Пацан, конечно же, снизку делать не мог.

— Ха... снизку делать, это, понимаешь, это... — забубнил он и отправился к кусту лозы, полоскавшей нижние ветки в воде, выбрал самую тонкую веточку, выдрал ее, очистил от листьев-лодочек, оставив только два на толстом конце, а тонкий сунул в широко растворенный рот пескаря так, чтобы высунуть его через жабры — пескарь уселся на ветку, как кусок мяса на шампур.

Ветка была опущена в воду, конец ее он придавил ногой — чтобы пойманная рыба не удрала.

Минут через десять пескарей уже было три.

— Мишка-а! — сверху от деревни, поддавая тоненькими коленками подол сарафана, мчалась девчушка с худым быстрым лицом.

Мишка нервно обернулся и принял ужасно солидный вид, как памятник пионеру-рыболову.

— Ловишь, да? Поймал чего? — застрочила девчонка, устраиваясь на траве, поджав коленки к подбородку, взрослым строгим движеньем натянув на них подол. — Кто ж сюда забрасывает, здесь же мелко! Ни шиша ты здесь не поймал! Слышь?

Она уже дернула Мишку за руку, тот старательно удерживал удочку и спокойно цедил:

— Обожди.

— А! — вскричала девчушка. — А прошлый раз я... Что говорила? Так вот и вышло! И сейчас ничего не уловишь. У-у!

Последнее сопровождалось скорчиванием рожи.

Мишка кротко обернулся к хранителю рыб, и они понимающе вздохнули, вид поблескивающих в глубине пескарей благотоворно действовал на рыбацкую душу, но девчушка, как на зло, глядела куда угодно, но не на низку.

— Да и какой с тебя рыбак? — продолжила она. — Вот Серый — да! Он ловит! И из класса его с папиросой не выводят.

Было непонятно, кого выводят из класса с папиросой, но шея и щеки у Мишки стали цвета гусяного клюва.

— Ты хоть учебники обернул, горе? — сбавила обороты девчушка.

Мишка ухмыльнулся, довольно прижмутив глаза, и отрицал такой успех.

— Вот, Костюков-Костюков, дураша ты дураша, и чего с тобой дальше будет? Куришь, рыбу не ловишь, и вообще... — вздохнула девчушка, подперев голову ладошкой в горестном сожалении о Мишкиной будущности.

Мишка застыл, улыбаясь так, будто каникулы продлили на три месяца и ему купили мопед “Верховина”.

Девчушка уже раз восемь внимательно оглядела низку, но совершенно незаметно. Наконец она обернулась к нему.

— А вы пономарихин жених?

— Муж.

— Му-уж, — повторила она по-коровьи и засмеялась.

— Танька! — заорали сверху от хат. — Ты где шляешься, чертовка? Телята непоеные!

— Телята непоенные! — передразнила Танька кого-то и покарабкалась наверх, посулив: — И ничего ты не поймашь, Костюков.

Костюков выждал паузу и, обернувшись, смотрел ей в спину, морщась от солнца и странного удовольствия.

Через секунду он забросил удочку на самую глубину, став на край мостков. Поплавок немедленно утонул.

— Застрял, — вздохнул он из-за спины.

Мишка дернул удочку вверх, и в воздух вылетел здоровенный окунище, шмякнув пономарихиною мужа по морде, и забился, как вентилятор, в чертополохе. Мишка и он ринулись туда, путая леску, хватая сильную, скользкую рыбу руками, крича друг другу: “Не упусти!” Исцарапавшись, как черти, они схватили наконец окуня, тщательно примерили по руке — Мишке вышло по локоть, и надели рыбину на низку.

— Больше, чем Серый поймал? — спросил Мишка.

— Да, — кивнул он. — Несомненно.

Удочка была смотана, и они пошли медленно вверх. Мишка держал низку на отлете, в стороне, то и дело косился на окуня — окунь ошалело оглядывал все вокруг стекляннным пристывшим взором.

— Пескари — кошке. Окуня пусть мать засолит, — посоветовал он. — С пивом хорошо.

— Ага, — сипло сказал Мишка. — Папка любит. А я думал — зацепило, поплавок — вжик! Я и дернул. Ого! Больше Серого! Ого! Да?

Им было вроде по пути, но Мишка тормознул у сараев, опустил голову и проговорил, раздумывая:

— Пойду, что ль, Таньке покажу, а то это... Я думал, зацепило... Да? Пойду.

И он быстро пошагал к сараям, где невидимая Танька поила невидимого, но мычавшего теленка.

Александр Терехов

А он пошел к хате, воздух был теплый и густой, пах яблоками и горелой ботвой — он любил этот запах; а завтра будет осень, завтра будет грязь и длинные вечера, и длинные разговоры, морщинистые от ветра лужи, дождевой стук в оконном стекле, завтра будет новое, другое, новое; жена стирала что-то в тазу, она знала, что он сейчас идет прямо к ней, у нее ожидающе подрагивали уголки рта, она уже придумала, что ему сказать, и даже что сказать, если он ответит так-то и даже по-другому, но она очень надеялась, что он ей скажет первый, у нее была длинная белая, нежная шея с каким-то совершенно немислимым изгибом, он шел к ней — Господи, какая здесь тишина, она не выдержала, подняла голову и смотрела на него тревожными глазами сквозь пряди волос, подняв напряженные брови, подведя под веки свои грозные горькие глаза, он обнял ее послушное, привалившееся к нему сладкой тяжестью тело и прошептал, задохнувшись своими словами:

— Я люблю тебя.

## Другой человек

**М**еня в Сергиев Посад занес так себе случай. Лихая подружка прижималась коленкой: “Поедемся в Сергиев Посад. Я покажу свои любимые места. А вы мне — свои. Останется время — в Лавру сходим”, но мамаша ее не пустила, а я по дождю не решился уехать тотчас и, потрясенно выслушав гостиничные цены (чтоб я верил ушам, тетка дополнительно писала цифры на бумажке), заплатил назло за три дня и три ночи. Стоял среди холодного номера, ждал, пока кран вдоволь отсморкается ржавчиной, даст горячую воду. И колокольня ждала напротив.

Да, я вижу. Да, раз здесь — схожу в Лавру. Дуб повалился, стены дубовые пали — я хочу рассмотреть желудь, из которого росло. Моя дубовая голова сгнила. Нет сил. Хочу почуять насилие святости над собой. Хотя все это так скучно. Все вру, лень и тлен. Не верую.

Но дорог он мне, мне друг — Варфоломей Кириллович.

Варфоломей Кириллович — это в скобках, а спереди — Сергей Радонежский, так в мирских книгах. Хоть не ведаем: отца звали Кириллом в миру? Или нарекли в предсмертном монашестве? Вар-фо-ло-мей. Так и липнет к имени “ночь”. Нет. Любимей — Сергей.

В первобытных русских закоулках не оставляли монаху даже начальной буквы детского имени. Рождался — другой человек.

Святость непосильна, а раз так, то для встречи нужно в и д е т ь его. Не иконный, просеянный Господом и снами, вываренный, обветренный лик. А того, кто похож на меня.

Он умер осенью, 25 сентября. По новому стилю — в октябре. Лег в землю под кров церкви Святой Троицы. Наверное, не думал о своей гробнице, когда тесал бревна для нее. Церковь спалили “поганые” — Едигей, и могила потерялась.

Ушло тридцать лет. Никон Радонежский, ученик, святой, взялся выстроить каменный Троицкий собор на прежнем месте — Маковце, маковке, макушке — холме, найденном Сергием на всю жизнь и братом Стефаном ненадолго. И прежде с холма сиял свет, сверкал огонь, но они осмелились.

Конечно, Никон именно искал. И все искали — лопатили землю. И Сергиев крестник — князь Юрий Дмитриевич Галицко-Звенигородский — примчался на стройку. И благочестиво-му, но безымянному мужу явился Сергей — найдете. И они нашли гроб. Копали ров и наткнулись. Кругом “ковчега” стояла вода. Но тело “светло соблюдется” — вода не тронула праха и риз. День — 5 июля 1422 года, радость. Дьявол шепчет: слышь, мощи кормили монастырь, и городу перепало. И князья удельные “с мощами” глядели гордо, вот и организовали попы “открытие мощей” — но этого я уж не слышу, я не трогаю святости.

Сквозь нищих шел — как через пасеку, отмахиваясь: туда! сюда! отстань! пошла отсюда! А за воротами еще лето, и белые



круглые цветочки залили дурманом прометанные пути, и слонялось тут обожравшееся голубиное племя, наступая на хвосты закормленным котам. Коты трясли пьяно серыми мордами, сияясь припомнить: “Ах, в каких я отношениях с крылатыми? А когти мне на что? Да погодь ты, как хоть меня звать?” Богомолка кидала с лавки очередной кусок колбасы под усатую морду, и кот вздрагивал: “А это зачем? Что это?!” — и сваливался спать, мучительно вздымая бурчащее брюхо. Семинаристы в черных кителях дарили нищим медь и ходили вприпрыжку, едва сдерживая бег, скованно держа, будто лишние, руки.

Я замкнул очередь у книжной лавки и томился полчаса, оглядываясь на храмы, платочки, попов — провожатые подводили к нашей очереди губастых иноземок, и те бросались фотографировать: я при этом улыбался очень гордо, будучи в очереди самым здоровым.

Колокольня отбила опять четверть часа, я наклонился вперед:

— Мамаша, да скоро откроют?

— Вот отец Иосиф придет...

— С книжками?

Мамаша обернулась, придерживая ладонями щеки: одну фиолетовую, другую — забинтованную:

— Это очередь бесов изгонять.

Я сбежал. Но тут же вернулся.

— И всех желающих принимает?

— Всех. Ну, кто чувствует... Что есть.

Есть? Нет-нет. То есть: вообще ничего нет.

Богу молиться учила Византия, Царьград. В русских небесах просияли греческие святые — полчища, большевики гоготали: семь праздников на дню, когда пахать? У греков ветры теплые, виноград, оливы, смоквы, не много надо — империя издыхала. В святые там брали широко: прославленных по смерти и при жизни, сидевших на полагавшемся лишь святом троне, пост-

радавших, хотя и не до смерти. Русская земля страшной. Под гнетом смерти, крихтя, ставили лишь на золотые ступени: оставляли лишь чудотворцев явных при жизни. В знаменитом труде профессора Е. Голубинского Сергей Радонежский “стоит” двадцать третьим по счету — почти за пятьсот лет! Народ удостаивал себя не попусту. Стыдись ига: с 1326 года по 1447-й вообще ни единая душа не канонизирована.

И Сергей “освятился” не волей собора — “сам собой”. Уже при жизни писали — “святой”. И чтили посмертно, сразу. И житие Елифангий Премудрый писал, не дожидаясь обретения нетленных мощей. И что спустя полвека объявили “общерусским” печатно — так лишь порядка ради, за ним хлынули святые имена, но, по сердечному счету, он — первый.

Куда ж я бегу, не касаясь Божьих дел? Ну да, хочу увидеть лицо, пойдемте. Мощи открылись, через немногое время — год-два? — великий князь Василий Дмитриевич подарил монастырю покров на мощи. Вышитый шелком портрет святого. Прежде шитья писал иконописец, и его “Сергий” — самый древний. Не забытый и бесплотный. Мастер мог видеть преподающего, и были живы ученики его, могли пихнуть в бок: разве такой? Наверное, и раньше писались иконы — не мог Андрей Рублев не писать отца своей “Троицы”, застав его, Сергия, закат, бок о бок всю жизнь проведя среди его ближайших учеников, — обязательно писал, да не все перешагивает пожары, тоску и тлен, — а покров спасся. И в прежней ризнице, на втором этаже, в хранилище награбленного государством, я перешагиваю через ноги дежурных старушек, дремлющих на стульях, как кочевники в седлах...

Вот — в небогатых цветах моей Родины, медном закатном отсвете сосновой коры, голубой проточной сини меж распластанных, как шестикрылые серафимы, цветков, я вижу резкий, почти звериный скуластый лик. Большие, словно раздавленные, уши. Линия лба, заостренная вверх, — как шлем, купол

церкви. Нос — долгий и тонкий. Едва заметный наклон к левому плечу. Широкая разбитая ладонь плотника, огородника, водоноса. И переломленные вниз, к переносице, глаза. Разные: левый от зрителя — сухая птичья зоркость. Правый: большой, скорбящий, со слезой. Облик. Облак. Князя писали грамоты в Царьград: “Облак печали, покрывши мои очи”. Сергей Радонежский. Товарищи, переходим в следующий зал! Товарищи.

Пало на холм сорочье перо, дурман-трава, тучи и солнце, Господь и тьма могильной стены — вот краски монастыря. И ты вздыхаешь без привязи дней у румяных боков надвратной церкви, — полдень; у льда голубой колокольни — утро; под грозовой синью куполов Успенского и Троицкого соборов пасмурного русского неба; у пятнистой пышно-узорчатой ризницы, облепленной виноградными листьями да кистями: не зреет у нас виноград. И Господь для русских людей жил в раю с теплыми морями, в полузабвенном детстве, в хохочуще-отчаянных сказках, где родное не в конце “и я там был...”, а в зачине: идет свинья с малыми детками-поросятами по лесу, а навстречу ей серый волк: “Сейчас съем тебя и твоих поросят!” — “Не ешь нас, серый волк”, — взмолилась свинья, а он: “Как смеешь грубить, свиная харя?!” — все родное. Сергия — лучше бы в сказку, на кисельные берега, да вот тянутся все к Троицкому собору — и мне надо туда. Посмотреть на то, что держит. На мощь. Посмотреть на то, что осталось. На мощи. Если смогу.

Я побрел кругом Троицкого собора, вдоль стен, вокруг монастыря: чего страшного — глянуть на мощи? Хотя: что такое мощи? Кости? Скелет лежит? Коробка? Ларец? Из детских безбожных глубин упрямо лезут куриные косточки в маслянистых остатках лапши.

Как это действует? Как волна: дей-ствует...

Часто действует даже явная дрянь: я споткнулся у монастырских ворот — “Кормить голубей в строго отведенном мес-

те!” и стрелка — “Место кормления” — и далее, по стрелке, я нашел земляную выклеванную площадку, похожую на маленький плац; там сидела одна черная по брови старуха, грузная, как надгробие, и дочищала огромные корки хлеба. Дурно и кисло пахло скотным двором, и кругом не было ни единой птицы — я почти побежал оттуда, под гору, искать речку, вымоленную из земли Сергием.

“Как отстоит восток от запада, так трудно постигнуть жизнь блаженного” — и не берусь, “имена которых на небесах Богом написаны, нет надобности в писаниях... людских”. Но гляжу на лакированных матрешек, на продажные пуховые платки. Открываю двери за кольцо. Дурею на винтовой лестнице, подымаясь на башню за тарахтеньем испанской речи, — как уверовать в смертного, как я, одолевшего “смерти скории”? На башне постоял, помялся, испанки умелись, и взгляд оторвался от луж, железных люков, автобусной базарной братии, развалин, огородов, заборов, дач. Дальше — холмы, поля, небо... И я вдруг, точно кожей, поверил, что все это было здесь, так и было, сюда пришел, “вся узы мирьскаго житиа растързав”, эта древняя пустошь напитала иконы непонятным полетом, парением — люди немеют... Змеи шипят: “В образе Богоматери выразилась безысходность мироощущения своего времени”, а иконы темнели, тонули от нас, прикрываясь доступным убогим: золотыми полями, венцами, цатами, золочеными ризами, изумрудами и сапфирами, оставляя открытыми лишь лики, да и те, потускнев, укрывались черным бархатом — так мы продались и обезлюдили.

Идол в мозолях от касаний, а герои не рождаются вновь — для каждого, нетронутыми, для нашей любви. Мы — на развалинах; не сыскать, где стояла кровать, прячь голову от уставшего жить кирпича.

Согнул голову и пошел в Троицкий собор — мимо торговой лавки, дремлющих на скамьях увечных, налево — меж двух ко-

лонн. Прижался к левой, где икона Богоматери. За спиной собиралась и текла передо мной, минуя алтарь, степенная очередь. Там, за огненным озером свечей, увешенная лампадами, сверкает стальным блеском рака — гроб, под гнутой крышей на высоких узорчатых колоннах. Я подумал про мавзолей — ни разу не был. Священник стоял сбоку гроба, наверное, “в головах”, спиной ко входу, и, откашливаясь, читал молитву, одновременно разбирая ворох записок в руке. Люди ставили свечи, крестились, опускались на колени и, главное, наклонялись и целовали гроб, сверху, затем уходили, отдав священнику записку, — мне не было видно, что же они целуют: стекло? глухую крышку? В темени пятиярусный иконостас, писанный с участием Андрея Рублева и Даниила Черного, вовсе не сиял — как на хвалебных открытках. Я пытался разглядеть евангелистов на царских воротах (подлинник украден государством), потом тупо шурился на “Троицу” (подлинник украден государством), пересчитал апостолов на иконостасе и тронул пальцами бархатный барьер, отделивший меня от очереди. Священник сделал перерыв в молитве, и женщины в платочках неожиданно запели в углу “Радуйся, Сергие” — на мотив, близкий какой-то революционной песне. Иностранки трясли непокрытыми космами, одна старушка просто лежала у гроба, не подымаясь, семинарист стоял камнем. Петь перестали, и из-за спины меня царапнул шепот: “Господи, послушай...” Неловко оглянулся, будто поправить ворот, — женщина смотрела через меня на что-то ей отвечающее и шептала негромко про свою семью, про сына — его тянет “к технике”, у нее мужа нет, есть “один человек”, а вот еще на работе... И она повторяла, упрашивая: “Я так хочу, Господи”, несколько раз, чтобы он понял, что в первую очередь. И улыбалась.

Я пошел к киоску: надо купить свечей; а что, интересно, писать на бумажке? И очнулся только у дверей, где изгоняли бесов, — там осталось два человека; я ушел и оттуда, наверх, на

высокое гульбище, что тянется вдоль трапезной. И разглядывал дотемна Троицкий собор, палаты митрополита, часовни. Это “Русские Афины” — догадался когда-то Флоренский, — “античный эллинизм”. Отчего только русская античность так смурна: у греков солнце печет, но пашни — клочки, и те легки на подъем, до первого ливня, а снега едва пали — и уже их нет, и с любой горы там открывается море: вот оно, беги. Просторы же Руси так невыносимы, что с места не тронуться. Судьба без осечек — кладет на месте. На родном.

В этом самом месте, в этих стенах настигли великого князя Василия Васильевича посланцы двоюродного брата, Шемяки, сына того самого свидетеля обретения мощей Юрия Дмитриевича.

Обманули беззаботную стражу, подкрались на санях и понесли с горы “как на счастливый лов”, по снегу в девять пядей. И люди Василия обмерли — “яко изумлени”. А великий князь, ослепивший в свое время брата Шемяки — Василия Косого, побежал в конюшню, да разве сыщется на Руси готовый конь, когда за дело берется судьба! Пономарь втолкал его в Троицкий собор, одного-одинешенька, запер, а сам вдарил бежать что есть сил. А гончая свора ворвалась и прямо, не спешиваясь, на конях — по лестнице, к соборным вратам: где? Где — хватали за грудки. А великий князь, ухом к дверям, он же слышал все это, схватил икону явления Богородицы Сергию и сам отпер южные двери. И главный догонял бросил руку свою ему на плечо: “Пойман еси, великий князь”. И сам заплакал, уже зная все наперед. А Василий кричал, что пострижется в монахи, прямо здесь, корил крестным целованием. Ведь целовали эту самую икону, у этого самого гроба, “не мыслили... лиха”, хватался за руки, молил, грянувшись оземь у гроба Сергия-чудотворца; “кричаньем моля”, “захлипаясь” так, что посланные сами прослезились, а потом он просил: “Не лишите мя зрети образа Божия”...

Его ослепили. Оставив в истории — Темным. В охотничьей суматохе упустили: будущего Ивана III — первого настоящего русского царя — унесли в охапку, скрывали в каком-то, наверное, подвале и ночью вывезли дальше. Античный, твою мать, эллинизм.

Запираются ворота Лавры деревянной решеткой — где ж наше место проживания?

Отчаявшись оживить телевизор, я упал животом на кровать. Кусал яблоко, вздыхал: отчего пуста моя жизнь? Лежебока? Но все русские любят диван. Куда ехать, ежели зима долгая, кругом — Сибирь и снега в девять пядей. Нет, беда, что душа моя бронзовая, душа моя медная и стальная не помнит детства, золотого века. Все империи наигрались, собрали солдатиков в коробок, легли спать и умерли, осенив мир заревом “классических эпох”, — они снятся, и ты любишь золотые сны, правившие племена на юг, ранние царства, микенскую эпоху, ахейских царей, колесницы и костры Троянской войны, нашествия дорийцев, безгласие “темных веков”, Пелопоннесские войны, персов, македонцев, богов, плавное, как и рождение — угасание, прощальный свет их, сиявший русским из Царьграда...

А историю русских я любить не умею. Во мне ее нет. Империя близка, слишком близка, солдаты ее еще грезят триумфом. На первый взгляд... Нас еще не разделили века и варвары, свет забвения еще не сгладил кровавых и лживых черт. Но пустота моя не только от этого.

Мы отроду не любили нашей истории! Праведная жизнь родилась не лучом Авроры, а пушкой “Авроры”, и все века до этого казались пустопорожним топтанием, пьянством, тиранством над бедным людом, Божьей ложью — былое отчего-то вовсе не спешило к историческим неизбежностям, — разве могли мы это простить? Мы запаха земли не знали, но презирали ее вонь. И признали единственное, сгодившееся нам, — державу. ДЕРЖАВУ. И свыклись, что это — главная ценность.

За отстоянную и добытую землю прошалось все. До тех, кто принес кирпичик в Кремлевскую стену, мы снисходили и допускали в свои куцы сны — только рубак и только победителей. Без знаков различия, души и плоти. Только: Дмитрий Донской — победитель на Куликовом поле, Сергей Радонежский — благословил Куликовскую битву, Петр I — победитель при Полтаве, Александр Пушкин — почти декабрист, Николай Гоголь — обличитель царизма. Какую силу можно черпать с этих обглоданных скелетов? Какие золотые сны навеют слова Ключевского, что три великих святых русского народа четырнадцатого столетия — митрополит Алексей, Сергей Радонежский, Стефан Пермский — лишь делали “одно общее дело” — “укрепление Русского государства”: только-то? Мы затоптали душу свою порывами: любить — не любить, сгодится он нам или — враг, хотя подземные миры нации должны существовать неподсудно, как сердце, про него не скажешь: люблю, не люблю. Но пустота моя не только от этого.

Еще и то: империя, набравшись сил, действительно, не расцвела “классической эпохой”, дала куда меньше, чем могла, или мы просмотрели золотой век, или не дождались; так изнурившись борьбой за выживание, что ноги протянули прежде пещен и Акрополя, просто спились и легли под забором, — мускулистая, жилистая, стершая зубы лошадь, рожденная слишком рано и надорвавшаяся по малолетству; а дети ее бегают кругом, кто — тоскуя по матери, кто — обожествляя сиротство свое, но сходясь в одном: хочу полюбить, да не знаю — как и не знаю — что.

“Аз есмь Сергие Маковский, — открываю глаза и шепчу поутру, — Аз есмь...”

Суд безбожников собрал “дело” на смертного С. Радонежского — полистаем. Обедневшая семья, боярин Кирилл — отец, скатился в нищие из-за поездок в Орду, ратей, нашествия москвичей. Сын, вдобавок “будучи туповатым к учению”, вы-



рос “умело приспособляющейся личностью”, подмятый покровителями: старшим — митрополитом Алексием, младшим — Дмитрием Донским. По-собачьи преданно служил Москве, забыв ее кровавый ростовский погром, лишивший его семью родного дома. Покорно брался за дела, никак не потребные монаху: ездил мирить князей и даже закрыл церкви в Нижнем Новгороде, приводя в чувство местного князя, но безуспешно. Безуспешно! Настолько забыл свой сан, что отдал на Куликовскую битву двух монахов — ай да игумен! Тут суд немного перебрал, времена были суровые. Епископ Феогност как-то запросил патриарший собор: “Если поп по рати человека убьет, можно ли ему потом служить?” Собор сообщил: “Не удержано есть святыми канонами”.

Однако продолжим листать “дело”. Троице-Сергиевая лавра, конечно, угнетала трудящихся. Игумен, “страдавший нервными галлюцинациями и даже беседовавший с... самой Богородицей”, конечно, — похвастал да бабушку и схрастал! Но чепуха это, “следствие психоза”.

А есть верный удар — Радонежский не благословлял Куликовской битвы! Все трогательные песенки о напутствии, пророчестве, благословении, отдаче монахов в рать — это придумки троицких монахов (они и саму-то битву перевирали будь здоров для радости богатых вкладчиков). Летописи, столь внимательные к игумену, что сообщали даже о его хворобах, на сей счет — молчат. В ранних редакциях жития есть главка, что Донской отправился на татар с благословения Сергия и в честь победы выстроил Успенскую церковь на реке Дубенке; но церковь-то выстроена в 1379 году — за год до Куликовской битвы! Выходит, Сергей если и благословлял, то — битву на реке Воже с мурзой Бегичем в 1378 году. А не историческое Мамаево побоище, и раз так — не было никакой схватки Пересвета с Челубеем! Да и вообще русская хитрая церковь упорствовала на проордынских позициях (это я все читаю, не говорю), а сам

Александр Терехов

“так называемый святой” был “главой и идеологом архиерейско-монашеской антивеликокняжеской оппозиции”.

Последний оборот имеет в виду печальную историю с Митяем, на ней стоит приостановиться.

Русскую землю делили враждующие Литва и Москва. Митрополит сидел в Москве, литовские князья — “огнепоклонники” — в свою землю его не пускали и грозили патриарху, что если и дальше русской церковью будет командовать Москва, то они свой народ перекрестят в “латинскую веру”. Патриарх сдался и послал в Западную Русь отдельного митрополита — Киприана. Но — с хитрым условием: как только умрет московский митрополит Алексей (а дело к этому шло), Киприан опять станет единственным митрополитом “всея Руси”, сохранит духовное родство всех русских, что, Бог даст, приведет когда-нибудь к объединению распавшихся половин. Думал ли так патриарх? Или я — по старой хворобе — угадываю во всяком строителя империи?

Но у великого князя Дмитрия не было поводов светло заглядывать в будущие века: удельные князья рвали великокняжеский ярлык из рук, неприязнь к Орде вылилась наконец в “розмирие”, обещавшее мало радостей впереди. Литва недолго крепилась “вечным миром” и легко влезала в каждую распрю Руси, то воевала с Ордой, а то шепталась. При такой ненастной погоде — по смерти наставника и соратника, Алексея, принять поделенного с Литвой митрополита “Киевского и Всея Руси” князь не собирался: Москва б не стала Москвой, если бы хитроумные предки не добились путешествия митрополита по тропинке Киев — Владимир — Москва, а теперь все терять и мириться с “литвином” Киприаном, реально зависящим лишь от патриарха чахнувшей в “неустроениях” Византии?

И князь нашел человека для возведения на митрополию — Митяя.

Хотя житие Сергия повествует: почувяв смерть, митрополит Алексей протянул Сергию митрополичий крест, и об этом Сергия молили все (житие подчеркивает: и великие князья тоже молили), но святой отказался, по великому своему смирению, — это, видимо, лишь красивая песня. Князь хотел Митяя.

А кто это — Митяй, не удостоенный в русских письменных глубинах даже полного имени? Любимец князя, голосистый и здоровый коломенский поп. Князь сделал Митяя духовником своим и ближних бояр и доверил ему государственную печать.

Время торопило — Алексей угасал, князь чуть ли не силком притащил Митяя в Спасский монастырь, и постриг в монахи, и начал упрашивать Алексея назвать “архимандрита Михаила” преемником. Алексей уклонялся что было сил: как это, “уного”, “новоука” — враз на митрополию? Может, в душе Алексей уже разглядел в приходе Киприана некую правду? Князь не отставал, “много нуди о сем”, Алексей кивал на Царьград — пусть решают там. Очередной константинопольский патриарх в смуте гражданской войны не вдавался в тонкости, а “поминки”, сопровождавшие русские просьбы, были осязаемы — Митяя утвердили. И Алексей умер, оставив недоумение: благословил иль нет?

Митяй сел править, и все презирали его птичьи права, и Митяй понимал, что ветры дуют из Троицкого монастыря, от отстраненного молчания смиренного игумена, и князь это понимал. Старцы верили в правду Киприана.

А тут неожиданно в Москву рванул сам Киприан: вступить торжественно в Москву с богатой свитой на сорока шести конях и одолеть “не желаю” молодого князя! “Еду к сыну своему ко князю ко великому”, — подбадривал он себя в дороге письмом к Сергию и Федору (племяннику Сергия), давал им знать: встречайте, пособите, иду напролом.

Воеводы Киприанова “сына” перехватили митрополита под Москвой — раздели, ограбили, бросили ночевать в холод-

ный сарай, свиту раздели до рубах, усадили на дохлых кляч, развернули посольство в сторону Литвы и придали ему хорошей скорости. Захворавший, взбешенный Киприан обрушился письмом опять на Сергия и Федора: да они должны жизнь были положить за митрополита! “Аще быша, вас убили, и вы святи” — это, наверное, единственный упрек Сергию от современника, да какой! Киприан с ходу решается на неслыханное дело: проклинает, отлучает от церкви, предает анафеме великого князя Дмитрия и его бояр, кажется, еще строчка — он и Сергия отлучит! Это тот самый Киприан, который, если верить “Сказанию о Мамаевом побоище”, так по-отечески провожал Дмитрия на битву! Митрополит потребовал от всех читателей сего страшного послания переписывать его и рассылать во все концы — пусть все знают! И вряд ли Сергий и Федор посмели его послушаться. В ответ они тут же что-то написали, и это “что-то” успокоило Киприана на их счет: “все познал есмь от слов ваших”, но его проклятие гуляло по Руси, хоть и с намеренным коверканьем отдельных “ударных” мест — и князь ведал об этом, но не тронул Сергия.

Митяю же земля жгла ноги, и он упросил князя собрать епископов: они не посмеют при князе “вопить”, поставят Митяю в епископы — и так справней будет ехать в Константинополь на утверждение. Епископов собрали, все немо соглашались, лишь суздальский владыка Дионисий, зная за своей спиной Троицкий монастырь, взорвался, восстал и пригрозил за правдой поехать в Константинополь. Делать нечего, князь “повеле” его “удержати”. Дионисий молил отпустить: не поеду никуда без позволения, пусть хоть Сергий за меня поручится, и Сергий поручился — Дмитрий поверил, устыдившись ручательства Сергия. Дионисия отпустили, и он, ни мгновения не медля, бросился Волгой в Царьград, плюнув на обещание год сидеть тихо и предав своего ручателя. А князь опять удержался — даже от худого слова Сергию.

Митяю пришлось ехать в Царьград архимандритом, он собрал денег, пышную свиту, княжских грамот для заема дополнительных средств — дело предстояло затратное, на прощанье Митяй наобещал Сергию чего-то плохого (благодарить ему радонежского чудотворца, прямо скажем, было не за что) — Сергей бодро пожелал ему “царского града не иметь видети”.

Митяй добрался до Черного моря, разойдясь подобру-поздорову с цапнувшим его по пути Мамаем, — и сел на корабль. Корабль достиг турецких берегов и дальше вдоль земли поплыл к Царьграду. Заветный город уже выросал из тумана, а может, и утреннее солнышко высветило его вдаль, когда Митяй “разболелся в корабле и умре на море” — хворь одолела, удушили, утопили: не узнает никто. Корабль, как столб, замер напротив Царьграда, другие корабли с изумлением обплывали его слева и справа, далекая Русь ждала митрополита, воевала с татарами; предчувствуя “вытекающие последствия”, послы пытались придумать, что бы князь велел им при таком обороте, и стали врукопашную выбирать замену Митяю из себя — и не угадали, и это стоило им потом головы. А Митяя, ну что Митяя, — его на лодке свезли в Галату, на латинский берег, и закопали в землю — сына попа села Тешилова, любителя церковного пения, про которого никто не может ничего внятно сказать: мелькнул и пропал — настигла доставучая русская судьба.

Суд безбожников хихикал, что история Митяя задержала канонизацию Сергия и Алексия, — не знаю и знать не хочу. Новый духовник князя, Сергиев племянник Федор, и сам Сергей уговорили Дмитрия пригласить все-таки Киприана — и он пригласил, вся эта история имела еще продолжение на доброе десятилетие. Русь уберегла Сергия, он вышел правым и невредимым. Сергей угадал верный путь. Обо всем остальном — помолчим.

Святость не в жизни замечательных людей — в том, что мы, неловко улыбаясь, называем “чудом”. Почти ничего не знаем

об Андрее Рублеве — и почти всё, есть иконы. После Сергия осталась лишь Россия — тоже почти всё. Нашему невежеству с Сергием повезло, кроме непостижимого для нас сохранилось еще и житие. Епифаний (прозвище — Премудрый), дьякон при Сергии, повидавший и Царьград, и Восток, по смерти святого (а может — раньше?) записывал для памяти, что знал. Про детство святого расспросил у старцев, послушал рассказы Стефана — старшего брата и человека, что много лет Сергию служил; записи лежали в беспорядке. Епифаний ждал четверть века, надеясь, что сыщется кто-то достойней, — сам писать житие осмелился только перед смертью, в году так 1418-м. Еще лет через тридцать Пахомий Серб выправил житие: сократил, переписал, добавил чудес у обретенных мощей — житие стало любимейшим чтением Руси.

Житие расцвело на переломе писательских привычек: от сухости пересказа “жил-был” — к проповеди, блеску учености, плетению словес, и Епифаний вворачивал: “зверь, рекомый аркуда” — про медведя. Отец послал Сергия искать лошадей, а Епифаний — “на взыскание клюсяти”. Решето не гнилого хлеба, а “гнилых посмагов”. И Сергей в бесконечном, изукрашенном предложении представал светилом, цветком, звездой, лучом, лилией, кадилом, яблоком, шиповником, золотом, серебром, камнем, жемчугом, сапфиром, пальмой, кипарисом, кедром, маслиной, ароматом, миррой, садом, виноградником, гроздьем, огородом, вертоградом, источником, сосудом, алавастром (сосуд такой), городом, стеной, крепостью, сыном, основанием, столбом, венцом, кораблем, ангелом, человеком — итог: тридцать семь наименований.

Предлагаю очень верить житию: к Писанию тогда не липла всякая шваль, в Писании сплетались Божьи молнии, и шепот земли, и слово — взвешенное, наполненное правдивостью, не подрасчетной корыстным нашим мозгам. И оттого так трогательно смирен воздух жития; не сыщешь райских обещаний за

гробом, лишь печальные слова — о книгах жизни и книгах смерти. Оттого так обделен мелочный патриотизм: нас удивляет — Сергей живет, совсем не поминая Орды, и никто из переписчиков в победных веках не посмел “довести” житие в этом смысле! Смиренность святого воздуха — мимо нас, она не помышляет о доказательствах. Вот чудо: Сергей видит на небе птиц, блистающий свет, и голос обещает ему: “Так умножится стадо учеников твоих”, Сергей скорей кличет Симона — посмотри! Но тот захватил лишь остатки света... И мы бессильны пошлым своим рассудком одолеть, что стоило Епифанию, точно знавшему: житие пишет только он и совершенно все, что выведет сейчас вот эта его рука, это и будет правдой во веки веков, — что стоило этой руке чуть дрогнуть — из благого умысла! — и подправить: и Симон узрел.

Мир жития печален — не знает своей судьбы. Тот же голос добавил Сергию с небес: ученики не пропадут, “если они захотят по стопам твоим идти”, — нет обещаний. Умиравший Сергей видит: “Обитель моя эта весьма разрастется, — и опять: — Если... мою заповедь будут хранить”. Богородица является Сергию — едва ли не первому из русских святых! — Богородица, чья икона способна приносить урожай, укрощать засуху, устрашать вражеские полчища: как же тогда всесильна она лично! А что она говорит? Обитель твоя будет иметь все в достатке, я не покину ее — сейчас и по смерти твоей, — как удержался Епифаний и не написал: ВСЕГДА?!

Есть еще спасительная, плачущая за нас строка в житии: “Благословен Господь, который не даст нам сверх сил искушений!” — это Сергия наставляют так словами апостола Павла — что ж тогда нам? Может, вся мерзость моя лишь от непопильности искушения — сверх сил?

Английский автор Уэллс спросил в Кремле Ленина — моего святого: сколько вы продержитесь? Ленин улыбнулся светло. Как ребенок. “Мне кажется: мы навсегда”.

У Епифания бывают неточные слова, “от себя”, для кажущейся его времени “пользы” — они приметны, как чужая рука. Землепашец пришел в монастырь посмотреть на святого. Монахи сказали: он в огороде, и подвели к дырке в заборе: хочешь — гляди. Мужик глянул: Сергей мотыжил грядку. Мужик разобиделся: столько слышал про чудотворца, все дела бросил, а вы мне смеха ради тычете на убогого, “сироту”, в латаной рясе. Сию веселую байку, гулявшую по монастырю, Епифаний напитокывает нахмуренной, напыщенной силой. Монахи (смиренная братия) предлагают святому вытолкать мужика взашей (если б Сергей не вступился, так бы и сделали), да это ладно, вы послушайте, как они подходят к святому по такому пустяку: “Не смеем и боимся сказать тебе” — это про смешного-то темного мужика, как про грабеж монастырской ризницы! И кому? Игумену, который таскает им воду, коллет дрова, как купленный раб, и только что утирал пот со лба на огороде, а братия чесала языками с мужиком у дыры в заборе, доказывая: это и есть наш чудотворец! Епифанию мнилось: так прилично.

Дальше: Сергей крестьянину поклонился до земли, поцеловал, усадил рядом есть, ободрил, а тут в монастырь вступает некий князь с великим полком, сияющей свитой. Бедного мужика княжеская охрана (послушайте родной язык), “побивачи”, далеко швыряет от лица князя (тут Епифанию бы и точку ставить, а он продолжает) “и Сергия”. Что ж, Сергей безучастно сопровождал взглядом полет мордой оземь своего собеседника, коему кланялся до земли? И не видит, как тот бегаёт вокруг толпы, окружившей святого и князя, — они только двое сидят, и Епифаний горд этим, хотя что за величина для Сергия Радонежского “некий князь”? Это уж Епифания придумки. Как и дальнейшее, что мужик постригся в монахи и помер в монастыре, исправляясь покаянием, — и Епифаний даже имени его не помнит, хоть исхитрился разузнать чуть ли не половину из



самых первых двенадцати монахов монастыря, — если бы не выдумал того мужика, неужели бы упустил? Епифаний будто не очень верит темному люду: самому-то для веры этого не надо, а поверят ли остальные?

Он знал это про себя и просил: “Не зазрите же ми грубости моей”, и я твержу эту мольбу у ворот Лавры — я на земле не местный, я — проживающий, то есть — проезжающий мимо: “Не зазрите же ми...”

В древних русских писаниях, как в античном эпосе, почти нет цвета. Из редко поминаемых любимый — белый. Но много-много блеска. Жизнь Сергия удивительно светла — озарена покоем. Ни разу не закричал, не разрыдался, не отчаялся, и если зверей диких боялся, то — немножко. Мягкий, смиренный свет источают дни его, и святой кажется мягким, лишенным углов и ребер. Разве так?

Сергий Радонежский утверждал власть свободного сердца. Не путанные, говорливые искания истины, а истинная жизнь, которая не от головы, — житие сего не скрывает, не златоуст, не писатель, не книгочей. И неспроста это безуспешное учение отрока Варфоломея — “не скоро выкнуща Писанию”, “не точен бысть дружине своей” и даже “не вельми внимаше” — ребята дразнили, учитель серчал — “боле же от учителя томим”, вряд ли это “томим” сдерживалось и не драло за вихры. И не выучился, а — прозрел. Пошел за лошадьми и увидел черноризца под дубом, горько посетовал: не дается грамота. Принял из рук черноризца белый пшеничный хлеб — просфору, вкусил — и глаза его увидели смысл слов.

Сергий знал “сердечность” своей силы и не стыдился, охотно просил: “Научи мене”. Приехал в монастырь греческий епископ, не веривший в русского святого, — епископа за неверие поразила слепота. Что говорит Сергий, исцелив гостя? “Вам, премудрым учителям, подобает учить нас”.

Сила сердца давала свободу и независимость.

И Сергей поэтому неподвижен, “не исходя отнуд места своего”: зачем ему искать Афон, Иерусалим, “царствующий град” — где сердце его, там и столица, он пустынь сделал, “подобную граду”.

И то, что кажется нам смирением Сергия, может быть, есть упорная независимость, оборона свободы? Как долго отказывался он стать игуменом — епископ Афанасий не выдержал: “Всем обладаешь, а послушания в тебе нет”. И это — от скромности? Когда митрополит Алексей вручил ему митрополичий крест в золоте и камнях, Сергей вслух, вежливо: “Я с юности не носил золота, в старости же особенно хочу в нищете жить”, а про себя, тут верю Елифанию, знал: великая это тщета. Ведь не подумал: “не достоин”. Разве смирение? Гордая свобода. Только гордый игумен, оставшись без хлеба, не унизился в просьбе, а нанялся к монаху строить сени и за труды попросил именно гнилого хлеба — чтоб не встретить отказ, чтоб утаить нужду свою, и гнилые “посмаги” взял лишь после работы, хоть шатался от голода.

Когда в монастыре завопили недовольные введенным общежитием, а брат Стефан прямо в храме начал “качать права”, кому здесь быть игуменом, — смиренный бы не слышал, увещевал бы возлюбленное стадо, тащил бы крест и места родного не бросил, а Сергей после первого же “приступа” Стефана вышел за ворота и ушел, не оглянувшись, искать новую пустынь — даже учеников не пожалев ради сердечной своей свободы... Сколько гордости в этом безмолвном уходе!

И более того: Сергей совершенно свободен именно как смертный, он утверждает независимость даже от собственной святости, от чудес. Люди сами жаждали чудотворца, люди сами выдумывали (или видели) чудеса, а уж потом — вручали их троичному игумену.

При пострижении в Сергия вселилась благодать и дар Святого Духа. Он сам сказал об этом? Нет, некие люди почувство-

вали благоухание. Исцелил бесноватого — но кто ж увидел огонь, полыхнувший с креста святого? Сам бесноватый. И — ни души больше. Огонь причащал святого в алтаре — откуда ведомо? Симон так увидел, а когда рассказал святому, тот запретил об этом болтать. Отец нес больного сына на исцеление Сергию, а принес — мертвое тело. “Что сего лютейшии?” — отец ушел за погребальными одеждами, вернулся: святой молился над ожившим сыном. Этот отец и нес во все концы о чудесном воскрешении, а ведь как обстоятельно и разумно увещевал его Сергий: да не мог я воскресить! Мальчик замерз по дороге, а измученный хворобой отец испугался прежде времени, в келье тепло — мальчик отогрелся, только Господь может воскрешать! И, отчаявшись убедить, Сергий снова запрещает: не говорите никому. Кто углядел мужа в блистающих одеждах в алтаре, где Сергий служил литургию? Исаакий да Макарий. И не просто пристали к Сергию: что это мы видели? Они видели, а ему — объяснять! В житии ясно сказано: “Ученики упорствовали”. Сергий и объяснил: это — ангел, ангел был. А что он мог другое сказать? И опять взмолился: ну вы хоть не говорите никому! Злитесь на меня, но, хоть убей, не видать здесь никакого смирения, а гордая позиция: человек всемогущ свободной душой и смерть одолеет правдой сердца, без крылатых и хвостатых. Вот это — чудо, а не зыбкое “кажись”.

О посещении Богородицы мы узнаем также не впрямую от Сергия, рядом ученик Михей: Михей слышал приближение ее, но пал замертво и не слышал, что она говорила, не видал, как выглядела.

Мы же чтим Сергия за одно чудо — Россию. Но и она умерла, не осталась. Теперь, прочитав ее письма, мы только по смерти узнали настоящее имя ее, подлинную жизнь и что жила она с нами — невольницей. И тогда полюбили, лишь присыпав глиной, — небывалая любовь без встречи. И, гуляя по монастырским стенам, по полоскам света из бойниц, замерев над

усыпальницей Годуновых, — единый год смерти, в лучших отечественных традициях, — я бормочу: Господи, но ведь я так люблю ее. Кого?

Одно счастье — яблоки в этот год уродились. Семинарист хрумкал яблоко у своей проходной, девушка в платке держала для него еще целый кулек: ешь сколько хочешь. Наверное, будущие это бабушка и матушка — он яблоко грыз в три движения и цапал сразу еще одно, и глотающее горло из-под кителя выталкивало снежный подворотничок, я зажмурился: вся моя паршивая солдатчина мазнула мне щеки зеленым крашеным крылом.

Еще одно счастье: как ни мала церквушка, а внутри ахнешь — звезды, Царьград, тучи, золото, море, осень, старик на коленях; нет — старик на ногах, колени — все, что есть у него от ног; я согнулся над белым листком: что ж писать для святого? Заглядывал под соседкину руку — она что-то еще вспоминает и грозит себе пальцем, на листке — имена, имена, имена — с именами что-то краткое, что-то — “Бог”? Нет — “бол”, что? Ноют нищие: сын парализованный, на пятнадцать минут только оставила, десять дней как похоронили, подай мне, сынок, мать науськивает сына на иноземцев: давай! — и он с ходу хватает коленку лапками и вопит: дай! хоть копейку! — уворачиваешься от цепких лап — “бол”: это — болящая! — здравствуйте, тихая тетя говорит мне про икону, про Казанскую Божью Матерь, про Сергия (так его любит), я иду, как проклятый, за ней, она уже плачет: украли кошелек, нечего есть, вот объеденный кусок хлеба в желтой салфетке, хоть бы на автобусный билет — мои руки лезут в карман, постыдно мешкая в положении “сколько?” — в оставшиеся дни она ни разу не подошла опять ко мне, это — память.

Я опять не дошел до мощей. Опередила ночь.

Ну почему невеселый наш Бог? Почему на Руси — хоть перешерсти ее до последней конуры — не сыскать счастливого, ес-

ли только он не пьян. Юродивые — и те на сковороде. Один в один: рано родились — рано померли, нет лиц — одни нахмуренные ямы. Тянет отодрать заклеенную на зиму балконную дверь и выть на колокольню, когда подумаю, как помирал хотя бы великий князь Дмитрий Иванович, как захлебывался молодой еще мужик; и что посветить ему могло, кроме тихих слов Сергия Радонежского, который для Дмитрия был стариком и по рождению, и при смерти? Что в утешение наскрести? В девять лет уже без отца, вместо оного — митрополит Алексий, сразу повезли в Орду за ярлыком, и — тщетно, кровавые годы: рати, стройка Кремля, “литовщина” — одна, другая; опять Орда, первая государственная казнь на Москве — зарубили мечом последнего тысяцкого Вельяминова, бежавшего и выманенного из Орды; посольство коварных тверичей, захваченное страшным грехом — клятвопреступлением — Алексий замолил — распавшееся, едва собранное “одинокство князей”, жуткое проклятие Киприана и суровое молчание старцев, смерть сына; “розмирие” с татарами и Куликовское кровавое побоище, про которое через век запоют, а князю впору плакать — вдогон обиженным Мамаевым людям слали золото и серебро: может, царь смилостивится? Победа? Восемь длинных дней хоронили убитых, а уцелевших, поползших с добычею по домам, в клочья разнесли рязанцы и литовская рать — на юг побрели свежие рабы, и “оскуде бо отнюд вся земля Русская воеводами, и слугами, и всеми воинствы, и о сем велий страх бысть на всей земле” — после “победы”! Через миг — два года — Тохтамыш, князь просто бежал, и Киприан, и Сергий. Вернулись — Москву еле очистили от мертвых, за восемьдесят тел — один рубль. Всего: триста рублей, а по окраинам — кто их считал... И снова в церквях хана славили раньше князя и — нет проблеска; еще внук Донского, Василий Темный, поедет на суд к “царю”; и только сын его — Иван, которого по глубокому снегу тащили прочь из Троицкого монастыря, остановит

тагар на Угре — до этого еще век, да разве кончится этим? Чем дыхнуть мог великий несчастный князь на краю сырой могилы, да что шептать ему мог старый игумен, собираясь скоро вслед, а ведь копошились еще под каменной смерти горой, мудрили, писали дерзкое завещание: назначить наследника без указа Орды, но не это, не это.

А то, что — ни единой счастливой души. Может, лишь... Сергей? Даже не знаю.

Кто-то заметил: Сергей не улыбался совсем. Не так! Улыбался, вспоминая, как “аркуда” — медведь — таскался к хижине без выходных за подкормом и крутил круглой своей башкой, “как некий жестокий заимодавец”. Где ж его “мал укрух” хлеба? Разве не улыбался он, утешая недотепу мужика, не углядевшего в “сироте” чудотворца? Смеялся: ты правильно сказал, это вон они во мне ошибаются! И говорил: никто не уходит печальным отсюда. Это наш божок, и все “у Бога” — плачущие и убогие, а у них — радость и блеск, любовь.

Пока оставим снежные равнины.

В тающей Византии богословы схлестнулись в тридцатилетней распре. Не шутка, богословие не просто “самая главная наука”, это — столпы, держащие небо, судьба народа, рок.

“Византийский гуманизм” нащупывал опору в светском знании — науке, укреплялся логикой: вера подтверждается разумом, истина приоткрывается разумом. Если мир — дело Божьих рук, то, постигая миропорядок, человек постигает и Господа. Существование Бога можно доказать себе умом. Гуманисты рвались в “свет” из тесной церкви и тянулись к родственному “латинству”. И пали в битве с исихастами.

“Исихиа” — покой; слово, проросшее из египетских пустынь первых христианских веков, от монахов-отшельников. Правда исихастов: мудрость бессильна. Ухищрения разума: добытые знания не подвинут к истине даже на локоть. Но путь есть — внутри каждого. Бог создал тебя своей “энергией”,

ты — родствен ему, ты и есть — весь мир. Не ищи: всё в тебе. Будь один, будь праведен в пустыне, запишись в келье, забейся в угол, склони подбородок на грудь, задержи дыхание — старайся найти душу свою. Ум взойдет к Богу — молчаливой, “умной” молитвой — и возвратится, познав, и тогда сквозь сердце твое пробьется и засияет ослепительный фаворский свет, не призрачный, явный, он “обоживает” — воссоздает изначальный единый мир, золотой век, который сиял апостолам на горе Фавор. Свет доступен святым, он в единстве со всеми — и Богом. Человек при жизни способен отчетливо вкусить сладость торжествующего бессмертия, не надо ждать.

Исихасты покинули пещеры в скалах — стали властью Византии, властью православного мира, наследовавшего эллинизм. Они утвердили: мы — другой мир, останемся им. Иногда говорят, что Византию это погубило. Иногда говорят, что Русь это спасло. Вызванный свет сжег Византию дотла, но согрел Русь, смогшую удержать черные скалы Востока и Запада, готовые сомкнуться. Русь осталась жить, унаследовав от Византии ответственность за большее, чем могла понять, — и что-то от этого в нас? Книги исихастов были на Руси, Алексий, Сергий, конечно, были “в курсе”, но вряд ли Русь была способна что-то сама думать в ту пору — она жила. Вот еще пишут: то, что Митяя удавили — это победа исихастов — вот это по-нашему!

Мне кажется, в русской душе переплелись исполинская, воспитанная зимами неподвижность, лень, необоримая даже смертью, и — страх. Страх, в котором корчилась родная земля, начинаясь, а кругом — поганые; единственные “родичи” — Византия, и та — далеко, и ту — скрывает потоп. Одни! И все семейные предания — про то, как пальцы судорожно хватили кромку льда, а река тянула на дно. Смертный бой, неистовая живучесть, недоверие — никто не поможет, — безмерное терпение с верностью дикой свободы: все одно перегрызем и уйдем! Страна действия, а не думания — некогда! — и наивная

гордость сироты: а вот и я — как человек, и кафтан приличный, и зуб золотой, пусть — победней, зато правда за нами, мы — спасем, мы — на свету!

Страх во мне, во всех — и в Сергии: днем, на фаворском свету, веселы и кичливы, а ночью беспомощны, как дети, смотрим на голую стену — никто не придет.

И вечная бредовая идея русских — отвоевать Константинополь назад — это порыв ребенка: найти мать! Спасти от крошечного одиночества. Умом не разъяснимая животная страсть, не знающая ни закона, ни скучных невозможностей, ни смерти: я просто люблю и хочу! Лихорадка, трясающая всех: Василий Голицын еще в семнадцатом веке вел полки на Крым, а в секретных бумагах решали: Константинополь! И Петру Алексеевичу с детских лет задала летопись: как брали Царьград, и он мечтал, возя с собой икону Сергия, написанную на гробовой доске святого. И славный Потемкин, ворвавшись, наконец, в Крым, тут же вкопал столб — “Дорога на Царьград”. И великая Екатерина, и грозный Николай, и все потом — все гнули в эту сторону, все шептали: “Балканы, Балканы”, про себя повторяя: “Царьград”. И последний император — Сталин, даже тот расползся на полмира, а все косился — туда же. И всем не хватило: чуть-чуть. И с корабля видали, и гарнизоны высаживали, а — не вышло. Все равно шепчешь в подушку: зачем Николай давил венгров; Австрия, неблагодарная тварь, всегда нам костью в горле; продержался бы Константинополь еще век, не помер бы так быстро Тамерлан; а там бы Грозный послушал умных людей и не увяз бы в Ливонии, а бросил стрельцов на юг — они бы живо навалили этим Баязидам да Мехмедам. Господи, у нас даже лица бы были другие, когда бы Царьград устоял, — не вышло. В этом что-то есть. О нас?

Я начинаю мерзнуть по ночам. Просыпаюсь: холодно, слышу голоса, кругом говорят, словно нет стен. Бьет колокол и — вну-



три колокола подземные реки уносят, роняется краска с обветренных стен. В тучу собираются галки, галдят: куда лететь? Жду утра, пережидая, как болезнь, ночь, — когда отворят Лавру. Мне надо туда. В правый угол Троицкого собора: согнуть спину, истратив свечку на огонь.

Счастлив ли он? Жил да помер. Сквозь плетеные словеса мне светится дорожка.

Откуда Епифаний так подробно знает, как “прошлись” по Ростову московские воеводы? Столь равнодушный к мирскому, что даже миротворческие походы святого к князьям помянуть не удосужился, а тут замедляется: так били, так грабили, а этого повесили за ноги, поименно грабителей и жертв — а ведь так скуп на имена даже для свидетелей чудес. Событие сие Сергия касается “не прямо”, семьи его — вскользь: они переезжают от бедствий, избегают их. Да и нельзя сказать, что мирская жизнь семьи Епифания интересовала — брат святого Петр раз мелькнул в житии, да и пропал навек. Дело прошлое, какого же рожна ворошить удельную распрю, да еще ту, где обидчики — москвичи?

Епифаний и сам, я думаю, не сказал бы почему. Он работал как журналист: опрашивал каждого — “все о Сергии”. Каждый припоминал самое важное “на эту тему”. Как обработать сведения, сваленные кучей? В житии святого Епифаний мог оставить лишь “пересечения” — то, в чем свидетели совпали. И рассказ о ростовском погроме объясним: либо монахи из ростовских земель как один нашли нужным вспомнить эту напасть “попутно” Сергию, либо сам святой или брат его Стефан поминали это, и не раз. И Епифаний машинально повторил “длительность” их рассказов, чуть сбившись с внутреннего тока своего труда.

Кровавый средневековый погром, разбой, насилие, смерти — это начальное воспоминание детства сверстников Сергия и самого святого. Страшные картины не ушли из памяти даже

спустя десятилетия, как же они тогда сидели в детской душе и возвращались во снах? Нашествие не только развеяло надежды, что семья спасется от нужды, в мальчике оно могло отпечататься горечью: мир вовсе не подсуден добру и не ищет справедливости. И, может быть, потайным стремлением отрока Варфоломея было достичь “золотого века” — справедливости и свободы.

Сергий хотел “устроить жизнь”, пусть и хоронился кричать об этом, но желание “устроить” вовсе не ничтожно в сравнении с обещанием отдать себя Богу — они равны, и поэтому Сергей не сразу бежит в монастырь, он соглашается жить с отцом и матерью до их смерти, хранить их старость, значит, это не было существенным для него. Да и уход сразу двух братьев “в монахи”, в пустынь, имел и житейский расчет — наследство, как бы жалко ни было, в этом случае не дробилось и целиком попадало брату Петру. Да и “в монахи” торопились тогда не колченогие и убогие, как кажется нам. Церковь Орда не трогала, и на погильей ей за монастырскими стенами готовили государственных мужей, послов, писателей, разведчиков, ремесленников, учителей, лекарей, а то и ратников (вспомним Пересвета и Ослябю).

Одиссея называет Гомер “великим механиком” за умение строить хитрые сооружения, “работающие” в жизни. И Сергей видится мне “великим механиком”, творцом “машины” добра и справедливости, на развалинах которой мы подводим итоги. Ведь не зря и в народных снах Сергей не проповедник, а — плотник, в сосновой чистой стружке.

Выбрали пустынь в чаще, но не совсем далеко от людей. У нищего парня, уже — лес, холм, свобода, звание: “Аз есмь Сергие Маковский...” Он здесь — Бог и выстраивает прежде всего свою душу и счастье, закаливает волю и выбирает стяг — Святую Троицу. Все, что он хочет, — это “побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира”. Он не сбежал от людей — отошел. Чтоб перетягивать на свою сторону.

Появились монахи, и молодой отшельник рад своему приятелю: заработало! Но это — другие люди, они не совпадают с ним совершенно, люди приносят человеческие, необходимые им законы — им нужен игумен. Пастух. Нужна встречная жертва. Конечно, она убавит полноту первобытного счастья, но продлит его век. Сергей, словно лесной зверь, чутьем постигает это новое для себя. Механик побеждает монаха: сотворил людей — надо за них отвечать, покинуть райскую пещеру и тронуть горькое дерево власти, лишиться покоя, блаженства и потом — родного брата. Это он понимал, раз так мучился, решая.

“Машина” трудилась, и он любил свое детище, ревновал, боясь подпустить чужого, бросался “все сам”: колоч дрова, толлок зерно и молоч, вращая жернова, выпекал хлеб и шил обувь, одежду, готовил свечи, просфоры, кутью, советовался с опытными: у нас правильно заведено? Святой — на трудной работе, которую и сам не понимает совершенно, но видит: это — город его, Русь, живущие по сердцу.

Но люди приходили еще — их очень долго было лишь двенадцать, не зря Елифанй повторяет это опять, опять, будто грустно ему оставлять это число. Двенадцать — особое число, свыше — уже все меньше апостолов, все больше стада. Меньше ведешь — больше собираешь. Меньше слушают — больше просят. Кроме соединительной “машины”, Сергия не уставала махать разъединительная “машина” смерти. Дорожка пролегает посреди и мостится душой идущего. Дорожкой каждый идет, но только сверху видно, Господу, кто забрал в какую сторону, и Он объявит потом итоги. Святой и грешник определяются лишь углом наклона.

Ученики переросли в братию, и братия едина против одного: дай! Вот в чьи жадные рты летели жирные чудеса. Сергей не чудотворствовал вдруг: “Что я сижу, как пень, дай-ка я скуки ради...”

Братия роптала: запрещаешь попрошайничать, а мы голодны. Требуешь от нас — тогда корми. И спасло чудо: в монастырь постучались подводы с горячим хлебом. Но когда? После того как Сергей нанялся строить сени и сам наелся, хоть и “гнилыми посмагами” (ведь не пухла братия с голоду, раз хватало гнилого хлеба). Его искушали чудом — он не поддался. И всем пытался подсказать: прокормитесь трудом. Но и братия завопила лишь после насыщения “святого”: голодать вместе с ним — она готова, но работать, как он, — нет. И разницу несовпадений Сергею приходилось оплачивать чудом.

Сергий не мог выбрать место совсем без воды. Епифаний ясно пишет: чаща леса “имуща и воду” — воды хватало Сергию, двенадцать учеников не жаловались, а братия “поропташа” да “многожды с досадами глаголааху”. Это не красны девицы застонали: далеко по воду ходить, а монахи, суровые “пустынники”! Монахи “особножитного” монастыря, где каждый кормится из своего кармана, могли и слуг держать, и торговать, и деньги одалживать под процент хороший. Игумен в таком монастыре не был завхозом: вода далеко? В другом монастыре она поближе.

Но раз монахи вопили, а он повиновался, выходит, кроме поверхностного, был меж них и тайный союз их “машины”, выходит, он требовал от них чего-то “сверх”, и они в ответ — не стыдились того же.

Сергий соблюдает тайну — вслух: “Просите в молитве своей”, а сам таки пошел вымалывать ручей и опять — со свидетелем, монаха прихватил и Богу ясно говорил, зачем ему это: “Пусть узнают все”, — и хлынула вода, а он соблюдал приличия: “Не я, Господь даровал!..”

Сергий бился с ними доступным его “машине” способом. Когда он ходил тихонько вдоль келий и слышал смех или праздную болтовню, он только — стучал в дверь. Это — невидимые посещения. Он увещевал ими при жизни и по смерти.

Он “посещал” невидимо братию, сшив себе ризу из самого худого сукна, не просто из сермяги, а из того тряпья, которое подержали в руках и бросили все до одного монаха. А он поднял — и носил. Монашеский подвиг Сергия вообще очень здоров — он не сидел три года в дупле липы и гусениц не ел, и в этой гнилой сермяге ему удовольствия особого не было — он так разговаривал с братией: “несите бремя друг друга”, вот он и нес, борясь за свою машину.

“Машина” разрасталась, ее ремни достигли дальних земель и вращали там жернова, и механик без усталости пускался пешим в дальние дороги: стыдить непокорных князей, устраивать монастыри и церкви, крестить великокняжеских сыновей. “Машина” менялась, но и механик менялся, жертвуя и жертвуя полнотой одинокого сердца на высоком холме. Необходимость сытных чудес тосклива: ей постоянно нужно чего-то новенького, “поострей”; умрет чудотворец — и ее не станет. Сергей чувствовал, как и всякий, дыхание машины смерти и, кажется, уже понимал, что заведенная им механика слопаёт его целиком, она все время соскальзывала, золотой век будто раскисал на нашей глине, и под буксующие колеса надо было бросать себя, и Сергей наверняка уже измерил свою жизнь на куски: чтоб хватило до конца. В силу своих представлений о конце. Спасаться от чуда он бросился к власти.

Монастырь стал “общежитийным” — “все обща иметь”. Возникла “киновия” — по-гречески, а по-латыни — “коммуна”, “коммунизм” — с этого слова и вы должны что-то угадывать во мгле моего повествования — и напрасно. Сергей видел: неполадки в машине от стяжания, неравенства, голода, зависти, праздности. Человек и без того слаб, а уж искушаемый имуществом — троекратно. Поможем слабым: общий труд, общее добро, общая еда — ничто не отвлекает братьев от света. Он в это верил.

Мы как никто представляем, насколько чуждой приходит в душу “киновия”. Общежитийные монастыри мелькнули на Руси в полузабытые времена Антония и Феодосия Печерских, но не прижились — это было века назад, уж все позабыли “колхоз”. Сергей не отважился сам надстроить свою машину, а ждал посланного патриархом креста с мощами мучеников литовских и благословения на “киновию” — как несчастный председатель сельсовета, имея на руках грозные указы, мучается ночами, а сам не начинает, ждет кожаного уполномоченного из района.

“Машина” устремила на помощь людям. Люди бросились прочь от нее. Сергей ушел, как только брат крикнул в церкви: “Кто есть игумен на мъсте семь”. Ушел — его никто не остановил, и, значит, его изгоняли — монахи не захотели “колхоза”. Сергей пытался, как встарь, отойти в сторону и перетянуть к себе, но четыре года прошло, пока он вернулся: значит, если и тужили, то не слишком, если и звали, то не все; значит, жили и обходились, и Сергей, раз увязнув коготком, не погнушался опять прибегнуть к верховной власти — вернулся, когда Алексей пообещал убрать всех недовольных, и Сергей, который запрашивал братии руку поднять на темного землепашца, Алексею не возразил — такие дела.

Счастлив он был? Не знаю. Он был очень русским человеком. С очень русской судьбой.

Если я пытаюсь представить, как Алексей просил Сергия стать митрополитом, принять золотой драгоценный крест, мне кажется, оба молчали, исполняя для окружающих красивый, но лишенный смысла для них двоих обряд. Сергей не мог стать митрополитом — нетерпеливо переминался в ожидании Митяй. Сергию не нужна была митрополия — он и в Троицком монастыре был пастырем всей Руси. И он не знал, зачем ему митрополия. Обманувшийся в чуде, во власти, в силах своих, уже “машина” работала сама, и он ничем не мог ее подпра-

вить — он отдал все, служа до гроба, он сам вряд ли понимал, что у него — получилось. Это сверху видней. Внешне они обставили все достойно. Алексей: стань митрополитом, я очень тебя прошу. Сергей: я не достоин, не проси меня, а то уйду в далекую землю.

И он отправился в нее через несколько лет отдавать последнюю машину. Богородица явилась словно утешить его: “Избранниче мой...” — как сказала эта женщина: “Избранниче мой...” И я так хочу, чтоб это было, было, чтобы блистающего света Богородицы хватило на весь его путь до дальней земли!

Хотя большой вопрос, что она ему сказала на самом деле, она же знала все, что будет потом. Про нас. И промолчала, пожалев?

Смерть восходила от земли — “ноги его костенели день ото дня, будто он по ступеням приближался к Богу”, запомните на будущее: ноги уходили первыми, кости ступней.

За полгода до конца он умолк.

И угас совсем немощным — братия двигала его руками, когда он причащался. Епифаний услышал из умирающих уст краткое напутствие, как без этого, но на самом деле вряд ли они смогли разобрать подлинно из немеющего шепота что-то, кроме: похороните на общем кладбище. Он попытался выскользнуть из “машинных” лап, на отдых, оставить только себе хоть сырую краюху холма Маковец, избежать судьбы, открытой Богородицей, да куда там... Разве сыщется на Руси свободная могила, когда за дело берется... Ну ладно.

Он перестал дышать, и лицо его стало светлым, как снег. В древней литературе мало цвета. Если есть, чаще — белый. И Епифаний вослед нацарапал пером то, о чем Сергей Радонежский за всю жизнь не вспоминал ни разу: об ангелах, о дверях райских открывающихся, о блаженных покаях.

Счастлив ли? По отношению к нему этот вопрос теряет смысл. Сергей прошел по стене меж счастьем и несчастьем. Он

хотел уничтожить страх перед ненавистной раздельностью мира, он не брался уничтожить саму раздельность. Он разрушил лживую стену меж жизнью и смертью. Он избежал русской лени и спрятал русский страх. Он показал, что жизнь — это не то, что мы про нее думаем. Но он показал, что и бессмертие — это не то, что мы про него думаем: никакой амброзии и голых баб на весенних качелях.

Он дал нам почти все. И — почти ничего.

Крепко стукались лбами: а уж не при Сергии ли Троицкий “колхоз” стал коллективно стяжать, обойдя в корысти любых “особножителей”? Ловили в архивах какие-то деревеньки и солеварни и ставили рядышком с мнением Киприана “пагуба чернцем селы владети”, или это после его смерти “колхоз” размахался и преобразился в крупнейшего землевладельца России, ухватывая села, бортные деревни, солеварни, хлеба, семгу, щук, лещей, мед-сырец, накопив сорок миллионов рублей серебром к середине XVII века и сто тысяч крепостных к концу XVIII, прославившись в народе поговоркой: “У Сергиевой лавры сам царь в долгу”. Но, во-первых, какая разница, кто хозяйствует, лишь бы земля богатела, а во-вторых: какая разница?

Всего этого, может, в Сергии нет вовсе. Но все это есть во мне. Другого пути к жившему человеку я не ведаю.

Сегодня понял: в комнате пахнет ладаном. Вынес плащ в ванную: все равно пахнет. Видит ли меня церковь? Скорее: имеет в виду. Прежде надо непременно согнуть спину, затем — окликнуть. В пустом ресторане навстречу подымается официант. Такой же заспанный и всклокоченный, как я. Вместо хлеба подает калачи.

Солнце — единственный день. От гостиницы увязался за мной черный щенок-овчаренок, схватывает печенье и носится вокруг — дурак ты, дурак! — и мотает ушастой головой на бегу — от радости, и мчится носом на голубиный табор. Под ко-



локольный звон. Рано, еще не наполнили Лавру стада и пастыри, живут последние цветы, по мокрым дорожкам пробегают семинаристы, ступают парами их будущие “матушки” с румяными, сонными лицами, и так сладко и горько думать, что вот поедут они в забытые города, в развалины, к заждавшимся старушкам, и будут провожать мужей, рожать им деток — и дети не будут воры, — закрывать варенье из вишни и отвечать на низкие поклоны — победа Божьих сил тиха, как последняя болельница, не палит из пушек.

Задыхаюсь солнцем на площади восставших “русских Афин”, первыми возглавлявших бессмертия в заветные времена героев, когда боги спускались на землю и смешивались с людьми. И разверзаются каменные плиты, выпуская на волю золотые сны, и все начинается опять добрым знаменем: инок-пономарь, спавший на паперти, вдруг видит, как сдвинулась и упала гробница Александра Невского и святой князь поднялся на помощь правнуку, и на следующий день — нашли гроб с мощами. И в блистающем сиянии шлемов, упряжи, щитов вступает в Лавру русское воинство, и кони трясут головами, и старец монах и великий воетель-князь Агамемнон сходятся в узкой келье, и их явные голоса заглушаются тайнами, и глаза их говорят больше, чем язык. Князь говорит и думает: за “розмирие” с татарами приходится платить, полчища Мамаю двинулись на Русь, а мы не собрались: Рязань, Смоленск, Нижний Новгород, Псков и Новгород — не с нами, нас много меньше, да и в полки набрали всех, кого могли, с рогатинами и дубьем; и ты же, отче, знаешь, что ополчение, может, и устоит, но ведь его высечет до последнего татарская конница. Надо встречать Мамаю в Диком Поле, иначе к нему поспеет литовская рать — она и так дышит нам в спину, и все понимают, что ждет нас, нужно укрепить людей — Киприан, проклявший меня, не благословит, Дионисий в Царьграде, архиепископ Новгородский далеко, мне нужно твое слово,

они его ждут. Хотя ты знаешь, что нам суждено. Я не могу вынести это один.

В Лавру стучатся гонцы с вестями, игумен шепчет: без числа плетутся, вижу венки мученические, но пока, князь, не твой черед, я сначала говорю тебе то, что должен говорить вслух: Мамай — царь. Ты должен покориться. Хочет он чести — дай. Хочет золота — дай. Князь, отвернувшись, качает головой: все пробовали, да поздно уже, ты ж понимаешь, что дело не в “выходе”, не в дани, — меньше платим, и Мамай чувствует: что-то у нас началось. Надо ехать, отче, прости.

Игумен держит его: останься на службу, отпробуй нашего хлеба; а потом кропит святой водой храброе воинство, князя; и страшная тишина накрывает монастырь, когда на чистом месте меж черной ратью монахов и золотой — дружины игумен благословляет князя крестом и говорит только ему: “Иди, не бойся, Бог тебе поможет”, князь быстро опускается на колени, игумен припадает к нему и выдыхает: “Ты победишь”, и князь неловко что-то смахивает с глаз.

Войско достигает Дона и стоит: перейдем — позиция будет хорошая, но отступать будет некуда, и спешит “борзоходец” с грамотой от Сергия — идите без страха. И на Рождество Богородицы на Куликовом поле сошлись Пересвет с Челубеем, и оба пали.

А в деревянной церкви Святой Троицы монахи молились, и игумен называл тех, кто навсегда обнял Куликово поле, они пели заупокойные молитвы, а он называл все новых, всю битву, не покидая алтаря, принимая смерти на плечи свои, давась этой тяжестью. Потом вдруг замолчал и пошел к выходу — никто не шелохнулся двинуться за ним, он на пороге вспомнил, что надо сказать всем, сказал: “Мы победили” — и ушел, под страшным грузом своим, один.

Мы победили, и пусть святятся эти люди, посмевшие быть русскими наперекор “глубокому безмирию”, прощаясь с уходя-

щей во мрак Византией, на краю наконец-то дрогнувшей в “затмение” ненавистной Орды, раздавившей в ничто полторы тысячи наших селений, — обреченные, в крошечном одиночестве болот и лесов, эти великие люди, которые работают до рассвета и уходят, когда мрак не отступил даже на пядь. Они угадали. И народ угадал их, Сергей будто окликнул во тьме: а не меня ли вы ищете? И народ узнал: мы вот такие, мы есть, и от бедной одной лучины разошлись сорок монастырей, а от них — пятьдесят, разошлись собиратели земель, проповедники, просветители, живописцы, строители, хозяева, плотники, ювелиры. Земля нашла опоры: Авраамий Галицкий, Савва Сторожевский, Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергей Муромский, Мефодий Пешношский. Разливался от Троицы свет, преодолевая раздельность людей, уча их бессмертию. Раздвинули скалы Запада и Востока сильными руками: граница начиналась за Можайском, когда маленького сына Василия Темного прятали от злых Шемякиных слуг, а когда умирал Иван III — до Киева оставалось всего пятьдесят верст, и он уже громко выговаривал, что свою “отчину” мы не признаем чужой и, как бы далеко она ни была, мы опять будем все вместе, и думал про Царьград. И сколько имен истлело, а эти — выстояли, и мне так хочется, чтобы они думали тогда о нас, хоть это невыносимо.

В соборе я нагнулся в торговое окошко: свечка сколько стоит? Монах размеренно ответил: свечу берите. Денег можете пожертвовать, сколько пожелаете. Пальцы опять запнулись в кошельке: сколько? Надо побольше. Ну, вперед, я встал в очередь, просто, будто рядом стою, но за мной уже встали, взяли, мы переступали к мощам под тихое пение. Не надо думать, что делать “там”. Но почему, когда наступает пора покупать свечи, кажется: надо подороже? Еще шаг. Смотри, что вокруг. На железном поручне под иконой опять скомканная желтая сал-

фетка с истрепанными от влаги сгибами. Каждый день ее вижу. Чего они не убирают ее? А, догадался, конечно: салфеткой вытирают место на иконе, где хочешь поцеловать. Или вытираешь после себя. За собой. Тут я споткнулся. Сзади сильно зашаркали, и меня попросили отойти в сторону: все пропускали вперед ползущую на раскоряченных ногах увечную — она елозила по плитам толстыми обмотками и трясла свернутой налево головой с едва открывающимися глазами, тетка в синем халате подправляла ее, когда та сбивалась с пути: налево или направо, священник уже искоса поглядывал на ее приближение.

Я сунул свечку в ближайшую руку: пожалуйста — и пошел на выход. Вдруг она сейчас коснется раки и — вдруг? Что я-то тогда буду делать? Брезгливая тварь санитарного века.

На крыльце зевали два милиционера, один рассказывал: смешно убил кота. Надо дернуть за хвост, но так, чтоб он не успел выгнуться. Так смешно получилось. Только кровь потом не могли отмыть. Он повторял: вспоминаем — угораем.

В Успенском соборе уже отслужили, прихожане выстроились к священнику, а я, прогуливаясь, обнаружил в углу, под исцелованным стеклом, отлакированный коричневый гроб Сергия Радонежского, кое-где, кажется, скрепленный для целостности даже жестью. За гробом, боком на батарее, сдержанно сопела в покойном сне некая старушка. Я примерился: гроб на человека небольшого роста, очень узок в ногах. Крышку, наверное, попилили на реликвии. Я прошелся у гроба кругом — безмятежная старушка при этом случайно опустила руку на свою сумку.

Из-за чего — страха? лени? — бесшабашно плюется на посмертную волю? Сколько бумаги измарал Гоголь: "...Чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц... Чтобы по смерти выстроен был храм, в котором бы производились частые поминки по греш-

ной душе моей... Чтобы тело мое было погребено, если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались...”

А получил на Новодевичьем кладбище бюст, плечистый, как танкист-полковник, с издевательской надписью: “От советского правительства”. Вот только вдруг и в жизни этих посмертно не оставленных на покой, “используемых”, было нечто предполагавшее посмертную судьбу — каждому свою? Ведь Гоголь — удивительно! — прощаясь с жизнью, напутствие друзьям закончил не как-нибудь, а: “...И человечество двинется вперед” — не смирился, объявил себя подданным, подмастерьем русской “машины”; гражданином русской судьбы мечтательных, говорливых, бессонных ночей, и, наверное, жаловаться не может, когда судьба — взялась за дело. Вы понимаете, о чем я думаю.

Мало что простыл: сиплю и чихаю, так еще кто-то ходит все время за мной, обернусь — да никого нет. Хитро становлюсь вечером на площади у Троицкого собора, чтобы видно было кругом, — за спиной опять шаги, верчусь — все время за спиной. Крадутся и замирают рядом, а никого не видно: ветер скребется когтистыми лапами кленовых листьев да галки лущат желуди так, что ветки стучаются о крышу ризницы, в коей государство хранит награбленное, лишая сна милиционеров.

Другой творец Троицы и “механик”, ловец света — Андрей Рублев — скрылся. Выходит, его “машина” не кончила людоедством, и он умудрился пропасть среди Москвы, в надречном холме, где-то на месте разоренной колокольни — на северо-запад от нынешней западной стены, и разные твари безуспешно шарят по земным пазухам с применением “последних средств”, глупо считая, что люди остаются за дверьми, которые их скрывают, — будто им некуда больше идти.

Но это я вернулся, прошу простить. Некоторые вещи ужасно прилипчивы. Есть еще одна. Стыдно, но совершенно

выбросить в окошко я не смог ее ни разу. В моей простывшей голове Сергей Радонежский никогда не присутствовал вовсе один. Я крался за ним, хоронясь за смолистыми соснами, подслушивал в келье, подглядывал чудеса, а за мной, треща ветками, пробирался еще один “товарищ”, и, оглядываясь, я с отчаяньем убеждался, что это — Владимир Ленин.

И понимаю, что на самом деле — блажь, призрак. Но моя болезнь помимо рассудка сближает их, подсказывая совершенно бессмысленные сходства: оба среднего роста, рыжеватые, имели единомышленных старших братьев, носили бревна на плече, оба “механика” просветили Русь — фаворским и электрическим светом, — оба жили под чужими именами, скрепили землю, шедшую вразнос, умолкли одинаково перед смертью и заслужили судьбу нетленных мошей с очередью для поклонения.

Просто решить: их “машины” врезались в лоб, Кремль раздавил Лавру, Империя погибла, как Рим, — избивая христиан, Россия погибла из-за Ленина-дьявола, но ведь кремлевские стены возведены так нам знакомыми работающими святыми руками. И мы напрасно думаем: дьявол — это другой. Дьявол, как и Бог, — во мне: Елифаний верно разглядел его черты — “дьявольские м е ч т а н и я”, дьявол — “м ы с л е н н ы й з в е р ь”, посторонним он был лишь в русской античности: боги были всесильны и молоды, а бесы приходили из леса в “островерхих литовских шапках”, и боги не знали будущего на блистающем Маковце и хохотали: “...Дьявол хочет и землю потребити, и море иссушити, не имея власти даже над свиньями”, не зная, что их великая “машина”, понемногу привыкнув, вдруг бросится пожирать людей, а потом сожрет сама себя и рухнет — без дьявольского, чужого касания, от внутренней хвори, искренне опираясь на которую последний “механик” возьмется честно использовать завет “Силой берется Царство небесное” — и они накопили бесстрашную рать для великого штурма, только царства не нашли.

Ленин, не замечавший поразительно многого, Сергея “учитывал”, “невидимые посещения” касались и его, и он, по-своему, спешил “приложиться к святым мощам”. “Показать, какие именно были “святости” в этих богатых раках и к чему так много веков с благоговением относился народ...” Мощи показали ему на белом полотне, и он обрадовался, не ведая, кого следующего засушит “машина”: “Надо проследить и проверить, чтобы поскорее показали это кино по всей Москве”.

Да, море проседает впереди, теперь и вы видите искомый Царьград: башни и крыши на темных скалах, и черные звери бегают вдоль воды — к чему мы так неотвратно плыли.

Плыли — любили его имена, гуляя пальцем по карте: Мраморное море, Акрополь, ворота Святого Романа, церковь Марии Паммакаристы, Форум, Влахернский дворец, гавань Золотой Рог и совсем близкая — Троя... Но, пока мы добирались, Мехмед Второй привел двести тысяч под зеленым флагом и они два месяца лупили пушками наши блистающие стены, рыли подкопы, сооружали осадные машины, засыпали рвы — город защищали всего семь тысяч (как всегда: раз надо — значит, нет), а Мехмед Второй даже спать не мог от нетерпения и рисовал схемы штурмов, и, как мы, любовался картой — этот “механик”, воитель, любитель философии и астрономии, велевший резать рабам животы, чтобы выяснить: кто же съел краденую дыню. В последнюю ночь турки не спали. Они развели столько костров в лагере и на кораблях: биремах и триремах, что защитники обрадовались: пожар! Поняв, стали прощаться друг с другом. Мы все плыли, а город резали три дня, императора зарубили янычары, живые прятались в храме Святой Софии — чудо спасет. Да разве сыщется у нас чудо, когда за дело берется...

Мехмед въехал в прекрасную Святую Софию на белом коне. Посмотрел, даже удивился: так красиво... Пусть здесь будет мечеть.

Мы добрались и стали, и “корабль тот тогда стояше на едином месте и не поступая с места ни семо, ни тамо”.

Живу, не сдвигаясь с места, и кажусь себе римским легионером, брошенным умирать в Африке, где нищие дети окружают в лохмотьях иноземные автобусы, туземцы ленивы и голодны, слушают английские песни, едят американские фильмы, стыдятся своих шаманов и любят своих пиратов, — я ненавижу место умирания. Но не так давно выяснилось, что для подлинной своей Родины я — косматый краснознаменный варвар, я — незаконнорожденный, но любил-то ее, как родную! Глупость — так не повезло. Все изменилось. Сердце своими ударами давало жизнь, теперь — приближает смерть. И смерть ожидает иная: лечь в зыбучие, загаженные пески. Меня не сразит тихая стрела Артемиды и Гермес не толкнет к кованым воротам подземного царства Аида, которому приносят в жертву зверей черного цвета. Там пустует всегда одна обитель — смерти, та всегда на земле. Там течет Ахеронт, и Харон переправит на своей ладье на асфоделевый луг, и ты обязательно выйдешь на берега другой реки, и почувствуешь жажду, и напьешься, и весело крикнешь: “Что за вкусная вода? Старик, слышишь? Я — совсем другой!” Старик ответит: “Лета”. Господи, но почему я сразу все забыл?

Могли б здесь проститься, не трогать мощей, но дурные помыслы должны открываться исповедникам. Да если и заткнуть победные трубы, на что мы больше годны? Мы — старьевщики, наше дело — собрать кости и очистить помещение. Вытереть пыль с карт далекого города и написать карандашиком на стенах с рамками от снятых образов, что где было: светило, цветок, звезда, луч, лилия, кадило, яблоко, шиповник, золото, корабль, крепость — слова, которыми премудрый Епифаний кратко записал для памяти свое чудесное путешествие за Сергием вслед. Их не прочтут — на наше место прикочуют легконогие племена с черными собаками, но с похожим на наш языком — и никогда не узнают, что за город здесь погребен.



Ну что ж, берег все ближе, а среди русских святых не было ни одного рабочего. Крестьян — меньше одного процента. Крестьянский сын — один. Убит молнией. Из книжки “О святых вещах” (цена — 13 копеек) узнаете: “Гниение — это естественный, закономерный и полезный процесс”. Эти слова высечены на городских воротах.

Пойдя навстречу нетерпеливым пожеланиям трудящихся, 1 марта 1919 года Наркомюст — имя, достойное римского императора! — дал указание о вскрытии мощей, подсказав для пушей наглядности и чистоты рук нагрузить вскрытием попов. А когда покопались вдосталь во всяких там пресловутых Евфросиниях Полоцких, Александрах Невских, Тихонах Задонских, Сергиях Радонежских, посмеялись и распределили, что в помойку, что в музей с приказом сделать покрывку из зеркального стекла, — Наркомюст больше не волюнил и 20 августа следующего года повелел — “О ликвидации мощей”, этого “аппарата одурманивания” “темных, гипнотизируемых масс”.

Дерево упало, птицы отлетели.

В этом городе странно жили: скоро — сойдем, посмотрим: и газетки вредные выходили, и умники “отъезжали” за рубеж, и деньги любили, и богохульствовали (да еще как!) — однако ж за пятьсот лет ведь ни у одной сволочи не хватило решимости обнажить мощи Сергия! Видели многие: когда осматривали после удара фанатика-сектанта топором; показывали “голову” игуменье Страстного монастыря Евгении Озеровой летом 1869 года; в семнадцатом году уносили на руках от пожара в алтарь и посмотрели, не задело ли? И надо ж — ни один.

И вдруг — все. Здесь пахнет колдовством, безумием. Но мне кажется: вожди искренне искали святых. Собравшись на штурм царства небесного, они не могли оставить за спиной “святую засаду”. Все повторилось. Разбивая раки, они благоговялись на свой манер, доказывая дружине: “Мы победим!” И даже если б из одного гроба поднялся-таки нетленный чудо-

творец, ровным счетом ничего бы не изменилось — живо накинуди бы шинель, запихали в грузовик и увезли бы в Коминтерн, в отдел по устройству “нестроений” английской буржуазии, вечерами, внештатно, за пшено, читать антирелигиозные лекции в клубе красных ткачих — у них уже хватало опыта “обращения святых”, а какой еще будет! Но народ-то, мне кажется, лукавил: противиться — лень и страшно, но, позволив комиссарам залезть в священные раки, народ ждал: а вдруг сейчас отсохнут комиссарские руки и огонь небесный испепелит все смутные времена, да и нас заодно, чтоб детям неповадно было? Народ устраивал Господу хитрую ловушку, да и ухнул в нее с потрохами. Разве явится на Руси спасение, когда...

Святые разные: кто ушел в глубь земли, кто подбросил вместо себя собачьи кости, мусор, черепки, кто подменился восковой куклой. Сергей, как и жил, не тронулся с места, не унился, своих не бросил — да это и так было понятно, с самого начала. Его полезли ловить в “Лазареву субботу” — день памяти Лазаря, воскрешенного Христом. Христос сказал: иди вон, и Лазарь вышел из склепа, путаясь в погребальных пеленах, — не зря день выбирали, жрали себя без пощады.

Лавру готовили заранее, перешерстили “показательным обыском”: гляньте, товарищи, как монахи жили, — вот рясы дорогого сукна, вот письма от женщин, лекарства и инструменты для лечения венерических заболеваний, порнографические открытки. Обжирались, обпивались, обкуривались, кидали изнасилованных женщин с башен — и это в век санитарии.

Прихожане скопили пять тысяч подписей под прошением — “слезницей” — не троньте Сергея. Дня, когда корабль ткнется в берег, не ведали. Когда прискакала конная милиция и рота курсантов встала на выходах и вокруг, с грузовика прыгали кинооператоры и потащили прожекторы в собор, Лавра ахнула: сегодня! Толпа шумнула, но бойцов не удалось

спровоцировать на “ненужную кровь”. “Ненужная кровь” — вот чем мы обогатили эту землю!

В зале духовной академии начальство ожидало духовенства. Пришел наместник и заговорил: “Сергий для русского народа... Его чудеса...” В общем, посмеялись. После вскрытия его не упустят, ему сунут под нос корявый палец: ожидал такого? И он твердо ответит: нет, не ожидал. Неизвестно что имея в виду. Ладно, время, товарищи, кто будет вскрывать? Наместник указал: иеромонах Иона, из бывших моряков. Начальство понимающе ухмыльнулось: а чё не сам?

Наместник ответил на непонятном языке: “По нравственному чувству не могу. Страшусь”.

Киношники закончили ставить свет — в соборе стояли “носом в затылок”, едва дыша, на площади топталась толпа, ожидая чуда или наконец-то свободы. Монахи подошли к раке с поясными поклонами и уставным кадением. Запели было величание Сергию, но председатель исполкома устал ждать и махнул рукой: “Да хватит. Времени вон сколько было, столько уж величали...” На самом деле времени уже не было, настало 11 апреля 1919 года. Двадцать часов пятьдесят минут. Корабль достиг берега, и мы ступили на голые скалы.

Уеду — что останется? Жил, жевал, пустая кровать шептала телефоны московских подружек, бил орехи стеклянной пепельницей на местной газетке с “разоблачением ритуальных убийств младенцев”, хотя если братья писать житие...

Тогда люди не знали: когда родился, сколько лет. Епифаний набросал несколько примет “того” года, приметы налезают друг на друга, ссорятся: с 1313-го по 1322-й. Из любви к круглой цифре жизни — “семьдесят” — мне нравится 1322-й. День памяти апостола Варфоломея, с которого содрали заживо кожу, отмечали 11 июня и 25 августа. Он родился летом. По теплу.

Простыл, шатаюсь по кустам, кашляю с рыдающими звуками, давно не брит, хочу “как они”, и милостыни уже не спрашивают — ничем не отличен от того, что спит на лавке, постелив книгу под бороду, а проснувшись от колоколов, просит карандаш: “Надо записать. Тут один грех вспомнил”.

Никогда не ломал голову: где же Сергей? Есть такая книжка — “Псалтырь”, мне кажется, за ней никто не следит: псалмы все время меняются, дописываются разной рукой. Я наткнулся на один: это писал Сергей. Вот, значит, где он.

У меня сводит скулы, когда читаю: единственная женщина, помянутая в житии, — это Богородица. Богородица, и больше не было женщин в жизни Сергея. Забывают про мать. Как трепетала она за него еще с того дня, когда трижды прокричал он в ее чреве, а она стояла в церкви; когда не брал он грудь у нее — постился, не принимал кормилицу; не шла учеба у него; братья переженились, а он захотел в монастырь, ходил, печален, и думал о грехах, и она до конца так и не была уверена: что в нем? И мучилась тем, что не узнает этого, — его жизнь начнется только после ее смерти, и, кажется, она даже торопилась умереть, чтоб не терзаться неизвестностью, и каждый день молилась за сына, каждым вздохом своим — молилась за сына. И я б треснул Епифания по рукам, когда выводил он, что, простившись с могилами, “вернулся Варфоломей в дом свой, радуясь душою и сердцем”, — нет! И у меня есть глубокое личное мнение, чья молитва хранила его, кому молился седой умирающий отрок Варфоломей — великий “механик”, и кто пришел утешить его и принять слезы.

Вечером разглядывал семинарию, отделенную от монастыря ручьем, а чья-то рука заперла железную калитку, впустившую меня, — увидел только край черной одежды. Подергал все двери — закрыто. Не решился стучать. Полез на кирпичный забор и спрыгнул на землю фабрики игрушек, подрагивая от холода,

читал плакаты: “Крепи трудом могущество Родины”, “Коммунизм строить молодым”, переправился через грязь и зашарил по деревянному забору, набирая репьев на штаны, нащупал-таки калитку. За ней открылась сырая темь — парк культуры. Как-то сразу ступнул мимо тропы, оказался в каких-то кустах и все оглядывался: кто же крадется следом? Вот черт, днем я вроде вниз по склону шел, а тут вообще — ровно, только плещет вода впереди — никакой воды днем не было. И я вылез к бетонному пруду и постучал ногами, сбивая грязь и листья. По высыхающему пруду с размеренным плеском кружил водный велосипед на ржавых поплавках, катая чернопогонного солдата с подружкой — они молчали, только крутили педали, руками обхватив друг друга. Я обогнул пруд, но так и не смог взглянуть на их лица: судно постоянно кружило и оказывалось ко мне кормой. За прудом начинался, наконец-то, спуск, и я бодро устремился дальше, к неясному белесому пятну, предполагая в нем тумбу ограды, и вдруг понял, что это не так, но, в общем, так должно было произойти, и я все равно пошел туда — меж черных стволов криво торчал каменный Ленин с надписью “жидяра” на подножье. Я поднял глаза — в лицо ему брызнули красной краской, и в подземной тьме оно преобразилось: это было лицо забитого насмерть человека, с распухшими, смятыми смертной гримасой губами, разбитым носом, смертной усталостью в глазах и ледяным холодом, уже обдавшем стылостью чело. Шевельнулись листья, и я мигом обернулся: черный шенок сидел под деревом и молчал, даже глаза не блестели на угольной морде, будто их нет. И я понял, что если он сейчас хоть что-то мне скажет...

Утверди шаги мои на путях Твоих... К Тебе взываю я, приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои...

Иеромонах Иона — с красным лицом, слезами на глазах — снимает покровы: зеленый, голубой, черный, темно-синий, малый покров, черный бархатный — с головы. Все покровы

шиты серебром и золотом, крестами. Стали видны контуры, напоминающие человеческое тело, перевязанное на груди и у колен узкой синей лентой.

Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих укрой меня... от врагов души моей, окружающих меня... Избавь душу мою от нечестивого... Обняли меня муки смертные и муки смерти опутали меня... В тесноте моей я призвал...

Иеромонах вынимает с игуменом Ананием фигуру. С головы снимают черный мешок, вышитый крестом. Снимают покров. Разматывают желтую ленту. Под ним — фигура в голубом. Голова в черном. С головы снимают шапку. С шеи — бант фиолетовый, затем — голубой. Иеромонах разрезает швы у ног, ножницами распарывает голубой парчовый мешок. Сбоку вынимает вату, и фигура становится толщиной в четыре пальца.

Все... ругаются надо мной... “Он уповал на Господа, — пусть избавит его”... Не удайся от меня; ибо скорбь близка, а помощника нет.

Снимает мешок. Под ним — полуистлевшая ткань коричневого цвета, снизу — лубок. По снятии шапочки обнаружен человеческий череп. Частью на лубке, частью на весу. Справа виден первый шейный позвонок. Человек среднего роста. При поднимании черепа нижняя челюсть отделяется, в ней семь зубов.

Множество тельцов обступили меня... Раскрыли на меня пасть. Я пролился, как вода: все кости мои рассыпались; сердце мое... растаяло посреди внутренностей... И Ты свел меня к персти земной.

Развертывают истлевшую одежду. Все густо пересыпано мертвой молью, видны рыжего цвета волосы, ременной пояс. Поднимается пыль. Отдельные позвонки, кости таза, правая берцовая, правая бедренная кости целы. Доктор Попов поднимает черепную коробку, вынимает завернутые в провощенную бумагу желтого цвета волосы. Доктор собирает массу моли и показывает присутствующим.

Псы окружили меня... Можно было перечесать все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий...

От предплечий остались одни истлевшие части. В области лобка пучок рыжих волос без седины. Череп соответствует по древности костям. Кости найдены все. За исключением ступней.

Одежда была грубого деревенского сукна, вся перевязана крест-накрест ремнем в виде веревки толщиной в обыкновенный карандаш. Все время шла киносъемка. Все присутствующие проходят и смотрят. Протокол прочитан всем присутствующим. Возражений нет.

Но ты, Господи, не удаляйся от меня... Избавь... Душу... От псов одинокую мою... Спаси меня, избавь меня...



В день отъезда в городе слышны электрички. Собрался до обеда, чтобы не платить за сутки еще. Притащился с сумкой к монаху, сидящему “на экскурсиях”. Монах, взяв с самоваром, объяснил: экскурсия стоит сотню рублей, лучше вам подождать еще желающих. Вздохнув, я двинул ему сторублевку. Он тут же указал на меня розовому семинаристу: веди. Семинарист, в одно мгновение лишенный редкой возможности покрасоваться перед девчонками автобусной группы, поплелся вперед, не подымая головы, как на промывание желудка. Только раз оглянулся на небритого идиота, тянущего вслед раздутую сумку.

Я тут же бросил сумку: да за каким чертом мы куда-то идем! Семинарист, оглянувшись, решил, что “здесь”, встал ко мне боком и поднял руку:

— Преподобный Сергей Радонежский родился в благочестивой семье боярина Кирилла, мать святого звали Мария, семья...

— Ладно, ладно, — сказал я. — Тебя как звать?

Александр Терехов

— Андрей, — поперхнулся семинарист.

— Андрей, что лежит в раке в Троицком соборе? Как это выглядит?

— Нетленные мощи.

— Я знаю. Как это выглядит?

— Совершенно сохранившееся тело святого.

Тут я поперхнулся, хотел что-то сказать, а потом махнул рукой и пошел к выходу. Наверное, он прав, так оно и есть.

На вокзале спускался с моста, какая-то девочка пожаловалась маме: “Вот и подходит к концу наше путешествие”, — я испуганно обернулся.

Ведливый знаток выскребет у меня пяток несопадений, умолчаний, перетасовок — я знаю про них. Если ты дотошно честен в каждом слове, ты не можешь написать правды. Надо выбрать, что ты хочешь. Что вышло у меня — не знаю.

Подходит к концу наше путешествие, и город вбирается в крематорий вокзала, и касса выдает прах на ладонь — белой, невесомой бумажечкой с сиреневыми цифирками. Непонятно — думать о вечности. Вечность — это что остается без нас. А что такое “мир без меня”? Почти ничего. И почти — всё. Многое забыл и забуду еще, но, когда слышу “Сергий Радонежский”, три мертвых слова оживают во мне — аркуда, посмаги и кпосата: медведь — аркуда, выходявший из леса, решетa гнилых хлебов и мальчик, пошедший искать лошадей — кпосат, он увидел на поле черноризца под дубом и, как вся Россия, жаловался на неумность свою, и, приняв в ладонь белый пшеничный хлеб, шептал: “Как сладки гортани моей слова твои...” — и стоял, “как земля плодovitая и плодоносная, семена принявшая в сердце свое”.

Нет света, придется жить еще, искать тех, кто нас хранит, и хорониться от тех, кто нас ищет.



# **Мемуары срочной службы**

# Рота

## Вступление

**Р**ота на разводе обрывает лепесток за лепестком, как глупый цветок ромашка, терзаемая мнительным влюбленным, и старшина поет-рычит арию. “Послеобеденную”, безжалостно прореживая ротные шеренги:

— Рот-тэ! Рр-р-ясь, сир-на! Заступающие в ночь на боевое дежурство, выйдтя из строя! Нара-ву! Самк-ысь! Смена, заступавшая с утра, выйдтя из строя! Нале-ву! Самк-ысь! Наря-а-ад!.. — ну и так далее.

Оставшиеся на дне старшинского сита бывают отнюдь не золотыми самородками, радующими глаз старателя, но тихими пасынками случая. Этих троих-четверых могли запросто оставить слоняться по роте под видом бесконечной армейской уборки, которая рано или поздно кончается фатально неизбежным сбором у телевизора и долгим его лицезрением, постепенно переходящим в полное упоения зрелище, выражающее-

ся в подозрительно плотном прищуре глаз и безмятежно ровном дыхании, что вызывает бурное извержение старшинского красноречия, который призывает в свидетели Бога (чаще всего — Божью мать) и разгоняет всех телефилов на тяжкие работы-каторги, и те надолго прилипают к дальним кроватям в темных углах, с материнской заботой кропотливо придавая им идеальный вид (кантики, плоскости, однолинейность полос, кубическая форма подушки), и очень скоро их движения становятся медово-тягучими, и головы вдруг роняются на грудь, как изрядно перезревшие подсолнухи...

Но чаще всего бильярдные шарики случая, оставшиеся на дне плаца после развода роты, загоняются в менее приятные лузы: чистят бесконечные росчерки тропинок в снеговом море под совиным присмотром старшины из незаледевшего уголка окна, постигают премудрости вычистки навоза в свинарнике, моют водой плац, а потом до отбоя сапожными щетками разгоняют воду из образовавшихся луж или драят унитазы до такой трагической степени, пока на глади фаянса не выступит собственное отображение, в чем, вне сомнения, поспешит удостоверить старшина... мрак, в общем...

А если кому повезет — он отправится в овощерезку и в роту вернется в полвторого ночи с вялым лицом и пористыми, как тыльная сторона шляпки гриба моховика, руками от воды. И долго будет приставать к дневальному с неистовым требованием выдать ему немедленно штык-нож, чтобы он, овощерез, мог тотчас поклясться самой страшной клятвой на крови, что он и все его многоликое потомство до 19-го колена никогда в рот не возьмут этого мерзкого продукта, чье имя — картофель, пусть вся рота будет в свидетелях — дай штык-нож, урюк!

А дневальный, обидевшись на “урюка”, робко повышает голос, вызвав философское подрагивание верхней губы у спящего дежурного по части, и картофельный бунтарь одиноко и сломленно отплывает в синие от дежурного освещения су-

## **Мемуары срочной службы**

мерки, роня круглые, как картофелины, слова, что нет, никогда, никто отроду не будет есть эту фигню, чертовню, потрясая порезанными ладонями звездной картошке неба, не по-уставному зырящей в отпавшем углу светомаскировки на окне...

# Дурачок

*Из рассказов ефрейтора Смагина*

**В** лазарет я попал в первый раз и поэтому никак не мог избавиться от настороженного оцепенения, вызванного желанием сразу, с первого шага, не допускать промахов и ошибок, которые бы поставили меня в зависимое положение от кого-либо, — желания в армии чрезвычайно обостренного и вневременного. Армия учит ценить независимость.

И сосед по койке мне сразу не понравился. Он как-то очень живо воспринял факт моего появления и говорил, вернее, указывал с делом и без дела:

— Ты ложись здесь, здесь ложись, слышишь? Тумбочка твоя — эта, верхнее отделение. Скока служишь? Салага, значит... Иди пока белье получи, понял?! Да брось ты свой мешок... Что встал-то, как столб?

Я сначала следовал его суматошной речи, но потом решил, что дальше — больше и лучше раньше, чем позже, и резко вы-

прыгнул из предложенного ритма: мешок с туалетными принадлежностями и затрепанной “Роман-газетой” подчеркнута небрежно швырнул на койку и лениво подошел к окну, оперся на подоконник ладонями и стал смотреть вниз на черный от пыли снег, косолапую ворону и малыша с лопаткой, ее неуклонно преследовавшего.

Моя равнодушная спина привела соседа в раздражение.

— Иди, иди, встал чего? Уйдет сестра-хозяйка, что делать будешь? А тут и пайка скоро. Главврач заметит на обходе, что ты без пижамы, — мигом тебя в роту отправит. Ты слышишь, нет?

“Сейчас окажется, что я своим стоянием подрываю оборонноспособность”, — зябко подумал я.

— Да ты чё? Оглох? А?

Он дернулся в кровати, чертыхнувшись, достал запропастившийся тапок и подошел ко мне.

— Да что увидел-то там?

Он заглянул вниз, потом, засуетившись, попытался глянуть с моего места и наконец запричитал в ухо:

— Да ты чё? Слышь, что говорю? Встал чего? Иди, куда говорят. Слышь, что говорю? Встал чего? Иди, куда говорят. Слышь? — Последнее слово он прокричал.

Я обернулся и сурово смотрел прямо в него. Способ испытанный: дураков, а мой сосед был, несомненно, из вышеозначенной породы, приводит в полное недоумение.

Он был мал и худ, со впалощеким прыщеватым лицом и изогнутым трамплином носом. Голубые глаза под сдвинутыми к переносице бровями смотрели с изумленным вопросом. Волосы цвета сухого камыша он аккуратно зачесывал набок, организуя справа беленькую канавку проборчика.

— Ты чё?.. — Он выругался, определяя мое состояние. — Припух, что ли? Может, тебе подъем устроить в полвторого ночи?

“Ага, устроишь”, — холодно процедил я про себя, не отрывая от него упорного, пристального взгляда, ожидая, когда же до него дойдет, что этим я выражаю лишь одно — недоумение. Презрительное недоумение.

— Ты чё молчишь-то? Идиот... Стоит и молчит, — выдавил он смешок. — Стой, стой... — он еще раз делано засмеялся и зашипел, уже отходя: — Душшара!

“Все. Увял, — понял я и пожалел про себя: — Жалко, что не ударил. Я бы врезал... Я бы...”

Сосед ушел, не хлопнув дверью, но нервно как-то преодолев дверной проем.

Я шевельнулся, подошел к кровати, сел, уткнул голову в кулаки, стал слушать, как бьется мое сердце, как стрекочет железный кузнечик часов. Я сидел, сопел, слушал и устало думал: “Я, правда, наверное, псих... Я — псих... Это правда, наверное... Больное, издерганное чувство суверенитета... Чушь несую, ведь чушь... Псих просто”. И слушал, как сердце бьется глухо и далеко в теле.

Весь день я ходил, оглушенный абсолютным бездельем, тишиной и покоем. Так скорый поезд резко тормозит на перегоне — и птичий разнобой с нежным шелестом листьев начинает проникать сквозь изумленный скрип сжатых тормозом колес, напоминающий о скорости, опалявшей душу. Этим скрипом, несостоятельным и пустячным напоминанием, был мой сосед по койке Шурик Шаповаленко, рядовой второго взвода нашей роты — взвода охраны, обеспечивающего в гарнизоне пропускной режим.

Шаповаленко мрачным взглядом встречал каждое мое появление в палате, сразу замолкал, а когда говорил я, напрягался и дергал уголками тонких губ, чуть пофыркивал и качал головой, выражая бездну презрения к моим донельзя глупым и пустячным словам. Он рассказал всем больным, что я — писарь, и не вылезая из канцелярии, и службы не видел. Я спокойно смотрел на это. Не разозлился даже, застав его читающим мой военный билет, разысканный в тумбочке.

“Жур-на-лис-с-ст”, — прочитал он мою доармейскую профессию и со злой, гадливой насмешкой бросил билет на кровать.

Я не разозлился. Напряжение, заполняющее душу человека в армии, в жестоком коллективе мужчин, не примиримом к слабостям и скупом на внимание и доброту, — это напряжение разжималось с каждым блаженным, пьянящим часом безделья. А демарши Шаповаленко — это была чепуха, мелочи, пустяки по сравнению с этим морем свободы и отдыха, которое я пил, задыхаясь.

Мой поезд тормозил.

Спать я пошел в полдесятого, оставив без внимания предстоящий фильм.

— Эй, журналист, подъем! Подъем, членкор! — затряс меня за плечо Шаповаленко.

По голосу было понятно, что он собирается балансировать на грани шутки: то ли сам трус, то ли увиденный фильм был веселый.

Я был не склонен шутить. Сел в кровати, внимательно посмотрел на часы: убедившись, что время — двенадцать, лег к стене лицом, так и не удостоив взглядом моего будильщика.

— Подъем, подъем! Эй, членкор, подъем, — загнусавил он, пытаясь раскатать меня, как застрявшее бревно. Я был совершенно безмолвен и равнодушен к его потугам. Тогда он уцепился за мое плечо и принялся тянуть, силясь меня приподнять и раздражаясь отсутствием реакции. Потом наклонился и крикнул в ухо, чуть коснувшись его губами:

— Падъ-ем! Журналист, подъем! Давай поднимайся!

Я глаз не открывал. Он сел на меня и стал подпрыгивать.

“Сколько угодно”, — подумал я.

Служил он на полгода больше меня, и ему полагалось так поступать, а мне полагалось подчиняться. Но мой поезд сильно затормозил — я демонстрировал полное презрение к шнуруку.



— А может, ты умер? — хихикнул он и просунул свою ладонь к моему лицу. Шлепнул по щеке.

Легко так шлепнул. Обычно. Обычно так и бьют. В грудь или ладонью по щеке. Чтоб не осталось синяков. Это точно — не остается.

Но он шлепнул меня слегка, играясь, что ли.

Мне надоел скрип поезда. Я хотел слушать лес и птиц, хоть ненадолго.

Я сел в кровати. Шурик, улыбаясь в темноте, стоял рядом.

Я аккуратно протер глаза, отвернул одеяло, выпростал ноги, нащупал ими тапки, засунул рубашку в кальсоны, встал и, еще не разогнувшись, схватил Шаповаленко за ворот и рывком дернул к себе. Я жал его горло, осознавая, что, пожалуй, не понимаю, что сейчас делаю и зачем.

Он изумленно и зло вскрикнул:

— Ты чё, журналист?! — И уцепился своими клешнями за мои руки, слабо пытаясь их разжать. — Ты чё-о? — хрипел он и дергал головой, не догадываясь ударить меня по лицу. Тогда бы я отбросил его на кровать, а когда бы он стал подниматься, ударил бы его кулаком справа. И еще, еще! А он не догадывался, что вместо жалких попыток разжать руки надо просто ударить.

Я отшвырнул его, стряхнул с ног тапочки и сел, выдохнув душный, бешеный воздух из легких.

— Псих... А все-таки поднялся... Все-таки я тебе подъем сделал, — заныл, тяжело дыша, Шаповаленко.

“Все. Значит, не ударит. Все, значит...” — скучно понял я и лег, накрывшись с головой.

Шурик стал тоже укладываться, смеясь и рассуждая тоненьким голосом. Когда улегся, помолчал и сказал, заложив руки за голову:

— Журналист, вот ты напиши книгу обо мне, а? А? — еще раз квакнул он. — Я понимаю, я тебя мучаю...

Я криво усмехнулся: видимо, Шаповаленко не знал, как

могут мучить друг друга равные и хорошие люди, — его потуги были смешны и мелки, и сам он уже вызвал гадливую жалость.

— Вот ты напиши обо мне!

— Книжки пишут о людях, которые представляют интерес для всех, — выговорил я правильную фразу.

— А моя жизнь тоже всем интересна. Всем ведь интересно прочесть про жизнь обыкновенного человека.

— А твоя жизнь не интересна никому. — Я подсластил пилюлю. — Как и большинство других. О тебе в лучшем случае будут помнить твои внуки, а правнуки уже забудут. Через сто лет уже никто не вспомнит. И никогда не вспомнит. Солнце через миллиарды лет сожжет Землю... и о всех никто не вспомнит — пыль будет от всех, от всего... От Ленина и фараонов... И кому какое дело до тебя — соринки в этой жизни. — Мне хотелось, чтобы его мелкая душонка замерла перед холодом вечности.

Как замирала моя.

— Соринка, хм... Моя жизнь? Да что ты знаешь, журналист, о моей жизни? — сказал он надуту, как в кино, подумал, что еще сказать, булькнул горлом и отвернулся к стене.

Я засыпал, испытывая чувство, уже знакомое мне: что-то ложится и давит на душу.

Это бывает, когда услышишь чужую исповедь — не захочешь, а заглянешь в чужую душу. Будто грязной ногой на белый чистый лист. И ничего так вроде не произошло — а будто ржавчина невесомо-неподъемно легла на душу, и уже не знаешь, как прогнать это чувство.

Его выписали утром.

Я даже не знал об этом, просто издали, со спины увидел его сутулую фигуру с опущенной головой. Он долго оправлял шинель перед зеркалом, потом постоял перед ним, а затем уже зашагал к дверям. Там Шурик опять притормозил, открыл дверь, бегло оглянулся востроносым бледным лицом — и дверь хлопнула. Всё.

Ушел человек, и постель его заправлена, будто никто там не спал. И время равнодушным ветерком выдует его из памяти. Уже выдуло.

А не знал я о том, что Шаповаленко выписали, потому что с утра пораньше отправился на электрофорез. “Иди сейчас, — таинственным шепотом убеждал меня фельдшер — ефрейтор Клыгин. — Там молодая сейчас...” И улыбался так, что сжатые губы превращались в ведерную дужку.

Ефрейтор был высокий и статный, с золотистым бобриком волос и румяным лицом. Его знал весь гарнизон, и весь гарнизон в нем души не чаял за вечные приколы и прорывающуюся порой доброту в предоставлении тихой гавани лазарета для приятеля, у которого в роте настали черные дни и которому надо отсидеться, переждать, пока все затихнет. Доброта фельдшера проявлялась только для немногих избранных. И о нем говорили с завистью и уважением, увидев его широкоплечую фигуру в щегольски заглаженной шинели, когда он приходил в столовую за пайкой для лазарета.

Жилось ему хорошо. В свою роту он приходил только спать, а в лазарете чудил вовсю: играл в прятки, салочки, жмурки с больными, ржал так громко, что часовые на проходах оглядывались, улыбаясь на санчасть. И спал после обеда, сместив кого-нибудь из больных с койки. Жилось ему хорошо. Медслужба — медовая служба. Так говорили в гарнизоне. Ибо одна из любимейших тем у солдатского кружка — кому хорошо служится. И тогда в рассказ густо вкрапляется вымысел и возникают фантастические истории о том, как кому-то обалденно хорошо. Завистливые глаза слепы и не любят прозы, и, может быть, не так уж хорошо жилось ефрейтору Клыгину, но мнение такое бытовало прочно.

А еще служил он дома. В своем родном городе. Как он сюда попал, одному Богу известно. Но дома — это уже здорово. И часто заходили к нему в санчасть с “гражданки” знакомые

приятельницы, волнуяще и тревожно смеялись с ним в запертой изнутри ординаторской, а затем проплывали бесплотными видениями мимо задеревеневших вдруг больных. Считалось, что Клыгин, как и всякая знаменитость мужского пола, незаурядный специалист по амурным делам, и поэтому если он говорил, что надо идти на электрофорез именно сейчас, то именно сейчас и следовало идти.

Я пару раз стукнул пальцем в дверь с нужным номером на табличке и зашел в кабинет, шаркая тапочками по линолеуму. Процедура была беспорядочно заставлена цветами в горшках и кадках, снесенными сюда из ремонтируемых кабинетов. Кабинки для процедур оказались пустыми, врача тоже видно не было. Я взял в руки песочные часы и перевернул их. Песок потек.

Дверь кого-то впустила, и листок с направлением был незамедлительно вырван из моих рук, сложенных за спиной. Девушка в белом халате быстро прошла к столику и, упершись кулачком в бок, заглянула в направление. Я лишь мельком увидел короткие темные волосы, полные алые губы, накрашенные глаза и сразу стал глядеть вниз на ее белые сапожки и заправленные в них фирменные джинсы. Хорошие такие джинсы.

— Идите туда, — по-женски аккуратно выговорила она, дотронувшись легко до моей вздрогнувшей руки.

Я ссутулился еще больше и зашагал к указанной кабинке, четко ощущая свою деревянность; вроде и недавно в армии, но как-то напрочь разучился смотреть на девушек прямо. По этому поводу на ум почему-то приходит дикарь, держащий в руках хрустальную вазу, — хорошо-то хорошо, но с дубиной оно сподручней.

Я опустил на лежак, стесняясь своего сероватого белья, и стал смотреть в потолок, когда девушка деловито уложила мне на грудь пластину, придавила ее мешочком и чем-то шелкнула.

— Сейчас должно покалывать. Как горчичник. Хороший горчичник, не старый, — прояснила она ситуацию.

— Слишком сильно. Можно и поменьше, — шевельнула губами.

— Ой, какой ты у нас слабак, — привычным голосом сказала она и, передвинув что-то на пульте, уплыла за шторку, оставив мне облако духов, будоражащих воображение.

“Я не слабак. Я избалованный, — беседовал я с ней про себя. — Какая разница? Слабак принимает любое положение в жизни так, как его преподносит судьба, а избалованный хочет в любом положении обеспечить себе максимум комфорта. Избалованный лучше, чем слабак. Он предприимчивей”, — говорил я с собой, занимаясь тем, чем занимается в армии каждый. Когда нельзя ответить вслух, отвечаешь про себя. Это дает иллюзию равенства. Если не можешь быть человеком вслух, пытаешься быть человеком про себя.

— Подъем! Ты что, псих?

Черт. Угораздило задремать. Ну и, конечно, я дернулся “по подъему” как следует. Все-таки рефлекс отработан. Все с груди полетело на пол, а я, как дурак, ищу табурет с “хэбэ”.

Она стояла и, сдерживая смех, глядела, как я зло натягиваю нижнюю рубашку, пижаму, быстро оправляю простыню на лежаке и, выпалив “спасибо!”, выхожу, оценив попутно в зеркале два помидора, имевших когда-то честь именоваться моими ушами.

— Ну как Аллочка, членкор? — разулыбался Клыгин. Он любил поговорить, а я умел слушать и поддакивать понимающе и союзно, поэтому болтать со мной ему нравилось.

— Да-а, — смущенно выдавал я, всюю разыгрывая свой обычный для Клыгина образ, самый выигрышный для себя, — образ провинциального тюфяка, чья безнадёжная простота у всякого вызывает желание взять этого малого под великодушную опеку.

— А ты думал! — радостно продолжил Клыгин. — Только после училища. Цветной телевизор — взгляда не оторвешь. А в медучилище с этим делом просто... Она, правда, с таким видом ходит... дескать, хрен допросишься. Вроде бы, ги-ы. Но я бы — давно! Но папа у ней... Начмед гарнизона!

Я глупо-изумленно округлил глаза, испуганно выдавил:

— Да-а-а?

— Ага! — залился Клыгин. — Ты, членкор, наверное, уже и глаз положил. А здесь я — пас, табу. Ги-ы.

После обеда мою спину украсили грибницы банок, и я пластом залег в кровать бороться со сном и слушать треп младшего сержанта Вани Цветаева — “замка” комендантов (зам. командира комендантского взвода). Цветков трепался про всякую чепуху.

— Тут до тебя Шурик Шаповаленко лежал, шнурок из нашего взвода. Застал ты его? Как он тебе? Странноватый? Это еще фигня. Он дурачок. Бамбук. С него вся рота укатывается. Налепили ему кличку — ефрейтор. Он когда на третьем проходе стоял, Ланг решил пошутить и говорит ему смеха ради: “Шурик, тебе ефрейтора дают, ребята с коммутатора слышали, как командир роты об этом трепался”. Он, дурак, обрадовался, побежал к Вашакидзе в каптерку, у него лычек выпросил и за ночь на посту наклеил. Утром в столовую на пайку так с лычками и пришел. Тут его Петренко, есть у нас такой “дедушка” авторитетный, и остановил. Ты что, говорит, шнурок драный, припух, что ли? И хрясь ему оба погона! С корнем. Петренко, знаешь же, такой бичуган, шахтер, а Шурик что... млявота... стоит, глядит, моргает, и губы дергаются. Бамбук млявый. Рота на всю столовую ржала. Завтрак на пятнадцать минут задержали.

Я заученно улыбался в смешных, по мнению рассказчика, местах, а поскольку Цветков был человеком необычайно восторженным, то делать это приходилось через каждые два предложения.

“Спал бы сейчас да спал”, — эта мысль вздыхала во мне с каждой улыбкой.

Но Ваня выехал, видимо, на хорошо раскатанную колею, и телега нашего разговора (вернее, его монолога) никак не могла из нее выбраться.

— А тут влюбился. Я почему его все время на третий проход ставлю? Там Аллочка на работу ходит. Оценил биксу в процедурной? Ну, вот она ему и понравилась — нехило, да? Так, знаешь, то словечком перемолвится, то улыбнется... А он важный и надутый становится, когда она проходит, весь из себя — начальник охрененный... Дергается аж от важности, поэтому и ефрейтора мечтал-то получить, ага... И привязался к Вашакидзе: дай ее фотографию. Когда пропуск в гарнизон оформляют, то сдают две фотографии, одну в пропуск, другую в строевой отдел, а Вашакидзе и там заведует. Ну, Вашакидзе ему отвечает: “Я тебе, Шурик, фотографию дам, но ты накорми меня в буфете”. Так и сказал. Чудил, может... Смотрит — после обеда Шурик приносит, — Цветков, весело задыхаясь, круглил глаза, — две бутылки “пепси-колы”, бутылку “фанты”, беляшей с мясом штук пять и трубочек с кремом — короче, во-от такой кулек. Потом после этого только застиранные воротнички подшивал — денег у него на чистую подшивку не было. Ну, он у меня за это по нарядам полетал... Бамбук.

Я втиснул в паузу все понимающую, солидарную улыбку. “Спал бы да спал”.

— Вся рота, конечно, знает, в кого Шурик уховдохался по уши. Только он с прохода — сразу его Баринцов или Коровин подзывает, сажает рядышком и говорит: “Ну, Шипа (так его еще в роте зовут), как Аллочка?” Он краснеет, молчит, пот сразу вытирает. А деды укатываются — вот дурачок! А ее дом во-от здесь, крайний, через дорогу от гарнизона, и окна на третью проходную. Шипа вечно на ее окно пялится, думает, раздеваться начнет, что ли? Бамбук. Она, может, за вечер раз в окне

и мелькнет, а Шипа на морозе всю ночь торчит, стекленеет, а подменный в тепле бичует. Как на смену с Шипой идти, от желающих отбою нет — кто ж не хочет всю ночь в тепле. Ну вот Вашакидзе с Лангом Шипе и говорят: “Алка, как шла с работы, просила зайти насчет книжек каких-то, если сможешь”. — Глаза у Цветкова блестели, как две льдинки на солнце.

А у меня затекла шея от непрерывных поворотов головы в сторону собеседника для подачи обратной реакции, и было неуютно и неудобно лежать: то ли Клыгин плохо накрыл меня одеялом, то ли просто тело затекло... и что-то глухое, серое растекалось внутри.

— Насчет книжки, ага. Тогда в процедурке ремонт был — Алка сидела в библиотеке, и Шипа соответственно там сидел. Они сказали, значит, а Шипа выдохнул так, будто ему под дых кулаком сунули, и как метнулся через дорогу. Прямо к дому. Вашакидзе с Лангом переглянулись — шары вот такие — и бегом за ним. Еле догнали у подъезда. Обратного чуть ли не волоком тащили, да Шипа особенно не упирался. Понял, наверное. Только борзанул слегка — подлецы, говорит. Ну, ему Ланг показал подлецов. Завел в кубрик вечером, въехал раз по рогальнику — Шипа враз все тумбочки собирал.

— Цветков! Товарищ младший сержант, — трагическим голосом сказал Клыгин, просунув голову в палату. — Идите в регистратуру, сестра отлучилась. Оттуда — ни ногой. Хватит членокору лапшу на уши вешать.

Я постанывал, когда Клыгин сдергивал банки с моей спины. Не столько от удовольствия, сколько оттого, что Клыгин ждал этих стонов и был доволен, их услышав. “Все. Спать. Этот бамбук меня заколебал. Хватит рассказов про дурачка. Что я, помойная яма, что ли?”

Но Клыгин, освободив мою спину от полона, плюхнулся на кровать Цветкова и, закатив глаза, пропел:

— О дайте мне поспать хоть один час в сутки!



И немедленно заржал, скосив глаза на меня в ожидании поддержки.

Я вяло улынулся.

— Что тут тебе Цветков рассказывал? — осведомился Клыгин.

— Да... про этого... вот тут спал... Шаповаленко, кажется?

— Про Шипу? Оборжесся, да?

Да, оборжесся, кивнул я. Очень смешно и весело. Дураки и созданы для смеха. Ты его мордой в грязь, а он еще и пузыри пускает.

Смех! Ну как не посмеяться над салабоном. Иди сюда! Дембель, давай! Не понял? Дембель, давай! Больше повторять не буду. Как “что делать?” Иди и спрашивай у салабонов. Все спят? Буди! Не знают? Ладно, мужик, дедушка тебе объяснит, не дай бог, ты после этого не сделаешь. Когда услышишь эти слова, надо побежать и через минуту принести дембель — быстро и без суеты. Понял? Дембель давай! Ну? Припух? Служба медом показалась? Дедушек не уважаешь? А потом... Кулаком в грудь или ладошкой по лицу — и шагом марш в туалет, чтобы я утром зашел и удивился — все сияет. Аттракцион. Комната смеха. Первый год службы — без вины виноватые. Второй — веселые ребята. Это справедливо, более справедливо, чем многое в жизни, где все вперемешку: радость и боль. Одному — сплошная радость, так много, что уж и не в радость она. Другой, как мишень перед удачливым стрелком: что ни удар, то в цель. Слепо. Несправедливо.

Здесь куда лучше. Год боли. Год счастья. Гарантируется. Только та ли радость, что чужой болью рождается? Только тот ли человек, которого выпускают на волю после года жизни “про себя”? Говорил ли он после этого вслух? Не входит ли в кровь это рабское смирение, когда спокоен, видя, как кого-то бьют: слава богу, не меня, тем и счастлив, тем и жив? Когда знаешь: за тебя — только ты.

Бред. Проклятая поляна, на которой застрял мой поезд... когда хочется крикнуть добрым и старым спутникам — сердцу своему, памяти, душе: “Выходите! Ведь мы пока стоим! Ведь “это” — пока позади. Ведь можно пожить немного вслух, можно вдохнуть этот воздух, можно посмотреть на небо”, — но не оживает поляна. Ненужной громадой стоит на ней поезд — дитя движения, и зябкими, призрачными видениями сереют за окнами равнодушные лица пассажиров. Мы скоро поедем; мы скоро поедем, и лес, спокойный и морщинистый, опять станет стеной, и облака — трамплины наших надежд и мечтаний — будут болезненно и никчемно мелькать за окном.

Бред. Неужто это не антракт, неужто это первое действие? Неужто в прологе детства нам показывали лишь костюмы, гримерные добра и света, шадя от жестокой пьесы, где Бога нет, а значит, нет единой цепочки от события к событию, от человека к человеку, нет награды доброте и нет суда жестокости и злу. Неужели слеп человек? Изначально слеп? Неужто это и есть жизнь? Неужели там, на далекой, как Эльдorado, “гражданке” все так же в основе — только наряжено в красивые одежды? Господи, голова пухнет... Неужто это не антракт, не чулан, а дорога, дорога, и мы едем, едем, едем... Проклятая санчасть.

На обед нам дают кашу, а утром — масло. И что бы ни случилось — утром будет масло, вкусное и белое. А вечером я вспомню толстую Ирку, машинистку нашей редакции, как я ее мял в подъезде, с силой шаря руками по юбке, и влажными от пота пальцами лез под толстую кофту-олимпийку, а она противно визжала, совершенно не сопротивляясь, а еще сильнее вдавливаясь в меня своим тугим тревожным телом. Вернусь — мне родители купят куртку “аляска” и джинсы. И я буду много зарабатывать денег и построю дом в лесу. Большой и красивый. И буду в нем один. Один. И никакой поезд не добросит до моего дома гудок через лес. Никакой. И буду читать детективы и стихи. И выброшу телевизор, и забуду, я все забуду-

ду. А в тумбочке у меня осталась еще одна карамелька. Было две — а я одной угостил Цветкова. Дурак. Но эту еще можно съесть, хотя она, должно быть, немножко подтаяла и придется слизывать сладкое с фантика. Карамель “Сливовая”. Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку — тогда он сделает сладкие глаза и веселую рожу, и я отдам ему карамельку с улыбкой и даже довольным видом. Когда приедет папа, он еще больше привезет. Скорей бы он приезжал. Как цирк бродячий, добрый и старый, как посол той страны, которая называется прологом, из которой все мы эмигранты.

Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку.

Клыгин уже минут десять что-то рассказывал, не обращая внимания на мое подчеркнуто бесчувственное лицо.

— Он, Шипа, в санчасть ходил каждый день. Уж и не знал, чем заболеть — чтобы лечь. Ко мне приставал — ну положи да положи... Нашел родного, дурак. Ну и допросился. Сыпь у него объявилась на ногах и заднице, болячки, знаешь, такие, хлопьями. Его и определили к нам на десять дней. Зеленкой мазали — ну, болячки и заживали чуть-чуть. Он, знаешь, как процедур нет, все по первому этажу курсировал: вдруг Аллочка из кабинета выйдет. Знаешь, как щенок у двери зимой: и боится, и хочется, гы, трется-трется, отскочит, облизнется и опять трется, скулит. Я его как подкалывал... По утрам мне нужен один человек за пайкой идти. Все, конечно, фиг вам, хрен добудишься... А Шипе я всегда так говорил, — Клыгин сделал серьезное, вкрадчивое лицо, — Шурик, — он не выдержал, прыснул, но потом снова соорудил вкрадчивую рожу, — я говорю... Шурик, тебе Алка привет передавала. Он как вскинется: “Правда?!” Глаза как кокарды. Я говорю — правда, конечно. И он после этого со мной и за пайкой ходил, и тарелочки мыл, как миленький. А потом что-то достал меня своей тупостью, и мы его с Ваней Цветковым стали мочить. Шипа очередную книгу грызет, чтобы скорей можно было ее в библиотеку таранить, к Аллочке

поближе... Я, знаешь, к нему подсаживаюсь под бочок и шепчу: “Да шлюха она”. Он молчит, но вижу — краснеет. Еще раз: “Да ведь шлюха она!” Он голову поднимает и мне шипит: “Не смей!” Это мне! Мне, отцу родному, так шипит! И дальше еще: “Она выше этого. А вы — дрянь”. Буранул, да?

Я абсолютно понимающе кивнул.

— И подушечкой себе грызло закрыл, чтобы больше меня не слышать. Мы с Цветковым быстренько его заломали: руки за спину, ноги тоже, разложили и давай ему в каждое ухо орать: “Шлюха! Шлюха она! Она мне давала! Ему давала! Вон тому давала и этому! Всем давала! Дырка она!” Шипа дергается, хрипит. Потом со мной, наверное, дня два не разговаривал, а потом надоело парашу мыть — стал подлизываться. И тут как раз из лазарета вылетел. Главврач на обходе сказал: болячки вроде поджили, надо бы Шаповаленко прогревания, и Шипе курс на пять дней прописал. Шипа бросился к главному: может, без этого как-нибудь? А главному все по фигу: “Клыгин, — говорит, — проследи...” И Шипа сразу сник. Всё говорил: мне мать должна три рубля прислать, я тебе пайку хорошую куплю. Всё в роту звонил: пришло письмо или нет? Потом вообще мне свою парадку предложил: возьми, говорит, из дружбы. Я, говорит, скажу старшине, что потерял. Я смеялся: вычитать же будут! Он подумал: маме напишу, она поймет, насобирает. Как демобилизуюсь — отработаю, все ей отдам, жить для нее буду... Нужна мне его парадка. Он вон какой хилый — разве мне налезет? Короче, знаешь, я его встряхнул за шкиботник и толкую: “Чмо на лыжах, если завтра же не полетишь на процедуры, я Алке все скажу, что ты в нее того... По уши. Вопросы, товарищ ефрейтор?” Знаешь, он сразу утих. Утром из роты прихожу в шесть пятнадцать, он уже в кровати сидит, не спит. Все утро молчал. После пайки я его и повел. Смотрю — он идет, как будто шило в зад, аж скулы выперли. Я, значит, его завел, Аллочке бумаги, его — в кабинку. Лег он на живот. Спускай, го-

ворю, кальсоны, показывай хозяйство! Он, знаешь, так нехотя, через силу будто, спустил. Я — хлоп! — его по ляжке. Вот, говорю, наш леопард пятнистый. Аллочка свет поставила, носик сморщила. Говорит: “Сережа, не уходи, своего пациента сам обслужи, пожалуйста”. Шипа все положенные десять минут тихо, как мышка, пролежал, а потом сразу к главврачу. И тот его выписал. Я уж думал, что он стучать побежал, но все тихо... Так и не знаю, что он там плел... Но — все тихо, так вот... Ну что, бум спать? Бум! Бум! Бум.

Я, перед тем как заснуть, светло подумал, что когда-нибудь стану дедом — буду ходить расстегнутым, в кожаном ремне и в сапогах гармошкой. Я буду дедом авторитетным и научусь важно говорить салабонам, которые будут меня ужасно бояться и называть “зверь”: “Ты что, опух? Службы не понял, душа драная?! А ну — бегом в туалет, чтоб через пять минут прихожу и вижу в умывальнике свое отражение!” И — кулаком по грудахе. Чтоб синяков не оставалось. А до этого еще дней триста. И я стану дедом. Хозяином жизни.

Утром я шел на электрофорез. Мрачно что-то было. То ли спал плохо, то ли зима скупо дает свет. И медленно время идет.

— Членкор! Членкор, блин... — шнурок из нашей роты Коробчик аккуратно манил меня пальцем.

Я подошел, чуть не захлебнувшись омерзением и тоской, безысходностью.

— Что мы тут делаем? Забил на службу болт? Сачкуем?

Я смотрел на кончики больничных тапок, опустив руки вдоль тела.

— Что молчим, милый?

— Н-нет, — язык еле отлип, — у меня пневмония.

— Что у тебя? — скривил морду Коробчик.

— Воспаление легких. Пневмония.

— Что, умный, что ли, до хрена? Да?

— Нет.

— Как служба? А?

— Как у курицы.

— Почему медленно отвечаем? Охренел?

— Я не медленно.

— А почему это — “как у курицы”?

— Где поймают, там и...

— День прошел...

— Слава богу, не убили — завтра снова на работу.

— Громче.

— Слава богу...

— Так-то. Выздоровливай скорее. Мы тебя в роте очень ждем. Туалеты мыть некому.

Я почти радостно улыбнулся. Хлебом не корми — дай туалет помыть. Но понравиться не удалось.

— Чего оскалился, чама? Скажи: я чама.

— Я чама.

— Завтра я тебе работу принесу. Будешь мне альбом делать. Ясно?

— Да.

— Иди. Мало тебя били. Но ничего. Еще исправимся.

А все-таки ко мне приедет папа. Когда я был маленьким, он качал меня на коленях, а теперь он пожилой и иногда плачет, когда ко мне приезжает, но старается, чтобы я этого не видел. Я тоже плачу, а он это видит. Дома он начальник. У него много подчиненных. Но теперь ему стало трудно полноценно работать. Потому, что он часто ездит ко мне.

Он привезет мне варенье. Вишневое. Я люблю грызть косточки.

— Здравия желаю.

— Здрасти...

— Мне сюда?

И еще — колбасы. И пирог яблочный в целлофановом кульке. И денег. Я ему говорю: не привози денег. А он привозит.

Может, говорит, что купишь себе. А их все равно занимают. Но я ему не говорю. Вру, что много себе покупаю. И котлеты привезет, и печенку. Он всегда много привозит. Я страшно объедаюсь — стараюсь съесть все, чтобы в роту не нести. Он тоже иногда ест со мной. Все-таки с дороги, проголодался. Но мало ест. Украдкой. Будто стесняется.

— Ложись, что сидишь?

Папа как-то мне сказал, что я возмужал...

— Сейчас будет покальывать.

“Папа, я не возмужал, я постарел”.

— А ваш плешивый что не приходит?

А старики — это тоже дети, только дурные, слабые, дурачки...

— Я говорю, что плешивый ваш не приходит? Выписался, что ли?

“Он не плешивый”, — сказал я про себя. Потом подумал, приподнялся на локте и сказал:

— Он не плешивый, — себе под нос. А пластинки даже не слетели с груди — я чуть-чуть привстал. И видел только ее спину.

— Он не плешивый, — громко сказал я.

— Что? — спросила она, что-то записывая.

Я взял и сел. Пластинки шлепнулись на пол.

Я огляделся: куда бы дать выход звенящей, зудящей дрожи рук и души? Толкнул цветочный горшок. Он чуть качнулся и устоял.

Лежак был теплый, и хотелось лечь обратно.

— Он не плешивый! — крикнул я и толкнул горшок изо всех сил. Рука скользнула, но горшок все же упал, выплеснув язычок земли на линолеум. Белое пятно запестрило и резким бабьим голосом плюнуло: “Это что? Такое?”

Я встал и пошел, потом побежал, никак не теряя эту чертову черную дрожь, дернул занавеску с двери, смел какие-то

## **Мемуары срочной службы**

склянки со столика и, не увидев себя в зеркале, выпрыгнул в коридор. Изо всех сил побежал... Потом были руки из огромной волны выросшей дрожи и чей-то голос перед огромной волной, что вот-вот накроет:

— Такой молодой и такой нервный... Кем хоть был до армии?

Я выдохнул последнее:

— Человеком.



# Дембель в опасности

Эпос

**Н**ебо застыло сегодня над землей, морщинистой, как мозг, витой шапкой облаков...  
“Десять секунд, чтобы принять удобное для сна положение. Если после этого будут скрипы, после третьего скрипа будет: “Рота, подъем!”

Дела, как у картошки осенью, — если не съедят, то посадят.  
Когда Бог раздавал дисциплину — авиация была в воздухе.

“Дембель неизбежен, как кризис империализма”, — сказал молодой солдат, и слеза упала на половую тряпку.

“...Не щадя своей крови и самой жизни...”

“Это не порядок, товарищи. Это — пар-родия! Надо заправлять свою постель так, чтобы ваша мама приехала и сказала: “Это что? Это постель моего сына?! У меня дома стол письменный — ну точно такой же ровный! Нет, даже не такой, у меня на столе вот тут такая кривоватость, сын постоянно сюда банку с пивом ставил, а тут совсем другое дело!”

## Мемуары срочной службы

Мы хотим всеобщего счастья, а достижимо ли это? Вот так живешь-живешь, не успеешь оглянуться, а чайник уже свистит. Еще порточки не надел, а харчишки уже отъел.

— Смотри, об этом никогда не говори. Особенно в бане.

— Почему?

— Шайками забросают.

Дембель в опасности! Пайка стынет. Зашивон. Зашить. Зашиться.

Ну и репа, хрен промажешь!

Так и не надо стучать себя пяткой в грудь и говорить... Что кто захочет сказать — пусть поднимет правую клешню.

Лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор. Какая разница? Одна дает, другой дразнится.

— И давно не пишет... И вообще она уже наверняка сейчас какая-нибудь Петрова или Сидорова, или Череззаборногузаде-рищенская.

Ты был еще в проектах, а я уже в армаде пахал.

Зеленые фонтанчики травы сквозь прелое одеяло палой листвы и синее июльское небо сквозь витражные переплетения веток.

# Зашивон рядового Козлова

*Хроника*

**К**озлову никогда не снились сны. И ночь проходила пусто и незначительно. Как тонкое коромысло ложилось на плечи, колыхая на концах два ведра: подъем да отбой. Когда крикнули “подъем!”, он мигом слетел с салабонского второго яруса, но проснулся лишь тогда, когда намотал правую портянку.

В коридоре включили свет, и сонный младший сержант Ваня Цветков с повязкой дежурного по роте разгуливал по проходу, заложив руки за спину, покрикивал хриплым ото сна голосом:

“Выходи строиться!” — и кашлял. Глаза у Вани были большие и черные. Он был молдаванин — самый авторитетный шнурок в роте.

Салабоны выбежали и образовали первую шеренгу, сразу замерев. Цветков обратил свой угольный взор на окна: убедив-

шись, что салабоны Попов и Журба, спавшие рядом, не забыли поднять светомаскировку, Ваня мрачно сказал от нечего делать:

— Каз-лов.

Козлов не шелохнулся — глядел перед собой. Шнурки не торопясь одевались, сохраняя на лицах солидные выражения. На нижнем ярусе заскрипели пружинами первые деды.

Цветков устало поморгал на Козлова и, не найдя, что сказать, пошел дальше.

День начался.

Перед строем быстро прошагал замполит — худенький востроносый старший лейтенант Гайдаренко. Поглядев налево и направо, он звонко выкрикнул:

— Где Вашакидзе?

Все осоловело глядели внутрь себя; времени было пять. Подняли на час раньше ввиду помывки в бане. Замполит первый раз проводил это ответственное дело, заменяя приболевшего старшину. А Вашакидзе был каптерщик, и рота без красной авоськи с мочалками и старой наволочки с коричневыми брусками мыла в баню следовать никак не могла.

Гайдаренко устал выискивать в сонных шеренгах чернявую шевелюру каптера и недовольно спросил, тряхнув головой:

— Дежурный по роте, где Вашакидзе?

Ваня расцепил руки за спиной и медленно дотронулся сложенными в щепоть пальцами до расстегнутого подворотничка, подержался за него — застегнуть или нет — и опустил руки, закрыв ворот подбородком, а руками скользяще погладил ремень по окружности.

— Ну-ка, сбегай кто-нибудь, по-резвому, за Вашакидзе, — прошипел он первой шеренге.

Салабоны все застыли взглядами мимо дежурного, хотя им очень хотелось переглянуться.

— Ну что, сбегать некому уже? Постарели все? — С правого фланга выступил на полшага замкомвзвода первого взвода сер-

Александр Терехов

жант Петренко, натягивая китель на игривую синенькую футболку.

Петренко был самый жуткий дед. Шнурки за глаза называли его “зверь”.

— Иван?! — полувопросительно пропел Петренко.

Цветков выкатил глаза:

— Попов и Козлов... вашу мать, бегом за Вашакидзе!

Они побежали в сторону туалета. Вашакидзе любил после подъема подремать в одной из кабинок.

В туалете весело пела вода — кардан (шофер) дежурной машины Коробчик набирал в ведро кипятка, заодно опустив в раковину для ног свои костлявые ступни.

В Коробчике было метр девяносто четыре, и под настроение он не раз брался выяснять у командира взвода старшего лейтенанта Шустрякова, не полагается ли ему, боевому шнуру Коробчику, двойная пайка. В роте его звали Хоттабыч за огромный крючковатый нос-шнобель.

Попов прошелся вдоль кабинок, заглядывая в каждую запотевшим прыщеватым лицом с толстоватыми бескровными губами, наконец, у самой дальней он замер и сказал Козлову шепотом:

— Здесь.

Козлов, по привычке сгорбившись, встал рядом. Попов качнул головой в сторону кабинки:

— Скажи ему...

Козлов надул губы и отвернулся в сторону:

— Сам скажи, чего я...

“Козел”, — сказал про себя Попов и тихо проговорил:

— Вахтанг.

Потом еще:

— Вахтанг...

Когда он хотел еще раз сказать, Вашакидзе из кабинки горланно каркнул:

— Пошелъ на хрен!

— Вахтанг, там замполит зовет, рота стоит, — обрадовался Попов, что Вашакидзе проснулся.

Каптер подтвердил адресование Попова в известное место.

Попов бесшумно цыкнул, оборотившись к Козлову. Лицо у Попова было как кусок мяса — пористое и розоватое, соломенные остатки волос распластались по большой неаккуратной голове. Откликнулся он на “ж...” и моргал при этом белыми противными ресницами.

— Замарал, Вахтанг, рота ждет, понимаешь-нет? — зычно крикнул Коробчик-Хоттабыч, заглушая воду. — Хочешь, чтоб Гайдаренко сюда притопал?

— Молчи, сынок! — выпалил из кабинки Вашакидзе.

— Сынок у тебя в штанах, — пропел Коробчик, с наслаждением шевеля пальцами ног под горячей тугой струёй воды.

— Ж..., — сказал наконец Вашакидзе.

— А?

— Хрен на! Ты... вот что... Ты один?

— Нет. Козлов здесь, — быстро сказал Попов, и Козлов не успел сделать шаг назад, а только взметнул умоляющие круглые брови и выкатил каре-черные глаза, безвольно разлепив губы.

— Тада ты, ж..., иди скажи этому раздолбаю, что я сейчас иду. Слышь?

— Ага.

Попов быстро улизнул.

— Козлев?

Тот откликнулся только со второго раза: задумавшись, он глядел под ноги и пощипывал пальцами щетину на подбородке — щетина была просто беда. Когда Козлов брился с вечера, к утру у него был вид подзаборного забулдыги — морда была черная. И поскольку поутру салабонам ходить в туалет нельзя, а электробритва Козлова стояла уже довольно давно, он брил-

ся обычно до подъема, укрывшись одеялом, насухую, но сегодня этого не сделал, так как был четверг и баня — утреннего осмотра не предвиделось, оставалось только избежать всех дедов и шнуров, и тогда все будет нормально, главное — дожить до смены.

Так думал Козлов, пощипывая подбородок большим и указательным пальцами.

— Козлев, мать..!

— А?

— Хрен на! Спишь, милый? Принеси мне бумаги и смоешь потом. Давай.

Козлов сделал уже четыре размеренных шага, вспоминая, где он видел старую газету, когда Коробчик, исковеркав свой голос, прошипел, отдаленно похоже на Козлова:

— А пошел бы ты на хрен!

Козлов в ужасе оцепенел на выходе, жалко улыбаясь Хоттабычу.

Раздалось звяканье — очевидно, потрясенный каптер вырвал ремень из рук, и он тяжелой змеей немедленно скользнул в очко.

— А-а?! — фальцетом крикнул раздавленный услышанным каптер.

— Хрен на! — безапелляционно отрубил Коробчик.

Дверь кабинки мигом распахнулась, прозвенев сорванным шпингалетом.

Держа одной рукой штаны, другую — на отлете, красный Вашакидзе орал:

— Козлев, родимый, ходы сюда!

Козлов стоял с дрожащей улыбкой на устах, с надеждой смотрел на Коробчика, хотел что-то сказать, но слова застряли где-то в животе противным нытьем, а Хоттабыч переламывался надвое от хохота, чуть не макая свою голову в ванну, визжал и причитал:

— Да он же на тебя болт забил! На тебя — боевого шнура! Сынок отца послал! Понимаешь-нет?

Вашакидзе глядел на окаменевшего в немом отчаянии Козлова и на щербатый хохот Коробчика, тяжело дышал и наконец понял:

— Ты-и... Дух! Хоттабыч, тварь нерусский! Обизяна!

— О... Кто бы говорил, — махал ручищами довольный Коробчик. — Ты сам давно с дерева слез?

Возмущенный каптер принялся грузно усаживаться на облюбованное очко, а Козлов вышел на цыпочках из туалета.

Ваня Цветков считал роту уже третий раз — не все деды еще встали, а замполит, отчаявшись найти Вашакидзе, пронзительно выкрикивал на левом фланге дежурного водителя Коробчика.

— Козел, Козел... Ну-ка запрыгнул в строй! — пробурчал кто-то из не вполне проснувшихся шнурков третьего взвода.

Козлов развел правой рукой в сторону, опустив подбородок в надежде, что он так кажется менее небритым, и разлепил толстые губы:

— Я к Вашакидзе... ему там... надо. — Суетливо, еще больше ссутулясь, как от занесенной плетки, он выудил из-под вешалки с шинелями старую газету и, размахивая худыми, костистыми руками, зашмякал сапогами к туалету.

Вашакидзе столкнулся с ним на пороге и царственно прошагал мимо, величаво глядя перед собой.

Козлов просочился мимо мотающего портянки Коробчика и спустил воду в кабинке, повертел с сожалением в руках ненужную газету и медленно засунул ее в жестяной синий кармашек, напряженно слушая шум воды в умывальнике. Лицо его даже заострилось, но маленькие глазки сохранили прежнее, обычное для Козлова выражение — будто всегда болели, и поэтому он постоянно шурился, наваливая на глаза жесткие черные брови, при этом в уголках рта собирались небольшие горькие уголки-ямочки.



Просто так скользнуть обратно не удалось.

— Козел, слышь... — Коробчик с удовольствием притоптывал ладно севшими на ногу сапогами сорок шестого размера. — Так ты чё, опух? Фанера, что ли, толстая? Служба замучила? Да? Постарел? Или репа толстая стала? А?

Козлов закинул до упора голову в безнадежном, тяжком предчувствии, дрожа веками и жалко обнажив между губами желтоватую кромку зубов. Он даже ничего не смог сказать, только потряс судорожно головой, вжавшись в стену и не отрывая взора своих глазок-семечек от грозно насупленного Коробчика.

— Да ты че, Сашк... Че ты? — вдруг обнял его Коробчик. — Я шучу, Козлов, ты ж видишь? Ты ж у меня первый друг, самый боевой салабон! Ты же дедом будешь авторитетным! Слышишь?

Козлов сжал губы и растроганно заморгал. Коробчик быстро закрутил вентиль — ведро уже наполнилось истомленно дымящейся водой, брякнул дужкой:

— Давай, Сашк, отволоки до машины. Помогите, брат.

Козлов по-доброму сверкнул глазами и даже что-то пробормотал благодарно, уцепил ведро и потащил его, оберегая правую штанину от шального выплеска.

— Иван, хватит считать! — крикнул, уморившись торчать на левом фланге, Петренко, и первый взвод гурьбой повалил на улицу. Салабоны проскальзывали вперед; дальше шли, смеясь и подталкивая друг друга на заледеневшей лестнице, шнуры; замыкали, все как один исполненные мрачной погруженности в себя, обвязав шею полотенцем, дедушки.

Козлов отпер ведро и быстренько заскочил в крайнюю слева салабонскую колонну.

— Где шлялся, Козлов? — тихо спросил в затылок коренастый Журба.

Козлов обернулся и торопливо проговорил:

— Да так... знаешь Коробчика? Вот с ним... поговорили. Знаешь, парень такой хороший. Ну, поговорили, в общем, так хорошо.

Дверь хлопнула, и рота приосанилась — замполит, оглядев народ, бодро побежал к машине.

За ним, выбрасывая длинные ноги, вышел Коробчик. Шапка идеально прямоугольной формы, достигнутой в результате долгих, упорных растяжек ее ленинскими томами из ленкомнаты, чудом висела на затылке Коробчика. Шинель, по длине лишь немногим уступавшая нескромному пляжному халатику, была не застегнута на два верхних крючка, открывая молодецкое горло Коробчика, смело белевшее на морозе в окружении местами свежего подворотничка, подшитого отчаянной стоечкой. Коробчик гордо поддал ногой случайную ледышку в сторону переминающейся с ноги на ногу роты и, чиркнув сапогом по заледеневшей тропинке, грохнулся на зад, деликатно открытый распахнувшимися полами шинели. Шапка повисела, задумавшись, на его затылке и, решившись, прыгнула в желтовато-ноздреватую промоину, вырубленную самим Коробчиком пару часов назад вследствие его млявого нежелания подниматься в туалет и трогательного стремления позаботиться о разнообразии быта дневальных. Рука Коробчика, метнувшись к голове, застала там лишь сиротливо обнаженную макушку.

Рота дружно заржала, заструив в колючее ночное небо бодрый серебристый парок.

Коробчик обронил несколько веских слов, тяжело встал, согнулся за шапкой и, отряхивая с нее снежную пыль, укоризненно покачал головой на переламавающегося в окне от смеха Ваню Цветкова, яростно сплюнул и отдельно отчеканил:

— Это какая тут скотина здесь воды наплескала? Ты, Козел? Ну, дух, вешайся!

Вытащили белье — его нес расчетливый салабон Кожан, решив таким образом проникнуть в баню раньше роты и не-

сколько кошунственных мгновений понежиться под душем.

У сержанта Петренко сделались стальные глаза.

— Кожан! — хрипло рыкнул он.

Кожан чуть не выронил тюк.

— Ну-ка метнулся в строй!

— Игорь, я ведь... белье, замполит сказал, — заканючил Кожан.

— Я что сказал, мать твою так! — заорал Петренко и обернулся на салабонскую колонну. — Журба, тащи белье.

На лице Кожана сияло блаженство, когда он вручал белье молчаливому Журбе, просто всю жизнь мечтал об этом, и как это благодетель сержант Петренко догадался снять бремя с души...

Машина унесла гордый профиль Коробчика, и заледеневшего замполита, и Журбу с бельем в сторону бани, и рота, ведомая Петренко, пошагала вслед.

Салабонская колонна четко печатала шаг под чутким прищелчком шнуров, поддерживавших резвость хода хорошим пинком в сгиб ноги соседа-салабона.

Козлов шагал, сжимался от диких обыденных угроз шнурков, сильно топал — все было как обычно: морозная ночь, тяжелая, смутная голова, мерные взмахи рук, редкие, дрожащие от стужи огоньки домов; эта обыденность была всегда поручиком нормальному течению жизни — монотонного серого конвейера, и этот конвейер полз вперед со скоростью двадцать четыре часа в сутки, и все было как всегда, но его, Козлова, жизнь уже выделила и поставила поперек общего течения — его осенил неумолимый рок пошива, и он в привычных деталях скупого бытия искал зловещие, тревожные признаки нового положения — ему казалось, что в своей колонне он отстал от переднего соседа, а задний отстал от Козлова, и, таким образом, он как на ладони, как мишень — жалкая и обреченная; ему казалось, что в строю прорастает шеле-

стящий шепоток о нем, о Козлове. Хоть и не разобрать слов, да чего их разбирать, чего уж ясней — пошился, готовится расправа, кара, казнь, муки несметные...

Дождавшись, когда деды зашли в парную, заняв законные душевые, а шнурки разобрали мочалки и лучшие куски мыла, салабоны на цыпочках потянулись за тазиками, стараясь особо не греметь.

В бане говорили мало — все размякли, ушли в себя, не находя кругом знакомых фигур, не узнавая никого и оглушаясь порой кошмарной мыслью, что несравненный сержант Петренко в голом виде очень похож со спины на писарчука салабона Васю Смагина; блаженно теплая вода не давала закрепиться, пустить корни ни одной мысли в голове, напоминала о доме, о прошлом, и у всех был одинаковый взгляд — безучастно-грустный, и было тихо.

Козлова никто не успел припахать, пока он выжидал своей очереди за водой, и он ушел в самый угол, боясь оглядываться по сторонам, и присоседился между Журбой и Смагиным.

— Козлов, иди спину потри.

У Козлова отвисла нижняя губа, но это был не Коробчик. Спину он тер горбоносому чернявому Джикия, который был из Тбилиси. Как на грех, к земляку подошел налитый важностью движений Вашакидзе.

— Козлев! На, возьми. В роте отдашь чистыми, — и сунул Козлову пару длинных махровых носков.

Козлов хитроумно сразу из парной направился получать белье, не заходя в раздевалку. Мыть парную его не оставили, и теперь он тихо брел по коридору в банную каптерку, где выдавали белье, и прикидывал, что, когда он вернется в раздевалку, дедов там будет уже поменьше (деды любят после баньки покурить по морозцу), а шнуры, которым курить еще рано, разопрев, переместятся на лестницу проветриться — и можно будет спокойно вытереться, если, конечно, упрятанное в рукав поло-

тенце уже кто-то не отыскал и не вытер им ноги, но и тогда полотенце можно будет использовать, если положат его рядом с местом, где взяли, а не швырнут под ноги...

Замполит оглядел мокрого Козлова.

— Ты чего не вытерся?

— Я? Забыл... Потом вытрусь, — привычно пробормотал Козлов, протягивая робко руку, словно боясь, что по ней ударят, за кальсонами и портянками.

— А что в руке?

В руке были носки, и Козлову стало холодно. Замполит уже расцепил его пальцы и, присвистнув, оглядел, как на грех, ярко-красные носки.

— Чьи? — устало спросил Гайдаренко.

— Мои, — тихо ответил Козлов, напряженно подумал, что бы еще сказать для правдоподобия, с трудом вздохнул и добавил:

— В портянках холодно... ну, и я...

В глазах внимательно считавшего грязные портянки Кожана бушевал смех — в носках запрещалось ходить даже шнурам, Вашакидзе нарушал этот запрет в виде исключения как особа, приближенная к каптерке.

— Вот что, Козлов, — решил замполит. — Сейчас вы одевайтесь — и в машину. Приедем в роту — сразу ко мне. Разберемся.

Как одевались, собирали в узлы грязное белье, увязывали его, Козлов не запомнил — вокруг рушился мир, земля таяла под ногами, и вся прежняя жизнь неумолимо и жестоко перечеркивалась, и не будет к ней возврата: главное, не стучать, как это делает Раскольников. Замполит сломает... из нарядов не вылезу... на губу посадит... Вашакидзе убьет... А Коробчик?..

Все мешалось в голове, все было плохо, очень плохо, бесприсветно.

Машина обогнала роту с четко шагающей салабонской колонной, деды даже руки из карманов не вытащили, игнорируя

угрозы пальцем замполита из окна. Замполит попросил остановить машину, но Коробчик с каменным лицом и ужасающе выпученными глазами объяснил, что останавливать машину по такому гололеду он не будет ни в коем разе, под трибунал идти с замполитом ему не улыбается, он еще в отпуск не съездил, кстати, товарищ старший лейтенант, вы не намекнете командиру взвода старшему лейтенанту Шустрякову, что можно и обязательно нужно отпустить в отпуск отличного водителя рядового Коробчика за беспримерный героизм, проявленный во время перевозки личного состава в суровых зимних условиях? А машина прыгала на ухабах, и Козлов лишь вымученно улыбнулся Кожану, зловеще протянувшему:

— Ну, Козлов, теперь — вешайся...

Рота была пустой, и шаги по проходу между кубриками звучали весомо и гулко. Козлов с Кожаном отволокли в каптерку грязное белье, и теперь Козлов стоял посреди прохода с застывшим, растерянным лицом. Большая беда не просто удар, мало того, что разодран кусок жизни, это как разорванное звено — большая беда делает ненужными и все последующие звенья.

Вокруг бушевало счастье: удалось приехать на машине в роту, можно было быстренько заправить постель, побежать почистить сапоги на лестницу, а заодно и спрятаться на чердаке, дождавшись построения, а потом соврать, что замполит заставил что-то делать на улице, — это был первый случай такой удачи за девять месяцев службы рядового Козлова, самого чмошного салабона из всей роты, а он стоял посреди казармы с отекившим лицом, и глаза его глядели тяжело и горько.

— Козлов... — дежурный по роте Ваня Цветков вяло манил его пальцем, развалившись на кровати в темном углу нижнего яруса.

Козлов подошел, подбрасывая коленями полы длинной шинели.

Ваня был разбит бессонной ночью, проведенной в каптерке за картами, и кровать под ним провисала на полметра.

— Значит, так... — сипловато объяснил он. — Пока рота не пришла, иди помой там туалетик, а потом, если успеешь, прометешь лестницу. Давай. — Ваня бессильно смежил ресницы и уже на десерт добавил: — Тока... смотри... чтоб Гайдаренко не пошил... а то втащит тебе и мне... по самое некуда, а-ах-ахах, — зевнул Ваня, поудобнее устраивая смуглую щеку на подушке.

Хлопнула дверь в каптерке, и сочный голос замполита возвестил:

— Коз-ло-в! Ко мне!

Козлов качнул головой и, согнувшись, пошел в каптерку, сутулый и неуклюжий.

Ваня Цветков, нахмурившись, глядел ему вслед, на всякий случай опустив ноги на пол.

Кожан закладывал тюки с грязным бельем в деревянный шкаф, замполит что-то вписывал в толстую ведомость, изможденно и подолгу зевая. Увидев Козлова, он брякнул ручку в пластмассовый стаканчик и, сцепив руки в кулаки, уткнулся в них острым носом.

Кожан томительно долго ухватывал тюк, взбирался с ним по шатающейся лестнице-стремянке, открывал со скрипом желтую дверцу, водружал в шкаф тюк, подбивал его, чтобы тюк в одночасье не обордюжился на голову замполиту, и слезал за следующим тюком.

Козлов глядел под ноги, страхась глядеть на Гайдаренко.

Кожан наконец убрал все белье и с вопросом в глазах оборотился к замполиту, тот суетливо замахал руками: иди-иди. И Кожан ушел, поглядев мимо напрягшегося Козлова.

Дверь хлопнула.

— Та-ак, — сказал замполит.

Помолчали.

— Что у тебя такие сапоги сбитые? — вдруг поинтересовался Гайдаренко. — Старшина тебе новые выдавал, нет?

— Выдавал. Так точно, — кивнул Козлов и, наморщившись, стал смотреть на свои разбитые сапоги, которые он уже носил второй срок подряд, так как новые, выданные старшиной два месяца назад, как раз подошли деду Коровину, который в них нацелился идти на дембель.

— Видать, много ходишь, — улыбнулся ему замполит. — Ишь, как сносил.

Козлов поглядел на Гайдаренко, но улыбнуться не посмел.

— Так кто тебе сказал стирать носки? — выпалил замполит. — А? Ну, чего молчишь?

Козлову было жарко в шинели, он опасался за свой чернеющий подбородок, боялся замполита, и тоска была в каждой клеточке его полноватого тела — ему очень захотелось выйти в спортгородок и постоять в уголке за брусьями, упершись лицом в мелкую железную сетку, хранящую январскую стужу, и моргать, дышать, смотреть на ворота гарнизона, пропускающие машины, и, когда дневальный зазеваается, можно будет увидеть кусочек жизни: редких прохожих, апельсиновый бок замызганного автобуса и что-нибудь еще, если повезет, посмотреть фотографии сына, попытаться услышать его голос, увидеть, коснуться, заплакать...

Замполит молчал и смотрел на свои руки. Надо было отвечать.

— Никто... Я сам... Это мои носки.

— Хватит! — Замполит вдруг бешено хватил кулаком по столу так, что пластмассовая карандашница взлетела на воздух, загремев содержимым. — Хватит! — искривил рот замполит, вскочил, грубо швырнул в сторону стул, прошагал стремительно к Козлову, глянул в его опущенное лицо, завернул за спину и уже оттуда заговорил с затаенным стоном: — Да вы готовы все на себя взять! Все, только свистни... Водку на смене нашли в чьей шинели? Попова, конечно. И Попов, как миленький, твердит: моя водка, для себя брал, выпить захотелось... Да? Ты



думаешь, я слепой? Думаешь, дурак? Вас мордой в грязь, вам продыха не дают, вас бьют каждый вечер... Ты думаешь, я не знаю, как это Журба умудрился с лестницы упасть, что челюсть сломал, — я знаю! Я бы всю эту грязь... своими руками!!! Ты слышишь? Душил бы по ночам! — Замполит потряс судорожно сжатыми кулаками у лица вздрогнувшего Козлова. — А вы терпите... Годик потерпите — потом другие потерпят? Так? Не качай головой, не качай — все вы так сначала: все, дескать, зверье, а я не буду, я перетерплю, а сам не буду. Будешь! Еще как. Кого больше мучают, тот больше всех и зверствует потом. Тот потом кровушки всласть насосется... Но ты первый год проживешь, как свинья, а второй — как мясник, а человеком никогда не станешь!

Замполит перевел дух и снова сел за стол, быстро пробарабанил пальцами по крышке и, не поднимая лица, продолжил:

— И ты думаешь, это когда-нибудь кончится? Не-а. Думаешь, станешь шнурком — все изменится? Не-а. Ну, умываться будешь по утрам, если кто-то будет грязным ходить... Ну, туалеты мыть не будешь, если кто-то другой будет мыть. Бить тебя реже будут, если кого-то ты будешь бить каждый день. Ты, лично ты! Ну, еще подошьешься стоечкой, крючок расстегнешь, если деда рядом не будет. Мне в спину что-нибудь пошепчешь. Но душой-то тварью и останешься! И даже дедом станешь — все равно в душе ты — тварь! И на “гражданке” чуть копнут — а ты гнилой. Согнули! Тебя заставили — ты заставил, это одно и то же, значит, в жизни тебе вдолбили: ты — ничто. А ты решил, если так, значит, есть еще меньше тебя ничто — и ты его можешь согнуть. Да? А чуть больше сила — значит, ты опять ничто, опять что-то должен, уже не человек. Понял?!

Козлов мелко подрагивал, сжатый тесной шинелью, как лимонад в бутылке. Ему страшно хотелось в туалет. Он всегда оглушался чужими криками и сразу забывал, про что говорили только что.

— Ну хорошо, — опять вскочил замполит. — Хорошо. — Он подошел к двери, поплотней ее прихлопнул и стал говорить совсем тихо, прижавшись спиной к шкафу слева от Козлова: — Ты боишься стать стукачом... Пойми, стукач — это тот, кто стучит свой призыв. Подглядит что и где, если сам сторона, и бежит ко мне, докладывает и в увольнение просится — у меня таких хватает, хватает... Чего говорить — есть. Но тебе-то что здесь стучать, какая тебе тут может быть выгода? Против тебя допустили внеуставные отношения... Надо карать! Немедленно и максимально жестоко виновного! Ты прав! Ты, понимаешь, прав! Но ты слабый человек... Ты боишься — хорошо... Ты мне скажи, кто он. Я больше тебя ни о чем другом не спрашиваю, ничего. И я выдержу время, слышишь, — время, месяц! И потом накажу. Такой момент найду, такую возможность... И вдвое, втрое жестче — он взвояет! Взвояет. А ты... Ты скажешь, что сейчас рисовал бирки для тетрадей политподготовки. Скажешь: припал, мол, замполит, такая вот сволочь... А? Кто?.. А?

Козлов мученически повел шеей, сглотнул и выдавил:

— Это я... Это носки мои. Сейчас холодно...

Замполит помолчал и шмыгнул острым носом.

— Ну что ж... Значит, пусть все по-прежнему: живите не улыбайтесь, вечером ни шагу из кубрика, не дай бог, засмеетесь громко, не дай бог, дни неправильно сочтете... Все чепуха, конечно, ерунда, мне деньги платят, рота отличная — чего еще... Вот только, знаешь, Козлов, вечером дома сидишь, дети играют на полу, — сыновья у меня... Двое. А я вот, Козлов, думаю: зачем у меня сыновья родились? Как же я их в армию провожу? Умереть легче, чем представить. Вот и не спится ночью. Ведь бьют же сейчас кого-то. Кто-то сейчас плачет. Да, Господи, ты посмотри на себя, на всех салабонов со стороны, хоть сколько вам: восемнадцать, девятнадцать, ну сколько угодно, а все — дети; думаешь: одного сейчас оставишь — сядет на пол и расплачется... Как дети мои. Это потом вы взрослеете, когда кровь

пить научитесь, тогда, конечно, откуда только все берется... Но ведь сейчас же мучаетесь, значит, было в вас что-то... понимаешь, что-то от матерей ваших, от справедливости, от чистоты, что ли... И мучаетесь, что отнимают это, — вот за это мне страшно. А бьют... Что ж, все дрались по молодости, но не так, чтобы по очереди всех и без толка. Только бы крови напиться... Но ведь болит же что-то в вас, болит... — Замполит неловко улыбнулся, будто Козлов узнал что-то, делающее замполита жалким и ничтожным, обнял сам себя руками, поскрипел тугой кожей сапог и свежо, отчужденно сказал:

— Вы понимаете, Козлов, что за нарушение формы одежды, выразившееся в ношении носков, я имею право объявить вам наряд вне очереди, а без труда найдя еще более веский предлог, определить вас на гауптвахту, если носки действительно ваши.

Козлов горестно покачал головой. Да, он все понимает.

— Ну иди, — вздохнул Гайдаренко. — Иди, Козлов...

Когда дверь закрылась, он прошептал:

— Коз-зел!

Когда в каптерку, крадучись, заглянул Вашакидзе, замполит сидел за столом, спрятав лицо в ладонях, и без выражения смотрел на длинные ярко-красные носки, разостланные на столе.

Вашакидзе для пробы подошел к окну и стал копаться в ящике для тряпья, что-то напевая. Замполит не шелохнулся.

— Случилось что, Евгений Степанович? — затаив дыхание, спросил каптер.

— А... так, — болезненно качнул головой замполит, — бывает. Подумаешь так — как все у нас кругом... Грязь да грязь. Хоть вой. Будто одни скоты кругом. Так, знаешь, все...

— Как так? Как так? — оживился каптер. — Люди кругом... Правда-а!

Замполит грустно хмыкнул и улыбнулся Вашакидзе из-под руки.

## Мемуары срочной службы

— Эх, грузин ты мой, грузин, вот уволишься, поедем с тобой в Тбилиси вино пить... жить. И не думать — жить, короче. Поедем?

— Ага. А как же? Почему же нет? — радостно закивал горбатым носом Вашакидзе. — О чем речь?

Замполит, печально улыбаясь своим мыслям, прошел к двери и обернулся:

— Вон те носки, выбрось их куда-нибудь...

Вашакидзе поджал губы и вытянул шею, разглядывая носки, затем опустил лицо и еле слышно, себе под нос, проговорил:

— Зачем выбрасывать? Себе возьму, — и вкрадчиво скосил глаза на замполита.

Замполит подумал и, не расставаясь с туманной улыбкой, блуждавшей по губам, произнес:

— Ну возьми. Они стиранные как раз. Да и холодно сейчас. А что... возьми. Возьми.

Козлов испуганно глянул издали на Цветкова, потягивающегося посреди прохода, прижмурился и пошагал мыть туалет. Драгоценный момент был упущен — рота приползла из бани, туалет был полон дедами.

Козлов выдраил дальнюю кабинку и повернулся полоскать тряпку. На подоконнике курила троица: каптер Вашакидзе, первый ротный зашивон дед Коровин и Ваня Цветков.

— Ну что, Козлов... Как замполит? — смеялся Ваня.

— Маладец, маладец, — похвалил Козлова Вашакидзе. — Воин!

Цветков успокоенно пробормотал что-то типа: “Ну ты тут порядочек...” — и улепетнул, оставив свою сигаретку Коровину, — тот распустил в улыбке алые губы:

— Козлов, а скока тебе лет?

— Двадцать семь, — без радости ответил Козлов, стягивая тряпкой воду с кафеля.

— Не коммунист, нет? А дети есть? — Коровин уже обрел пару слушателей.

— Есть. Сын, — ответил Козлов и раскрыл рот, чтобы назвать имя, и подумал даже, как придется доставать грязной рукой фотографии из внутреннего кармана, — обычно просили показать, но Коровин уже заключил:

— А мне вот девятнадцать. А я — человек. А ты — козел!

Все засмеялись. И Козлов тоже.

В строй на завтрак Козлов метнулся среди последних.

В тот момент, когда замполит ставил в строй рыжеватого за тюканного бойца, обряженного во все новое, — в часть привезли первого духа.

— Товарищи, это рядовой Швырин. Он пока один из своего призыва. Возможно, будет водителем, а пока дневальным по смене. Пойдет в третий взвод. Надеюсь, примете его в свою дружную семью, — нудно твердил Гайдаренко.

— Пусть вешается! — крикнул кто-то с левого фланга.

Гайдаренко устало поморгал в ту сторону, но ничего не сказал.

Дневальный заорал:

— Рота, строиться на улице для следования на прием пищи!

В столовую салабоны и новенький дух Швырин зашли последними. Замполит кричал, чтобы немедленно всем садиться. Салабоны подходили к столам, шептали: “Разрешите?..” Дедушки из педагогических соображений или ввиду занятости жеванием рта не обозначали своего согласия — салабоны стояли скорбными столбами. Гайдаренко лично усаживал их на пустые стулья. Некоторые любимцы дедушек садились раньше, но тут же неслись за хлебом, горячим чайником или белой кружкой, поскольку дедушка вдруг обнаруживал на доставшейся ему выбоину эмали, что не соответствовало общественному положению дедушки русской авиации.

Козлова замполит сунул последним вместе с духом Швыринным за стол к трем грозным дедам: сержанту Петренко и еф-

рейторам Мальцеву и Баринцову. Баринцов был сволочьё для салабонов; все ненавидели его жиденький чубчик на выпуклом лбу, спеленькие губки и лукавый взор, его волны дикой злобы и странную отстраненность от результатов собственного зла. Мальцев был спокойный худошавый парень — бить особо не бил, но следил за общей пахотой строго.

Козлов разлил всем чай по строгой очереди: Петренко, Баринцову, Мальцеву, себе и духу. Сел.

— Видишь, Козлов, боец твой пришел, — медленно сказал Петренко.

Козлов тупо улыбнулся.

— Кто из ваших будет ветеранить его раньше приказа — убью! — также медленно добавил Петренко, обещающе косясь на внимательного Кожана, разместившегося за соседним столиком. — Шнурье пусть присматривает, а вы — убью!

Петренко посмотрел на Швырина. Тот не гнулся к столу, как все салабоны, даже откинулся назад, старался спокойно есть. Но вся столовая говорила о том, кому можно его угнетать — у него было серое лицо, и хлеб ломался в руке.

— Сколько там осталось мне до приказа, Козлов? — осведомился Баринцов.

Козлов мигом осмотрелся — Баринцов уже сожрал масло — его день уже прошел, отнял из вчерашнего один и доложил:

— Семьдесят три.

— Семьдесят три, Козлов, семьдесят три, — расплылся Баринцов. — А скажи мне, Козлов, мил друг, а вот кто у нас в роте, если очень крупно подумать, самый большой любитель котлет?

Мальцев ухмыльнулся, Петренко топорщил усы и шептал:

— Как ты достал...

— Я не знаю, — еле ответил Козлов, удерживая на лице изо всех сил улыбку.

— Я скажу, скажу, друг мой. Это — я, ефрейтор Баринцов. Давай сюда свою котлетку. Поторопись это сделать, грязный

зашивон, иначе я не заступлю на боевое дежурство по обеспечению безопасности полетов нашей авиации, как любит говорить твой лучший друг замполит Гайдаренко, с которым ты сегодня полчаса беседовал в каптерке с глазу на глаз, давай!

Козлов улыбнулся и все еще выжидал, внутренне молясь, что сейчас подойдет замполит, — котлеты давали раз в неделю. Это был праздник.

— Хреновый ты товарищ, Козлов, — огорчился Баринцов.

— Да что ты... Возьми, — сдался Козлов, старательно глотая горлом. — Я и так не хотел. Я не люблю...

— Не люблю... А кто скулил, когда Коровин котлету забрал на седьмое ноября, — заметил Петренко. — Чмо ты паршивое, а не мужик!

И он пошел к выходу, придавая взглядом бодрость движениям позднее всех начавших трапезу салабонов. Мальцев доцедил чай, со стуком утвердил чашку на столе и облизал губы:

— Сашка, а ты скажи. Вот ты шнуром будешь — станешь салабонов ветеранить — нет?

— Он не станет. Они вообще никто не будут. Никто, — хмыкнул Баринцов, дожевывая котлету.

— Пусть сам скажет, — довольно произнес Мальцев. — Ну?

— Не буду, — осторожно дернул плечом Козлов. — Зачем?

— Ага, — удовлетворенно крикнул Мальцев и тоже направился к выходу. За ним, сделав остающимся смешные глаза, — Баринцов.

Швырин вдруг располовинил вилкой свою котлету и сунул половину в тарелку Козлову. Тот, ничего не говоря, начал есть.

— А чего ты пошился?

— Так, — поморщился Козлов.

— И так у вас всегда? — выдавил дух.

— А чего? — обиделся за роту Козлов. — У нас клево. Ты еще у других не видал. У нас часть отличная...

Козлов встал и неожиданно для себя улыбнулся:

— Душ-шара.

Пожрав, деды и шнурки набились в ленкомнату наблюдать любимые задницы в аэробике. Салабоны всеми силами изобразили уборку кубриков. Козлов, хитрый Кожан, писарчук Смагин и дух Швырин ровняли по нитке белые полосы на синих одеялах в первом кубрике. Ровнял один Козлов, боязливо озираясь на гогочущую ленкомнату и бормоча себе что-то под нос. Писарчук Смагин, сшивавшийся при штабе и любимый дедами за доступ к бумаге, клею, туши и красивый почерк, хитро устроился верхом на табуретке: со спины было несомненно, что Вася недремлющим взором отслеживает никогда не уловимую единую белую полосу, а с лица оказывалось, что Смагин топит на массу самым похабным образом, пуская слюни на полотенец дедушки Коровина.

Кожан рассматривал содержимое вещмешка Швырина, успев попросить несколько иголок, конверт и семьдесят копеек денег, и потом объяснил, как надо грамотно спрятать подшивочный материал:

— Ты суй его в наволочку. В самую глубь. Сюда поближе ложи самый-самый грязный подворотничок. Дедушка руку сунет — там грязный, а глубже руку и не просунет, понял?

Козлову стало обидно, что Кожан, а не он наставляет духа, и он прошел мимо них, поправляя ножные полотенца на кроватях, и исподлобья глянул на Кожана:

— Чего это ты... С духом... Здесь.

Кожан усмехнулся и плюнул Козлову на сапог.

— Козлов, зашивон, а ну прыгай в строй! Убывающая смена строится! — заорал первый выруливший из ленкомнаты озабоченный и возбужденный аэробикой Ваня Цветков. За ним топала сапогами, двигала стульями, шумела огромная, грозная масса.

Козлову стало страшно.



В строй запрыгнуть он не успел. Вечно дневальный зашивон дед Коровин показал глазами на ленкомнату, и Козлов скользнул туда расставлять стулья.

К машине он бежал, подкидывая коленями шинель, когда весь взвод уже погрузился в установленном порядке: у края — дедушки, по бортам и на задних лавках — шнурки, на полу — салабоны и дух Швырин. Провожавший смену Цветков добавил Козлову пинка для скорости и помахал рукой кардану Коробчику:

— Смотри, осторожней ехай, мать твою... Зашивона везешь! Козлов забрался в самый угол между Журбой и Поповым.

Машина тронулась, люди качнулись, привалившись друг к другу плечами, толкнувшись затылками в брезент. Козлов тоскиво думал о предстоящей смене — может быть, все обойдется? Бывают же и хорошие смены; думал, что сегодня край как надо побриться, что хорошо бы, если Коробчик не сразу вылезет из машины, когда приедем на приемный пункт, чтоб можно было потихоньку, пока народ будет прыгать в снег, улизнуть, а потом он перестал думать, пытался увидеть через головы край дороги, а видел только плывущие по сторонам черные ветки с ключьями осыпающейся снежной ваты.

— Козел! — позвали из темноты.

Звал Петренко из угла.

— И ты, дух... Идите сюда.

Петренко стало холодно в углу на голой лавке, и он ради смеха усадил под себя Козлова и Швырина, а сам устроился сверху. Последнее время он был не в духе: любимая девушка перестала писать, а дембель находился еще в приличном отдалении. Подпрыгивая на четырех коленках, Петренко крутил головой с грозными кошачьими усами.

У самого борта среди матерых дедушек втиснулся боевой шнурок Ланг. Ланг что есть старался мочи унаследовать жестокую славу Петренко, и Петренко, чувствуя это, его не любил.

Ланг курил. В машине и при дедушках это не поощрялось.

— Ланг! Хватит дымить! — рявкнул Петренко.

Ланг после отчетливо выдержанной паузы обернул свое низколобое рябое лицо со злобным крысиным взором и сигарету изо рта устранил.

Петренко сплюнул и, устроившись поудобнее, выудил сгибом локтя из-за спины голову Швырина:

— Ну что, сынок, послужим?

— Да, — стиснутым голосом ответил Швырин.

В машине примолкли, откровенно смотря на этот диалог. Только салабоны не поворачивали головы, чтобы не обнаружить даже тени хоть какой-нибудь заинтересованности и страха, — кончиться это могло чем угодно. Ланг, улучив момент, сунул сигаретку опять в зубы.

— Все будешь делать, сынок, — весело и печально заговорил Петренко, — когда время твое придет. Шнурье вонючее будет тобой заниматься. Ты не смотри, что салабоны сейчас такие тихие и с тобой — улыбочки... Станут, еще станут шнурками, тогда все... Но только носки не стирай. Даже если это гнилье заставлять будет — нет, и всё!

Швырин почти не дышал, смотрел куда-то вверх.

Петренко еще мгновение сжимал его шею, ожидая или ответа, или еще чего, потом встал и, качаясь, с дурашливыми взвизгиваниями и шутивными падениями на сидящих протиснулся к борту. Там он плюхнулся на колени Баринцова, ласково его обхватившего, и глянул прямо на Ланга.

— Что, шнурок, я невнятно сказал — не дымить?

— Петрян, ты... — начал Баринцов поглаживать Петренко по бокам. Но тот, уже злобно ошетилив усы, с размаху хрястнул Ланга по морде и вопросительно рыкнул: — Ну?

Ланг поднял с замызганного пола шапку, долго укреплял ее на затылке, подобрал поудобнее шинель и принялся смотреть за борт.

В наступившей тишине было слышно, как поет матерную песню в кабине Коробчик.

— Ну, салабоны, вешайтесь, — вдруг медленно отчеканил Баринцов из-под Петренко.

Это было понятно. Зло не уходит куда-то. Оно стекает вниз.

Дежурный по части старший лейтенант Шустряков минут пять ржал до потери пульса над лиловым синяком Ланга, удивляясь, как он мог звездануться о борт машины при повороте. Ланг смущенно улыбался и озадаченно матерился в кулак.

Шустряков обнял дежурного прапорщика и отправился с ним в дежурку играть в нарды, озабоченно глянув на Петренко:

— Ну, ты, давай тут, в общем.

Смена заступала, передавая наушники, сообщая ротные новости, показывая, где спрятаны запретные для чтения на боевом дежурстве газеты и журналы, где поймана и растерзана на смерть почти седая крыса.

Козлов оглядел свой телеграфный аппарат, передал в штаб, сколько и кого заступило, заполнил журнал дежурств и стал с размахом готовить грандиозную уборку, надеясь, что, может, все и обойдется — ведь бывает. Он вытащил старые ленты, рулоны отработанной бумаги, стал готовить их к сжиганию, мел щеткой стол, потом запросил штаб разрешить взять один из параллельных аппаратов на профилактику.

Совершенно успокоенный и обмякший Петренко минут пятнадцать сонно поспрашивал рабочие и запасные частоты и слышимость, а потом уныло задремал на пульте дежурного по радиосвязи.

Приемный пункт был бетонной коробкой среди соснового леса. От него тянулись две тропинки: одна через автопарк к КПП, другая к туалету, который был малопривлекательной для достижения целью по морозу, и особенно ночью, поэтому деды, которые по обыкновению спали на дежурстве прямо в наушниках и не желали разрушить прогулкой свой дремот-

ный настрой, справляли естественные надобности прямо в сугроб. Дневальный по автопарку, после того как рисовал углем на бетонной стене цифру оставшихся до приказа дней, брал лопату и шел засыпать свежим снежком желтые вымоины под окнами приемного пункта.

У Козлова место было самое плохое из всех салабонов — лицом к окну. За окном вообще-то красиво — заснеженные елочки, и лес, и антенны, около которых обычно похаживал салабон, отгоняя шваброй радиопомехи, донимавшие заскучавшего деда. Вся беда была в том, что Козлов сидел спиной к залу и не мог видеть, наблюдают за ним или нет, можно расслабиться или надо пахать что есть сил, — приходилось в любую секунду ожидать чего угодно: удара, крика, угрозы — поэтому он никогда не разгибался от стола, чтобы даже случайно не глянуть в окно, и старался все время выискивать себе работу, которой было очень немного, но самое главное — Козлов все время прислушивался. Его большие, острые сверху уши вытягивались еще больше, он просчитывал каждое слово, шорох, вздох — он постоянно готовил себя ко всему, что могло случиться. И он даже не слушал — он чувствовал спиной. Если посмотреть на него со спины, казалось, что Козлов — горбатый.

Ефрейтор Мальцев был на смене подменным и поэтому бичевал на просторе, ласково поглядывая на шурящихся от яркого света салабонов, — не спят ли? Он покурил у окошка и упал, наконец, на железный ящик с документами рядом с телеграфом Козлова и потерял редкие волосики на сразу взмокшем лбу телеграфиста.

— Убираешься, Сашка?

Козлов кивнул и попытался отвернуться.

— И не бреемся чего-то?.. — грустно заметил Мальцев. — А чего?

Козлов побагровел, трогая, будто бы удивленно, лицо:

— К-как? Только вчера, вечером, быстро растет... эх.

Мальцев сокрушенно качал головой, постукивал сапогом о ножку стола.

— Вот скажи мне, пожалуйста, Сашка, кем ты был до армии?

Козлов не смог понять: пронесло — нет?

— В библиотеке работал, книжки приходили — получал... Распаковывал, брал на входящий, ставил на инвентарный, картотеки заполнял, расставлял, выдавал, каталоги... Уничтожал старые. Сжигал, вот.

Он плел что-то, а сам думал, что Мальцев, в сущности, добрый человек — единственный, кто не бил стукача Раскольников, и вообще сильно не бьет...

Мальцев внимательно слушал. Потом спросил:

— И интересно?

— Ну как... Книги...

— И ради этого стоит жить?

Козлов примолк и растерянно улыбался.

— А тебе, Сашка, не стыдно жить?

Козлов стал тереть щеткой уже совершенно чистое место и чувствовал спиной, что из-за соседнего передатчика на них внимательно смотрит Кожан.

— Может быть, ты там библиотекарьш попарывал? Нет? Жаль, — почему-то огорчился Мальцев. — Жаль. А ведь ты — женатый! Ведь ты солидный мужчина! Ведь у тебя ребенок, пацан, да?! И тебе не стыдно жить? И тебе не стыдно жить?!

— А... Чего? — открыл рот Козлов.

Мальцев улыбался, улыбка дрожала на его лице, чуть удивленно и гадливо.

— Я... — объяснил Козлов.

— Закрой пасть, — скривился Мальцев. — При чем здесь ты... Кожан, сколько там осталось?

— Семьдесят три! — откликнулся Кожан.

— А косинус угла альфа?

— Семьдесят три.

— А два плюс два? А сколько дней в году? А сколько температуры на улице? — Мальцев уже поднимался с места, сладко потягиваясь.

— Семьдесят три!

— Ефрейтор Мальцев, — окликнул его разомлевший у жаркого передатчика Баринцов, — замените ефрейтора Баринцова.

— За щеку! — вкрадчиво ответил Мальцев, но менять пошел, скорбно и подчеркнуто оглянувшись на Козлова. У Козлова дрогнула губа — это конец, ничего Мальцев не забудет, ничего.

Баринцов швырнул мясистые наушники Мальцеву и громко поинтересовался:

— Бичи, а кто сегодня дневальный?

— Журба, — сказал Кожан.

— Козел, бегом за ним, — бросил Баринцов, взяв у Ланга сигаретку, встал к окошку.

Козлов широкими шагами вылетел из зала, по дороге черпанул ладонью воды из-под крана в умывальнике, увидел испуганного себя в зеркальце: что-то начиналось, что-то было уже в воздухе, нагретом работающей аппаратурой. В этой неотвратимости была и сладость — больше ждать было нечего.

Журба и дух Швырин долбили лопатами желтые пятна на сугробах. У Журбы было умиротворенное, тихое лицо, и Козлову стало неловко произнести те слова, которые он не мог не произнести. Он даже молчал поначалу, просто стоял на крыльце и ежился от падающего снега. Журба что-то тихо сказал Швырину, и оба улыбнулись.

Тут Козлов на это обиделся.

— Ты... Это? Чего тут? Про меня? Тебя там Баринцов зовет скорее и тебя, — добавил он почему-то и Швырину до кучи и поторопился назад, чтобы не подчеркивать, что он, Козлов, привел этих двоих, пусть будет — они сами пришли.

В зале Козлов сразу заметил, что у Попова, сидевшего у дальнего передатчика, красное лицо, а Кожан сидит, чуть не спрятав голову под стол.

Баринцов стоял у телеграфа и оттуда швырнул Козлову линейку:

— Козлов, на тебе гитару. Поиграй. Только струны не оборви.

Козлов поймал на груди линейку и стоял, не зная, что делать теперь, боясь подойти на расстояние выброшенной руки.

— Иди сюда, — зашептал Баринцов, глядя ему прямо в глаза. — Иди.

У Козлова заплясали губы, и все тело зачесалось от пота. Он часто моргал и тер ладонью лоб, опустив голову и шмыгая.

— Иди сюда, чмо!

Козлов выдал два шага, чуть боком, плечом вперед, заранее потирая ладонью грудь.

— Играй, — просто предложил ему Баринцов. — Играй на гитаре. Только струны не оборви.

— Как? — вскинул брови Козлов. — Я ведь... Не умею.

— Вот так, чама, — показал рукой Баринцов. — Рукой по струнам. Раз и два.

Козлов, ищуще глядя на Баринцова, стал теревить пальцами линейку, прижав ее к грузному телу.

Баринцов быстро отошел от него и громко объявил от подоконника, взяв в руки воображаемый микрофон, увидев, что Журба и Швырин вошли в зал:

— Я вот с чего тащусь — как у нас бичи стали жить... Уходят хрен знает куда. На смене — бардак. Дедушек уже ни в хрен не ставят. Месить их никто не месит. Мы в свое время огребали дай боже — вот Мальцев и Петрян помнят, но потом и кулаки ободрали об салабонские морды — зато порядок был. А теперь шнуры вонючее очень добренькое стало, уж очень скоро все забыли, да что там — сами уже стали огребать от салабонов. Че-

сти никакой, гниль... Ты, Джикия, забыл, как тебя месили? Про Ланга я не говорю — проститут, а не боевой шнур, только воротничок расстегнуть и перед старшиной пройти, и всё!

Баринцов празднично светился, будто осуществляя какой-то торжественный религиозный ритуал, — косился на сонно ухмыляющегося Петренко.

Шнурки сидели красные и злые. Салабоны старались заниматься делом. Только Попов часто вытирал под носом и болезненно озирался.

— Вот Козел пошился... И хоть бы что! Журба сшивается неизвестно где с духом — и никого это не колеблет? Да они скоро вас припахивать начнут, шнуры! Ладно, Петрян, пойдем курить, что нам с ними баландить...

Петренко натянул на плечи шинель и потопал за Баринцовым, на выходе басом заключив:

— Ланг, ты понял, мля, уборочку здесь...

Журба и Швырин как стояли, так и остались стоять посреди зала в шинелях, вертя в руках шапки, опустив румяные от мороза физиономии.

За окном падал снег — там не было ветра. Снег был пушистый и чистый.

Ланг встал и зашипел Джикия:

— Ты чего сидишь? Опять я один, что ли?

Длинный Джикия стал вылезать из-за стола.

— Несите ведра, щетки, все, короче, — приказал Ланг покорному Журбе и, покрутив головой, почему-то спросил: — Ну что, Кожан, притих? — и отвесил ему щедрую пощечину, после которой Кожан мощно приложился лбом к приборной доске и хитро пустил слезу, внутренне ликуя — он отметил!

Длинный Джикия затеял содержательную беседу с Поповым о правах и обязанностях молодого воина, в ходе которой Попов пару раз присел на пол, прижимая к себе что-то руками, предельно затащив ремень, выколочил иголкой прожитой день в календа-



рике у Мальцева, с выражением прочел пару стихотворений из школьной программы и в заключение исполнил самостоятельно на два голоса грузинскую народную песню “Сулико”.

Козлов сидел, не поворачиваясь, теребя грязными руками карандаш. Он ждал очереди.

— Ну а ты, Козел? Как жизнь? Пошиваемся, да, чмо вонючее? — Ланг выпучил глаза, вытянулся в струнку, покачиваясь на носках.

Ланг был прямо за спиной, и Козлов, чувствуя это, выронил карандаш и приподнялся. Он чуть привалил плечи вперед и закрыл глаза, прошептав что-то, сдерживая рыдания.

Ланг почти без замаха врезал ему промеж лопаток, и Козлов, готовно сломавшись в коленях, обрушился на пол, на смятые рулоны бумаги, крупно вздрогнул всем телом, как в агонии.

— Чмо, — гадливо пробормотал Ланг, осторожно оглядел зажмуренные глаза Козлова и пошел навстречу бледному от ужаса Швырину, припершему ведро с дымящейся водой.

Над Козловым мертвенно гудело дневное освещение, а если чуть скосить глаз — можно было увидеть кусочек окна с летящим белым снегом. Он тужился вздохнуть, шевелил губами, опускал подбородок — и не мог, хоть тресни. Ему было блаженно легко: свое на сегодня он уже получил, в роте это тоже узнают, что салабонам первого взвода сегодня устроили крутой разбор, что зашивон Козлов свой пошив искупил честно — не плакал, как дешевка Кожан, — теперь осталось только подышать, а вот это не получалось.

Ланг пинком перевернул ведро, и вода дрожащими языками поползла во все стороны. Один язык легко лизнул мокрую от пота голову Козлова, и он еще раз попытался встать.

Ланг схватил Журбу за шиворот и заорал в его побледневшее лицо:

— Три минуты! — пол чистый! Если нет — языком будешь лизать, понял? И ты, дух, тоже — языком! Быстро!

Журба и Швырин бросились с тряпками на пол. На стене электронные часы транжирили время. Над Козловым склонился Мальцев, жующий печенье, крошки летели Козлову прямо в лицо, и он ежился от их корябающих прикосновений.

— Есть что на улице делать? — неторопливо спросил Мальцев.

— Вот... Бумаг собралось — жечь надо, если... — промямлил Козлов, кисло глядя на Мальцева: ведь он уже чист, что еще?

— Бери свои бумаги и иди на хрен отсюда, и не приходи, пока все не кончится, — также неторопливо продолжил Мальцев. — Ну!

Козлов приподнялся, встал, опершись на стол, расправил тяжело плечи и вдавил в себя полновесный, робкий вдох. Он поскребал в охапку отработанную нагрузку и пошагал к дверям, обходя пластающихся по полу Журбу и Швырина, провожаемый ненавидящим взглядом Кожана. Мальцев проводил его по коридору, а потом отстал и вернулся, из зала донесся какой-то глухой и сдавленный стон. Мальцев скучно посмотрел на часы — медленно время идет.

Козлов просунул руки в шинель, утвердил на голове шапку и, сжав зубами ремень, ногой долбанул дверь. На крыльце торчал Баринцов, справляя естественные надобности себе под ноги.

— Чтой-то холодно, Сашк, — пожаловался он, возясь с пуговками. — Чё там у нас, порядок?

— Вроде да, — выдавил Козлов, застегивая крючки в надежде, что сейчас Баринцову станет холодно и он уйдет.

— Сколько там время? — быстро поинтересовался Баринцов.

— Семьдесят три.

— Ага. Уже скоро, да, Козлов? Уже быстро.

— Конечно, скоро, — подхватил Козлов. — Чепуха какая осталась, дома скоро будешь. Дома.

— Угых, — зевнул Баринцов что есть силы. — Я ведь таксист, Козлов... Я ведь — на машине по Свердловску, ты представляешь?

— Здорово, — кивнул Козлов. — А я вот в библиотеке, входящий, на инвентарный, каталог, так, в общем...

Баринцов потряс головой, сдерживая очередной зевок.

— Во придурок... Вот сказал — ни хрена не понял. Возьми-ка ты ломик и на парашу — там сталактиты и сталагмиты уже задолбали — сколько можно? Смотри, Шустрякову под ноги не кидай! И подальше, чтоб весной не завоняло — когда мой дембель подойдет. Давай!

Зимой туалет был неприятным местом — туда направляли только зашивонов. В каждом из трех иллюминаторов-отверстий намерзали огромные горы дерьма, а все стены покрывали льдистые потоки с вмерзшими обрывками газет и окурками. Чтобы почистить туалет серьезно, нужно было часа два.

Козлов расслабил ремень — кругом ведь никого не было — и стал искать относительно чистую газету, чтобы в ней разноразбить отбитые куски, которые надо разбрасывать между деревьями в радиусе метров ста, чтобы весной не завоняло.

Зато — один. Зато — никто не придет. Зато можно будет посмотреть лес, на серебрящуюся снегом сосновую кору, на ветки, которые колышутся от вороньих перелетов, просто постоять среди тишины, сдвинув шапку на одно ухо.

В лесу Козлов обычно вспоминал сына, он даже чуть распрямлялся. Он представлял, как будет потом гулять с ним по парку, как сын, конечно, узнает его, но будет поначалу бояться, а Козлов будет улыбаться, показывая эти деревья, это небо, этих птиц, будет чувствовать в ладонях тонкие, невесомые ручки, с мягкой кожей и крохотными ноготками, он слышал его слова, его голос, его вопросы и видел себя, он слышал это незнакомое чудесное слово — “папа” и говорил себе: “Это я”, и смеялся, и рос; он придет к нему, он дойдет, чтобы уткнуться

в это невыносимое пространство между плечиком и головой, чтобы почувствовать себя защитой этого тепла и дыхания...

Почистить зимой туалет — это два часа, а потом он уйдет к заброшенной яме и будет жечь нагрузку, размотав длинные рулоны бумаг, будет ворошить костерчик березовой веткой, наблюдая, как взлетают в воздух мерцающие созвездия тлеющей бумаги и кружатся над головой, сжимаясь и чернея, невесомые, как грачиная стая за окном, и потом он достанет, наконец, и посмотрит фотографию сына — совсем один, совсем.

— Эй!

Козлов обернулся.

У входа в туалет стоял Швырин без шинели. Он принес вылить ведро грязной воды. Уборка, видимо, продолжалась.

— Ну? — сказал Козлов.

— Ничего... Так. Я вот думал — приду, а ты повесился, — прошелестел Швырин.

— Я-а? — удивился Козлов. — Почему?

— Ну так... просто подумал. Прихожу, а ты — висишь. Я даже бежал сюда — так испугался.

— Ты сам повесишься, погоди еще, — пообещал Козлов и тут же испугался, не пожалуется ли Швырин кому-нибудь из шнурков насчет этого обещания, исходящего от салабона, и добавил вдогон: — Ну как там, на смене?

Швырин молча вздрогнул от холода. Ему не хотелось возвращаться.

Козлов вдруг понял это и разозлился так, что чуть не выступили слезы.

— Иди, — прошептал он. — Иди. А то... замерзнешь.

Это был его лес. Это был его покой — и нечего было примазываться.

Швырин внимательно посмотрел на него и, согнувшись, пошел по тропинке к приемному пункту, украдкой что-то смахивая с глаз.

А Козлов стал долбить ломом первую кучу. Лед поддавался, и острые брызги летели во все стороны и в глаза.

Вечерняя казарма была тиха и спокойна, день кончался.

— Товарищ дежурны... — поднял скрюченную морозцем руку к шапке, сваленной на брови, сержант Петренко. — Смена в количестве...

— Ладно, ладно, — махнул ему рукой старлей Шустряков. — Раздевайтесь... Дневальный, чего там у нас сегодня по телику?

Взвод двинулся к вешалкам вместе с облачком морозного воздуха сквозь шумящую людьми жаркую казарму.

Деда со шнурками сразу завернули в ленкомнату — глядеть фильм. Салабоны сбились кружочком в темном кубрике чистить бляхи на ремнях — под таким предлогом можно было снять ремень — и разговаривали про свое.

— Ну что, огребли сегодня? — спросил писарчук Смагин. — Нет? Без жертв?

— Да какое там огребли... — зевнул Кожан. — Больше воплей. Ланг — этс тебе не Петрян. Козлов вон огреб, как всегда...

— Петрян — это такая скотина... — прошептал вдруг Попов.

— А ты, что ль, лучше? Вчера кого посылали деда на парашу? Так на хрена меня еще позвал? “Деда сказали...” А никто, я уверен, меня и не посылал, на хрена так делать?! — вспыхнул Кожан.

— Как не посылали, как это, — зачастил обиженно Попов. — Баринцов мне сказал: “Возьми Кожана с собой...”

— Да ладно — затыкай, ведь знаешь же, скотина, что никто спрашивать у Баринцова не пойдет, вот и треплешься.

— А мне кажется, что Петренко справедливый, — вдруг сказал Козлов, сидевший в стороне.

— Ты чмо, Козлов, — спокойно ответил ему Кожан. — Ты думаешь, если меньше бьет, значит, справедливей? Он меньше бьет, но сильней. Но он и видит больше. Ланга наколоть — как

два пальца обсосать, а Петряна... Да Петрян сейчас может поиграть в добренького, он свое отзверствовал, увидел бы ты его шнурком, я бы глянул, как бы запел...

Попов внимательно оглянулся на проход между кубриками и зло прошипел:

— Мне лично... По мне уж лучше деды — все поспокойнее, лишь бы не это шнурье вонючее. Стану шнуром — хрен разговаривать с ними буду. Выступать — нет, но и разговаривать не буду.

— Посмотрим, посмотрим, — улыбался в темноте Смагин. — Дух как там? Начал службу понимать?

— Дух что... Дух как дух — он свое еще огребет, — подтвердил кому-то невидимому Попов, который даже шапку пытался носить на манер Петренко, надвигая на брови, — он, я гляжу, не особо напрягался сегодня.

— Ты на себя погляди со стороны, чама, — буркнул Журба.

— Козлов, — мягко позвал с тумбочки дневальный дедушка Коровин, но почему-то передумал. — Нет, кто там... Попов, давай-ка туалетик: порядочек там, давай, давай...

Попов тихонько и витиевато выматерился и отправился бесшумным шагом в туалет, не оглядываясь, чтобы ни с кем не встретиться глазами, чтобы не быть припаханным еще раз.

Все примолкли.

— А вот чего ты такой дурной, Козлов? — спросил Кожан. — Тебя ведь даже салабоны на хрен будут посылать через семьдесят три дня. И говорить-то толком не умеешь: как ляпнешь что — никто не разберет, что к чему. Какой из тебя шнурок?

— Я не буду припахивать, зачем? — осторожно ответил Козлов.

Все прыснули.

— Посмотрим, увидим, — вздохнул серьезный Смагин. Он внимательно смотрел, как Козлов пытается присмотреться во мраке к детскому лицу на фотографиях, приподняв горбатые плечи, кривя губы.

— Ть-фу! — сплюнул Кожан. — Ну что это за человек? Чмо! Душара! Позор для всего призыва!

Фотографий у Козлова осталось всего две. Поначалу их было больше, но они пошли по рукам и даже пропали — их разглядывали на смене, в столовой, по вечерам, потом лицемерие “Козлова ребенка — козленка” уже приелось и про них забыли. Козлов, когда был дневальным по автопарку, подобрал под столом в слесарке эти две оставшиеся фотографии — на одной был полуоторван уголок, на второй сыну Козлова были подрисованы карандашом усы и всякая ерунда — Козлов все это аккуратно стер и теперь уже старался никому фотографий не показывать без необходимости.

По коридору, выбрасывая костлявые ноги, как цапля, шаркал Джикия. Он внимательно впялился в темноту, пытаясь разобраться, кто там сидит в сразу страдальчески притихшем салабоновском кружке, и наконец опознал самого длинного:

— Журба, иди-ка там Попову помоги, быстрее, — и пошел себе дальше.

Журба закусил губу, цыкнул бессильно и пошел в туалет так же, как и до него Попов, — не оглядываясь и быстрым шагом, но ему повезло меньше.

— Журбик, курить с фильтром, — озадачил его утомленным голосом отдыхающий после наряда Ваня Цветков.

Салабоны безмолвствовали, как заведенные, натирая тряпсчками и без того сияющие бляхи.

— Внимание, рота, заходим в ленкомнату для просмотра программы “Время”! — объявил Коровин, вложив в эту фразу всю свою молодую силу.

Салабоны вскочили, подпоясались и потащились с табуретками в ленкомнату.

Деда заняли места за столами, салабоны двумя колоннами уселись в проходе: в затылочек, плечом к плечу, соблюдая равнение и строго вертикально держа спину. Шнурье развалилось сзади — в каре, наблюдая поведение салабонов.

Салабоны преданно смотрели телевизор. Поворот головы разрешался лишь в случае, если запоздавший дедушка вытащит из-под тебя табурет или шнурок в контрольных целях спросит, о чем это там говорится.

Программы “Время” бывают разные: когда диктор один говорит — это мрак, уснуть можно запросто. Козлов старался даже не моргать: его еще ни разу не били за сон на программе “Время”, и ему не особенно хотелось. Он тянул шею к телевизору, вслепую натирая до огненного блеска бляху Баринцова — тот дремал рядом.

— Козел, — это звал Коробчик из-за спины.

Козлов обреченно повернулся, прощаясь с возможностью лечь спать вовремя и спрятать свою щетину.

Коробчик сонно моргал меж Вашакидзе и Лангом, смотревшими скучно.

— О чем там? — спросил Коробчик.

— Семьдесят три.

— Ма-ла-дец! — похвалил Вашакидзе. — Воин!

— Ну а вообще? — не унялся Коробчик.

— Индустриализация — фактор интенсификации прогресса, — обомлев, выдавил Козлов. — Перестройки.

Коробчик секунду подумал и махнул головой — давай, смотри дальше.

Козлов продолжил драить бляху с ожесточением, испуганно отметив, что Мальцев, прослушав этот диалог, улыбнулся довольно нехорошо.

— Рота! Выходим строиться на вечернюю поверку! — завопил замогильным голосом Коровин. — Хватит смотреть!

Петренко выключил телевизор, и все повалили на выход, салабоны тащили по два стула и на ходу равняли столы.

Шустряков высунулся из своей каморки и позвал:

— Петренко, это... Проводи без меня. — И спрятался обратно играть в нарды с Коровиным.



Петренко притворно вздохнул — сколько можно, вышагнул вперед, оглядел строй и опустил усы в папку со списком личного состава.

— Шнурье, а ну позастегнулись, — прошипел Баринцов.

Шнурки сдержанно, но поголовно выполнили пожелание товарища — синяк Ланга сиял всей роте.

— Рота, равняйся! Смирно! Слушай список вечерней поверки!

Козлов с ревностным ужасом не сводил глаз с Петренко, слыша, как за спиной развлекается Баринцов:

— Попов, как только скажут “Вашакидзе” — ты скажи: “Повесился”.

Попов пытался улыбнуться, но пара весомых тычков в спину доказала, что улыбаться тут нечему.

— А ты, Козел, когда Мальцева вызовут, ответишь: “На очке!” Ты понял, Козел?

Козлов похолодел, он даже оглох и не слышал голоса Петренко.

— Ты чё, Козлов, опух? Ты тока попробуй не скажи. И чтобы громко!

Козлов не мог себе представить двух вещей: как он это скажет и как он этого не скажет. Что с ним будет и в первом, и во втором случае, он представлял очень хорошо — у него зашипало глаза от пота и покрылись испариной ладони.

Но Петренко осточертело читать папку, и он швырнул ее на кровать, не дойдя до своего взвода:

— Рота, разойдись, готовимся для отхода ко сну!

Деды и шнурки отправились в туалет, а салабоны, которым до этого права осталось семьдесят три дня, ломанулись к кроватям — надо успеть быстро лечь и стать незаметным, надо нырнуть в эту белую прорубь, и тогда, даже если понадобится, будет жалко, быть может, будить, и тогда удастся вырваться в сон — день кончался, он умирал.

Козлов даже ремня снять не успел.

— Козлик! — ему счастливо заулыбался Коровин.

Козлов покорно пошел за ним в бытовку.

— Вишь, туалет ты сегодня вечером не мыл, — даже как-то торжественно объявил ему Коровин. — Хоть и пошился, а не мыл, да?

Козлов тупо посмотрел на красный коврик на полу бытовки, на редкие белые нитки на нем, серые мысли стояли внутри — подмести, что ли?

— Ты вот неглаженный, — погладил его по плечу Коровин. — Давай-ка, погладься. Сейчас все спят, народу никого. У меня во взводе завтра строевой смотр — я как раз твоё “хэбэ” и надену, да? Ты понял? Как погладишься, будешь раздеваться: своё “хэбэ” мне на табурет, а мое — тебе, хорошо? Ну, давай тут. Если кто из шнурков скажет, что делать, — посылай, скажи: Коровин припахал, нельзя отлучаться.

И Коровин ушел, посвистывая и развлекая себя этим.

Козлов долго, старательно, как привык, выглаживал “хэбэ”, даже примерил его перед зеркалом — вышло здорово. У него стала тяжелой голова, он встал к окну, он боялся идти к кровати, он ждал, пока уснут даже самые мучимые бессонницей деды, за окном ничего не было видно, он просто опирался ладонью на фотографии сына, которые он вынул из своего “хэбэ”, чтобы Коровин не носил их на себе, и смотрел в свое отражение, пощипывая пальцами щетину — вот и побриться бы сейчас, да за станком не выйдешь, он стоял в одной нательной рубашке между своим и коровинским “хэбэ” — он глаженое аккуратно держал в руках, чтобы не сбить стрелочки, ему было холодно, он ежил-ся и сам того не заметил, как на его лице очутились слезы.

В бытовку, гуляя, зашел Мальцев — внимательно потрогал свое лицо перед зеркалом, мельком глянул на Козлова и сказал:

— Ты, Козлов, главное, не стучи, понял? Все пройдет. И ты будешь шнурком. Думаешь, мы не получали? Ого-о... А Петрян, ты думаешь, он не получал? Ты же солидный мужик!

Козлов даже не обернулся на него — у него уже не было сил бояться и что-то изображать.

Постояв еще, он решил, положил “хэбэ” на табурет Коровина, но дальше дошел только до кубрика второго взвода — хватился фотографий, они остались в бытовке на подоконнике. Козлов втянул голову в плечи и пошагал назад меж кроватей согнутой, костлявой тенью, тяжело покачивая руками: вперед — назад.

В бытовке света уже не было — бытовку уже поглотила ночь. Он шарил рукой по подоконнику, нагнулся к полу, а сам думал о чем-то другом: что зимой как-то холодно, но потом будет, наверное, тепло.

Бытовка была пуста.

Он вышел в коридор, не в состоянии понять: куда теперь идти, вот куда ему теперь?

Тихо и ночь, Господи...

— Козлов.

В желтой рамке открытой двери туалета курил дух Швырин — еще не пуганный, не избитый, бледный, одинокий дух.

— Ты не спишь?

— Да. — Козлов медленно подошел к нему. — Знаешь, вот вспомнил, фильм такой дубовый был, хрен поймешь, там еще деревья как-то называются не по-нашему, хотя... Я просто за фотографиями вернулся в бытовку, оставил. Куда-то делись, две...

— Две?

— Две.

— Мальчик?

— Сын мой.

— На одной написано: “Дорогому папе. Мне три года. Я очень тебя жду”.

Козлов просто кивнул и отвернулся,

— Я не знал, Козлов. Я их с мусором сжег только что. Коровин сказал: уберись там, в бытовке. А они валялись, старые... Там еще угол оторван.

Козлов кивнул.

— Только что. Я просто не знал. Напиши, пусть еще пришлют. Сфотографируют.

Козлов стоял в ночи, как черная свеча, едва поблескивая смоляной печалью глаз. Ветер ударялся в гладкую щеку окна со смутным стоном.

— Я пойду, — просто сказал Швырин и кинул куда-то бычок. — Первый день, — и выдал измученный вздох. Он сделал два шага, и вдруг Козлов чужим тонким голосом произнес:

— Стой, дух!

Швырин сунул руки в карманы и повернулся.

Козлов подошел к нему в упор и, подрагивая плечами, заикаясь, выдал:

— Ты что, опух? Ты что это при мне куришь, а? Постарел? Зубы лишние, а?

Он не мог даже посмотреть Швырину в глаза, лицо не поднималось, залитое страхом и тоской.

— Ты придурок, Козлов, — твердо сказал ему Швырин.

Он очень понуро ушел, и где-то в третьем кубрике скрипнула кровать — всё.

Надо было бриться, без этого завтра — смерть.

Козлов поторопился за станком, почти ничего уже не видя, пытаясь вспомнить, отчего же так паскудно внутри, ведь все прошло, все ведь кончилось, но его тормознул веселый голос Вани Цветкова, который отоспался днем и теперь развлекал неспящих дедов анекдотами:

— Козлов, шагом марш сюда! — скомандовал Ваня.

— Мужики, давайте из него деда сделаем!

— Давайте!

— Мужики!

Все полезли с кровати, расталкивая соседей, будя всех на свете, — это было редкое удовольствие и всеобщая радость — Козлова обряжали в сержантский китель Петренко, и сам Пе-

Александр Терехов

тренко поправлял у него значки на груди, опоясали его кожаным дембельским ремнем с искусно обточенной бляхой, он еле влез в ушитые сапоги Баринцова, ему щедро расстегнули воротничок, а потом и китель на груди — так ходят деды, ходи, Козлов, — спустили ремень чуть ли не до колен, нацепили на затылок шапку, долго засовывали руки в карманы и учили ходить, цокая подковками, руки сами вылезали из карманов, Козлов никак не мог на это пойти — в карманах! Уж больно непривычно, все толпились вокруг него, вся рота, его водили по казарме, вот наш дед! Деды хохотали до слез, шнурки прыскали, салабоны тоже не спали, хихикали из-под одеял, Козлов шагал по проходу, бессмысленно улыбаясь всем, готовый немедленно вырвать руки из карманов, они даже дрожали, его вертели и рассматривали, ему кланялись в пояс, обнимали деды и заискивали шнуры, хлопали по плечу — “Сашка!”, и он ходил так дальше, потихоньку привыкая, ходил так без усталости, пока роту не стало клонить в сон, и рота уснула — уснул дневальный Коровин на тумбочке, засопел носом дежурный по части, а он так все ходил туда-сюда по проходу, уже что-то блаженно говорил сам себе, уже не вынимая рук из карманов, он улыбался всем вокруг, он так любил эту пьянящую тишину и свободу, он так ходил, видя кругом одни белые простыни и спящие детские счастливые лица, так похожие на лицо спящего где-то далеко его сына, он улыбался этим лицам, ему хотелось целовать каждого и петь, он старался громко не шаркать, ему совсем не хотелось спать, ему хотелось взмахнуть большими руками и засмеяться на весь нестерпимо белый свет, побегать по проходу, крича что-то дикое и несуразное, он даже ускорил чуть шаг и чуть ли не прыснул, его будто звал чей-то голос — его сына, и он повторял одно и то же: “Я иду, я приду. Я иду”, и так он ходил, и остановился посередине казармы, и тихо сказал себе под нос, улыбнувшись:

— Спят чего-то все.

# В вагоне

*Перекур*

**С**колько там?  
— Полвторого. Скоро Ростов...  
Там — двенадцать минут.  
— Ну тогда там покурим и уж тогда — на боковую, топить на массу. Я сразу и оденусь, чтоб не мотаться тогда, так?

— А тельняшка у тебя откуда? Ты десант, что ль?

— А как же, ты как думал?

— У меня братан тоже десант, хых, рассказывал, как ихний комбат молодых прыгать учил. Приехал на аэродром — для него пособирали тех, кто с первого и второго раза не прыгнул. Он им сказал: “Хрен с вами. Сегодня прыгать не будем, чего вас мучить без толку? Парашюты просто уложите, полетаете хоть, к самолету привыкните”. И мигнул бортинженеру. Те пособирались, парашюты нацепили, полетели. Минут двадцать или сколько там прошло, бортинженер вти-

харя дымовую шашку запалил, в салон подбросил и завопил: “Пожар!” Так те чуть выпускающего не смели — так бросились к выходу!

— И такое бывало, бывало. Наш, правда, комбат так не делал. Он у нас дубовый был. Все хитрил. Будто самый умный. На лагерных сборах инженеры сопли жевнули — двести литров спирта спиионерили, как и не бывало, — что делать? Никто и не видел: кто, куда и с кем. Комбат меня притянул. Я был комсомольский бог средних размеров. “Ну, чего творить будем по факту хищения?” Я говорю: “Не знаю”. Мне чего — я того спирта не пил... Хорошо, говорит, я тебе объясню, как надо народ колоть. Выступи завтра на построении и скажи: по трагической случайности спирт поступил отработанный, от летчиков. Спустя двое суток после потребления начинаются необратимые изменения в организме. В восьмидесяти процентах врач части гарантирует смертельный исход. Сразу после построения в медсанчасти начинает действовать анонимный чрезвычайный прием — каждому употребившему надо до пяти вечера получить укол. Ввиду необычности ситуации командование репрессий производить не будет — вот так скажешь, — и никому ни слова о нашем разговоре. Я никому ничего не сказал — какое мое дело, я того спирта и не пробовал. На построении выступил. И что ты думаешь — хоть бы один! Ни одного человека! Никто не пришел!

— Это у нас такой старшина был — искатель. Перед Новым годом мужики пронесли с берега две бутылки водяры. Кинулись — куда прятать? Слили все в бачок с питьевой водой: чин чинарем. Заявился старшина прямо тридцатого — стал рыскать. Все перерыл, плюнул. Пошел по второму разу: “Ну не может быть, — говорит, — чтобы вторая батарея в Новый год и без водки. Быть такого не может”. Искал, искал, все кругом столбами стоят — шевельнуться нельзя. Весь аж взмок и — где тут

## Мемуары срочной службы

у вас водички попить? Все разом носы повесили — все! Он нацедил из бачка кружку, хлебнул, на всех дико посмотрел, быстро допил, кружку грохнул и пулей из кубрика. Думаем, ну все, сейчас с замполитом вернется драконить, ан нет, ни хрена. Так и не вернулся.

- Так, а это что у нас там такое? Ростов уже, что ли?
- Похоже. Ну что, идем покурим?



# Судьба ефрейтора Раскольниковова

*Житие, составленное мл. сержантом Мальцевым*

**Я** не мучаюсь. Я очень хорошо и спокойно живу. Имею крепкий сон, не жалуясь на аппетит, и во всем другом — у меня все нормально. Для меня все просто. При всем своем равнодушии я хочу жить лучше, тише, что ли... А иногда перед сном, когда все тело тает, становясь невесомым, незначительным, — тогда вот растет душа, расползается внутри, набухает — я чувствую ее, как широкую, жаркую ладонь на солнце, чувствую отчетливо, до последнего сгиба на пальце, до крохотной занозы...

Я даже слабо помню уже эти старые заборы, на которые опирались мои руки, переваливая тело куда-то, — ну, например, в сад, на траву, да не смогу я уже сейчас забраться в чужой сад — мне этого не надо. Остались только занозы, а с ними — голоса, лица и что-то еще, похожее на ветер, что ли, на его неясные, смутные дуновения, и все это не течет и поэто-

му — не кончается, а просто — мешает чуть-чуть: лица, голоса, ветер...

Вот тогда, по вечерам, я приваливаюсь к столу и рука моя бездумно рождает слова, цепляет их в строки — я отгораживаюсь этим частоколом, я не люблю сплошной белый цвет, я выжимаю себя, и меня меньше всего волнует все остальное — это мое, после этого легче мне, без этого я легче постарею и спокойно буду замечать морщины и неотвратимые перемены лица моего; только для этого — вот моя правда.

И судьба ефрейтора Раскольниковова — это не любопытная история и не события, интересные для всех, — это то, от чего я хочу быть свободным.

Я вспомнил все это после нашей дурацкой встречи в начале июля в этом году. Это было в Москве, я целый день бегал по магазинам — искал жене сапоги, а когда до поезда остался час, встал в очередь за колбасой в небольшом магазинчике недалеко от Павелецкого вокзала. Очередь донимали мухи и жара — вентиляторы, вяло машущие своими лопастями на потолке, не спасали, поэтому окна открыли настежь.

Я торопился: хотел купить еще масла и поглядывал на часы на столбе, которые были видны прямо из окна.

Под часами, недалеко от трамвайной остановки, стоял худой длинный парень в очках и вертел в руках букетик каких-то цветов, три тюльпана, кажется. Я думал о жене, мы ждали тогда второго ребенка, поэтому я думал еще о цветах и о том, а что вот за девушка, интересно, у этого парня. И тут он увидел свою девчонку. Я понял это потому, что он схватил свои очки и сунул их в карман. И я тотчас узнал его — это был Раскольников. Раньше он ходил без очков, и раньше я не знал, что у него красивые каштановые волосы.

Я обернулся и сказал старушке, упиравшейся мне в спину животом: “Я отойду”, — и медленно вышел на улицу. Через дорогу Раскольников дарил своей девчонке цветы — я совсем ее

не запомнил, она тогда его чмокнула в щеку. Я не хотел к нему подходить, но мне было важно, чтобы он увидел меня, и я громко свистнул, сложив ладони на затылке.

Раскольников покрутил головой, пропустил трамвай, разделявший нас, и только тогда прищурился и отпустил руку своей подруги — теперь он узнал меня, и пусть он не видел все до капельки выражение моего лица и глаз из-за своей близорукости, но он узнал меня и понимал, что я его вижу отлично, поэтому он смотрел в мою сторону спокойно и открыто, не шевелясь; вот мы и встретились с тобой, Раскольников.

Он что-то скомканно сказал своей спутнице — хотел бы я знать, что он ей сказал! Вышло странно: я хотел увидеть его лицо именно в тот момент, когда он поймет, что я — это я, когда он разом вспомнит все, а теперь я увидел это и не знал, доволен я или нет его спокойствием.

Он думал, что я сейчас подойду. Он уже думал, наверное, что он скажет мне в ответ и что скажу я. Он бы стоял, наверное, так целый час, да я вот только торопился и поэтому повернулся и пошел покупать свою колбасу с пустой головой. Когдаглянул из окна — они уже уходили за угол. Спина у Раскольникова была прямая. Ничего ведь не произошло.

В армию меня призвали осенью 1983 года с третьего курса Политехнического института, я тогда еще мечтал делать ракеты, мне казалось, что я взрослей и серьезней желторотых пэтэушников с крашеными лохмами и дешевыми цепочками на груди, — поэтому на пересыльном пункте я держался от всех в стороне, а от этого было еще тоскливей. Вокруг военкомата гудела пьяная толпа, люди карабкались на деревья, тащили за собой каких-то отчаянных баб, пытались преодолеть забор, толстый прапорщик гулял взад-вперед у забора и угощал пучком крапивы самых отчаянных — те визжали и матерились, с деревьев кричали: “Кусок!”

Через двое суток привезли команду свердловчан — на соседних нарах расположился улыбающийся Серега Баринцов. Быст-

ро выяснилось, что он тоже был студентом политеха, только его отчислили со второго курса за пьянку, и до призыва он полгода работал таксистом. Его, как и меня, никто провожать не приехал, и мы скучали вдвоем, слонялись по углам пересыльного пункта, жгли мусор и ветхую листву, на ночь рассказывали друг другу анекдоты — так засыпать было веселей, не тянуло на слезы.

На место службы поезд шел двое суток — это была очень неприятная поездка, тошно вспомнить. Все напилось, в тамбурах было не продохнуть от кислого запаха рвоты, белья у проводниц не было, зато была водка за двадцать рублей. Я в ту пору пил умеренно, и Баринцов особенно не налегал, если наливали — пил, но сам не покупал: деньги берет.

На вторую ночь я проснулся от пинка в бок — три еле живых от выпитого пэтэушника хотели получить от меня деньги, очень нужные им сейчас. Вагон был мертвый — спали все, я вяло отшучивался, тогда один из просителей показал мне из кармана нож. Я, честно говоря, собрался уже плюнуть и полезть за деньгами, но тут сверху прыгнул Серега и заорал матом на весь вагон, чтобы все убирались отсюда скорей и не мешали ему спать. Парни как-то быстро убрались и легли спать, даже проводница пронеслась по вагону сонной крысой, я на всякий случай не спал, боясь ножа, а наутро все вместе очень смеялись, вспоминая ночную сценку. И пэтэушники тоже смеялись.

Баринцов был, что называется, дошлый. Он первым четко узнал, куда нас везут, на кого будут учить. Он единственный сохранил неприкосновенно свои съестные припасы, и первые три дня в учебке мы пиروвали с ним по ночам, пока все остальные чутко прислушивались к соседнему жеванию, с мукой вспоминая каждый недоеденный кусок, выброшенный в вагоне, а солдатская солянка и водянистая картошка с черными комками в горло еще не лезли.

Кроме того, Баринцов не трепался про своих баб, как все остальные, не умел рассказывать матерных анекдотов, а боль-

ше всего любил с наслаждением поспать и поесть — и его все сразу очень полюбили. И я им даже чуть гордился, как старшим братом. Может, он чувствовал это и опекал меня.

Нас определили в первый взвод, где старшим через неделю назначили основательного шахтера Петренко. Примерно недели через три, когда стало уже холодать, старшина повел нас на склады — выбирать шинели. Взвод стоял по росту, дышал в затылок друг другу, все уже в шинелях, а старшина, прикусив губу, вымерял специальной палкой расстояние от земли до шинели, чтобы было по уставу. Для легкости старшина называл всех “Вася”. Только ребят из Средней Азии по-другому — “аксакалы”.

Он скомандовал мне:

— Ну-ка, Вася, поменяйся-ка шинелью с этим вот Васей.

И мы отошли в сторону с лысым пареньком с испуганными большими глазами. У паренька было такое нежное лицо. Ему моя шинель пришлось в пору, мне его оказалась длинновата.

— Ну, ладно, тебе еще подыщем, — махнул рукой старшина. — А ты поди запишись, фамилию...

— Раскольников, — сказал парень, дотронувшись рукой до лба.

— Убийца, что ли? — хмыкнул Петренко, писавший фамилии и размеры. — Топором старушку по балде?

Вот так мы встретились.

Первое время в учебке постоянно хотелось есть. Баринцов часто мечтал перед сном, как бы он съел, обязательно один, буханку хлеба, батон колбасы и два литра смородинового варенья, — он это переносил весело.

У меня было хуже.

Я начал ненавидеть людей. Сколько буду жив, я буду ненавидеть солдатскую столовую первых дней: торопливое расталкивание людей на пути к столу, пугливый подсчет: сколько народу на лавке — не лишний ли, команда: “к раздаче пищи приступить!” и — мгновенный выброс руки: кто вперед, кто

первым выдерет из буханки срединный, самый толстый кусок, тревожное нытье с протянутой тарелкой: “Клади больше! Мало!” и сразу потом — быстрее-быстрее есть первое, чтобы раньше схватить черпак, чтобы успеть наложить себе второго еще с мясом, а не с салом, и потом захватить добавку с первого, которую сразу брать было нельзя, могут не оставить второго, потом дочистить без остатка бачок, соскрести кашу с половника, схватить сахар, два куска — мигом в карман, локтем придержать хлеб, не слушая, кому там хватило, кому нет, и глотать скорее чай, косясь, не оставил ли кто чего, может, кто-то не ест масла, или сержант не стал грызть черный хлеб и оставил его на общую, мгновенно раздражающую хлеб на куски, радость. И каждый вечер слюнявый шепот: кто сколько ухватил, что мы будем есть потом и как мы ужирались когда-то...

Я с отвращением замечал, что меняюсь, что я, курсант второго взвода Мальцев, уже не Мальцев Олег Николаевич, а что-то другое, более животное, что ли. У меня мучительно развилась память. Я стал запоминать: кто меня чем угощал, делился, а кто ел, когда я стоял рядом, и — не подумал даже. Как только удавалось вырваться в чайную, я страшно обжирался, набивал карманы конфетами, но делился лишь с тем, кто когда-то угощал меня. Впрочем, научился спокойно отказывать.

— Мальцев, дай печенья.

— А зачем?

Это заметили многие, за моей спиной недоуменно смеялись, но только Баринцов понимал, что я физически не могу хватать руками быстрее всех за столом, и то, что я всегда брал последним, это был не протест, это слабость моя была — я просто не мог по-другому, не мог открыть рот, чтобы попросить добавки, не мог прятать сахар в карман и доедать за кем-то; я стал ненавидеть людей и, что теперь скрывать, — себя. И моя странная жадность была мстью этому озверевшему миру, мстью за себя, попыткой обнажить до конца его начинку.

К Новому, 1984 году в моей жизни случилось два события. На собрании взвода Баринцов предложил избрать меня комсоргом, и взвод проголосовал “за” единогласно — я обрадовался. Мне казалось, что это не только поддержит меня на плаву, но и поднимет.

И второе событие — в первую ночь после выдачи денежного довольствия за два первых месяца службы — в нашем взводе украли больше ста рублей. Из них пятнадцать — моих. Не спасло меня и то, что хранил я деньги не как все — в военном билете, а аккуратно затолкал их в пустую пачку от лезвий “Жиллетт” — эта пачка и исчезла. У запасливого Сергея пропала сразу тридцатка, у шахтера Петренко — тоже пятнадцать. Настроение у всех испортилось крепко. Новый год на носу, а денег нету. Во взводе узбеки косились на нас, мы — на узбеков, а пострадали и те, и другие. Кроме того, наш взвод мрачно косился на остальную роту, среди бесконечных версий выдвигалась и такая, что в родном взводе вор красть не будет, это чужой. Но, с другой стороны, как же этот вор полезет ночью через освещенный проход в чужой кубрик — ведь дневальный, несмотря на позывы ко сну, это дело увидит...

Старшина вызвал с утра в каптерку актив взвода: меня, Петренко и Баринцова.

— Кто будет больше всех в чайной хавать — тот и вор, — сказал Петренко, уже получивший ефрейторскую лычку.

— Так он сразу в чайник и попрется, — усомнился Серега и предложил, коварно блеснув глазами: — Лучше давайте попозже распустим слух, что Мальцеву пришел большой перевод — столярник, он при всех деньги — и военный билет, а мы по ночам по очереди...

— Вот что, мужики, — устало сказал старшина. — Все, что вы тут говорите, — это детский лепет на лужайке. Кафе-мороженое “Буратино”. Я вам так скажу: вы думать — думайте, а делать ничего не беритесь. Вор сам себя выдаст. Обязательно. Ра-

но или поздно все откроется. Это ж не настоящий вор. Это ж — просто оголодавший дурак.

А перед строем он сказал коротко:

— Найду — не обижайтесь.

И я тогда подумал: ну кто вот у нас мучился с голоду сильнее меня? Даже не с голоду... Кто мучился от изменившихся условий, от неизобилия? Все, по-моему, меньше меня и одинаково. Вообще-то я больше думал на узбеков — у них многие по-русски почти не говорили: поди разбери, что на душе. Серега тоже к этому склонялся. “Ну кто из наших? — говорил он. — Раскольников — трус, не осмелится. Коровин вообще в ту ночь в карауле был. На Петренко — не похоже. Правильный он мужик. И так кого ни возьми. Аксакалы небось”. Потом, после присяги, начались занятия по специальности, меньше стало строевой, тупых построений — больше тишины в радиоклассах, озабоченного писка морзянки, потянулись письма из дома — стало легче, короче. По субботам рота тащила в спортгородок матрасы и одеяла и била из них пыль ремнями и палками; было еще совсем темно, за забором дребезжали автобусы, гудели фонари, нагнувшись над снежным хороводом, светили звезды, и лишь самый краешек неба был разжижен нездоровой бледностью.

В субботу к моему турнику, на котором я истязал свой матрас, Баринцов подвел Коровина, тогда еще осторожного, хитрого малого, который потом уже стал крупным зашивоном от своей чрезмерной веселости и спокойного отношения к службе, — на вопрос старшины, почему Коровина, дневального по автопарку, обнаружили спящим в ковше экскаватора, он ответил знаменитой фразой: “Луна в голову напекла” — за что и получил трое суток “губы”.

Но тогда Коровин был еще тихим. А в ту субботу вообще — хмурым.

— Ну, давай, сынок, расскажи комсоргу, — потребовал от него Баринцов.



— Чё рассказывать-то?.. Ну, проснулся я ночью на парашу сходить. Сходил. Полежал-полежал — не могу уснуть. Хасанов, падла, во сне зубами скрипит, все ждал — сломает или нет. Я тока голову поднял, чтоб его разбудить, смотрю — кто-то в моем “хэ-бэ” копается. Я слез, сразу свой военный билет стал смотреть...

— Чудак, — тихо процедил Баринцов.

— Полистал билет — четвертной на месте. Не успел он. Стал смотреть, куда побежал, — уже нет. Кровать где-то скрипнула недалеко, а где — черт его... Впотымах. В туалет пошел — там никого тоже нету. У дневального спросил — никто через проход вроде не лазил. Наш, наверное...

— Ну а кто? Кто? На кого хоть похож? Ты что, взвод, что ль, не знаешь? — разгорячился я, понимая, что раз я комсорг, то как-то реагировать обязан, не сидеть сложа руки.

— Ну, — ответил Коровин.

— Думай, Корова, думай, — настойчиво просил Баринцов. — Кто?

— Похож на Жусипбекова, — задумчиво проговорил Коровин.

— Жусипбеков? Точно он? — быстро переспросил я.

— Темно было, но вроде он.

— Вроде, вроде... В огороде! — разолился я. — Что мне с твоим “вроде” делать?!

К концу первого часа занятий у меня уже голова разболелась от сомнений. Ну а что вот делать?

— Олежа, не майся дурью, — успокаивал меня Серега. — Никто ведь не говорит, что Жусипбеков вор. Но разобраться надо. Слухи ведь все равно теперь пойдут. Так лучше — без слухов, чтобы аксакалы не нервничали. Собраться всем, честно поговорить лицом к лицу. Комсомольское такое собрание.

Серегу эта история сильно донимала — я даже удивился, как он разолился за пропажу своего тридцатника, хотя и мне, конечно, денег было жалко — два месяца все ждали, я хотел себе рубашку офицерскую под парадку купить, пока были в “Военторге”.

Собрание мы хорошо придумали провести, тихо остались в классе после самоподготовки, только Серега зачем-то старшину позвал. Старшина мне здорово мешал, но Серега думал, может, он “дождет” Жусипбекова, если что — мужик он крутой.

— У нас сегодня собрание, — просто начал я. — Иди, Коровин, сюда. Расскажи, что видел ночью.

Коровин вышел и рассказал. Адик Хасанов переводил для своих. Там сразу по-своему залопотали — обсуждают. Жусипбеков спокойно что-то ответил пару раз, плечом пожал — а может, и не спокойно — я по их лицам не понимаю.

— Нет. Не он, говорит, — перевел Хасанов. — Спал он.

Вот так и пошло это собрание — мне было скучно до смерти. Коровин одно и то же повторяет. Хасанов — другое переводит. Когда хоть на одном языке говоришь, можно что-то понять, по-человечески, что ли, почувствовать, а здесь что разберешь? Но я-то поступил правильно, все равно надо было разобраться.

Старшина не вытерпел и встал. Говорит:

— Коровин, ты точно видел?

— Вроде точно... — промычал Коровин.

Я кулаками лицо закрыл: черт с ними, пусть разбираются.

— Никто больше не видел?

Молчат.

— Никто?

Кто-то сказал тихо:

— Я.

Я глянул: Раскольников из-за стола вылезает и, не моргая, смотрит на старшину. Повторяет:

— Я тоже видел. Жусипбеков по кубрику ходил ночью. Баринцов быстро мне улыбнулся и головой качнул: видал? Узбеки по-своему лопочут, наши заволновались, слова уже нецензурные поползли, но старшина руку поднял и — тишина.

— Все равно, — говорит. — Это ничего еще не значит. Люди могут ошибаться. Не должен человек невинный за другого

страдать. И не волнуйтесь — вор сыщется, рано или поздно. Это точно. А то, что разобрались, — хорошо, но ошибаться в таком деле нельзя. Ждите.

Так и покончили.

Я Раскольников практически не знал — он во взводе только числился, а так целыми днями в художке сидел. Рисовал он сам плохо, но устроился холсты художникам готовить. На занятия по специальности еще ходил, а как физподготовка — сразу в художку. Я не знаю отчего, но считали его стукачом. Так бывает — всегда нужно крайнего найти. Вот увидят человека с замполитом раз или просто не понравился он чем-то, и решат: вот он — стукач. Это прилипчивая штука. Я ее всю службу боялся ужасно. Почему-то мне казалось, что и про меня могут такое подумать — я всегда в сторонке от массы был, на таких чаще всего и думают. Но, слава богу, крепко дружил я с Сергеем — он все недоумения против меня быстро развеивал.

А вот Раскольникову было хуже. Он тоже все время один был или с художниками — в художке они не только рисовали, но и в карты поигрывали на компоты или на “гражданскую” пайку из чайной, книжки читали, даже баб к себе через окно затаскивали — ну, не знаю, может, и не затаскивали, но во взводе так говорили. Да, вот еще почему решили про стукача: Раскольникову под конец лычку кинули — ефрейтора. Вот это тоже насторожило — ну за что ему-то? Службу ведь не тянет. Хотя что там в учебке стучать? Все вместе, и залетов особенных не было. Но ефрейторов вообще не любили всех. Говорили: лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор.

Вот так обстояли дела с Раскольниковым.

Собрание мы провели, пару недель прошло, и нужно было отправить в далекий сибирский Арединск двух солдат для несения службы в нарядах, без специальности. Этим Арединском пугали всех зашивонов и тех, кто слабо специальность тянул. Нравы там, говорят, были тяжелые. И среди этих двух отправленных

оказался Жусипбеков, не знаю, случайно это, нет. Он тоже не особо успешно занимался. Я сразу подумал, что ему там невесело будет. Мы же связисты — за ним по проводам и по воздуху полетело, кто такой из себя Жусипбеков и что там за история с ним была в учебке. Я тогда только понаслышке знал о жизни в “боевых” частях, но все равно подумал, что несладко ему там будет, — прямо не знаю, надо было это собрание проводить или нет? Но тогда подумал — ладно. Да и все наши были довольны.

Учебка прошла быстро. Все яростно обменивались адресами и клятвами, что через полтора года по дембелю, через пять лет, десять все как один соберемся, как штык, там-то и там-то, а старшина считал под нос платки и носки, ботинки, аттестаты...

Нас вывели на плац, и командир батальона кричал громко, что мы должны оказаться достойными высокой чести нашего подразделения, которое воспитало немало настоящих героев. Мы даже ростом станозились выше от этих слов.

Петренко присвоили младшего сержанта, мы с Баринцовым были довольны чистыми погонами и “чистой совестью”, как прибавил Серега. Народ стали партиями развозить по частям. В бане зашумели новые призывники — тоскливо мне было. Петренко с Серегой увезли раньше меня. Меня оставили разобраться с комсомольской документацией, характеристиками. Я знал, что скоро встретимся, что мы попали в одну часть, но все равно тоскливо, как-то время шагает так быстро, и вообще...

А за день до моего отъезда мне ефрейтор, что дежурил на радиоконтроле, сказал с улыбкой интересную новость: в Ардинске повесился рядовой Жусипбеков. Вот тогда мне стало не очень весело — сам не знаю почему. Ну что я в этой истории? Да ничего! Как комсорг — отреагировал, ну как по-другому я был должен сделать? На то ведь и комсорг, верно? И никто не знает, с чего он там повесился. Может, псих ненормальный. Ведь так? Бывает же такое?

Я вот ходил по пустой роте, все его лицо вспоминал — да они все похожи, только он почему-то самый жалкий, что ли, был, с гор откуда-то — мать, наверное, есть, ждет. Я еще подумал: а что думает мать его про такое место, как Ардинск? Вот странно: погиб человек — жалко мне его или нет? Наверное, нет — да я его и не знал вообще-то, он же по-русски — ни слова. Рота вообще вся разъехалась — никто о Жусипбекове и не вспомнит, и не узнает, что все, нет человека. А вот, значит, и я умру — всем тоже плевать? Да? Да. А ты как думал? Вот так живешь, живешь...

Закруглил я свою работу с документами, и в последний день старшина нас засадил чинить все, что можно чинить, и красить все, что не крашено. Нас человек семь со всей роты только и осталось. Мне красить не хотелось — я запах тяжело переношу, тошнит сразу, я пошел зашивать. Хожу по роте, гляжу, где матрас дырявый, светомаскировка истрепалась или в одеяле дырка. Стал перед обедом наволочку зашивать, перо кулаком подбил, чую: какой-то комок среди перьев, твердый. Достал — это пачка от лезвий “Жиллетт”. Разодрал ее — внутри пятерка. Вот такие дела.

Мои это деньги. Ни у кого таких лезвий не было. Мой бедный взвод все “Невой” да “Восходом” перебивался. Так-так, а чья же это коечка? Раз, два, третья, у окошечка вверх — нет, уж не помню. А... Петренко?! Подонок!.. Да нет. Он же все время снизу выпрыгивал по тревоге — или я пугаю? Да нет — точно, снизу, они же постоянно с Валиахметовым про шахты базарили — да и не мог он вверх спать, он же во взводе — старший... Так, а кто же здесь спал? Кого еще дневальный постоянно тряс за плечо до подъема — он же постоянно под утро сюда лазил, все еще говорил: “Вставай, вставай, художник”. Художник? Это Раскольников, это его кровать... Так, та-ак, вот та-а-ак вот... Жусипбеков, значит, ночью по кубрику ходил... И он это видел, подтверждает, видел...

Я за свою жизнь к тому времени человека ни разу не ударил. Я — человек. Но однажды в пустой, залитой январским жесто-

ким солнцем роте мне захотелось бить кулаками лицо, видеть кровь, синие кровоподтеки, раскрошенные зубы, бить ногами в мягкое, сквозь хрипы и стон, и говорить разные слова: мразь, падаль, тварь и другие, каких я отроду не произносил. Господи, да что тогда со мной творилось?

Я пошел вечером в комитет комсомола — подержал в руках учетную карточку Жусипбекова, посмотрел на его лицо. Я его совсем не таким вспоминал, другим. И мне почему-то уже не хотелось читать про него: откуда, что — мне это неприятно стало. Я отыскал карточку Раскольников, его анкету. Раскольников Игорь Петрович, год рождения 1964-й, в школе поручение было: ответственный за стенгазету. Мать — учительница. Отец на пенсии по инвалидности. Есть еще сестра, младшая. Ну и что дальше-то? Куда его отправили? Поехал туда же, где буду и я служить. Так-так, та-ак... Ну и что? Я искал в себе лютую злобу, вот ту, которая была всего лишь два часа назад, но никого нет из роты, никого уже не осталось, все разъехались, уже новые люди здесь будут спать на этих кроватях, уже завтра начнется новая жизнь, старшина покажет, как заправлять кровати и мотать портянки, и поперек этой жизни я стою, как дурак, — всем уже плевать на это, да и на что “на это”? На что? Где гарантия, что подушки не обменяли. Могли просто подкинуть — не такой ведь Раскольников дурак, чтобы забыть деньги, если они ему были так нужны, что красть пошел. Никто не подтвердит, никто никогда не докажет. Никому это не надо! Остаюсь только я — проклятый комсорг первого взвода.

На следующий день я уже не думал об этом.

Меня привезли в боевую часть. У казармы чистил снег Серега Баринцов, я радостно подошел к нему, обнял и спросил: “Ну как ты тут, братан?” У Сереги задрожали губы, и глаза вдруг сделались большими и дрожащими влагой. “Как... Увидишь...” — и он резко наклонился к лопате, и я видел только его спину — и больше ничего. Подошел будто постаревший

Петренко, оглянулся по сторонам и прошептал: “Все делай, но носки не стирай никому. Даже если будут сильно бить”. “Бить? — повторил я, как иностранное слово. — Как бить?” “Бить будут каждый день, — вздохнув, устало пояснил мне Петренко. — Но сильно — не часто. Говорят, сильно — только раза три за все время...”

Так началось салабонство — самая тяжелая, грязная, постыдная пора моей жизни.

Жизнь перевернулась за один день. В один день я узнал, чего я уже не могу, а что должен, — это было страшно.

В половине второго ночи я мыл туалет. Мыл третий раз — до этого мне два раза объяснили, что делаю я это плохо, и помогли это понять кулаками. И я не сопротивлялся. Вам сейчас этого не понять. И не надо стараться, если вы не знаете, мы — звери, мы — не люди. Натирая тряпкой пол, я раз за разом обходил чьи-то ноги, не поднимая головы, самое главное — не встречаться ни с кем взглядом лишний раз, это раздражает. А когда поднял укороткой глаза, уже выходя из туалета, увидел: это Раскольников.

Раскольников стирал носки, отвернувшись от меня.

— Раскольников, здравствуй, — сказал я ему.

Он испуганно глянул на меня и еле качнул головой.

— Как жизнь? — Я никак не мог заставить себя улыбнуться, ближайшее время улыбок не предполагало. Но я не мог уйти из туалета, который стал уже надежней, чем чужая, жестокая казарма с новым запахом.

— Как жизнь твоя, Раскольников? Хорошо? Не рисуешь тут, нет? А что тут будешь делать? Носки стираешь, да?

Он не оборачивался и все молчал, и это бесило меня.

— А сам ты откуда? — спросил я. Ну хоть что-то скажет же он.

— Я из Москвы.

— А-а... Это — столица. Москва — столица Родины... — бормотал и вдруг вспомнил: — А ты знаешь, Раскольников, друг мой, что Жусипбеков там вот повесился? А?

Он перестал стирать, сдвинув руки, но не повернулся. Я качнулся с места и пошел к нему, на ходу набирая голос:

— Да-да, вот так вот — повесился подонок и вор, вор рядовой Жусипбеков. Наш с тобой боевой товарищ, сослуживец. И я теперь очень хорошо понимаю, почему он повесился там, и ты теперь это тоже понимаешь... Осталось только понять, как поймет это его мать. А для этого надо просто представить, что это повесился ты и твоя мать — есть же у тебя мать, да? — об этом узнает... — Я схватил его за плечи и повернул к себе — он плакал беззвучно, открыв рот, у него дергалось лицо.

— А ты ничего не хочешь мне сказать, друг мой, про рядового Жусипбекова, а? Который греб там и за салабонство, и за то, что товарищей своих же обкрадывал... Ты ничего мне сказать теперь не хочешь? Ты подумай... Думаешь, нет? А я вот теперь об этом часто думаю... Хоть я... Мне ведь...

Больше я ничего не сказал — пошел спать.

Мне не очень радостно вспоминать про салабонство, если честно. Если коротко, то больше всех били Петренко — он был сержант и сильный. Поэтому, когда через полгода мы стали шнурками, я не обижался на него за зверства — я понимал Петренко. На что уж я получал меньше от шнурков, да и то иногда рука прямо сама размахивалась для удара.

Ведь это огромнейшая сладость — видеть перед собой существо, которое, если б было человеком, было бы сильнее тебя, старше или умнее; существо, которое дрожит, примечая каждый твой жест и выражение глаз, и оно замирает в немой мольбе и уже ждет в томительном предчувствии, что ты решишь сделать с ним, — ему все равно уже, лишь бы скорее, хоть внутри все же надежда — а вдруг отпустит, а ты видишь эту душонку всю, все ее наивные хитрости, попытки задобрить, отвлечь, жалкие надежды на проходящего офицера или близкий ужин, а ты держишь ее в своих руках с пьянящим чувством упоения собственной властью: ты можешь сейчас ударить, сильно или слабо, отправить



мыть туалет, покупать себе свежие газеты или выпить, потребовать спеть для себя песню — это сладость тем более острая, что ты сам великолепно помнишь себя в этой же шкуре, и ты презираешь ее за это и тем самым отвергаешь прошлое свое, себя от себя — это удивительно сладкое и горькое, тошнотворное чувство.

И поэтому я не осуждал и не осуждаю сейчас Петренко за то, что он зверствовал в шнурках, — это понятно.

Меня били меньше. Но меня очень не любили. Наверное, потому, что не понимали. Деда и шнуры чувствовали, что я даже среди салабонов держусь отдельно и что постоянно о чем-то думаю, кроме того, что говорю. В моем постоянном желании простить их, и забыть, и не понять своего унижения они видели лицемерие, и, верно, высчитывали, что на самом-то дне, конечно же, — ненависть, что может быть еще внутри салабона в первые три-четыре месяца, когда он глупый и службы не понял. Для них интерес был не в том, чтобы избить меня, а в том, чтобы унижить, заставить сказать что-то очень глупое, что-то сделать смешное — чтобы все стояли вокруг и презрительно усмехались. Все вместе они очень неглупые и всё понимают четко.

Серга Баринцов очень переменялся по салабонству — как-то сжался весь, сник, — хотя его трогали меньше всех, он всеми силами старался этого избежать и делал это как-то судорожно, нервно. Он почему-то больше всех боялся. Я ни разу не видел его улыбающимся. Он даже говорил редко и стал скрывать нашу дружбу. На третий день, когда во мне еще играла последняя дурь, я увидел, что Баринцова ведут на разбор в туалет. Я спрыгнул с кровати, оделся, как полагается на разбор: нижняя рубашка, брюки “хэбэ”, заправленные в сапоги, — и пошел тоже в туалет. Деда стояли ленивым кружком, а в центре торчал бледный Баринцов с воспаленным взором.

Я прошел и встал рядом с ним.

“А ты чего?” — спросили меня. “А так. Постою с вами”, — вежливо ответил я. Дали нам по морде двоим. На следующую

ночь на разбор поташили меня. Баринцов остался в кровати. Умный дедушка вернулся из туалета и спросил в тишине спящего кубрика: “Баринцов, а ты не хочешь сделать так, как твой друг вчера?” Баринцов спал.

На следующий день его подняли одного. И я не встал за ним.

Я очень жалел Серегу и помогал, чем мог, делился маслом, если его обсасывали. Давал иголки, подшивочный материал, немного денег. Все осталось с ним: практичность, расчет, хватка, хитрость, куда только ушла улыбка? И все остальное, но это кто знает...

А Раскольниково просто сломали. Начали с ефрейторской лычки. Ему ее спарывали с погон каждую ночь, а на следующий день били уже за то, что ему сделали замечание на разводе за отсутствие лычки. А когда его повели на первый серьезный разбор, он, эта худая, несчастная цапля, сделал то, что не прощают, — он отмахнулся: шмякнул неловко по лицу первого же, кто его ударил. Его поднимали после этого каждую ночь — уже на пятый день он стирал носки всем дедушкам и откликнулся на похабное слово. Даже салабонам запрещали называть его по имени. Он ходил по роте, как больной, он озирался и прятался на чердаке, и я понять не могу, неужели это не было видно офицерам, мы-то ладно, мы тоже еле таскались и вздрагивали, если кто окликал, но Раскольников был явно растерт и втоптан. С ним никто не садился в клубе рядом смотреть кино или в кубрике вечером, с ним рядом была беда. Специальность нашу он усвоил плохо, места художника здесь не нашлось. Некоторое время он слонялся по нарядам: в кухню и автопарк, а потом вдруг попал на самое теплое место в роте — на телефонку.

В нашем гарнизоне был военный институт, в нем был небольшой коммутатор — там ночью должен дежурить один солдат, чтобы не привлекать гражданских. Ночью звонков почти нет, и можно было заниматься чем хочешь: письма пиши, спи,

кури, живи, как дома, а днем в роте еще спи: это был рай на всю службу. Сюда Раскольников и попал.

Однако с ним была еще одна штука: может, кто привез это с учебки, может, решили именно после такого странного решения командования о переводе его на телефонку, что вдобавок ко всему Раскольников — стукач. Доказательств особых не было, кроме двух-трех крохотных встреч с замполитом, но доказательства никому и не были нужны.

Выбравшись на телефонку, Раскольников чуть распрямился, стал спокойней ходить — он мог слушать у себя на телефонке музыку, ходить в нормальный туалет, спокойно умываться и бриться. Ему институтские служащие говорили “вы” и подкармливали. Наверное, он там и отсыпался, потому что в роте спать было трудно. Каждый старался, проходя мимо его кровати, задеть ее, что-то громко сказать прямо над ухом или просто ударить в бок спящего — я не могу понять, как он выдерживал: лежать в кровати неподвижно по восемь часов с закрытыми глазами и каждую секунду вслушиваться в любой шорох, ожидать удара, ловить слова проходящих людей и в них постоянно видеть угрозу, и еще делать вид, что спишь, чтобы не бесить народ мыслями, что он может поспать и на телефонке. Я хотел даже у него спросить, как он выдерживает, но не мог — меня он боялся и избегал, хотя я никому не рассказывал про мысли свои, про те, которые в связи со смертью Жусипбекова. Некому было рассказывать. Та жизнь закончилась. В этой никому ничего не было надо, кроме спокойной ночи и неизбитой морды.

Уязвимым местом Раскольникова была столовая. Хоть иногда, но человеку все-таки хочется есть. Он был вынужден туда приходить. На глаза всему гарнизону — весь гарнизон знал его как стукача. При нем сразу барабанили ложками по столам, гоняли его без конца за кружками, тарелками, ложками, заставляли разливать чай и бегать за хлебом даже салабонам. Салабо-

ны тоже переставали его уважать. Ему ведь неплохо жилось на телефонке, а этого не прощают.

А я жалел Раскольников — мне все время казалось, что я тоже мог пойти по его пути, если бы что-то слепое раздавило бы меня, а не его. Будто мы не шинелями поменялись, а судьбами. Будто я вижу в нем себя, и он меня избавил.

Окончательно погубило его расслабление.

У каждого салабона поближе к приказу, к концу года службы, появляется расслабление. Не как протест — от этого и следа не остается, а как первая ласточка конца салабонства. Кто-то начинает втихаря копить стишки и фотографии для будущего дембельского альбома, кто-то качает мышцы на брусьях и турнике втайне от дедов, готовя свой авторитет для встречи будущих салабонов, а Раскольников вздумал звонить каждую ночь домой по служебному проводу.

Отец его — инвалид, днем имел возможность поспать, а по ночам чуть ли не по часу беседовал с сыном за государственный счет. Это дело открылось через бухгалтерию, уставшую платить, недели за две до приказа — ефрейтора Раскольникова вышвырнули с телефонки, а наша часть насовсем лишилась теплого места как не оправдавшая доверия.

Я подумал про себя: ничего страшного, самое страшное время Раскольников все равно отсидел на телефонке. Но я чуть ошибся.

За день до приказа роту подняли среди ночи на поверку — четыре шнурка из второго взвода отдыхали в этот момент в общежитии медучилища. Еще через двое суток эти счастливые ребята продолжали выполнять свой воинский долг в сибирском городе Ардинске, где снег тает в мае. Этот факт все связали с возвращением в роту Раскольникова, решили — стукнул он. На следующий день после приказа новые деды собрали самых авторитетных из новых шнурков, в том числе и Петренко, и объявили — для Раскольникова приказа не будет. Он продолжит жить как салабон.

На следующий день сержант Петренко послал на парашу ефрейтора Раскольниково, с которым полгода спал на одной “спарке” в учебке. Такие вот дела.

Так закончилось для ефрейтора Раскольниково его расслабление.

У меня расслабление было другого рода, я вроде бы как влюбился. На работу в военный институт каждое утро ходила ослепительная длинноногая блондинка. Она ходила всегда одна, с отрешенным, гордым лицом — ей вслед смотрело полгарнизона. Смотрел и я — лысый ушастый салабон с грязной шеей, обгрызенными ногтями и в штанах с отвисшими коленками. Наверное, в нее влюблялись салабоны поколение за поколением. Это мне сейчас так кажется.

Да у меня это и не любовь была, просто я смотрел на нее, и мне легче становилось внутри, вот и всё. Идет себе человек, и ты дышишь по-другому, и не так далек дембель, и жизнь проще и ясней. Ну, еще мечтал иногда по вечерам о разных глупостях с ее участием, врать не буду. Она красивая была и очень, очень... такая... женщина, что ли, всегда в тесных джинсах или юбке с томительным разрезом, она так шла, что у дежурного прапорщика на КПП шея сворачивалась набок. О моем расслаблении знали только Петренко и Баринцов. Серега работал пару дней на уборке в институте, все вызнал про нее и ночью прошептал мне, что зовут ее — Наташа, муж ее майор, детей нет. Мужа Серега видел, у него очки и скоро будет плешь. Имя какое — Наташа! Наталья.

Серега медленно, но уверенно оживал, отогревался, мы стали, как в учебке, болтать по ночам, и, хоть изредка, но появлялась на его лице счастливая улыбка.

“Ты вот что, — предложил он мне. — Давай купим бутылку, я узнаю, когда ее муж сутки дежурит по институту, и мы к ней — на квартиру. Возьмем увал и постучимся. Вроде как за стаканом. А уж там и посмотрим, что к чему. Действовать по

обстановке. Что ей за интерес за майором-то? Ты ж у нас Лобачевский будущий! И волосы отрастишь, вымоешься!”

Я хохотал, по привычке оглядываясь на кровати дедов. Мне хотелось совсем другого. Почти каждый вечер я рисовал себе, а потом и Сереге, одну картину: по дембелю я в парадке, с полной грудью значков — будут ведь у меня и значки к тому времени, — и покупаю двадцать один тюльпан, и встречаю ее утром на проходной, и в кармане у меня куплен билет домой, всё! И все крутом обалдевают. И я ей говорю: “Здравствуйте, Наташа, извините, бога ради, что я задержал вас, я хочу вам сказать, что полтора года служил в этой части и полтора года видел вас, хоть иногда. Я, быть может, нескромно смотрел на вас, простите. Знаю одно: я больше никогда не увижу вас в жизни, мой дом далеко, вы меня видите в первый и последний раз, но я хочу, чтобы вы знали, что полтора года вы были для меня символом всего самого светлого, чистого, святого. Вы помогли мне жить, выжить, сами не зная об этом. Когда я видел вас, я становился человеком и мог все. Спасибо вам”. И она будет грустно-грустно на меня смотреть, и рот ее будет как мак на ветру, и она, может, первый раз в жизни задумается: не прошло ли в ее жизни что-то мимо, может, первый раз в жизни подумает, что, может, зря были когда-то разорваны на половые тряпки алые паруса, и расстреляны мечты на перевалах быта, и прерван полет, и кончена песня — ну, в общем, всякая ерунда, которая лезет в голову салабону при расслаблении. А потом она скажет что-то такое, о чем думать страшно, или просто поцелует так быстро, или вдруг даст адрес, чтоб написать, если судьба еще приведет, а она приведет, когда я буду уже, ого, кем я буду тогда... Ну и так далее. Мы стали шнурками — мы разогнулись.

Мы стали улыбаться, жить. Все бы хорошо, да ночью меня позвали в туалет, и четыре дедушки укоризненно заметили, что, по их наблюдениям, я принципиально не припахиваю стул-кача Раскольников — что я могу сказать по этому поводу?

По этому поводу я молчал.

Тогда меня спросили: так может, я хочу присоединиться к Раскольникову, и ему будет все веселей? Нет, сказал я. Нет, я свое отпахал честно. А может быть, спросили у меня, я вообще салабонов припахивать не собираюсь и пальцем не трону? Нет, ответил я, нет, — салабонов я припахивать буду и мочить буду тоже, еще как... Разговор принимал затяжной характер, что ничего славного мне не обещало.

Тут в туалет зашли Серега Баринцов и Петренко и встали со мной рядом. Чего, шнурье, пришли, спросили у них. Ничего, сказали они, постоять, покурить, положено это нам по сроку службы. Ну-ну, сказали дедушки, живите, как хотите, шнурье вонючее, но чтобы Раскольников пахал и порядочек в роте был. Дедушки уползли, а Серега просто обнял меня, и я почувствовал себя счастливым оттого, что кончилось мое салабонство, что будет у меня все здорово, что есть на свете женщина с солнечным именем Наташа и солнечными, живыми волосами, что на дворе уже осень, и все остальное здорово.

— Дураки, — сказал нам Петренко, надув усы (шнуркам усы уже полагались).

Дни пошли быстрее. Нашего Раскольникова я видел редко, да и не хотелось его замечать — ничего отрадного в этом живом напоминании о близком прошлом ни для меня, ни для кого из новых шнурков не было.

Седьмого ноября на обед были апельсины в столовой, а рота встретила праздник массой веселых событий.

Среди ночи меня разбудил Серега и объявил, что, во-первых, ему присвоено звание ефрейтора; во-вторых, он и Петренко получили отпуск, первыми среди шнурков; в-третьих, у дыры в заборе пойманы с добытым на “гражданке” самогоном салабоны Ланг и Джикия; в-четвертых, ефрейтор Раскольников сломал правую руку, занимаясь на брусках, и теперь он в теплой и сытной санчасти.

— На каких брусках? — поразился я. — Да он никогда в жизни не пошел бы в спортгородок!

— В-пятых, — загнул последний палец Баринцов, — деды и шнурки считают, что сломанная рука — это все чепуха. Просто замполит хочет вывести стукача из-под ответного удара после результативной операции у секретной дыры.

Мне было страшно тоскливо, я бормотал:

— Господи, ну откуда Раскольников мог знать про дыру, он из туалета не выходит...

— Народ собирает специалистов идти в санчасть. Устраивать стукачу “темную”, — закончил новости Серега и скомканно добавил: — Я вот только сейчас из санчасти, с Серегой-фельдшером побазарили...

Баринцов был невероятно грустным. Мне казалось, что я понимаю его: отпуск дело хорошее, для шнурка вообще радость неслыханная, но вот как возвращаться после обратно, зная, что впереди еще целый год?

— Ну вот, — утомленно сказал Серега и с трудом вдохнул, — мы, значит, с фельдшером спиртику грахнули, и он мне рассказал... Он ко мне вообще уважение имеет. Он нашего Раскольникова... Раскольникова ведь Игорем зовут... Ты знал? Я — нет, вот так... Ну, вот он жалеет этого Игоря... Раскольников пару раз в санчасть ложился, помнишь, тогда, на День авиации? Да? Ну вот — это Серега его ложил. Он может. Он, говорит, и мне предложил бы в случае, если мне хреново в роте станет, но он посчитал, что я обижусь, посчитаю ниже... Ниже чувства собственного достоинства. Па-ра-ша! А замполит наш, он, видишь, мужик оказался-то не такой чурбанистый, как на вид. Он ведь, оказывается, все сечет, что с Раскольниковым в роте творится. Это мне Серега сказал, а ему — сам Раскольников, Игорь. И замполит обещал ему: через две недели я тебя переведу. В другую часть. От нас. Куда-то подальше, туда, где не связисты... А Раскольников, как мужичков у забора накрыли, при-



бежал в санчасть и Серегу просит: я хочу руку сломать, чтобы продержаться в санчасти эти две недели...

Баринцов был не сильно пьяный, но рассказывал с длинными паузами, сопя носом в тишине и часто морща лицо.

— Серега-фельдшер, он, видишь, тоже мужик оказался, Серега ему укол обезболивающий сделал и говорит: иди, ломай! Если что не выйдет — про меня ни слова. Посадят. Наш Раскольников, идиот, стал руку свою бить об угол дома. Сам бил! И ни хрена, синяк набил, а рука, как деревяшка, отскакивает, да и всё. В спортгородок побежал, в шведскую стенку руку совал, чтоб переломить — не может. Он опять к Сереге пришел: ну а что теперь делать? Серега сажает его в нашу “скорую” и везет в травмопункт — там его парень знакомый, он его уговорил гипс наложить, и хорошо... Вот так-то, братан, жизнь вот...

Он глянул себе ноги и сдавленно сказал:

— А я домой еду. Мне отпуск.

— Да, — сказал я про Раскольникова. — Это просто судьба.

— Судьба, — повторил за мной Серега и странно спросил: — А у тебя? А у меня? А?

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что надо немедленно что-то ответить, и неестественно весело произнес поскорей:

— А у нас что... У нас — все еще впереди.

Баринцов снял ремень и стал расстегивать “хэбэ”, погладил ладонью грудь, почесал бок и опять поднял голову:

— Но ведь этот хиляк — он ведь один смог отмахнуться — он! И ты помнишь, тогда в учебке многие, наверное, видели, как эта гнусь Жусипбеков по карманам лазил, но ведь сказал-то только Раскольников. Ты помнишь учебку, а?

— Я помню, — ответил я. — Я все очень хорошо помню. Иди, братан, пора спать. Все хорошо. Все закончилось плохое. Мы выдержали — как настоящие мужики... И всё.

Серега хмыкнул и потом уже улыбнулся мне:

— Пожалел волк кобылу... Оставил хвост да гриву.

И он пошел от меня, помахивая ремнем, накрученным на правую руку, отвесил щедрую затрещину случившемуся навстречу салабону, возвращавшемуся с уборки туалета, и засмеялся чужим, дребезжащим голосом, и вдруг сказал на всю казарму:

— Вот я шнурок. И я до сих пор не могу понять, что я никому ничего не должен.

И раздался звук, похожий на судорожный всхлип. Слава богу, все спали. Только припозднившийся салабон перепугался насмерть.

Сергея все-таки перебрал спирта в тот день.

А мне в голову пошли вереницей мысли, простые и серые, как заборные доски, одна за другой; а ведь я много уже прожил — минимум треть своего, отведенного мне, и все, что было со мной, останется неизменным до самого конца, не забудется — вот это и будет моя жизнь. Ничего другого на этом месте уже не вырастет. Только это и только так. Интересно, странно, страшно.

Сергея уехал в отпуск.

Рука у Раскольниковова срослась через две недели. Его, по моему, ходили бить два раза, но не получилось, что-то мешало, просто грозили в окно. И прямо из санчасти его перевели в отличную часть другого рода войск — там, говорят, дедовщины не было, но за малейшую провинность вся часть бегала кроссы вокруг казармы. Это был рай для салабонов и тюрьма и каторга для шнурков и дедушек — все, короче, наоборот, и выходит, что одно и то же.

Мне почему-то хотелось увидеть Раскольниковова на прощание, но не пришлось — его увезли втихую, быстро, до завтрака. А только странно — мы ведь с ним ни разу не говорили, кроме той салабонской ночи, самой первой, в туалете, но мне все время казалось, что он постоянно думает про меня и знает, что я думаю про него. Ну вот, подумал я, расстались, отмучился. И слава богу. Но я опять чуть ошибся.

Он вернулся к нам летом. Я вот только забыл когда — в конце июля или начале августа, вот так где-то. Тогда уже настала для нас жуткая скука — все деды страшно скучают. Ничего внутри уже не остается, кроме тоски по дому. Тоски, знаете, не обычной такой, не по квартире или друзьям, бабам или магнитофону. Тоски по другой жизни, и не разберешься — то ли это тоска, то ли ненависть к тому, что уже осточертело. И каждый дед в эту пору бесится по-своему.

Коровин вдарился в загулы и пьянки, на гауптвахте его называли уже по имени-отчеству и берегли именные нары. Игоря Петренко под конец службы подстерегла невеселая весть от его бабы — что-то вышло у них не так, и Игорь теперь то зверел, как свежий, намучившийся шнурок, то спал в любую удобную минуту. Я стал врубаться старательно в службу, получил младшего сержанта, дали мне в подчинение отделение. Показатели у моей смены на боевом дежурстве были лучшими в роте. На День авиации я сдал на первый класс. Короче, старался, как мог, рвал изо всех сил, чтобы уйти домой раньше всех, в заветной “нулевой” партии на дембель. Это было трудно, в нулевке всегда только три места, причем одно из них изначально закреплено за водителем командира части. Да я еще политинформации читал, наострил-ся выступать на общие темы на комсомольских собраниях и перед субботниками. Замполит вроде меня оценил и пару раз приглашал на деликатные разговоры, когда в роте было пустынно, но я вежливо отказывался с улыбкой — подальше от греха.

Когда моя смена отсыпалась перед ночным дежурством, я забирался в ленкомнату листать ветхие подшивки газет и поглядывал на тротуар, по которому ходила на работу и обратно красивая жена очкастого майора Наташа. Я выдохся немного и стоять караулить ее на улице уже было лень, но смотрел по-прежнему, в ее походке и величии мощного, сильного тела было что-то обещающее потом — и ведь живет кто-то с такими женщинами, занимается с ними любовью, эх, даже обидно как-то.

А Серега Баринцов бесился меньше всех, он стал совершенно прежним лениватым, румяным, потолстел, он был вылитый кот и игрался во все, что хотел: наводил внезапные гонения на салабонов, разыгрывая настоящие трагедии в лицах, дергал без устали шнурков, обвиняя их в несуществующих провинностях и упущениях по службе, облазил все кинотеатры, посетил общагу медичек с Коровиным, после чего я весь вечер смеялся до слез, когда он рассказывал про это дело. Вечерами мы подолгу трепались. Я для компании приглашал со второго яруса салабона Васю Смагина по кличке Членкор. Вася был писарем, печатал про нашу часть заметки в окружной газете и знал массу интересных вещей. И вот как-то в июле или августе Баринцов мне сказал, что привезли обратно Раскольниковов. Я как раз вставал с кровати — отсыпался после ночной смены. Намотал полотенце на шею и пошел к канцелярии. И правда: стоит у стенок совсем белый, печальный Раскольников со свежим синяком под глазом и вещмешком за плечами. На меня только покосился. А напротив него топорщит уже свои грозные усы Петренко и спрашивает ласково и обещающе:

— Ну что, Раскольников... Там лучше было?

Васька Смагин, сшивавшийся при канцелярии, рассказал мне достоверно, что там приключилось у Раскольниковов. Он заболел легкими, и его отправили на месяц в Тамбов — на целый месяц! То ли он там столько лечился, то ли просто отирался, упрасивая главного врача, не знаю. Обратного из госпиталя его проводили одного. На прощание сказали: будешь ехать через Москву — сдай анализы в нашем филиале и пришлешь нам потом результат, мы глянем — здоровый ты или еще нет, может, обратно придется класть. Он анализы в Москве сдал, а результаты должны были быть готовы только на следующий день. И он решил ждать, хотелось, наверное, опять в больницу залечь, надеялся. А отпускной у него уже оказался просроченным. И он, вместо того чтобы дома отсиживаться, торчал, как столб, на Павелец-

ком вокзале. Там его патруль и замел. Подержали сутки в Алешинских казармах и отфутболили в часть. Отличная часть, испортив себе столь серьезным нарушением всю годовую отчетность и перечеркнув все надежды на успехи в соцсоревновании, совершила увлекательный марш-бросок с полной выкладкой. Актив части от имени благодарной общественности поставил Раскольникову синяк под глазом на память, а командование волевым решением избавилось от паршивой овцы — вернуло его нам.

После обеда мы зашли в чайную посидеть. Тут к Петренко подкралась делегация шнурков: Ланг, Джикия, Вашакидзе, Коробчик.

— Игорь, — осторожно начал Ланг. — Пусть Раскольников пашет. Он же на нас стучал, как щука. Своих закладывал. Он всю жизнь где полегче искал — пусть хоть сейчас узнает, какая служба есть.

— А мне это как-то так... — просто сказал Петренко. — Пусть пашет. Лишь бы мне через это дембель не обломили.

Игорь очень волновался за свой дембель — он тоже метил в “нулевую” партию и мечтал получить “старшину” по дембелю.

— Так, ну а ты что надулся, Олежа? — спросил меня Игорь, неприятно сморщившись. — Не нравится? Но ведь он и правда все время пахать не хотел. Все как-то по-другому хотел, а? И шнуры все равно бы его достало, как бы я им ни сказал...

— Бичи, давайте еще “пепси” возьмем, — улыбнулся примирительно Серега Баринцов. — Помянем душу ефрейтора Раскольникова.

Я быстро потом успокоился. Сильно бить Раскольникова не стали. Шнурки придумали хитрее — Раскольникова припахивали салабоны. Им говорили так: “Иди попроси Раскольникова помыть туалет. Не пойдет — сам будешь мыть и по лбу получишь”. Это было зверски смешно, когда весь испуганный и затюканный салабон Курицын подходил тихонько к дедушке Раскольникову и начинал лепетать: “Там в туалете... Может,

поможешь, а? Помоги...” Раскольников сильно краснел, пытался отвернуться и что-то делать: разбирать свою тумбочку под строгими взорами наблюдавших это дело шнурков, бормотал, что уже сегодня помогал и не может именно сейчас, а Курицын тупо ныл: “Помоги, а?” И так долго, шнурки уже начинали что-то шипеть, и Раскольников, сгорбившись, шел, а за ним, еще больше сгорбившись, крался салабон Курицын, озираясь по сторонам, — ничего ему за это не будет, еще не кончилась эта странная затея дедов и шнурия?

Это был настоящий спектакль. И салабоны потихоньку смелели. Говорили мне, что даже стукнул кто-то из них нашего ефрейтора — и на это деды смотрели сквозь пальцы.

Историй смешных с ним приключалось полно. Вот однажды Раскольникова старшина положил спать на свободное место Вашакидзе — у Раскольникова постоянного места не было. Ночью из рейса приехал друган и дразнитель нашего каптера Вашакидзе — кардан Коробчик — и первым делом отправился будить своего товарища. Раскольников всегда спал, укрываясь с головой, скорчившись как-то на бок, будто пытаюсь пропасть в этой кровати.

Коробчик уселся осторожно на кровать, но Раскольников наверняка сразу же проснулся и с замершим сердцем ждал, что его ждет: работа, “темная” или просто какая-нибудь ласковая шутка бессонного дедушки. Коробчик осторожно прицелился пальцами и схватил через одеяло предполагаемого Вашакидзе за нос — Раскольников решил, вероятно, что настал его конец: он взметнулся, как ошпаренный, и прямо с одеялом выскочил на середину прохода, немного взвизгнув. Коробчик остолбенел. Ему даже как-то неловко стало.

Мы с Серегой лениво смеялись. Вася Смагин рассказывал нам про американских президентов — нам что-то не спалось.

Вася был интересный парень. Он всегда ходил с доброй улыбкой, не отказывался, если дедушка просил подписать ду-

шевно и красиво открытку или девушке письмо накатать с любовью и тоской. Он к каждому дедушке подходил найти умел — то про дом расспросит, про работу на гражданке, личной жизнью поинтересуется — и слушать так умел, что казалось, что именно это Васю в данный момент волнует больше всего на свете. Я в свое время тоже так прожить пытался, но у меня как-то через силу выходило, слишком ненавидел, а у Васи как-то легко. Деда его немного оберегали, и если получал, то тайком от злящихся на него шнурков, я даже не знал, как они позаботятся о Васе, когда дембельнемся, — простят ли...

И что поражало в Васе, так это его странная манера: он как-то очень подробно интересовался, кто каким был по салабонству, кого сильней били, кто пытался подлизываться, как ломают людей, кто с кем дружил и как, кто каким шнурком был, и из какого салабона выходит авторитетный дед, и что такое вообще авторитетный дед. Я сам после этих вопросов стал как-то задумываться. Но вот что он, интересно, подумал, когда узнал, что Петренко, Баринцов, Раскольников и я — из одного взвода в учебке, и я там был комсоргом? Вот что при этом было в его голове? Уж больно он задумчивый был, когда про это расспрашивал. У меня при этом ничего в голове не было.

И когда Вася увидел сцену Раскольникова с Коробчиком среди ночи, у него вырвалось вдруг:

— Какая страшная судьба...

— У кого? — переспросил я. — У Раскольникова?

— Да.

— Почему это? — глухо спросил Баринцов и подтянул одеяло повыше, его лицо было в тени.

— Парень стучал на своих. Парень теперь гребет за это, — вздохнул я. Когда я говорил с Васей, у меня всегда было ощущение, что говорит во мне кто-то другой.

— Ничего страшного. Не страшней, чем у каждого, — добавил из темноты Баринцов.

## Мемуары срочной службы

Вася быстро и готовно согласился, кивнул и продолжал говорить про то, как убили президента Джона Кеннеди. Он умел быстро забывать свои слова и менять темы разговора, так и не поймешь толком, что же он хотел сказать. Потом я как-то мельком увидел, что Вася подходил к Раскольникову и о чем-то его коротко спрашивал, и с болезненным интересом разглядывал нашего ефрейтора, не особенно приближаясь к нему, будто зная о смертельной болезни своего собеседника. Вася был очень похож на меня. Это меня и тянуло к нему.

Скука скукой, но все шло спокойно.

Зато после приказа все как с цепей посрывались. Ветеранам стало уже невтерпеж, по роте поползли слухи, кто в какую партию запланирован домой и кто чем этого добился: кто стучал замполиту, кто рвал задницу перед старшиной, кому поставлен какой дембельский аккорд — то есть, что надо сделать, чтобы отправиться домой не тогда, когда с неба повалит снег, чем пугали зашивонов. Те, кто уходил позже, стали ненавидеть тех, кто уходил раньше. Если и раньше особой дружбы не было, теперь вообще волками стали глядеть друг на друга. И поэтому все осточертело еще больше.

Через десять дней после приказа командир перед частью объявил, что в “нулевку” идут трое: его водитель, старшина Петренко и младший сержант Мальцев — я, то есть. И мне стало покойно-покойно — вот и все, все закончилось. Я стал по вечерам тщательно готовить парадку. Я стал думать, когда прощаться с красивой женщиной Наташей — женой майора. От салабонского упоения следа не осталось, но цветы подарить и слова те самые сказать хотелось.

Баринцов ржал надо мной:

— Я же говорил — какие цветы?! Надо было пузырь и — прямо на квартиру, вперед в атаку. Что ей с цветов? Ей знаешь чего надо, а? Ей, может, с солдатом и поинтересней. Для экзотики, ха-ха...



А вот мне так хотелось. Рассказал про свой план Ваське Смагину. Ваську не поймешь — улыбнулся и промолчал.

У меня голова иногда как будто кипела: впереди — институт, ребята, девчонки — ух, держитесь, девчонки, выбирайте из себя самую красивую и загадочную, чтобы волосы длинные и волной, да и те, кто похуже, не тужите — и на вас хватит! И я буду солидный, спокойный, мужественный, настоящий мужик! И жизнь простая и понятная основательно, так!

Вам этого не понять.

Даже мне сейчас трудно это понять. Как я жалею, страдаю, что прошло, делось куда-то, истаяло то ощущение легкости, оторванности, когда понимаешь и говоришь всем: люди, мне на все плевать — как я одет, что про меня скажут вслед, что придется мне есть и придется ли, сколько у меня денег и что вокруг — мне плевать! Самое главное, я иду, куда хочу. Я сплю, сколько хочу. И мне плевать на всех вас, на всех и каждого!

А ветераны бесились, и это закончилось плохо.

За неделю до ухода “нулевки” четверем ветеранам, пославшим за водкой духа Швырина, пообещали продолжить службу до белых мух. Среди великолепной четверки оказался и Серега Баринцов — он сразу почернел лицом и стал засыпать лицом вниз. Про водку кто-то стукнул. Сомнений в том, кто — не было. Ночью Петренко с двумя ветеранами устроил “темную” Раскольникову. Тот не пытался сопротивляться, когда его, завернутого в одеяло, тащили по проходу, пиная ногами, в тишине казармы был слышен только тихий скулеж, будто животного. Петренко особо не прятался. Он громко сказал: “Не вздумай, падаль, повеситься. За твою паршивую душу попасть в дисбат охотников нет. А стучать можешь, гнилье!”

Раскольникову немедленно положили в санчасть — у него было много сильных ушибов и легкое сотрясение мозга. Командование объяснило это падением с лестницы. Петренко ждал с минуты на минуту, что его “нулевка” накроется, но бы-

ло тихо. Раскольников промолчал. Или командование поняло, что если тронут еще кого-то, то Раскольникова вообще убьют.

Мне было очень жаль Серегу Баринцова — он резко увял, лежал часами, смотря над собой, внешне спокойный, будто ждущий срока своего со смирением.

— Ничего, — говорил он. — Все равно мы дома будем.

“Нулевка” уходила в понедельник, рано утром. В пятницу я купил у гарнизонной старушки двадцать один тюльпан и ждал утром у КПП Наташу.

Она шла одна. Как я и хотел. Как и мечтал эти полтора года. Она смотрела поверх всех, надменно сжав губы, она будто плыла над всеми, сквозь всех, не меняясь гордым лицом, она шла, будто нес ее ветер, что дул в спину, вот так она шла, выставляя белые тягучие ноги в разрез плаща. И была все ближе, и рядом, я как толкнул себя:

— Извините, — напряженно начал.

В спину мне устался весь наряд на КПП. А она даже не поняла сначала, что это ей сказали, она чуть даже прошла мимо, но тут, нахмурившись, покосилась на меня — это ей? Нет?

— Извините, — повторил я, как заведенный. — Я вас задерживаю, извините...

У нее было вежливое, спокойное лицо, в которое я не мог заставить себя взглянуть, от нее пахло духами, я заканчиваю службу, у меня потная ладонь, в которой цветы, как ей сказать это больное, томительное все...

— Вот. Возьмите, пожалуйста. И спасибо вам. — Я попытался протянуть ей букет.

— Что? От кого? Кто вам сказал? Знаете, что ему скажите... — неприязненно вздохнула она, сдвинув выщипанные брови к переносице.

— Нет! Это — только от меня. Да и от всех, я хочу... Спасибо!

— От вас? Вы подождите, за что спасибо-то? Что вы волнуетесь так. — Она поглядывала на букет, как на грязного котенка,

а у меня было ощущение, что я падаю в нее, прямо в это прекрасное лицо, невероятно живой поворот головы и единственный голос, который будто говорит то, что было когда-то твоим.

— Это вам за красоту, — ляпнул я. — Возьмите, пожалуйста. Не обижайте меня, — добавил вообще жалко, даже самому стало стыдно, и все совал ей букет.

— Ну, хорошо, хорошо, — быстро проговорила она. — Я возьму. Давайте с вами так договоримся. Мы цветы отдадим этим ребятам на КПП — пусть они тут поставят, сюда на окошко. И всем, кто будет проходить, будет приятно, вот так... Хорошо, да?

— Да. Так, — кивнул я, вздрогнув оттого, что почувствовал касание ее тела в мягком движении, которым она взяла букет.

Она сунула букет усатому прапорщику в руки, тот еле сдерживал ржание, дежурные за окном вообще стонали от смеха в голос.

И тут из черной “волжанки” высунулся черноволосый холерный старлей — адъютант институтского генерала:

— Наташа, поедем? Нет?

Он отпустил шофера величественным жестом и подошел к нам.

— Цветочки? Кто дарит?

— Да вот, — протянула Наташа свою белую руку, похожую на лебединую шею, в мою сторону. — Мальчик вот этот... Говорит, за красоту. — И она коротко усмехнулась.

Я поднял лицо — вокруг ее глаз были видны морщины.

— Ва-енный? — протянул адъютант, насмешливо приподняв брови. — Это ты, что ль? Ведь ты, наверное, месяц деньги копил? Да какой месяц, полгода! Да? Ну, ты чего стоишь? Шаг-гай давай. На чем хоть сэкономил? На подворотничках? Да у тебя и сейчас подшивочка-то... да-а, шейку не моем?

Наташа вдруг откинулась назад и захохотала чужим, крикливым голосом:

— Отстань от мальчика, он помоеется!

— Давай иди, — отпустил меня старлей по-хорошему. И он отвернулся, а я стоял, я не мог понять, как люди ходят.

Старлей даже рад был этому и зашипел мне:

— Товарищ солдат, вы что, ходить разучились? С тобой что, позаниматься?

И тут я улыбнулся прямо в его холеную морду. Господи, да ведь уже всё, всё!

— Позанимайся!

Наряд на КПП открыл рты.

— Что-о?! — завопил старлей. — Какой части? — Я с лету назвал пять цифр, которые старлей немедленно записал в блокнотик, и заорал еще: — Я тебе настроение испорчу, сынок, шагом марш отсюда! -- И он толкнул меня в плечо.

Вот этого не надо было делать.

Я шагнул назад и снизу с наслаждением ударил кулаком в его красивое смуглое лицо, по электрическому звонку в шесть утра, по одинокому куску сала в картошке, по портянкам с синеватыми разводами, по мордам, мордам, мордам и маминному голосу из белого конверта, по ушедшей жизни и растоптанному внутри, по двадцати одному тюльпану, которые получают ночные проститутки, подползающие к КПП после двенадцати, по себе, по тому, кем я никогда уже не буду.

Старлей вскрикнул, отшатнулся и стал ловить дрожащими руками свою фуражку — у него было удивительно глупое лицо. Наташа застыла с какой-то брезгливой гримасой, обезобразившей до неузнаваемости ее лик, но мне некогда было всем этим любоваться и разглядывать детали — я бежал вдоль забора, мне надо было преодолеть забор в глухом месте и успеть на построение — впереди меня ждало последнее дежурство.

После построения я сразу же рассказал все Сереге.

— Чепуха, — отрезал он и усмехнулся. — Не найдут. Чего тебе бояться, нет времени, чтобы тебя найти, два дня осталось, Только не трепись сам — отвел бы меня в туалет, там бы и рассказал, а то встал посреди казармы... Молодец, короче. Повидал свою любовь. Два дня всего!

На смене я совершил немало смешных вещей — просил прощения у свежих шнурков, одарил значками Ваську Смагина, приехавшего оформлять стенды смены, пронес на себе до туалета Курицына, я был в запале каком-то, гасил его — ходил по мокрому осеннему лесу, глазел на сосны, клены, остатки синего неба в истрепанных облаках, как ключьях тополиного пуха, я прощался и расписался кирпичом в туалете: “Осень 1983 — осень 1985 г.”.

— Мальцев! — позвал меня с крыльца дежурный по связи. Я прошагал за ним в комнату личного состава. За столом сидел командир части в шинели, замполит, слева стоял старшина и мой адъютант с натянутым лицом.

— Этот, — просто сказал адъютант. — Спасибо, что нашли. Лихо!

— Ну вот так давайте решим, — сказал командир, будто не видя меня. — Сейчас на дежурной машине в роту — собрать вещи, освидетельствовать состояние здоровья и пять суток на гауптвахту. А там видно будет. Хорошо?

Старшина посмотрел мне прямо в глаза и свистящим шепотом добавил:

— Когда снег пойдет — тогда ты маму и увидишь.

В роте я обнял Петренко — больше я его никогда не увижу, он уходит завтра. Махнул головой Баринцову — он меня дождется.

Сергея строго сказал мне:

— Мы найдем эту сволочь. Он пожалеет, что родился, этот стукач.

В санчасти фельдшер Серега проверил мое давление и, когда сестра вышла, спросил:

— Хочешь, завернем твою “губу”?

— Нет.

— Чего зеленый такой? — спросила насмешливо медсестра. — Не уходи, посиди еще на лавочке в коридоре. Я тебе хоть витаминчиков принесу. Хулиган.

Сопровождавший прапорщик болтал с медсестрой про какую-то Светку, а я вышел из кабинета, пошел к окну — я хотел посмотреть вниз с четвертого этажа. Окно было раскрыто, на подоконнике в синей пижаме стоял Раскольников и заделывал замазкой щели на растворенной раме — скоро зима. У него было странное лицо — светящееся каким-то покоем под синим небом. Я шел к нему нескорым шагом, а когда дошел, схватил его за обе ноги и, упираясь плечом, стал вытеснять его затрясшееся тело на гибкую жуть подоконника.

— Ты что? — страдал он. Но не кричал — стонал.

Баночка с замазкой звякнула осколками вниз, за ней из его рук, вцепившихся в меня, выпала отвертка.

— Скажи мне, падла, или я тебя убью! Это ты на нас стучишь?! Это ты, гнус, нас закладываешь? Скажи мне, тварь, или я убью тебя! — Я говорил спокойно — голос мой был глухой.

— Ну!!! — Я дернул его изо всех сил.

Он закричал:

— Ну, я! Я!

Я замер, разжал руки, и он повалился прямо на пол, он не мог стоять, у него дрожали колени, он обхватил их руками и прятал свое безумное лицо.

— На витаминчики, солдатик, — позвала меня из кабинета медсестра.

После “губы” я вернулся спокойный, как лед. Я понял, что ничего у меня уже не будет.

Сергея был на смене, и, дожидаясь его, я стирал “хэбэ”, черное после работ на “губе”, сдал в каптерку парадку, которую готовил к дембелю, — чьи-то умелые руки свинтили эмблемы и вытащили пластмассовые вставки из погон — ладно.

Смена выпрыгивала из машины, кардан Коробчик послал какого-то салабона за горячей водой. Я стоял у крыльца, меня все обходили.

— А где Баринцов? — спросил я Смагина, вытаскивавшего из кузова какой-то транспарант.

— Баринцов дембельнулся, — осторожно улыбнулся мне Смагин. — Он же в “нулевке” ушел.

Я отвернулся и прошел несколько шагов в сторону по черному асфальту. Смагин настойчиво добавил:

— А ты помнишь, он ведь и отпуск первым из шнурков получил. Раньше всех, да?

Он очень ждал, каким я обернусь к нему, и удивился, увидев мою улыбку. Ну и что... Какая разница.

Полтора месяца я ходил через день в наряд по кухне вместе с духами и салабонами. Последний наряд был в конце ноября за день до дембеля.

— Олег, там тебя зовут, — сказал салабон Швырин и неопределенно махнул головой.

Я обтер руки о засаленный фартук и вышел из мойки на сырой ноябрьский простор.

Это был Раскольников в парадке и с чемоданчиком.

— Это я, — сказал он.

Я кивнул — это понятно.

— Я хотел тебе сказать, что...

— Это понятно, — сипло сказал я. — Я знаю.

Нет сини в ноябре. Небо, как снег, на котором хозяйка выбила пыльный ковер.

— Ну, что ты стоишь? — спросил я у него.

Он повернулся и ушел.

Замполит позвал меня к себе, когда документы были уже на руках и можно было ехать.

— Ну, Мальцев, что делать собираешься после дембеля? В институт? Не забыл математики? За что примешься?

— За жизнь, — пожал я плечами.

— Слушай, Мальцев, — сказал замполит запросто. — Не едь к Баринцову. Ну, ты ему морду набьешь или он тебе набьет — что толку-то?

## Мемуары срочной службы

— Да, — сказал я. — Конечно.

Дома я был на третий день. С вечера хмарило небо — оно темнело, как свежий асфальт. Мать стелила постель и плакала, включив воду в ванне. Отец сидел, положив тяжелые руки на стол, и смотрел на горлышко бутылки — всё.

— Ленка Звонарева выросла-то как. Ты и не узнаешь, — сказала мать, пронося в комнату подушки. — Такая, прям, ста-ла...

— Ну а ты теперь что? Сразу в институт? Или съездишь куда отдохнешь? Или к другу-приятелю. Я вот в пятьдесят четвертом после демобилизации, это тогда еще Египет начал...

— Сразу в институт.

Я вышел подышать во двор. Сильно холодало. Мимо прошли две девицы и громко засмеялись в подъезде, зашептав: “Мальцев уже вернулся”.

Мальцев — это я.

Я лег спать — как головой в колодец.

Рано в шесть утра я проснулся, смотрел на потолок, потом встал, напился воды и подошел к окну.

Мать смотрела мне в спину. У этого окна она ждала меня.

Небо устало прогибаться над грязью и черными трепетными ветвями. Незаметно, густея на глазах, кружась, переплетаясь, полетел вниз первый снег — легкий, пушистый, сразу тая внизу, как прозрачная сеть покрывая все, как косые мягкие пряди любимых волос, колыхаясь на ветру, — шел снег.

Я постоял, посмотрел на снег и пошел спать дальше.



# Без тебя

Случай

**З**а полтора месяца до дембеля сержанту Петренко перестала писать девушка. Петренко курил себе в туалете и глядел в окно: за окном был мрак, и только согбенные над бетонным забором фонари брызгали, как душ, патлатые струи рыжего света.

“Паскуда, какая паскуда, — сказал себе под нос Петренко, старательно плюнул в раковину, проводил взглядом серебряный плевок и тогда вслед добавил: — Падла”.

Казарма уже отдала Богу души, кто-то даже храпел самым похабным образом, вызывая нервные скрипы соседа внизу. Наконец тугая подушка совершила стремительное путешествие к голове храпуна, в покое шевельнулось сонно матерное слово, и неспавшие успокоенно крякнули кроватями в благословенной тишине.

— Баринцов, — позвал Петренко. — У вас все на месте?

— Что я их, порю, что ли? — буркнул с деланой грубостью Баринцов, отвлекшись от душевной беседы в углу кубрика с писарем Смагиным, и добавил что-то еще вполголоса, вызвав сдержанное ржание соседей.

“Вот паскуда, а?” — подумал Петренко уже спокойней.

— Коровина нет и этого духа... Пыжикова, — ответил наконец Баринцов, поудобней усевшись в кровати. — Коровин никак бабу из автопарка не выведет.

— А Пыжиков?

Баринцов значительно повел головой и пропел:

— А они изволят письма жечь. У них неудачи на личном фронте.

Петренко прошел мимо дневального и стал неторопливо спускаться вниз, вслушиваясь в голоса у выхода: визгливый голос Коровина был, наверное, слышен всему гарнизону.

— Такая баба... Я ее раздел — она только “ку-ку” сказала... И все. Слава богу, что Коробчик машину не закрыл, в кабине хоть ноги торчат, а все теплей, а то пришлось бы на снегу зад морозить.

Петренко прошел совсем тихо, даже приостанавливаясь на каждой ступеньке. Он четко слышал каждое слово.

— А что... Петренко же на снегу порол. Я думал: врут. Ходил специально посмотреть, и правда: на снегу — зад и две колени, прямо под домом, жильцы небось охреневали, я торчу...

Коровин примолк, видно, затянулся сигареткой; плутающий, нервный голос Пыжикова спросил:

— В-валер, а вот как ты начинаешь?

— Чего? — не понял Коровин.

— Ну вот, с бабой чтоб... Ну, чтоб она поняла, если не пьяная.

— Да ты что, братан, мальчик, что ли? — захихикал Коровин.

— Да ты что, охренел, хлоп тать, — громко зашепшил Пыжиков, и Петренко поморщился, покачиваясь на носках на последней ступеньке. — Мне просто интересно.

— Ну что, — Коровину, видно, уже совсем хотелось спать, и он зевал. — Это само как-то, так...

Петренко прокашлялся совершенно без нужды и вышел на крыльцо.

Коровин трогательно приподнял в знак приветствия лихо задвинутую на затылок шапку и показал зубастую, как кукурузный початок, улыбку.

Пыжиков только покосился и помрачнел.

— Не спится? — участливо спросил Петренко у него и тяжело, рукой направил к двери. — Шагом марш в кровать!

Пыжиков, не смотря на него, выдернул плечо из-под его лапы и враскачку шагнул к двери, длинно сплюнул в снег.

— Стой? — рявкнул Петренко. — Я что сказал?! Что надо ответить, сынок?

Пыжиков лениво повернулся и с натянутой усмешкой выговорил:

— Есть, товарищ сержант.

— Иди, сынок, — напутствовал его Петренко и прикурил у Коровина.

— Коровин, — сказал он, когда некстати проснувшийся дежурный по части кончил орать, где это на ночь глядя шлялся Пыжиков. — Ты завтра в увольнении?

— В увал, конечно, к бабам, — сладко прищурился Коровин и соединил улыбкой уши. — В общагу кондитеров. Конфеты “Мишка на севере”. Чай и бабы. Хочешь со мной? Я с Поповым думал, а он в карауле.

— Коровин, возьмешь с собой завтра Пыжикова, — сказал Петренко и почесал усы.

— На хрена? — отлепил губу от сигаретки Коровин. — Мне и так неплохо будет.

Была уже глубокая ночь, и Петренко совсем было пора в кровать, несмотря на бессонницу — верную спутницу всех дембелей.

Он протер кулаком правый глаз, посмотрел на этот самый правый кулак и легонько ударил Коровина в грудь, потом, задумчиво глядя ему прямо в глаза, размахнулся побольше и двинул сильнее уже, с неприятной, натянутой гримасой, с силой размахнулся еще раз, но Коровин уже отпрыгнул в снег и старательно выдавливал из себя вынужденный смешок — ведь это была шутка, только шутка, что же еще...

— Ты следи всегда за интонацией, Коровин. Я же не сказал: возьмешь с собой завтра Пыжикова? Я сказал: Коровин, ты возьмешь с собой завтра Пыжикова.

— Пол-автороты. И кто только службу тащит? — хмыкнул Коровин, оглядев машины у общаги.

Уже в лифте он потянул носом и, отвалившись в угол, оглядел сжавшегося Пыжикова.

— Ну, ты и одеколона извел... Лучше бы выпили. Кто тебя здесь нюхать-то будет?

Общага была шумная: вываливались в коридор веселые компании, растрепанные, по-домашнему в халатиках, девчонки с цепкими взглядами густо покрашенных глаз громко переключались, смеялись, кто-то хрипло орал под гитару песню без слов, пытаясь перекрыть магнитофонные вопли, у туалетов курили, и оттуда, из дрожащего марева, Коровина окликнули — он кивнул, пытаясь увидеть, кто это был, и топал дальше, считая вслух номерки комнат и уже загодя улыбаясь.

— Мож-на? — вкрадчиво спросил он после стука в последнюю дверь направо и властно подергал ручку.

За дверью сделали потише музыку, голоса притихли, и тонкий женский голос жеманно вытянул:

— Кто-о?

— Открывай! — рыкнул Коровин, хозяйски долбанул сапогом пару раз внизу двери и заговорщически подмигнул Пыжикову, прилипшему к стене.

После короткого сердитого лязга щеколды дверь выпустила высокую девицу с растрепанной прической, царапавшей острыми прядями лоб. Она то и дело недовольно поправляла эти пряди, глядела в сторону, недовольно поджимая губы, открывала рот и коротко дула на покрасневшее лицо, крепко сжимая за спиной дверную ручку.

— Наташа-а, — Коровин привычно потянулся руками к ее лицу.

— Да иди ты! — вяло отпихнула она Коровина и передразнила: — На-та-ша-а-а...

— А чего? — радостно моргнул Коровин. — Вот друган со мной, Аркаша, ну, познакомься. Ну, да познакомься с человеком. — И подтолкнул ее, взяв за локти, к Пыжикову: — Ну! Да познакомься с человеком. Ну!

— Пусти, — раздраженно повела она головой и кисло взглянула на Пыжикова: — Меня зовут Наташа, понял? И вот что, Валера, у меня люди, — она заговорила тише, и Коровин склонился к ней, нервно зацарапав ладонью по стенке.

— Ну, так чё? И чё? Ну? — бубнил Коровин.

Пыжиков чувствовал, что вспотел, и с омерзением пытался унюхать тяжелый прелый дух, идущий из-под застегнутой наглухо шинели.

Он отклонился от стены, снял шапку и неловкими пальцами принялся расстегивать великоватую шинель, делавшую его похожим на бабу. Уставил руки в бока, будто участвуя в разговоре, а сам глядел в стену и ни о чем совсем не думал.

Из комнаты вылезла еще одна девица — в синем батнике и белесых джинсах, мельком оценила Пыжикова и, опершись подбородком на плечо Наташи, узнавшающе-ехидно улыбнулась Коровину, поправила у него что-то на груди; Коровин сбавил накал в беседе, но тут из комнаты дернулся пьяный бас:

— Ну, какого там хрена?!

Коровин сразу вытянулся злобно, сжав губы, но Наташа буркнула за спину:

— Да погоди ты.

Она переглянулась с подругой, пошептала ей на ухо и важно решила:

— Ну ладно.

— Ну а его куда? — осведомился повеселевший Коровин, не оборачиваясь, показал на Пыжикова, старательно смотрящего в окно.

— Ну-у, — протянула Наташа и стала нетерпеливо постукивать тапочкой по полу. — Может, ты еще взвод приведешь?

Ее подружка в синем опять что-то шепнула на ухо.

— К кому? — в полный голос спросила изумленно Наташа и прыснула. — Я шас умру.

— А чего-о ты? — удивилась в свою очередь подруга. — Давай!

— Ну, веди. Мне-то что, — засмеялась Наташа и уже потащила Коровина в комнату, расстегивая на нем шинель.

Коровин говорил Пыжикову оттуда:

— Ну, в общем, ты иди, вон туда, с ней. Давай, короче, гуд бай. Не срами роту, слышь, давай, ничем не шелкай. Если хочешь есть варенье, не лови этим самым мух, — и смеялся.

Девушка в синем прикрыла осторожно за ним дверь, тряхнула кудряшками и позвала Пыжикова:

— Пошли.

Он поскрипел сапожищами за ней по коридору — с утра у него было чувство, будто он рвет мамину скатерть на портянки.

Они спустились на этаж. Провожатая толкнулась в крайнюю дверь, крикнула в шумящую кухню:

— Машка, ты здесь?

Оттуда выплыла толстая девушка в спортивном синем костюме с тонкими белыми лампасами.

— Чего?

Провожатая пошла с ней на кухню шептаться, а Пыжиков опять ждал, постукивая затылком о стену за спиной.

— О Господи, — пробормотала Маша, проплывая мимо него и наклоняясь к двери — она долго не угадывала ключом скважину, потом, плюнув, достала из кармана и нацепила на нос очки — открыла.

— Ты заходи и давай здесь, сюда, — неопределенно проговорила девушка в синем и пошла к лестнице, мельком полюбовавшись своим отражением в стекле, — она торопилась.

Пыжиков неуверенно зашел и остановился, видя себя в небольшом квадратном зеркале, чуть ржавом в углу, — лысого с рыжими бровями, тонким и длинным носом.

— Раздевайся, что ждешь? За тобой ухаживать, что ли, надо?

Маша вышла из-за створки шкафа, причесываясь, уже в короткой юбке, пятнистой, как шкура леопарда, белой кофте из плащовки на кнопках, туго натянувшейся на широкой, оплывшей груди, и невозможных черных колготках в крупную клетку.

Она наклонилась к туалетному столику. Пыжиков увидел в разъехавшемся разрезе юбки ее округлые, наплывающие на колени ноги — он почувствовал сухость во рту и с первого раза не смог попасть вешалкой шинели на крючок, на котором уже висела черная шуба и желто-коричневая фуфайка с биркой “Метрострой”.

Маша внимательно глянула на него через очки, прошла мимо, чуть задев, в коридор и громко щелкнула щеколдой.

— Ну что? Чай будем пить?

— Да, — кивнул Пыжиков. — Может, я помогу чем?

— Вот это не надо, вот это мы сами, — запротестовала Маша. — Да ты хоть китель расстегни, ва-аеынный!

Пыжиков прошел в комнату, сел на кровать, быстро обернулся на окно, на туалетный столик с дешевой косметикой, на календарь с красивым мужиком на тыльной стороне шифоньера, потрогал зачем-то букетик искусственных цветов в глиня-

ной вазочке — руки подрагивали, он пытался думать о чем-нибудь, чтобы меньше чувствовать ноющую струну напряжения, пронизывающую все тело, — ему было душно.

Маша подвинула столик к нему, выставила две чашки, одну — с отбитой ручкой, при этом она задумчиво потрогала пухлым пальцем с оранжевым лаком отбитое место и поправила затем этим же пальчиком очки на переносице, выложила на стол целлофановый пакет с сухарями — на дне пакета толстым слоем лежали ржавые крошки. Осторожно налила из блестящего электрического чайника дымящуюся воду в чашки, отравила в них по пакету заварки, причмокнув при этом: “Оп-ля!” Пыжиков смотрел без движения за ее руками, не отрываясь. Она поглядывала на него. Стекла очков у нее чуть запотели, и поэтому Маша напряженно подрагивала веками.

— Ну, всё, — решила она.

Пыжиков видел ее тело, сильно набрякшее в немилосердно тесной юбке, колени, сладко белеющие сквозь клеточки колготок, — сердце билось у него в голове. Он потерянно улыбался, дул на чай, не решаясь взять кружку в дрожащие пальцы.

Маша села рядом, сразу привалившись к Пыжинову мягким, будто горячим изнутри, большим упругим телом, а Пыжиков уже не мог наклониться или повернуться к ней и только потирал ладони о брюки.

— Ой, а сахар забыла... И не вылезешь теперь, — порывисто засмеялась Маша, как-то мутно поглядев на Пыжикова порозовевшим лицом, она дышала ртом.

— Ну-ка, — отстранила она его рукой и неловко перегнулась через Пыжикова к шкафчику, вдруг потеряла равновесие и оперлась локтем на живот и ниже — Пыжиков чувствовал дрожащее нытье в коленях и все свое тело будто клеткой для чего-то слепого, бешеного, бушевавшего внутри, он выдохнул с шумом воздух, обнял Машу и потянул к себе сильно и резко, но она успела осторожно поставить пол-литровую баночку с са-



харом на столик, где еще испускал дымок чай; боясь увидеть ее лицо, он скорее поцеловал ее теплую щеку, почувствовав губами легкий пушок, потом — краешек губ и, неловко повернувшись в кровати, стал укладывать это чужое, зовущее тело, услышав, как она с веселым стуком скинула тапки с ног. Она еще медленно сняла очки, сложила дужки, положила их на столик, стеклами вверх и, поправляя под головой поудобней подушку, обняла его за шею свободной рукой и поглядела ему в глаза, ожидающе и добро, неровно дыша и подрагивая уголками губ.

Он мял, вжимая в себя, с силой проводил ладонями по груди, задерживаясь в ложбине посреди, вздрагивал, сжимал колени, постанывая от ноющего озноба, разливающегося трепещущей волной от живота, он еще поцеловал ее в губы, неумело и робко, и вдруг задохнулся ее жарким и сильным языком, метнувшимся ему в рот, опалая неистовым, быстрым движением; он неуклюжими руками чуть ли не рвал одну за другой кнопки на кофте и погрузил дрожащие губы в горячие груди, высоко поднятые черным кружевным бюстгальтером, он отстегнул, наконец, последнюю кнопку, провел ладонью по нависшему над тугой резинкой колготок животу с нежным, курчавым пушком, и, с натугой приподняв это грузное тело, он скользнул рукой по налитой спине, расстегнул два крючка бюстгальтера, и трепещущими ладонями выпустил на свободу огромные белые груди, тягучими плавными каплями расплзшиеся в разные стороны, он гладил большие розовые соски, припадал к ним губами — и она, подрагивая плечами, ловила его голову руками и обжигала быстрым языком, щекотно и томительно, ушные раковины, дышала ему в шею — и все внутри сжималось; и опускала откровенные жадные руки вниз, и он не мог больше, и с ужасным треском расстегнул молнию на юбке, и силой потянул ее вниз, упираясь руками в зажатые до барабанной прочности бедра.

— Погоди, дурачок, это я сама, — тихо сказала Маша.

Он сел, потом встал, тяжело дыша и глядя исподлобья, — она вытащила из-под себя кофту, повесила, аккуратно вывернув, ее на стул, под нее подсунула бюстгальтер, на котором еще была этикетка, и встала, отвернулась и принялась стягивать через голову тесную юбку — юбка застряла на плечах, и Маша недовольно дергала пухлым телом и поводила здоровым, будто обрубленным внизу задом, как поднимающееся тесто, выпирающим из узенькой полоски черных плавок.

Пыжиков смотрел на белый снег за окном — зимой мир белый, и зимняя стужа касалась, благословляя его, чистыми белыми перстами, болезненно и пусто билось тупое сердце, и начинало подташнивать, и тяжелые комки путешествовали в горле, распирая грудь, белый иней опушил изящным узором черные ветки, и за окном прыгали два воробья, он стал смотреть на пол, ему казалось, что кто-то кричит внутри его, тонко и протяжно, и он все хотел погубить его, этот крик, выдыхая, выпуская из себя чужой воздух, напитанный густым запахом пудры и приторным жирным вкусом помады, — белый снег осыпался призрачным занавесом за окном — совсем как тополиный пух, когда лето, и чисто все, и сухой асфальт.

Он отступил к двери, себе не веря и не помня себя, а Маша быстро задвигала шторами белый вечерний мир и, сев на кровать, быстро стаскивала сначала с одной, потом с другой ноги колготки и за ними спустила черные, маловатые ей плавки, оставившие на теле красноватые полоски-следы, она сидела, одной рукой держась за подбородок, локтем прикрывая, сжимая воедино груди, другую опустив в сумрачную тень между ногами — он не видел ее глаз и вообще потом отвернулся, сорвал с вешалки шинель, схватил шапку и стал дергать щеколду сильнее и сильнее, чтобы выскочить, выбежать в коридор, прежде чем она успеет и сумеет что-нибудь сказать, — он не мог никак открыть эту чертову щеколду, она закрывалась хитро как-то, и дергал еще, уже поняв, что не откроет сам, и жег,

подступал к нему жирный мазок жгучего позора, и он остановился — медленно стал напяливать шинель, вздыхая и шмыгая носом, крутил носом, крутил в руках шапку — с какой стороны кокарда, потом было тихо, он глядел на календарь с красивым мужиком и слышал: женщина плакала за спиной, куда-то уткнувшись, сдержанно и обычно, высморкалась, страдальчески скрипнула кроватью и, не торопясь, подошла к нему, стала рядом, пытаясь сделать ровными губы, застегивая халатик на бесформенном теле:

— Ну, хорошо, хорошо, успокойся, уйдешь, — шептала она и пыталась спокойно смеяться. — Сейчас я тебя пушу, родной. Но ты вот мне скажи — ну какого хрена ты приходил?! Ну чего тебе не хватило? Ну не такая я ведь уж... — Она не выдержала и зарыдала, не прикрывая лицо, безобразно расплываясь ртом, покачиваясь от нестерпимой обиды и стыда. — Мужики, Господи.

— Я, — сказал Пыжиков. — Ты вот, — он сразу забыл, что хотел сказать... Он не смог ничего выговорить — разводил глупо руками и делал малопонятные гримасы стене, — голос внутри его выл, пусть тише, но по-прежнему жалобно и тонко.

Маша тронулась с места, отмотала какую-то проволоку, швырнула ее в угол, лязгнул шпингалет — она распахнула рывком дверь, сотрясаясь спиной, и крикнула:

— Иди!

И грязно выругалась вслед.

За полтора месяца до дембеля сержанту Петренко перестала писать девушка.

Петренко сидел на месте дежурного по части, прижав щекой телефонную черную трубку и слушая шуршание в проводах — шуршало разнообразно, ему был виден краешек окна, то и дело перечеркиваемый шустрой капелью. Петренко смотрел в окно неподвижными глазами. В трубке что-то пискнуло, и нарочито важный голос возмутился:

— Так... Это какое там что так долго провод занимает, а?!

— Закрой рот, Коровин, я это, — сухо сказал Петренко. — Как там у вас на смене?

— Все пучком, спим, — забубнил в трубке Коровин. — Баринцов тут общее поведение разбирает, ха-ха, так, в общем... А! А ты хоть слышал, как твой перщик Пыжиков в общаге отличился?! Вот ведь!..

— Отбой! Дежурный идет, — шепотом сказал вдруг Петренко и опять стал смотреть в тишине на окно, ожидая, когда ж “Рокада” даст ему “Орион”.

Время от времени он приглаживал волосы и откашливался.

Перед тумбочкой дневального строился караул — свежеспеченный младший сержант Кожан, только что оторванный от телевизора, бегло осматривал экипировку личного состава, сокрушительно зевая.

— Кожа-ан, — негромко позвал его Петренко.

Кожан даже ухом не повел, оправляя подсумок, хотя, конечно, услышал.

— Младший сержант Кожан! — пролаял с ненавистью к своему голосу Петренко.

— А? Что, Игорь? — как ни в чем не бывало недоуменно обернулся Кожан.

— Иди сюда.

Кожан подошел, прикрыв за собой дверь, чтобы личный состав не возомнил себе бог весть что, узрев все варианты возможного общения ветерана со шнурком.

— Я вот что думаю, Кожан, — тихо сказал ему Петренко, не выпуская телефона и жалея, что окна больше не видно. — Вот как был ты гнилым по салабонству — так гнилым и остался. А? Чего так сразу резвость потерял? А?

— Да ты чё, Игорь? — грустно оскорбился понурившийся Кожан.

— Да вот так, — объяснил Петренко, тоскливо глядя на Кожана, испытывая себя: хочется ударить или нет.

— Кто у тебя в карауле из салабонов? — наконец спросил он, так ничего и не решив насчет в морду.

— Пыжиков.

— Пыжиков не пойдет. Курицына возьми.

Кожан начал было говорить, что как посмотрят на такую вот замену ротный, дедушки и ветераны, но у Петренко шевельнулось бешеное в глазах, и несчастный двухцветный карандаш дежурного по части невинно хрустнул в его пальцах, вывалив на стол сизый грифель, и тогда Кожан стал объяснять, что он-то, Кожан, имел в виду совсем другое, а замена эта, в общем-то, плевое дело, что там мудрить, меняя салабона на салабона, — он прям сейчас ее произведет запросто и без промедления, сей момент.

И тут “Рокада” дала Петренко “Орион”: в ожидавшей трубке тонко запищал далекий, как с Марса, приятный девичий голосок:

— Девушка, — ласково попросил в трубку Петренко, — дайте, пожалуйста, мне “Алмаз”.

— Я не даю. Я соединяю, — обиделась слегка девушка, но через мгновение в трубке пробурчал отчасти сонный голос:

— Млад... шант... ицын, слушш вас...

— Друган, набери мне, пожалуйста, город, — неуверенно попросил Петренко — лоб его страдальчески наморщился.

— Номер какой в городе-то? — хмыкнул через зевок далекий друган. — А?

— Номер — два двадцать шесть восемнадцать, но ты погоди вообще-то, друган, — Петренко тер ладонью вспотевший лоб. — Ну, как там у вас с погодой? Тает?

— Весна, травка, — осторожно обозначал погодные условия друган через полторы тысячи километров. — Щепка на щепку — и то лезет. Бабе, что ль, звонишь? Не из медучилища она? Нет?

— Весна вовсю, значит, — повторил за ним Петренко. Ему вдруг стало скучно-скучно, до смерти.

За окном крыши роняли вялую капель вперемешку с талым снегом, пахло сапожной ваксой — дневальный салабон Шаповаленко драил линолеум огромной щеткой, в простонародье именуемой “машкой”.

— Все тает, — философствовал далекий друган. — Даю номер. И оглушающий, неожиданный гудок впился в уши.

— Не надо, не надо, друган! — крикнул Петренко сквозь рвущий душу гудок, запнулся о сердечный стук снимаемой трубки и что есть силы тянул телефон от себя, но все-таки услышал первые ростки ненавистного, известного до дыхания голоса и бухнул, наконец-то, трубку на аппарат, как горячую, промычал что-то, поерзывая на стуле, и поглядел на дневального бессонным, воспаленным взором:

— Шаповаленко?

— Я! — отозвался тщедушный салабон.

— Пыжиков сдал автомат?

— Так точно.

— Угу.

Телефон дзинькнул.

— Сержант Петренко, — представился Петренко. — Слушаю вас.

— Разговаривать с “Алмазом” будете? — поинтересовалась девушка “Орион”.

Петренко вдруг до боли захотелось что-то сказать этой девушке, стать для нее видимым и близким, увидеть ее, но он только отрезал:

— Нет, девушка, поговорили. — Он бросил трубку и сказал в сторону: — И все.

Петренко шагал по коридору в туалет курить и бухнул из любопытства в дверь канцелярии — из-под нее бил свет. Писарь Ва-

ся Смагин вопросительно поднял голову от толстой тетради, приостановив бег руки с шариковой ручкой.

Оставался час до ужина — кроме Васи в канцелярии никого не было.

Петренко усмехнулся и уперся рукой в стену.

— Все пишешь? Как ты уже надоел... Когда ж ты дембельнешься, малый?

Лицо у Васи было отстраненное, будто чужое. У него даже был расстегнут воротничок — как у деда. С расстояния, от двери, казалось, будто он и подшит стоечкой. Петренко даже зажмурился — Господи, какая ерунда...

Вася ответил:

— Когда напишу.

— Так ты торопись, так твою мать... Не век же этой зиме, ну ведь должна же она кончиться, так ее мать, — вот уйду я, про кого ты будешь писать?

Вася уверенно улыбнулся:

— Ты не уйдешь, пока я не напишу. Ты вообще не человек, а место. У тебя даже нет фамилии — на этом месте всегда кто-нибудь есть — зачем мне торопиться?

— Я не место. Я человек, — раздельно проговорил Петренко, вздрогнув от неотступного, изнуряющего воспоминания. — Вот паскуда... А ты чего здесь сидишь? Туалет, что ли, чистый? Или репа толстой стала?..

Он сказал это и вдруг обмер — ему вдруг показалось, что са-лабон — это он, Петренко, и сейчас Смагин его убьет за такие слова, и не слезть ему с параша никогда в жизни...

Смагин медленно закрыл свою тетрадь, засунул ее в сейф, звякнул ключом, затянул потуже ремень и пошел к выходу из канцелярии.

Петренко вышел за ним, от него шархнул в сторону согбенный Козлов, Петренко вздохнул успокоенно — все на месте — и неожиданно сказал Смагину в спину:

— Не надо. Иди пиши лучше... Кто припашет — скажешь, Петренко сказал писать. Двух недель тебе хватит?

Смагин вежливо ответил:

— Не волнуйся, Игорь, я лучше помою.

И, захватив ведро из коридора, шагнул в туалет.

Совсем вечером Петренко опять покурил в туалете, внимательно рассматривая автопарк, потом набросил на плечи шинель и пошел к выходу.

— Коробчик, Хоттабыч, так твою мать, — бросил он на ходу. — Машину опять не закрываешь, чмо?

— А иди ты... — прошептал ему Коробчик в спину.

Петренко улыбнулся и этого не услышал.

Он коротко кивнул дневальному по автопарку Попову, нежно общавшемуся с двумя потрепанными шмарами у проходной. Одна из них — Лилька — громко окликнула Петренко:

— Игорь!

Но Петренко даже не обернулся и быстро заворотил за крайний грузовик.

В “зилке” Коробчика плакал Пыжиков, опустив голову на руль.

Петренко резко открыл дверцу, выволок Пыжикова за руку наружу, соорудил свою обычную неприятную гримасу, понюхав воздух:

— Портвейн, значит...

Он с наслаждением вмазал Пыжикову сокрушительную пощечину так, что того бросило на снег, — брызги ударили врассыпную, Пыжиков испуганно заерзал, поднялся, держась за бампер.

— Сынок, — заговорил Петренко, усиленно сглатывая что-то горлом и вздыхая после каждого слова. — Мне вот до дембеля осталось полтора месяца, да? Ты понял? И я хочу спать совершенно спокойно, с автоматом ли ты в эту ночь или нет.



Я хочу спать, потому что с какой стати меня должно колыхать, с кем там спит твоя соска и что она тебе обещала на прощанье, — он оглянулся, шепча что-то беззвучное по сторонам. — Что бы ни обещала... Меня это не колышет.

Пыжиков плакал, бросив голову в руки, сложенные на капоте.

— И тебя это не должно колыхать, — бодро закончил Петренко. — Все..! Кроме пчел.

Помолчали.

— А если подумать, то и пчелы тоже такая..! — И Петренко засмеялся, довольный своею шуткой, любуясь на серебряное облако, выдыхаемое, тающее в тяжелой теплой ночи.

— Все у тебя будет, — пообещал он. — Любовь — это все по-другому. Вот понравится тебе человек — и ты ему понравишься. И оба сразу поймете, что вместе жить лучше, и все прежнее будет чепухой. Все, что было... Понял, сынок? — похлопал он нешевелившегося Пыжикова по плечу и заморгал — теплый предвесенний ветер щипал глаза.

— Переспшишь в автопарке. И не дай бог попадешься утром дежурному — будешь тогда приходить с параша только на завтрак, обед и ужин. Всё.

Он пошел из автопарка, и кругом была ночь, и неотвратимо сладко пахло весной, тревожный, будоражащий ветер гладил его слезящиеся глаза, и вокруг вся огромная жизнь истомленно вздыхала с каждой глыбой подтаявшего снега, который роняли черные крыши, отороченные острыми обоймами сосуллек, похожих на перевернутые готические соборы, кружила его и тянула в безысходную, томительную воронку и опять возвращала наверх — не отпуская ни на шаг, ни на вздох, оставаясь всегда с ним.

Петренко быстро разделся, улегся в кровать и грозно сказал дневальному:

— Шаповаленко, меня завтра поднять за пятнадцать минут до общего подъема.

## **Мемуары срочной службы**

— Ага, — подтвердил получение информации уже чуть-чуть осоловевший от усталости Шаповаленко.

Петренко поворочался и сел в кровати.

— Я сказал — не разбудить, а поднять!

— Так точно! — ободрился дневальный. Теперь Петренко окончательно лег, подумал-подумал, тихо сказал под нос: “Пас-скуда” — и уткнулся лицом в подушку.

# Генерал

*Натурная съемка*

**Д**ивное звание, которое на Руси совсем не то же самое, что звание генерала, к примеру, ну... ну там, где “не у нас”... Только у нас расстояние между подполковником и полковником и расстояние “полковник — генерал” так же сопоставимы, как расстояние между вашими ноздрями и Марс — Земля. Коли ты генерал — ты можешь всех называть “ты”, ты меняешь враз походку и больше никто и никогда не увидит тебя трусящим по коридору. Ты не стоишь в очередях, не едешь в автобусе. Ты если пошутишь — то все старательно смеются. Ты если заглянешь в чей-то кабинет, то везде — немая сцена... О тебе составляют легенды и анекдоты. Ты получаешь блаженное право иметь странности и разговаривать коровьими междометиями и жестами эпилептика, вызывая последующие мучительные раздумья подчиненных — о чем это было? На твое рабочее время равняется весь подчиненный личный состав,

## Мемуары срочной службы

и всякий норовит поздним вечером пересечься с тобой в коридоре и обязательно с изможденным и честным лицом, дабы запомниться тебе простым и честным офицером.

Ты любишь быть прост с солдатами, остановив, приведя в совершеннейший ужас случайного встречного воина, ты, убрав глаза в морщины, можешь вдруг поинтересоваться: “Ну как, э... служба?” И воин, выпучив ясные очи, будет орать на полгарнизона лающие фразы, кончающиеся припевом: “Та-а-а-рыщ генера-а...”, а подчиненные тебе офицеры будут трогательно улыбаться за твоей спиной: отец, отец.

Ты имеешь рыжего бездельника-адъютанта, которого все боятся, а он — только тебя. Адъютант, твоя маленькая копия, ругается точно как ты, хмурит брови, и когда говорит: “Я доложу”, — становится очень тихо. Все перенимают твои ругательства: от начальника штаба до последнего воина...

Но самое блаженное твое право — это, расправив плечи, запрокинуть голову, превратив с наслаждением глаза в сверла, мучая презрением рот, орать. Наораться до звона, до белых окружающих лиц, враз отсекая себя — себя! — от вас, прочих. Вы здесь — кой-чем груши околачиваете, а он там! Огребает за вас! Торчит, как слива в шоколаде, при ответе! Кричать, задыхаясь криком и брызгая слюной, олицетворяя собой ее величество судьбу, будто стирая всех из памяти, навечно и бесповоротно — вот так орать и орать!

Как хорошо быть генералом — все тебе обязаны улыбаться: подчиненные, жена, официантка, адъютант, встречные-поперечные, а ты — как хочешь. Ты имеешь право на настроение и на недомогание, и ты — это ТЫ! И пусть ты не Бог — но ты его золотой, неоспоримый, удивительный отблеск на этой земле!

# Караул. Жизнь прекрасна

*Легенда*

**Н**у, так вот, сынки, — закончил старшина речь про воинский долг. — А кто будет хреново служить — тот всю службу будет ловить магазин Улитина... Ну а теперь, дембеля, прощайтесь... Я провожал на дембель сержанта Попова. Он попросил у меня за проходной сигаретку и подарил почти новый значок “2 класс”.

— Товарищ сержант, — спросил я. — Что такое “магазин Улитина”?

Попов подумал.

— Это тайна, Смагин. Я последний, кто знает о ней правду. Вот уйду — и никто ее знать не будет, как ее и нет. Пустяки вообще-то. Но если всплывет — хрен его знает, как все обернется для некоторых людей. А этого не надо. Пусть люди живут, верно?

Пусть люди живут.

Злость началась тычком в бок и желтым осточертевшим светом, заколовшим веки. Попов гладил ладонью бок, в который его толкали, бормотал разнообразные матерные слова. Тут сдернули с лица одеяло — ну что, Господи, что?

— Вставайте, Попов, — вежливо канючил старший лейтенант Шустряков. — В караул надо идти.

Попов зажмурился, чтобы подумать: какой караул? Который час? Если электрический свет — значит, еще не утро, если голоса — значит, еще не пора на ужин, значит, еще спать да спать — он тянул одеяло к лицу, не пуская в себя свет, клонился на бок, проваливаясь этим боком, а потом уже и головой в паутинное марево сна.

Желтые пятна перед глазами чуть поплавали, как комки жира на раскаленной сковородке, и сложились в ряд блестящих автоматов в стойке, а потом — в шеренгу бутылок, а затем в голых баб, — Попов перевернулся на живот.

— Сержант Попов, — затянула крайняя баба.

— Сейчас трахну, — пригрозил Попов, — вот прямо сейчас.

Все затряслось, голова Попова закаталась по подушке — мрак прорезали косматые, как кометы Галлея, сияния плафонов на потолке, и тонкогубый старлей Шустряков, бросив сотрясать кровать, присел орать Попову прямо в ухо:

— Надо! Срочно! Сменить! Начальника караула! У сержанта Кожана приступ! Больше никому! Все на смене! У Кожана приступ.

— Рожает он там, что ли? — добродушно спросил Попов у занесенной снегом оконной рамы и швырнул с себя одеяло.

За окном было минус тридцать.

— Шуки! — простонал Попов.

Впереди была ночь.

Он пробухал по холодной, промерзшей казарме, не поднимая узколобой головы, отвесил жестокий пинок попавшемуся под ноги ведру дневального.

Шустряков на цыпочках выглянул сержанту вслед из дежурки и спрятался обратно, чтобы объяснить в телефон:

— Коробчик, ты? Заводи, подъезжай. Встал Попов. Давай живо!

В туалете было еще холодней.

Попов вздрогнул от озноба, брезгливо потрогал толстова-тыми пальцами ледяную струйку из-под крана и ткнул этими же пальцами в уголки глаз.

Вместо положенного после караула отдыха, ужина, телевизора, покоя теперь студеной ночью, черные деревья, скользкие тропинки, вонючая караульная, дубинноголовые проверяющие.

Попов чуял сосущую, беспредметную, душную ненависть ко всему.

Он вскинул голову и плюнул в зеркало.

— Паскуда!

Караулка была одноэтажным кирпичным домиком, обогреваемым сложным самодельным устройством, действующим от розетки; окна залепили витиеватые узоры. Отдыхающая смена спала, скорчившись разнообразно, натянув шапки на лица, дыша вразнобой, с тонкими свистами, храпками и иными звуками — лиц не было видно: ноги, шинели — как шершавые валуны в сапогах. В караулке на расстеленной шинели стонал сержант Кожан с потным лбом — у него в ногах курил разводящий, хохол Журба.

— Что? Умираешь? — хмыкнул Попов, пнув ногой сапог Кожана. — Хоть пирожки на поминках пожрем.

— Ты чё злой такой, Попов? Дерьма, что ли, в детстве много ел? — враз прекратил стонать Кожан и пробормотал фельдшеру Сергею Клыгину, приехавшему с Поповым: — Да не надо носилок, я и сам дойду.

— Какие люди... — вяло улыбнулся Журба Попову.

— Видишь, хохол, тут всякие проституты шлангом прикинулись, а честным ветеранам приходится горбатиться за них.

Конечно! В санчасти попу греть — это тебе не в карауле зад морозить!

— Что-о?! — застрял в дверях Кожан. — Дешевка!

— Стукач.

— Чтоб тебя Улитин пристрелил!

— Затыхай — нанюхались! Чмо поганое!

Попов бешено пошевелил ноздрями вслед хлопнувшей двери и, грохнув автомат в стойку, сел к столу.

— Что, хохол... Улитин, что ли, у вас в карауле?

— Ага. Первый раз.

— Тот, что старшину чуть не грохнул на стрельбах, когда тот пошел мишени глядеть?

— Да.

— Ну вот, — стукнул кулаком об стол Попов. — И салабона мне самого гнилого подсунули.

Он вздохнул и болезненно скривился.

— Тошно-то как, хохол... Вот так подкатит порой, вот прямо убил бы.

— Ты что? Скоро дембель, — улыбнулся хохол. — Ух, и самого ну я напьюсь.

Попов внимательно слушал хохла и, не отрывая глаз, взял звякнувший телефон.

— Ну что там у вас, Попов, — проквашал Шустряков.

— Заступил, та-а-рыш старши... лейтена... Иду на посты. —

Попов швырнул трубку, не слушая ответа. — Вот тоже мне, чмо!

— Кто сказал на дядьку “падла”?

С крыльца они шагнули прямо в ночь.

Хохол приговаривал под шаг:

— Солнце светит прямо в глаз — ничего себе жара! Нам не жарко ни хрена! Эх, хвост, чешуя — и не видно... ничего!

Попов не успел согреться в караулке и яростно двигал руками.



Снег скрипел так, будто грыз кто-то капустный лист посреди черного леса и наливающегося густой синевой мрака над головой.

Журба охал, приговаривал что-то, кричал невидимым часовым:

— Ты жив там еще?!

Попов вообще молчал, сжимаясь от холода и омерзения, казался сам себе заспиртованной противной лягушкой в банке — щеки становились пластмассовыми, губы сохли, как осенние листья, становясь невесомыми и жухлыми.

Пятый, последний, караульный стоял у самой реки под косягом, его серая фигура пошатывалась у деревянного грибка, хлопая рукавицей по боку.

В обжигающем литом воздухе петлял-выныривал почти звериный скулеж.

— Собака, что ли? — удивился Журба, спрятав улыбку.

Попов отодвинул его и пошел дальше, не таясь.

Пятый часовой был Улитин.

Он стоял спиной, уши на шапке были опущены — он не мог слышать шаги. Он плакал, дорвавшись до редкого одиночества, он плакал, не стесняясь своего здорового роста, он, наконец-то, был совсем один и мог теперь быть собой, хоть немного вылезти в сторону из кромешной тоски своей салабонской жизни, в которой его били кто во что горазд за высокий рост и непроходимую глупость. Он плакал еще оттого, что боялся ночи, холода, жегшего мокрые щеки, караулки, проверяющего, всех людей, и откуда ему было знать, что у сержанта Кожана приступ и что он лежал на полу с мокрым лбом, а самый грозный дедушка роты Попов идет принимать посты, и вот уже здесь.

— Здоров, Улитин! — рявкнул Попов.

Улитин вздрогнул, чуть не поскользнувшись, и жалко вытирачил свои круглые мокрые глаза.

— Ваши действия по пожару? — Попов уже доставал из кармана правую руку и грел, сжимая-разжимая ладонь. Журба изучал небосклон — нет, не будет луны, какая, к черту, луна, если и звезды-то ни одной не видно. Он печально сказал по этому поводу:

— Небо хмарами застило — мабуть, будет дождь. Теща пивня зарубила — мабуть, будет борщ.

— Действия по пожару! — будто вытягивая себя дугой, повторял Попов, с наслаждением смыкая зубы в сладостном предчувствии.

Улитин судорожно оглядывал реку, разлегшуюся за спиной огромным блюдом жирного холодца, сливающийся с мутным небом горбатый косогор с лохмами черной от зимних невзгод полыни.

Губы его запрыгали:

— Т-тушить.

Удар получился на удивление сильный — хотя Попов даже не снял рукавицы, да и Улитин был в шапке, но голова его с гулким стуком приложилась к столбу, и Улитин рухнул в снег, заученно не выпуская из рук автомата, закрыв лицо рукой, притянул колени к животу, стараясь хоть немного отодвинуться в сторону от чужих, страшных ног.

Он опять заплакал, как завыл, без слов.

— Падаль, — со страшной тоской сказал Попов. — Ты — падаль.

И пошел по тропинке, быстрее, еще, почти побежал, у него заслезились глаза, и щеку прочертили две тонкие, горькие полоски, его нутро будто душило вязкое, смрадное, постоянно растущее зло. Он сошел с тропинки, тяжело вспахивая снег, добрался до березы и обнял ее что есть сил, уронив шапку на снег, жал щеку к морщинистой доброй коре, ища тепла, которое дерево будто таило в себе, пытаясь услышать тишину и покой внутреннего роста, движения, вылезти из шинели, из себя, из времени, из этой быстро надвигающейся ночи.

Снег поблескивал серебряным крошевом, и береза стремилась ветвями во мрак, как корнями — в землю.

— Пойдем, Юра, — сказал Журба из-за спины. — У меня там тушенка есть.

Когда они дошли до караулки, Попов пожевал что-то, хлебнул чая и сразу повалился спать, растолкав народ, в самую тесноту, туда, где теплее.

Он встал только по нужде, когда небо стало уже пепельным, а окоченевшие деревья плеснули на мягкий снег первые размытые тени.

Когда он вернулся, заспанный, небритый Козлов протянул ему телефонную трубку.

— Да, таа-рыщ старший лейтенант, — пробубнил Попов, застегивая ширинку. — Все нормально, — обернулся к нарам. — Журба повел смену.

Смена уже заваливала в караулку. Солдаты молча с кряхтением сдергивали с себя автоматы и подсумки, расхаживали немеющие ноги, развязывали друг у друга тугие узелки шапочных завязок под подбородком.

— Не май месяц, ага? — улыбнулся Попов народу. — Где хохол?

И вышел постоять на крыльцо.

Хохла не видно, солнца не было, натужно каркала простуженная ворона. Попов уже улыбался — вот и караулу конец, вот и всё, там и весна, там и дом — он был спокоен, наконец, он один и не видит людей. Сгорбленный от холода, Журба бодро трусил по тропинке и последние метры проскользил с разбега с шальным посвистом, как по ледянке, и со смехом уткнулся в раскинутые руки сержанта, опалив стужей лицо Попову, хранящее последние остатки сонного тепла, и губы хохла прошептали страшное:

— Улитин ушел с поста.

Попов еще хлопнул хохла по плечу, еще рот его ломали то улыбка, то гримаса, и только потом уронил руки и обреченно шагнул на крыльцо:

— С автоматом?

Журба кивнул.

— Мужики, за старшего Козлов, мы с Журбой проверяем посты, — крикнул он смене, выхватил из стойки автомат и подсумок.

— Позвонил? — спросил ждавший Журба.

— Может, он в прорубь свалился?

— Какую, на хрен, прорубь — следы видны... Меня как дернуло вернуться посмотреть. Глянул — пусто.

Они вылетели на речной берег, и Попов в мучительном бессилии по-волчьи шелкнул зубами:

— Хоть бы автомат, паскуда, оставил, а? — Он сгреб плечи хохла и почти выстонал: — Ну что, хохол? Что ты заглох?! Куда он пошел? Ну?

— К дороге, — просто ответил Журба. — А куда ему еще отсюда идти? Звони в роту. Подымут взвод, комендатуру, оцепят. У него в подсумке два магазина и один в автомате.

— Да-а?! — Попов с размаху швырнул хохла в снег. — Самый умный, да? Ты думаешь, я один в дисбат пойду? Потому, что я последний его замочил, да? Но вы же его всем взводом гасили! Я вас всех за собой потащу! И ты пойдешь, понял? — Попова трясло. Он кричал прямо в застывшие глаза хохла, не давая ему приподняться, с каждым словом вдавливая его в снег. — Ну!

— Следы есть, он дохлый... До смены два часа, может, догоним? — с натугой выдавил хохол. — Да пусти ты меня, скотина!

Они бежали вдоль опушки густого елового леса, по самой ее кромке, среди серебристых от изморози стволов. Они бежали, стараясь не выпускать из виду лохматого следа, петляющего

вперед, вдоль этой бесконечной опушки с синими подпалинами теней. Бежали друг за другом, отводя руками жесткие елочные космы и путаясь в снежных фонтанчиках кустов, прокладывая свой издерганный, ломаный след меж аккуратных крапинок птичьих лапок и пушистых лосиных троп. Внутри, как нагоняющий время поезд на дальнем перегоне, тяжело и весомо грохотало сердце, и тугие горячие волны крови бешено гуляли по всему телу.

Опушка кончилась жиденькой посадкой, а дальше — поле, по дальней кромке которого плыли дрожащие редкие огоньки — дорога.

Попов покрутил головой — вот вроде след, вот он идет, а где же?..

Он услышал сухой, отрывистый треск, будто рванули в ушах податливую ткань, — метнулось сухое эхо в лесу. Он все еще искал, где же эта фигура в серой шинели, и, случайно оглянувшись, вздрогнул — у Журбы дико перекошилось лицо, он оседал на снег, утыкался в него лицом и оттуда, снизу, от самых ног, хрипел незнакомым, сдавленным голосом:

— Ло-жись.

Попов изумленно присел, оглядываясь по сторонам: — “Господи, как все нелепо, зачем? Посреди поля?”

И еще раз этот звук — треск гнилых нитей, короткий, как заикающийся поездной перестук.

— Стреляет, паскуда, — бессильно прошептал хохол.

Попов резко бросился в снег, вжался в его холодное, противное месиво, задохнувшись собственным дыханием и ужасом.

Стало тихо совсем, но он будто слышал неумолимый скрип подходящих шагов и видел, будто со стороны, свое тело: огромное, растущее, как тесто в кадке, мягкое, беззащитное, неуклюжее тело, такое невыразимо притягательное для короткого, с хрустом, удара штык-ножа. Он, его жизнь, его единствен-

ное время, кончится сейчас, вот здесь, в двадцать лет, и потому уже н и ч е г о после, и мать его...

Попов не мог даже приподнять головы, даже шевельнуться, придавленный тяжестью никчемного автомата, — будто его звала земля.

— Всё, — слабо шевельнул мертвенно-бледными губами хохол. — Всё, Юра, патроны ушли. Теперь — всё.

И Журба слепил веки с белесыми ресницами.

Попов с каким-то испугом смотрел на это безжизненное лицо сквозь жестокую паутину снежных метаний. Он медленно пошевелил головой и боязливо, до обжигающей боли предчувствуя, как войдет в его лоб пуля, плеснув кровью на белый снег, еле-еле, но все-таки приподнял чутунную голову и прошипел горлом:

— Где?

Хохол шевельнулся рядом:

— Вон там. Хотя хрен его знает...

Посреди поля торчал раскорякой столб с наметенным у подножия сугробом — сугроб был чуть растрепан.

— Ну так, — Попов не знал, что сказать. — Надо... Знать надо, там или нет. Чтобы точно.

Хохол мучительно вздохнул, зарылся поглубже в снег, пригнул к себе Попова и медленно, протягивая слова, будто выплеывая что-то омерзительное и вонючее изо рта, отчеканил:

— Попов, всё! Патроны ушли! Пат-ро-ны! Этого уже не скроешь. Ну, очнись, Юрка, ты чуешь? Ну, что тут теперь поделаешь... Надо в роту скорей — у него два магазина в подсумке. Пойдем, Юрка... ну? Э-эх.

— Хохол, — жалобно сказал Попов, и слова кончились, у него заплескали губы, и он заплакал, беззвучно, как старик, сжимая ладонью лоб. — Хохол... Ты хочешь в дисбат? Я не могу! Я не могу это... Ведь я... Почему я?! Я ведь даже не из вашего взвода, я его вижу-то во второй раз! Хохол!!!

Журба с каким-то гадливым недоумением смотрел ему прямо в мокрое лицо.

Попов погрел слезы негнушимися пальцами и, не глядя на него, сказал:

— Махни шапкой — я гляну по вспышке, там или нет?

Хохол, не меняя лица, резко мотнул шапкой над головой. Грохнул выстрел.

Попов с животным, мучительным страхом вжался в снег, опять заплакал от стыда.

— Оттуда, — спокойно сказал Журба. — Я видал.

Попов вспомнил, как хоронили зимой деда — у деда над могилой красная звезда, а вот что будет у него, если... Он решительно притопил шапку на уши и приподнялся на локтях: на дороге машин почти не было, небо прогibasось над головой, как пыльный лед с редкими голубоватыми прожилками. В невидимой за лесом деревне протяжно мычала корова и тархтел одинокий трактор — зима тихо роняла редкий, кружащийся снег.

— Хохол, я поползу к нему вдоль столбов. А ты покричи ему. Понял? И ему спокойней будет. И ты будешь видеть... Хохол!

— А? — повернул напрягшееся лицо Журба.

— Если он меня увидит... Если он будет стрелять — ты прикрой... Ты тоже стреляй, хохол.

— На! — Журба швырнул свой автомат Попову в лицо. — Стреляй!

— Хохол, он хреново стреляет, но вблизи может попасть.

— Не хочешь — не ползи.

— Хохол, если что — все пойдете со мной в дисбат.

— Слепой сказал: побачим.

Попов сплюнул, глянул вперед и решился:

— Хрен с тобой. Кричать будешь?

— Буду, — кивнул Журба, изучая лес за спиной.

Попов, не торопясь, расстегнув, снял шинель, придерживая в груди накопленное тепло, затянул ремень, наматал на руку

ремень автомата, покачал на руке и отложил в сторону подсумок и как-то странно потрогал пальцами нарисованную хлоркой метку на шинели... И пополз в сторону, быстро заизвивавшись, вихляя задом и рыком выплевывая снег.

Журба смотрел ему вслед и думал: никто с этого поля не вернется. Ему стало душно.

Столбы торчали дугой от леса, и крайний был недалеко, вдоль столбов недели две назад, наверное, проехала какая-то машина или колесный трактор, и колея, хоть и полузаметенная, но осталась — сугробы здесь были покруче, Попов прятался за них.

Столб, под которым сидел Улитин, был пятым или шестым, и пока можно было ползти, не таясь.

— Мишка!!! Мишка-а-а! — заорал невидимый хохол с бесшабашным удовольствием. — Ты что же делаешь, дурак? Пойдем обратно!

Раскатистая очередь грызнула тишину.

— Ого-го?! — удивился хохол. — А неужто убил бы? Мне ж домой весной! До хаты! А ведь, если разобратся, — и тебе до дембеля чуть осталось, верно? Ты прикинь!

Попов полз строго по колее, боясь себя выдать, боясь внезапно поднять голову и увидеть направленный на себя автомат; он замер у последнего столба — дальше ползти не было сил.

Он лежал как половая тряпка, полная горячей воды, — безвольно и тяжело, от него валил пар.

— Я тебе братом буду! Никто пальцем не тронет! — резвился хохол.

Еще один выстрел стегнул белую щеку поля.

Насколько все глупо и никчемно показалось — то, что было и будет, кому это надо, кому есть дело до него, Попова, кому он вообще нужен, кроме матери и отца, — он и себе-то не нужен среди этой белой скуки, этого чистого поля; он считал свое дыхание: раз, два, три — я замерзну здесь — четыре, пять,



шесть, семь — хоть автомат бы оставил, скотина. ну, на кой хрен ему автомат? Восемь, девять — куда он дернется без документов? Чего ему надо? Десять, одиннадцать, двенадцать — что здесь было под снегом — пшеница? Трава? Коровы здесь будут пастись — ваш сын погиб при исполнении служебных обязанностей или даже — пал при выполнении воинского долга — тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...

Хохол затынул:

*Черный ворон, черный ворон,  
Что ты вьешься надо мной?  
Ты добычи не дождешься,  
Я — боец еще живой.*

И Попов словно схватил себя за плечи и потянул вперед, уже внутренне сдавшись, умерев, уже обреченно полез дальше, дальше...

И тут бешеной круговертью ошетинился крошевом снег, опалив лицо смертельным порывом автоматной очереди, и он задохнулся животным визгом: “Аа-ааа-аа-а!”, обмякнув всем телом и чувствуя, как потекла в штанах горячая моча, заставляя поджать ноги, и он, дрожа, крутанулся по снегу туда, ближе к столбу, к самому его основанию, открывая свою необъятно великую спину, что есть силы вжимая лопатки; в бетонную подпорку столба над головой сыто цокнули две пули, а он трясущейся рукой слернул предохранитель и, не глядя, протянул вперед автомат, ища бесчувственными пальцами прохладный клюв крючка.

— Ты-ии-и... Ты ш-што ше?.. — Он, как во сне, задыхался криком и не мог выжать его из себя. — Т-ты что?! Зачем? Скотина! Жизнь... Жизнь прекрасна! Все у тебя будет! Все будет еще! Надо жить, паскуда, жизнь прекрасна — надо жить! Ну... не стреляй, чмо поганое! Ну, иди ты, куда хочешь! Иди на хрен отсюда! Но не стреляй ты в меня, слышишь?! Жизнь прекрас-

на — будем жить! — Он кричал, он хрипел эти слова, подтягивая к подбородку колени — мокрые штаны жгли ноги, сердце обрывалось внутри, он все ждал шагов, шагов того, кто придет его до б и в а т ь, он ждал своего, паршивого, неминуемого выбора, когда надо будет или убить этого человека, или... нет, никакого выбора! Только так, просто так!

— Жизнь прекрасна! — молил он.

Просто надо заставить себя оглянуться, потом быстро вскинуть автомат, поймать стволом, даже не целясь, на весу, одной рукой, поймать широкую грудь или глупые карие глаза, нет, надежнее — грудь, и всего-то один раз нажать легонечко курок, и — больше туда не смотреть.

— Жизнь прекрасна!!!

Вороны заполошно кружились над белым полем, как расстрелянное в клочья знамя.

Бухнул короткий выстрел.

Потом — еще и — легкий шлепок, как звенящим топором по дереву.

Попов нехотя, как последнюю медовую каплю из банки, выжал голову из-за бетонного столбика.

На столбе, под которым сидел Улитин, белело место, отбитое пулей.

Это стрелял хохол.

Журба стрелял одиночными, размеренно, как автомат, — раз в минуту. Он целился в столб.

Это был шанс уйти.

Попов погрел пальцы в рукавицах, посчитал ворон, тронул алую каплю комсомольского значка на груди и, шмыгнув отчаянно носом, перекатился метра на три вправо, потом — еще раз, в конце каждого движения выбрасывая вперед автоматный ствол и прижимая щекой гладкий приклад.

Он заходил за спину Улитину. Главное было, чтобы это понял Журба и не взял прицел ниже.

Перекатившись еще раз, Попов решил, что все, пора, приподнялся на коленях и, переступая, качая автомат на вытянутых вперед руках, пополз к столбу, пригибаясь к снегу, не моргая, выпучив что есть сил глаза, не отрывая их ни на миг от цели, он полз к этому столбу-раскоряке, к нему, скорее, с последней, бесповоротной решимостью.

Журба выстрелил опять — в столб не попал. Попову почудилось, что пуля свистнула где-то рядом, он упал на снег и пополз, уже не поднимая головы.

И вдруг его руки чуть не выронили автомат в пустоту. Попов судорожно приподнялся на локтях — мир был немой и тесный, как ворот кителя, не было слышно даже дыхания — перед ним была небольшая яма, которую строители оставили, наверное, еще с лета. Дно ямы было рябым от стреляных гильз. На переднем крае, прямо на обрывчике, лежал набок автомат. Сложенные из снежных твердых глыбок, громоздились два упора для стрельбы на два направления. Около каждого в снег воткнуто по два магазина.

На дне ямы ничком распластался рядовой Михаил Улитин.

Попов, подобрав под себя ноги, с шумом выдохнул воздух задрожавшими губами, потом встал — автомат скользнул из рук.

К нему, опустив голову, через поле пошагал Журба, волоча за собой его шинель и держа неловко в руке, как горячий, автомат, солнце бросило скупой луч сквозь редкую промоину, и вслед за Журбой пробрела понурая тень — прямо по его следам.

Попов глянул на свои мокрые штаны:

— Вот дела-а...

Вся рота теперь оборжется... Старшина не забудет до дембеля. На всю оставшуюся жизнь.

Ему стало холодно так, что застучали зубы.

Он ждал хохла, по-детски веря, что придет он, и все, может быть, изменится, хотя ничего уже не изменишь. И скучно теперь думать о том, что не может быть, а будет уже точно.

И тут он заметил, что Улитин шевелится.

Попов тупо смотрел, как дрогнули его локти и рука, красная, застуженная, стала шарить слева от тела — искать рукавицу, как обернулось меловое, искривленное мукой лицо и глаза начали видеть, узнавать, понимать...

— Ага, — сказал Попов. — А я думал... Ну, вот и хорошо.

Недвижный, как снежная баба, он видел, как медленно привстает Улитин, пьтится назад, осторожно, украдкой, как ищут костлявые пальцы приклад автомата в снегу и находят, как улыбаются при этом побелевшие губы, как коротко блестит автоматный ствол перебрасываемого с руки на руку автомата и беспощадный зрачок ствола манит вселенским, готовым ко взрыву мраком.

— А... какой сегодня день? — глупо спросил Попов, запрокинув что есть силы голову и взметнув ладони к груди.

Журба с дикой проворностью прыгнул Улитину на спину, двинул локтем по лицу, ударил ногой, рыча, оторвал с натугой пальцы, цепко державшие автомат, еще раз ударил ногой, потом прикладом, выдернул из брюк поясной ремень, живо обмотал им уже безвольные руки, тыкая обмякшего Улитина лицом в снег, повторяя злыми губами одно и то же:

— Я тебе побегаю, я тебе постреляю. Я тебе побегаю. Я тебе постреляю!

Попов поднял с земли шинель, закутался в нее и, не оборачиваясь, украв полый мокрые штаны, побрел назад, замершим, слепым взглядом увидел снежный росчерк, отпечатанный очередью у его следа, отыскал упавшую с головы шапку, долго развязывал узелок, хоть завязано было на бантик, опустил у шапки уши, напялил ее поглубже и пошел назад, зачем-то глянув на часы, — до смены оставался ровно час; он снял ремень с “хэбэ” и стал застегивать шинель, глядя на Журбу каким-то странным детски-отрешенным лицом. Улитин лежал молча, не поднимая головы, но стара-

тельно сжимал и разжимал руки — он пытался развязать ремень.

Попов с гадливым недоумением, как на противного паука в постели, смотрел на эти руки и не мог оторваться; сказал ломаным голосом, лишь бы не молчать:

— Суббота сегодня. Что хоть за фильм сегодня в клубе?

Журба вздохнул, снял магазин с автомата Улитина, потом — со своего и стал неторопливо выщелкивать оставшиеся патроны в шапку, шевеля губами.

— Или ты в клуб не пойдешь? — занудно спросил Попов. — Спать будешь?

Журба не отвечал — он медленно шевелил губами. Попов тоже прыгнул вниз, потоптался рядом с хохлом, все равно видя руки, методично и упорно расшатывающие узел за спиной, сжимающиеся и разжимающиеся ладони, которые не боялись, не скрывались: человек хочет высвободить эти руки, упереть их надежно в снег, встать. И убить.

Эти руки крючком держали глаза, попытка их не видеть вызывала глухую боль.

Попов, покряхтев, нагнулся к Улитину, усадил его равнодушное тело к стенке котлована, подумал и — поправил шапку на голове.

Глаза Улитина были приоткрыты и смотрели прямо с безучастным спокойствием, руки за спиной продолжали работу.

— Ну, — выдавил себе под нос Попов. — И куда ты шел? Где паспорт бы взял? Шмотки? И ведь деньги еще нужны... А дома? Ну, ты хоть автомат бы оставил, а то, видишь, как вышло, братан, — куда мы вот эти патроны дели? Как объяснишь? А ведь присягу давал маме-Родине, да? В книжке расписывался?.. — И тут Попов вдруг почувствовал ужасную усталость и скуку от всего, от того, что было и будет, от никчемной пустоты сказанных слов, и неподъемную тяжесть внутри, как камень.

Он застонал и покрутил головой.

## Мемуары срочной службы

Взгляд Улитина на миг остановился на нем, будто вглядываясь, будто пытаясь узнать — кто это? Губы сдвинулись, и он с усилием плюнул Попову в лицо, немедленно откинувшись назад в ожидании удара.

Попов стянул с головы шапку, тщательно, брезгливо отер плевок и вновь глянул на Улитина: тот старался быть спокойным, едва удерживая на губах вопросительную усмешку.

— Мразь, — еще прошептал Улитин.

Попов кивнул: да, вслух добавил:

— Да и какая теперь разница.

— Скоты!

— Да.

— Вот убил бы — не пожалел. И всем бы сказал, везде — не жалко! Хорошо! Хоть бы разок по-людски сделал, понял, тварь?!

— Понял.

Улитина начала бить дрожь, и он уже совсем громко запричитал, ударяясь головой о стенку котлована:

— Я б вас, скотов... я б вас... Мне... щас автомат бы... Душил бы тварей, своими руками! Вот этими самими... А ну, развяжите, паскуды, я вам покажу, дешевки вонючие... Все теперь равно... Хватит, натерпелся! Поживу! Твари!

Попов обнял его и, колыхаясь вместе с кричащим большим человеком, шептал только одно:

— Да. Да, это так. Хорошо.

И повторял:

— Всё хорошо.

Улитин задохнулся и закашлял с тяжелым хрипом.

Попов повторил с непонятым упорством:

— Ну, и куда ты шел?

Улитин спрятал веками глаза на посеревшем лице и молчал.

— Так куда ты шел?

— Домой.

— Домой? Домой — это хорошо... Что ж ты мне, дурак, не сказал, вместе б пошли, да-а... Баба там у тебя?

— К матери. Домой.

— К маме, значит.

— Я б только поглядел на нее. Два слова сказал бы и — всё.

— И что бы сказал?

— Не твое дело, паскуда!

— Так, — Попов стал кивать головой.

— У меня никого нет, кроме нее. Я бы сразу ушел. Чтоб она не видела, как меня... Сам бы в военкомат вернулся. Болеет она у меня. Мне бы только увидеть. Постучу — она откроет, а это — я!

— А это ты.

— Я не могу, ведь я...

Попов с содроганием втянул голову в плечи, не пуская в себя мучительный хоровод школьных тетрадок, солнечных школьных коридоров, фотографий мальчика в буденновке с красной звездой, звуков одиноких старческих шагов, единственного, материнского голоса и имени своего, ласкового, смешного, давно не слышанного имени...

— Я не могу, — выдавил Улитин, — и не буду. Отпустите меня. Куда угодно. Я не могу. Все равно вам теперь... что-то ведь будет.

Попов тяжело вылез из котлована и прислонился к столбу, подняв воротник шинели.

Ветер слабо гонял по затвердевшему насту пригоршни посверкивающей снежной пыли.

Журба тронул его за рукав и, тревожно заглянув в лицо, прошептал:

— Вот сморчок, прибить не жалко, да?

Попов повернулся и сказал:

— Может, отпустим?

Хохол ухмыльнулся и взял Попова за рукав:

## Мемуары срочной службы

— Юра, патроны, что у него остались, я переложу себе в магазин. Мы скажем — стрелял только он. А мы не стреляли. Хорошо?

Хохол повторил, как для заучивания:

— Мы не стреляли.

Попов медленно подправил его:

— Ты не стрелял.

Журба легко переиначил:

— Ну да, я не стрелял... Я тебя не прикрывал. Ему этого не простят, что бы там с ним в роте ни вытворяли. Под шумок все проскочит. Он ведь, скот, нас положить хотел. Пост бросил. С оружием! Мы так скажем. Рота нас в обиду не даст.

— И я так скажу?

— Конечно, а как же.

— Я не скажу этого, хохол.

— Как?

— Пусть будет все, как будет. Видно, судьба такая.

— Попов, шука, совесть, тварь паршивая, у тебя есть? Я же тебя прикрывал! Я же твою жизнь паршивую спасал! Я же шкурой своей, всем рисковал, я же...

— Ты за свою шкуру боялся.

Хохол замер, сжав губы.

А Попов улыбнулся с детской легкостью и посмотрел на хохла.

Улитин, не шевелясь, сидел в котловане.

— Юра, — наконец разжал губы хохол. — У меня дома сын.

— А, оставь, хохол, все это чепуха, — раздраженно сказал Попов. — Ты лучше послушай, что я тебе скажу, вот, понимаешь, злость прошла. Весь год последний продохнуть не мог — будто жгло все внутри. А вот сейчас — легко-легко. Как с парашютом прыгнул. Ты прыгал когда-нибудь с парашютом, хохол?

— Иди ты, — процедил хохол и слез обратно в котлован.

Попов постоял один и медленно сгорбился.



Журба с налитым отчаянием лицом вычистил шомполом стволы двух автоматов, аккуратно снял рукавицу, задумчиво рассмеялся и со всего маху вмазал Улитину пощечину. Потом еще! Еще!

— Хватит. Не трогай человека, быдло, — устало попросил Попов.

Улитин весь обмяк и уронил лицо на грудь.

— Хватит? Чего хватит? — быстро обернулся к Попову Журба. — А вот нам на дембель надо было весной! А ведь и у меня мать есть. И жена у меня. И дитю полтора года — я толком его и не видал. А вот эта скотина меня убить хотела. — В горле у хохла что-то застопорилось, и он заглотнул воздуха: — Фашист! Скотина! — Хохол причитал перед Улитиным тонким бабьим голосом, рот его кривился, не закрываясь, веки подрагивали. — Ты, паскуда, ты думаешь, нас не мочили? Но мы же людьми по-оставались! Честно отпахали — а теперь не вернемся домой. Мы! А о себе ты хоть подумал? Может, мать твоя сдохнет теперь во все от горя, а?

Из глаз Улитина по недвижному, заледенелому лицу медленно покатались крупные, редкие слезы.

— Я-а, я не мог.. все-все... я ведь не...

— А теперь ведь нам — дисбат! Это нам. А тебе-то — тюрьма! Десять лет. И мать твоя от себя кусок станет отрывать, чтобы посылки тебе собирать, в конверты деньги последние совать, просить за тебя, идиота, ездить по столицам, а эти посылки к тебе и не попадут — там таких, как ты, не любят. Да тебя там вообще убьют, в параше утопят, да ты сам туда топиться полезешь, если в армии не выдержал, шенок!

Улитин не отвечал, он вообще не мог говорить — его душили рыдания.

Попов, наметившись, спрыгнул вниз, к ним, прикрыл лицо руками и привалился к стенке котлована, рядом с Улитиным, чуть придавив его плечом, — так казалось теплее, и тихо попросил:

— Не скули.

Хохол набил оставшимися патронами свой магазин, второй, пустой, сунул себе за пазуху. Лишние четыре патрона закинул в поле на четыре стороны.

Долго лазил на четвереньках, выбирая из снега красными мокрыми пальцами гильзы, дышал на пальцы, отогревая, собрав гильзы, со звонким шорохом высыпал их в бетонную трубу, врытую у основания столба. Потом огляделся, склонился за спину Улитину, сморщив простоватое крестьянское лицо, развязал ему руки и, еще раз оглядевшись, сел рядом с ними, подняв воротник, прикрыл глаза и привалился потеснее.

Улитин слабыми рывками, не с первого раза, вытащил руки из-за спины и осторожно просунул их в карманы.

Солнца не было, но все равно утро уже выбелило небо, нагнало легкий ветер на поле, и куст черной полыни покачивался на краю котлована, и на него сверху легкими, невесомыми касаниями опускались редкие крапинки снега, иногда ветер путался в голых верхушках невидимого леса, и тогда деревья шумели, как воздух, выдыхаемый сквозь плотно сжатые зубы. Сегодня была суббота. В клубе обещали фильм. Какой — никто не знал.

— Надо идти, — сказал хохол.

Попов первым неуклюже выбрался из котлована и измученно осмотрелся вокруг.

— Мишка, — неожиданно сказал хохол и притянул голову Улитина к себе, близко-близко. — Мы — гнилье. Но никому в тюрьму не надо. Всем надо жить. Мы — выродки. Но ты — останься хорошим. Мы все сделаем. Только ты не подкачай... Слышь? Ничего не было. Понял? Ты спокойно отстоял свое на посту. Не бегал. Не стрелял. Ничего, понимаешь, не было!

— В-вова, ну как, ты что-то... Ведь целый магазин, что я скажу! — так и впился в него глазами плачущий Улитин.

— Закрой рот! — рявкнул хохол. — Слушай меня! Там на горе, у твоего поста, ты видел где, есть параша. Там труба бетонная — от городской канализации, отвод, к реке есть сток отту-

да. Там сверху дыра — часовые туда по нужде бегают, старшина про это знает, понял, да?

— Понял.

— Скажешь — ты слушай, — прихватило живот на посту. Туда ты и побежал. Сел на дырку, автомат держал между коленками. Магазин сдуру снял, в руке захотелось подержать — боялся курок сдуру нажать. Руки замерзли — магазин выронил. Прямо в парашу. С тобой все время что-то случается. Поверят! Поверят — куда им деться... Никто себе ЧП раскапывать не захочет. Поищут — а нету! Там же сток в реку — где там проверишь.

Журба перевел дыхание.

— Вова, я все запомнил. Все, все скажу так, — тараторил Улитин с разгоревшимися глазами, слезы у него мигом высохли. — Ты объясни все, я сделаю, да?

Попов слушал и ничего не мог понять. Он уже злился, что они до сих пор еще не идут.

— Придет майор-особист. Будет тебя мурыжить: что и как. Но это чепуха. Страшного ничего не сделают. В Сибирь служить ушлиют — это ясно, но у меня там земляк служит — Хворостенко, я напишу ему, он тебе устроит клевою жизнь — пахать не будешь. Да и это ведь не тюрьма. Мы с Поповым скажем, что шли посты проверять, а ты из параша идешь и плачешь. Мы — на эту драную трубу. Скажем: еще край магазина виден был. А пока за палкой бегали — засосало. Ну тебя, может, пару раз ударили сгоряча, так это бывает. Нам — по выговору или “губу”. Но никому в тюрьму не надо! — Хохол раздельно добавил: — И самое главное: этого не было. Сколько жить будешь — этого не было. Никогда, ни с кем, нигде. Этого не было. И мы все вернемся домой. А это — главное.

— Не было, — повторил, как заведенный, Улитин. — Не было. Он смотрел на хохла, будто молился. Истоиво.

— В роте мы с тобой говорить на людях больше не будем. Тебе будет давить на психику, жалобить, что-то обещать. Скажут:

мы все знаем, что тебя припахивали, били. Они и правда это знают. Кто-то наверняка стучит. Но им не ты будешь нужен, а магазин от автомата. Ты нужен только нам. И матери своей. И только. И пусть мы сволочи. Но пусть нам всем будет хорошо. Или мы не люди, чтобы договориться? Жизнь ведь лучше, она ведь...

— Да, да, лучше, — закачал головой Улитин. — Жизнь прекрасна.

Попов вдруг засмеялся оттуда, сверху, жестяным, прыгающим смешком.

Хохол резко обернулся к нему ненавидящими глазами, бешено прошептал что-то матерное и быстро тут же повернулся к Улитину.

Тот был как во сне:

— Я запомнил все, Вова. Я скажу. Ничего не было. Я, я ведь жизнью тебе обязан. Я тебя не забуду никогда, сколько жить буду.

Журба мгновенно сказал:

— Ладно. Пошли, ребята.

Они долго и тщательно заправлялись, как на строевой смотр, придирчиво оглядывая друг друга и помогая, шли по тропинке, чтобы не оставлять лишних следов. Шли даже по росту: Улитин, Попов, Журба.

Попова все время бил какой-то нервный смешок, он то и дело прокашливался, закрывал ладонью рот и качался из стороны в сторону.

— Паскуда, — тихо прошипел хохол.

У Попова затряслись плечи — у него уже были мокрые от слез щеки, он чуть ли не повизгивал, сдерживая изнутри рвущийся смех.

Они шли споро и быстро, как возвращаются люди после тяжелой работы, уверенные в себе, сильные и счастливые люди. Когда переходили мостик, хохол отстал. Попов и Улитин пошли дальше, не оглядываясь. Журба стоял посреди зазеленелого моста — он был один, вокруг было пусто. Он вытащил из-за па-

зухи магазин и ощутил тяжесть человеческих судеб. Улитин и Попов остановились к нему спиной, не оборачиваясь.

Падал снег.

— Юра, — не выдержал вдруг хохол.

Попов, не оборачиваясь, не оглядываясь, замотал головой и опять захохотал.

— Тварь, паскуда, ненавижу! — дико закричал хохол. Улитин с ужасом смотрел, как Попов силится сдержать смех и заходится от этого в кашле, опираясь на его плечо и хитро поглядывая Улитину в лицо.

Журба нахохлился — он был совсем один.

Он коротко дернул рукой, и черный магазин тяжело упал в прорубь, подломив тонкий лед, — густая, зимняя вода стала студено лизать края пролома.

Журба дошагал до них и с чем-то нарастающим в голосе сказал:

— Ну вот, теперь... Теперь мы с вами... Вы ведь знаете...

— Я не знаю, — улыбнулся ему Попов. — Я не знаю, какой сегодня фильм. Откуда мне знать?

В караулке дребезжал телефон, когда они вошли, и розовый от сна Козлов мямлил невнятно в трубку:

— А? Здравия желаю. Нормально. Сержант Попов? — Он оглянулся. — А вот сейчас дам трубку.

Попов увидел черную уродливую трубку с прыщавой щекой микрофона, протянутую к нему, схватил ее и со всего маху грохнул об аппарат — телефон развалился, оставив посреди обломков жалко звякающий звоночек.

Караул прыгал из машины друг за другом, придерживая шапки на головах.

— Попов! — Уже покинувший санчасть сержант Кожан курил на бревнышке в спортгородке. — Ну, как там мой Улитин на службе себя проявил?

Попов остановился, будто силясь что-то вспомнить, потом хмыкнул и властно поманил пальцем:

— Улитин. Ну-ка, иди сюда.

И сказал Кожану:

— Ну что сказать, совсем с бойцами не занимаешься. Хреново бойцов воспитываете, товарищ сержант, магазин потерял. Действия по пожару совсем не знаем. Рыдаем на посту. Беда просто, а не солдат.

— Ка-ак? — грозно изумился Кожан и сноровисто сунул Улитину кулаком в морду. — Займемся! А ну-ка, упал, отжался!

Улитин упал на снег и стал качаться на плохо сгибающихся в тесной шинели руках.

— Раз! Два! Три!

Попов с каким-то брезгливым интересом смотрел на его спину. Внутри у него тугим комком забухало сердце.

— Встать! — приказал Кожан. — На месте бего-ом марш!

Улитин затрусил на месте, придерживая на груди автомат.

— Раз, два, три! Раз, два, три! Лечь — встать! Лечь — встать!

Он вставал и падал, как ванька-встанька, не отряхивая снег и не поднимая лица.

— погоди, Кожан, — сипло произнес Попов. — Дай-ка я.

— Ночи, что ли, тебе не хватило? — удивился Кожан.

Попов придвинулся поближе и прямо в лицо Улитина выкрикнул:

— Стой!

Он почувствовал, как с ударами сердца разливается по телу горячая ненависть, и он уже не мог ее остановить.

— На месте шагом марш!

Он все пытался увидеть глаза Улитина — но тот смотрел куда-то вверх, не видя ничего, с застывшим в слепом исполнении лицом.

— Жить хочется, — вдруг прошептал Попов и уже с азартом, заводясь, закричал: — Прямо!

Улитин помаршировал прямо на стену, пролез к ней через сугроб и ткнулся лицом в кирпич.

— Направо!

И он пошагал направо, высоко поднимая ногу и делая идеальную отмашку свободной руки, — прямо до забора и до упора в него.

— Налево!

Налево была канава, широкая — не переступить. Кожан уже начал хихикать, предвкушая зрелище, а Попов отвернулся и заплетающимися шагами пошел в казарму, снимая с плеча автомат.

За спиной раздался звук падения и дружное ржание — Улитин упал.

В ленинской комнате старший лейтенант Шустряков сонным голосом читал:

— ...В часы политико-воспитательной работы и личного времени необходимо оказывать на воинов всестороннее воспитательное воздействие, помогать лучше использовать это время для идейно-культурного и нравственного совершенствования... Так, значит. Курицын, в чем первейший долг сержанта, а?

Курицын с трудом приподнял от стола кудрявую всклокоченную голову:

— А?

— Первейший долг сержанта в чем. Курицын? Ты хоть встань, мать твою так!

Курицын лениво вылез из-за стола и шарил глазами по молодым воинам.

Шустряков забубнил:

— Первейший долг каждого сержанта, запомни, Курицын, нести в солдатские массы идеи партии, неустанно разъяснять достижения советского народа в коммунистическом строительстве, важно донести до сознания...

Шустряков осекся — посреди ленкомнаты стоял в шинели сержант Попов, сжимая в руках автомат.

— А, Попов, приехали герои, так вашу мать. Магазин прохлопали, так вашу мать. Чего вперся одетый? Оружие мог бы и сдать.

Попов молча прошел ему за спину, встал на трибуну и положил автомат перед собой, стволом к людям.

— Ты чё, охренел? — выдавил кто-то из старослужащих.

— Сержант Попов, — визгливо начал старлей Шустряков, пятясь назад.

Попов снял предохранитель.

Все смолкли, как дети, услышав материнские шаги.

— Вы слышите? — тихо спросил Попов.

За окном Кожан вел караул на пайку и бодро орал:

— Рэз, рэз и рэз, двэ, три... Караул!

Караул шмякнул ногами.

— И раз!!!

— Вы слышите? — повторил Попов.

Он пошел, скрипя паркетом, на выход, на мгновение остановившись перед Шустряковым:

— Извините, товарищ старший лейтенант, прервал.

Ворота с красной звездой, разомлевший от жары дневальный, утопивший палец в ноздрю. Щедрый зевок дежурного прапорщика. Ступеньки, коридор, КПП — позади. Военный городок.

Голоса: мужчина и женщина.

— Это ты здесь служил?

— Да.

Строится у забора караул. Рыжий сержант небольшого роста грозно хмурит брови и покрикивает. Караул заправляется. Первая, салабонская, шеренга стоит очень прямо.

Взвод выбивает ремнями развешенные на заборе матрасы. Некоторые полуголые солдаты оборачиваются и улыбаются женщине.

У стены казармы — насос на колесах.



Два голоса:

— А это что?

— Это? Насос, наверное. Тогда не было.

— Нет, вот это.

— Это матрасы выбивают. Чтобы пыли не было.

— И так каждый день?

— По субботам.

— Юра?

— Да?

— Может, мы пойдем? Тебе ведь не хочется...

— Мне хочется.

Дверь казармы наверх, обшарпанные стены. Сбегающие вниз солдаты. Сверху свешиваются головы тех, кто чистит сапоги на лестнице. Шепот: “Баба какая-то...”

Дверь в роту.

— Юра, милый, ну что с тобой?

Холеное, толстое лицо ветерана, собирающегося на дембель.

— Служили тут? Очень здорово. И что, тянет, да? А мне кажется: вот дембельнуйся, и хрен сюда еще заманят. Тоже казалось? Видишь как... А спали где? У окна, вот там? И я там, ага... Во совпало как, а? А... вы сверху, а я — снизу. Все равно — совпало. Когда ваш дембель? Нет, не застал... Меня сюда с Сибири перевели, потом уже. Сейчас? Сейчас я на насосе главный. Видали — стоит? И воняет. Это магазин Улитина ищем. Каждый год старшина что-то новое придумывает для зашивонов, прошлое лето драгу какую-то изобрел, все перелопатили, а теперь — насос. Улитина? Улитина я знал, я ж в Сибири служить начинал. Очень авторитетный был дедушка. Месил всех на чем свет стоит. И мне досталось — жестокий был, паскуда. А вы его знали? Ну? Нет, не знаю, какой он был по салабонству, а дед был зверье! Теперь вот его магазин и ишу. Не, да разве откажешься? Нам старшина все время, как такие разговоры начинаются, одну притчу рассказывает. Это у него так называется: рассказать притчу. Был, говорит, у нас сержант

## Мемуары срочной службы

Попов. Ну, очень борзый был сержант, начал вроде служить отлично, а потом малость подвихнулся — грубит, на службу что-то положил, извиняюсь перед дамами...

Немного смущенное лицо женщины. Косящийся дневальный.

— Ну вот. Определили его по дембелю на недельку магазин Улитина этого искать. Тогда еще лопатами ворочали. Он три дня походил, а потом взял и старшину послал на три буквы — извиняюсь опять же перед дамами. За это пять суток “губы” парень огреб и магазин тот ловил еще две недели, а уж потом, как провонял хорошенько, тогда и домой. Такая вот притча, мда-а...

Попов медленно прошел в ленинскую комнату. Пусто. Дневальный подметает — поднял свое скучное лицо.

В телевизоре два пузатых прапорщика, прижавшись друг к другу, поют сочными голосами: “И от солдата и до маршала мы все семья, одна семья!”

Дневальный подметает за его спиной.

Попов подходит к окну и видит, что маленький сержант уже закончил строить караул и скомандовал тонко:

— Внимание, караул, шагом марш!

Жиденюк колонна вытоптала на асфальт.

Дневальный закончил подметать и все еще не уходит, переминается у дверей, настороженно крутит остриженной салабонской головой.

— Можешь не придуриваться, я узнал тебя, Смагин, — тяжело выговаривает Попов.

Недоуменное лицо дневального.

Рыжий сержантик, убедившись, что поворот пройден, и выматерив что-то сказавшего вслед дежурного по роте, поправил пилотку и, нагоняя строй, заорал:

— И рэз, и рэз, двэ, три. Караул!

— И РАЗ!!

Попов зажмурился, и караул застыл с поднятыми ногами и разинутыми ртами.

# Пятки

Гимн

**Я** люблю армию.  
Я очень люблю нашу армию. Я считаю, что мы играем мало маршей. У меня комок в горле, когда — чеканный шаг и державная поступь шеренг. Я фанатик строевого шага, мало маршей!

Это после армии я стал обращать внимание на походки людей. До армии я — шаркал. Будто постоянно в тапочках, как старый дед.

Через три месяца службы ротный на строевом смотре сказал: “Кто пробьет при прохождении строевым шагом вот эту самую половицу — поедет в отпуск”.

Честно говоря, мне мучительно хотелось в отпуск, и я очень быстро научился ходить строевым шагом.

Половица, кстати, была самая обыкновенная — доска, коричневая краска, четыре гвоздя — два и два. И чуть-чуть прогибалась.

## Мемуары срочной службы

Я маршировал каждый вечер. Я стаптывал сапоги, сушил ноги, у меня стали синими пятки. Я прослыл сумасшедшим. Мне уже снились древесный хруст и нога, проваливающаяся в пустоту. Когда я бил ногой, у меня зверело лицо. Каждый шаг мой — сильный, нарастающий — это шаг домой. Я чувствовал это предметно.

Я уже никогда не шаркал. Даже в простом шаге, в личное время нога сама невесомо взлетала и красиво шмякалась в землю, настойчиво и сильно. Я и без сапог ходил так же, и только так.

Ротный с интересом разглядывал половицу. Она сильно по-светлела, с нее облетела краска рваными островами, и стали выламываться щепки.

Но не только это отличало данную половицу. Когда перед моим дембелем в казарме перестилали полы, оказалось, что именно эта половица лежала впритирку на бетонной балке — все остальные имели под собой какой-то запас пустоты, и лишь она — впритирку, тесно, непоколебимо. Только слегка покачивалась.

Ротный сиял. Он думал, теперь я перестану махать руками и стучать ногой. Он ошибся. Сняв сапоги, я хожу точно так же, вызывая общее недоумение и смех, ищу братьев своих по от-машке рук, по подъему носка и выдерживанию равнения, по неслышному маршу и буханию каблуком в ненавистный ас-фальт.

Хотя иногда мне становится страшно, когда я понимаю, что армия и жизнь — это разные вещи, хоть и правятся одинаковыми законами. И чем сильнее стучишься ты в землю — тем скорее она тебя пустит. Те, кто шаркают, действительно дольше ходят по казарме, те, кто пытаются оставить следы, действительно скорее едут в отпуск.

Но у меня есть надежда: когда мы устанем ходить, когда с бессрочными отпускными билетами мы отправимся наверх

Александр Терехов

или вниз, мы сделаем это ногами вперед — смотрите на них, в этом смысл; и тот, кому ведено разбираться, кто должен решить для себя, а значит — для всех, — и пометить себе в бумажке, что и как, он легко поймет и отделит розовые, нежные пятки тех, кто всю жизнь давил живое, ходил по плоти и цветам, от черных, потресканных, раздутых, мозолистых пяток искателей правды, гонимых поэтов, безвестных бродяг, несдавшихся беглецов, несчастных пророков, честных бедняков и неутомимых пешеходов — детей.

И поэтому — мало маршей играем.

Мало маршей!

# Зёма

*Иронический дневник*

**Я** иногда думаю: как мы связаны с этими листами бумаги, синими и фиолетовыми строками, белыми полянами абзацев, что как вздох, и муравьиной тропинкой многоточий; ряды этих букв — колючая проволока, страница — наш концлагерь, как повязаны мы этим нудным постоянством внутреннего напряженного слушания себя, своей тишины между паузами сердцебиений жутким слухом уходящего времени, уходящего через нас, потому что мы — рваные края этой пробоины, мы — опаленные окраины этого ожога, мы — на линии разрыва этой сети, каждая ее ячейка лопается в нас...

Мы, прикованные ко времени наручниками часов, принужденные к ежедневному белому зеркалу бумаги, мы, что бы ни случилось — прекрасный взлет или дрожащая мерзость поворотов, мир тысяч лиц и музыки слов, — мы придем, как заколдованные, к горбатуму нами столу и будем, перебирая сре-

ди знакомых и пошлых слов, искать то единственное, но все же бесконечно далекое от сердца сочетание, которое будет испорчено вконец напряженным и неумелым голосом при чтении...

Дневники наши — стрелы, не достигшие цели и упавшие в мягкую траву, потерявшие друг друга ладони, грубые скворечники для жар-птиц.



Когда весна, сильнее всего в гарнизоне пахнет свиарником. *Житейское наблюдение*

Очередного приезда генерала ждали четыре дня.

Четыре дня по центральному проходу казармы никто не шастал — все лезли прямиком по кроватям, чтобы не испоганить труд целого взвода, наяривавшего доски мастикой; все изгладились; сапоги сияли, как у кота, гм... глаза; личный состав до дыр заелозил указкой карту, обозначая столицы мракобесов и реваншистов, а молдаванин Качук, плохо рубивший по-русски, заучил на слух: “Идеологи империализма делают большую ставку на идеологические диверсии и шпионаж” на случай, если генерал спросит: “Как дела?”

Ротный потребовал от старшины, во-первых, чтобы с крыш не капало, во-вторых, не раскрывать рта, чтобы не обронить какое-нибудь искреннее слово.

Генерал наш был старенький и вялый: все силы своей души он вложил в получение лампасов. После этого жизнь стала доживанием, но не потеряла смысла, поскольку больше всего на свете генерал любил наш свиарник — это было его лелеемое детище, — и, приезжая, он торопился прежде всего туда. Он душой страдал за судьбы свинок, ласково называл их “зёмы”. Заходя в свиарник — одноэтажный длинный сарай с полуотвалившейся побелкой и глубокомысленными взорами едва не

заплывающих жиром глазок за железными прутьями, — он с ходу начинал кликать старшого:

— Петро! Петро! Петруша! Где мой Петро?!

После напряженных шорохов из дальней каптерки, манившей запахом жаренных с салом картох, вылезал здоровенный Петро с заспанным видом и соломой в волосах. Он ради порядка бросал сокрушенный взгляд на голубоватые джинсы, заляпанные навозом, и начинал басить: “Таа-рыш генера...”

— Петя, — пронзительно, по-детски умолял генерал, — блин, свинкидохнут! Крысы бегают, как собаки!

— Убиваем, таа-рыш генера-а...

— Где?! — вопил генерал.

— Вон там лежат. Три штуки.

— Да они уже третий месяц лежат — завоняли уже. Петя, скажи ребятишкам: кто убьет пятьдесят штук — поедет в отпуск!

Мне всегда было жалко нашего генерала. Однажды егохватило сердцем прямо в свинарнике — ему попался боец, волокущий мешок с комбикормом прямо по асфальту.

Когда генеральская “Волга” миновала КПП, мы уже стояли двумя шеренгами, струя серебристый парок в серое еще небо. Лично я видел желтый бок казармы с полузатертой надписью “ДМБ-86” и думать ничего не думал.

Генерал долго сидел боком, уже распахнув дверцу, грустно опустив голову и вывернув нижнюю губу, задумчивый, как десятиклассница, которую потянуло на соленькое. Командир, замполит и старшина тянулись в струнку, подобострастно открыв рты, словно приехал не генерал, а стоматолог.

Наконец правый ботинок генерала приземлился на асфальт.

— Гота! — завопил картавый ротный. — Гавняйсь, смигна!

Генерал еле проплелся вдоль строя со стариковской умильной гримаской, и ноги его ослабели около сержанта Дороша. Если бы он даже захотел пройти дальше, это было бы невоз-



можно. Геройский Дорош надул свою грудь так, словно ему за пазуху засунули арбуз, — это препятствие притормозило генерала.

— Ну... как служба, сынок? — Генерал еле вспомнил, что надо сказать.

— А-ат-лично!!! Товарищ генерал!!

“А-а-аал!” — отдалось в окрестных строениях.

Молодцеватый ответ был единственной воинской специальностью Дороша, обретавшегося при клубе, и всегда получался ошеломляющим. Генерал побледнел, и у него жалко и растроганно задрожали губы.

От сотрясения воздушных масс с крыши нехстати капнуло в непосредственной близости от генеральской огромной фуры. Старшина, заметив поворот командирского кумпола в адрес опальной капели, не выдержал и пообещал кому-то в строю:

— Сгниешь в параше! С очка будешь только спать приходиться.

Генерал пополз дальше.

Старшина, заметив еще одну каплю, повторно обласкал несчастного чистильщика крыши:

— И спать будешь на параше!

Холодок выжал из меня последние капли дремоты, а значит, и всего хорошего, мне стало скучно — тут генерал и тормознул перед худым и носатым Аркашей Пыжиковым, который надувал грудь как раз передо мной.

Пыжиков как-то пытался повеситься ночью на турнике, отправляясь в запределье посредством поясного ремня. Черт знает, что дернуло, — я честно топил на массу и пробудился уже от воплей. Пыжиков орал, как гусь перед казнью: “Грязь, — что ли, — все мразь...” — и не поймешь, что орал-то? И замолк с тех пор. Попросишь его что на вечере почитать — он же на актера в столице учился — зло зыркнет и мотнет головой: хрен вам! Кладу я на вас.

## Мемуары срочной службы

— Как служба, сынок? — вшептал генерал прямиком в Аркашино костистое ухо. — Жалобы есть?

Командир с замполитом даже приснули легко и быстро: да и шутник же вы, товарищ генерал!

— Есть, — медленно сказал Пыжиков. — Домой очень хочется.

— Ага, скучаешь, ага? — улыбнулся генерал, нетерпеливо поглядывая через плечо на свинарник. — По папе с мамой, ага?

— Баба небось, — с юмором подключился старшина, вызвав бешеную пляску губ у замполита.

— Я по себе скучаю, — чуть громче сказал Пыжиков. — Домой хочется съездить.

— Ну... — всплеснул генерал руками и, дабы все услышали, зычно протрубил: — Отпуск солдат должен заслужить!

Командир с замполитом чуть не захлопали в ладоши.

— Это как — заслужать?

— Ну, как-как... — Генерал начал малиноветь носом. — Все служат, как все, а ты — выслужись. Что-то особенное сделай. Командование тебя и поощрит.

По лицам командования было видно, что виды поощрения Пыжикова уже продумываются.

— А если просто так служить? Как все? Можно в отпуск?

Дурак ты, дурак, Аркаша.

— Можно... ишь ты, можна... — запыхтел генерал и заорал: — Можно в сапог товарищу на... Можно бабушку с разрешения дедушки! — Он отвернулся и огорченно побрел по тропке к свинарнику, враз окруженный свитой, но тут распихал ее и добавил: — Можна козу на возу!

Рота дружно заржала.

Генерал повеселел и добавил:

— Старшина, дай-ка мне этого бойца. И еще кого... Мне тут надо...

И отправился в свинарник.

— Та-ак, — сказал старшина, ласково оглядев нашу шатию-братию. Синхронно с “та-ак” каждый будто запах из кабинета с табличкой “Стоматолог” учуял — в животе начались некие бурные процессы.

— Сидоров, Гвоздик, выйдтя из строя — на санузел! — разорвался первый снаряд.

— Валиахметов на кухню, в овощерезку.

Мой смуглый сосед лишь невероятным усилием воли удержал готовую отчалить нижнюю челюсть...

— Пыжиков... хлоп твою мать совсем, философ хренов... и кто там за тобой? Курицын — в распоряжение генерала Седова. Ждать на улице. Разойдись!

Все дружно побежали в казарму, а я приторчал на месте, и не только затем, чтобы выкурить сигаретку, но и оттого, что фамилия моя Курицын и, как на грех, стоял я прямоком за Пыжиковым.

— Курицын, чего задумался? Пуговицу вон подбери — под ногами валяется, — это старшина мне. В самую морду.

— Ет не пуговица, товарищ прапорщик, это с вашей головы винтик выпал, — это я ему. Про себя, конечно, заталкивая мгновенно схваченную пуговицу в карман. Старшина долгим взором смерил Пыжикова и утопал в казарму. Снег мартовский, мягкий и вязковатый, вялая капель ныряет оспинками в снег, а я смотрю на Пыжикова и размышляю, что же это нас ожидает в перспективе.

Из казармы к нам уже летел командир первого взвода Шустряков, персонально ответственный за психическое состояние ефрейтора Пыжикова.

— Хрен ли ты выпендриваешься, хлоп тать, — заканючил он с кислой физиономией уже на подходе. — Будешь все время в трении — сплывишься. Очень хреново, да?

Пыжиков молчал.

— Так у вас еще лафа. Ты глянь, как салабоны живут. У тебя ведь все позади. Все ведь ваши деды рады и довольны. И ты так

живи. Чуть-чуть осталось — и все будет, будет. Живи как все. Большинством всё удобней.

— Да, — сказал Пыжиков, — особенно хоронить.

— Да ерунда, все ерунда, два года — чепуха. — Шустрякову было холодно, и ему хотелось в дежурку, где старшина уже расставил нарды. — Вернешься домой...

— Уже не вернусь, — сказал Пыжиков и пошел к лопате, воткнутой в сугроб, — это он чистил крышу.

Солнце опушило наконец-то нежный край облаков мандариновой оборкой, и с крыш закапало — тревожно, плавно, больно...

— Петро! Петя-а! — звал генерал в свинарнике.

— Вернешься, то есть как — нет? Не убьют же тебя здесь, — недоуменно протянул Шустряков и заключил: — Ну, ты, давай, держись... Еще в театре тебя посмотрим. А ты, Курицын, поговори с товарищем, ведь ты член бюро, ведь не дело так... — И побежал в казарму, отмахивая в сторону рукой, свободной от придерживания на голове великоватой пижонской фуры, разительно напоминавшей генеральскую.

— И правда, — сказал я. — Вот турник даже из казармы убрали через тебя. Качнуться негде.

Хлопнула форточка, и старшина высунул в весну свой чайник на три четверти.

— Курицын, вы чего еще здесь болтаетесь? — Это он нам, увернувшись от сонной капли с крыши.

“Меж ног болтается, таа-риш праа-щик. Мы стоим”. — Это я ему. Про себя, конечно.

Пыжиков доложил, что указаний от генерала не поступало и мы ждем.

Старшина пофырчал и скрылся обратно, тут из-за угла и высунулся “зиллок” армейского образца.

— Сырая нынче весна, — мрачно сказал я. — Это по нашу душу.

От свинарника по узенькой тропке к нам уже косолапил генерал, оберегая от возможных брызг полы светло-голубой ши-нели. Свита, высоко выбрасывая ноги, лезла прямо по сутробам, что-то бодро и весело поясяня.

— Сынки, это вы ко мне? А? — замямлил генерал, проявляя твердую память.

— Так точно, товарищ генерал! — Пыжиков задрал плечи и выгнул живот колесом.

— Ну, тогда, сынки, полезайте туда, в кабину, а я на “Волге” — дорогу показывать. Мне тут надо переехать помочь много, ага?

С таким лицом, как у генерала, нищие просили хлеба на паперти в глухую пору самодержавия и реакции...

— Зёма!

Водилой “зилка” оказался Сенька Швырин, мой корефан и зёма со второго взвода.

— Зёма, мля... — заревел Сеня, понукая свой избитый “зиллок” вослед пестрой от весенней грязи “Волге” генерала, который то и дело поворачивал свой кумпол, дабы удостовериться, что мы еще не свернули с пути истинного в сторону женского общежития или пивбара “Саяны”.

— Что ты... встреча... я, блин, не ожидал, мля. За...ачим эту мебель запросто, раз вместе. Что ты, зёма, вашу мать...

Я важно кивал, косясь на Пыжикова, — видал, дескать, какой у меня зёма есть?

Надо заметить, что перевозка мебели населению никогда не была мечтой моей жизни и от нескольких опытов на этом поприще у меня остались тяжкие воспоминания о тесных лестничных клетках, табличках “Лифт не работает”, режущих плечо канатах, сопящих коллегах, обтирающих задницами стены, и истошных воплях: “И рээ!” — и отупелый, пошатывающийся спуск вниз, проткнутый насквозь мыслью о следующей вещи.

## Мемуары срочной службы

— Лишь бы не было пианино, — мудро сказал я.

— Что? А если бы лифт работал — ваше было б зашибись. Копать мой лысый череп! — Глаза зёмы искрились, как весенняя проталина в нефтяных разводах.

Он бурно салютовал новостями: зашивон Чана отсидел на “губе” червонец за то, что слинял с наряда к бабе; новый взводный ведет себя скромно — службу понял; дембель далек, но неизбежен; калым хороший и на хавку хватает; подходит раз старшина и говорит: а я ему и... представляешь? Гы-гы... От ментов уже и бензином хрен откупишься, салабоны на службу забивают — вот на днях одного борзого гасили, а первую в гарнизоне шлюху Лильку нашли голую утром в спортгородке третьей роты пьяную вдрыб... И собирается он после армады педагогом в школу — мужиков теперь ценят, зарплату повысили. И два месяца отпуск.

— А ты куда, зёма, после армады? — вывел он меня из дремы.

Я осоловело повел башкой, как ворона, потерявшая во сне равновесие на суку, и вяло каркнул:

— В кооператив “Половые услуги”, — и, скучающе обозрев прыгающий за окном пейзаж, ляпнул абы что: — А вот Пыжиков — актером у нас!

Зёма чуть не переехал трехэтажный дом на обочине.

— Кем?! — На дорогу он больше не смотрел: поворачивал свой рубильник либо на меня, либо на заерзавшего Пыжикова.

— В натуре? Не свистите, а то улетите!

— Не... зуб даю, — поклялся я.

— Бичи... в натуре?

Пыжиков наконец подтвердил:

— Я закончил Шукинское училище. Это театральное такое есть. В Москве.

— Я тащусь и хренею с вас, бичи. Веревки! И кого ж ты там играл?

Пыжиков сидел нахохлившийся, как умирающий голубь.  
Голубь всегда умирает красиво.

Сожмется в комок, приподнимет что есть силы крылья и щурится в напряжении, будто хочет продохнуть что-то, тяжесть какую-то в груди рассосать. Знает, не взлетит и перышком не дрогнет. На мокрый асфальт, что под мраморной лапкой, даже не взглянет — только в себя. И дернется вдруг, взметнет крылья, ослепив белыми подкрылками, вывернется назад и замрет. Будто пуля его сорвала, как цветок с поля небес, будто вырвали его из полета, будто умер он в небе, и не асфальту его судить. Так и сожмет его костлявая рука, ослабив порыв, пригладив перья, открыв нешумный рынок для червячков и мошек. Но это уже будет не голубь, а немножко мяса и спички костей. Этого не жалко. По-настоящему можно жалеть только красивое. Остальное — не впечатляет.

— Актер, я тащусь. — Зёма фыркнул, как яичница на сковороде. — На сцене раз прохреначил, и все соски твои — капец! Милый, а кого ж ты будешь играть после армады?

Пыжиков дернул левым плечом и сощурился, будто сунулся в заброшенной хате лицом в паутину.

— Не знаю. Никого не буду.

— А почему, зёма?

“Зилок” ревел, форсируя распутицу. В кабине была Африка. Зёма курил, и сизый дым вздымался к потолку. Зёма орал вопросы с радостным лицом. Я созерцал дорогу, молясь, чтобы малоподвижные пенсионеры не покидали свой очаг или не приближались к этой дороге. Пыжиков что-то тихо отвечал. Зёма с первого раза не всасывал — Пыжиков повторял еще раз, проще, а когда зёма еще раз раскрывал свою пасть: “А?!” — вообще кричал что-то несурзное:

— Мне ничего не надо. Я потом хочу... Может, в лес уехать... Рыбу ловить. Молчать.

— Чего?

— Не хочу ничего! — Мне казалось, что Пыжиков сейчас заплачет. — В лес хочу! Один!

— А?!

— В лес хочу!!! — кричал сумасшедший Пыжиков.

— У твоих там пасека? Мед — это клево, — понял наконец зёма, держа в перекрестье своих плутоватых глазок цвета фиалки заляпанную издержками весеннего таяния задницу генеральской “волжанки”, показывающей нашей колеснице путь на Голгофу.

— Актер, слышь. — Зёма посерьезнел. Глаза его безупречно округлились, а голос был тих и вкрадчив. — А... а с бабами на сцене взаправду целуются? Или так себе?

“Волга” завернула во двор кирпичной девятиэтажки и тормознула. Мы — соответственно. Зёма вывалился из кабины и вопросительно сдвинул на затылок шапку.

Генерал, ссутулясь от ветра, кисло глянул в нашу сторону и махнул рукой. Зёма неторопливо распахнул дверцу.

— Покурим? Велено обождать.

— Покурим.

Солнце лупит лучами зачерневшие сугробы, выжигая серые плешинки асфальта, и огромный парус синевы с белыми заплатами облаков нависает над крышами и черными деревьями, залепляя уши живому и мертвому ватой тишины, и лишь пригоршни птичьих стаяк слабо вскрикивают, словно поскрипывает мачта под ветром. Рубит солнечная мельница мешки тоски, собранные за зиму, гложет сладкой пыткой — засмотришься так и бросишься шагать в весну, упадешь на колени, звеня подтаявшими льдинками, и крикнешь сердцем из самой глубины: “Что? Что тебе надо, весна?” И вся весна будет улыбаться и плакать в ответ, огромной рекой, унося тебя, врачую сердечную боль непрочным бинтом жестокой тишины, — весна, подлая тварь и добрая мать... и сердце ноет, как дерево в натуж-



ном порыве по ночам, что выросло меж двух заборных досок. И добрая рука срубит потом на дрова, и не будет тогда ничего, ничего, ничего.

— Так хрен ли ты такой млявый, не прошибу? — сказал зёма сурово, оглядев скончавшийся “бычок”.

Пыжиков, пройдя пару шагов по звенящей наледи, обернулся:

— Вам не понять. — Еще шаг — и через плечо: — Не понять.

Зёму как обухом погладили — он минут десять глотал слюну.

— Объясняю еще раз, — осветил я ситуацию. — Для бронепоезда. Дубовый ты, зёма. Так надо понимать.

Зёма начал глотать воздух.

Пыжиков неприятно сощурился.

— Нет, не так. Мы — разные. Просто разные. Как береза и сосна.

— Ну да, береза и сосна, — понимал все с полуслова зёма. — А я дуб, значит.

— Да не-ет — вы и это не поняли. Все не объяснишь. Да и вообще — что-то даже себе не объяснишь.

Весна — все-таки весна. Пыжиков откровенничал первый раз.

— Вот вы поймете меня, — горячо зашептал Пыжиков, напряженно качаясь против нас, пытаюсь обозначить и мое участие в беседе, но я по привычке держался поодаль, — нет, не во всякой воде надо купаться, всего лучше так: стал по коленочки — и думай, как хочешь — в воде я стою или на бережку?

— Все зло, когда не понимают, а додумывают друг за друга. А кто понял — молчит. Вон Курицын, он же понимает, но в армии у него сломали что-то внутри, он и...

Это уже про меня.

— Гы... а вешался ты тоже от этого, хлоп тать? — Вот так я ему.

Зёму это вернуло к мыслительной деятельности.

— Служба замарала?— нашел он свое место в беседе. — А я, хоть и дубовый, а вешаться не бегал — службу, как полагается, мля... — И добавил: — Интеллигент. От слова “телега”!

Стало как-то неловко. Сырая все-таки весна.

Пыжиков съезжился.

Мысль о смерти — она как крыса: живет где-то под полом, скребется чуть-чуть, когда совсем тихо. Походишь, поскрипишь половицами — все в порядке, тихо. Задумаешься, забудешься, а поднял голову — вон она скользит через комнату серой волной с розовыми нежными лапками и черной сосулькой голого хвоста...

— Это тоже не объяснишь, — только и сказал тихо Пыжиков и опустил лицо, зябко задрал дрожащие плечи.

— А знаешь, Курицын, почему я сильнее тебя? Вешался... Вешался оттого, что не сломали. У меня душа осталась. Хоть от вас и не отличаюсь, — напряженно засмеялся он и клюнул сапогом кочку. — Я думаю. Я постоянно думаю — вот так. И я прорвусь — вот посмотришь. Главное — вроде как все, а внутри собой остаться. Понял? — И он улыбнулся, как улыбаются дети сквозь только что пролитые слезы.

— Угу, — сказал я. — Спи спокойно, сынок, спи спокойно.

Из подъезда вырулил Седов в кителе нараспашку и толстая тетка в белом халатике. Седов неловко поманил к себе зёму, а тот зарысил к нему, подобрав полы шинели.

Зёму забрали в армию после ПТУ. Нести свет в души подрастающего поколения он надумал уже тут.

А вот сейчас мы будем таскать мебель. Паршиво на душе что-то. Чуть-чуть. Как будто сильно пожрал перед работой. Или увидел любовь свою под руку с красивым здоровым мужиком. Будто отбегал огромный день по зеленой траве детского сада, напевая и радуясь, лег в кроватку под сказку, а проснулся — волосы седые.

Это все весна.

— Э-э, солдаты... шагом марш сюды! — неожиданно тонко, по-петушиному, вскричал генерал.

Пыжиков по-собачьи подобрался, прижал локти к животу и затрусил к подъезду, я — за ним. Зёма ошеломленно улыбался и послушно тянул шею к генералу, успевая коситься на врачихину грудь, пышно выпирающую сквозь вырез халатика.

Генерал старательно бодрился при врачихе и даже наскреб сил, чтобы нахмурить взор, отчего стал похож на бухого мужика, доказывающего жене, что не знает, куда исчез червонец из шкафа.

— Значить... эта, сынок, ты — откинь борт, — манипулировал генерал трясущейся рукой, имея в виду приосанившегося зёму, который уже пялился на врачихины коленки, а она отвлеченно морщила ярко накрашенный рот. — Доски у тебя есть? Мы ее как по настилу, ага?

— Да не надо досок, товарищ генерал, — певуче протянула врачиха, переступая короткими сапожками. — Они ребята здоровые — так поднимут.

Зёма при этом улыбнулся, как идиот.

— Ну, тогда не надо, — согласился генерал. — Тогда, сынок, подгоняй задом прям к подъезду. Прям вплотную. Ближко-близко, ага? — говорил он, раздраженно оглядывая пустынный двор, и неожиданно заорал: — Понял, сынок?!

Зёма вздрогнул с испуга и метнулся, как рысь, в кабину, бормоча что-то про лысый череп.

— А вы — за мной! — рявкнул генерал, и мы шагнули за ним, чуть не сбив с ног врачиху, оцепеневшую от величия проявленной командным составом воли.

Генерал первым шагнул в лифт и прижался к пыльной стенке, сцепив на пузе руки; мы с Пыжиковым истуканами замерли по бокам, пухленькая врачиха втиснулась последней, втащив с собой запах помады и духов.

В лифте генерал закрутил головой, смущенный своей незначительностью, стал еще старше и жалче, никчемно повторял: “Да вот...” — и тоскливо глядел, как гаснут и загораются цифры этажей. Я внимательно изучал острый кадык Пыжикова. Тот, как подлинный интеллигент, смотрел прямо перед собой и никуда одновременно. Лифт был маленький — пианино не влезет. Это печально.

— Давай! — мотнул рукой генерал, и мы завалились в квартиру с красными обоями и негромким медицинским запахом. Генерал сразу проперся в комнату, забубнил там: бу-бу-бу, — и оттуда вылезла седая аккуратная мадам с жидким хвостиком на голове и напряженно сжатыми губами. Она отключила толстоватый зад в вельветовых штанах и принялась расстилать дорожку из газет по направлению в комнату, без особого восторга наблюдая лужу, натекшую с моих сапог. Пыжиков, козел, ноги вытер.

— Толя, — утомленно позвала она, закончив. — Ну все?

— Воины, сюда! — призвал генерал.

Вежливый Пыжиков первым осторожно прошелся по газетам, уважительно балансируя на краях сапог. Я протопал за ним с таким вывертом каблуков, что, кроме смятых газет, за мной должна была еще остаться дорожка вырванного паркета — мадам смотрела себе на нос, подняв брови.

Пыжиков замер поперек прохода, и я не стал тянуться через его плечо, а смело уперся рукой в обои, к большому неудовольствию мадам, и заковырялся пальцем в носу, критично осматривая добытый материал.

— Анна, — позвал генерал. И мадам, дрожаще прикрыв глаза, отстранила меня к стенке, протолкнув Пыжикова в комнату, и я, наконец, свалив шапку на затылок, оглядел фронт работ.

На полу лежали зеленые носилки, как пить дать из нашего медпункта, — на них размещалась худая бабулька в черном

пиджаке и белой кофте с кружевным воротником, опенявшем тонкую шею. Волосы у бабульки были совсем седые и кудряшками зачесаны в две неравные стороны, как на старых фотографиях. Она лежала спокойненько, уложив граблистые ручки на байковое одеяло. Генерал натягивал шинель у нее в головах, врачиха с натугой закрывала небольшой чемоданчик с книгами.

Пианино в комнате не было — я ободрился.

— До свидания, мама, — проскрипела мадам и наклонилась к бабулке, которая раздвинула уголки морщинистых щек — заулыбалась.

Мадам разогнулась, поправила ножкой завернувшуюся газету и глянула на генерала, тронув шальную прядь, перечеркнувшую лоб.

— Ну, — сказал генерал, и все посмотрели на нас.

Бабулька сразу закрыла глаза, растопыренными кленовыми листиками ладошек прижав к себе одеяло, а врачиха покачала чемоданчик на весу: не гремит ли что? Ничего не гремело.

Генерал делал какие-то жесты руками, по-рыбьи двигал губами, мадам выдыхала воздух со свистом в сторону окна. Пыжиков тупо обернулся на меня.

— Берись, — прошептал я, добавив беззвучно губами всю известную мне армейскую лексику. — Берись за носилки!

Пыжиков неуклюже склонился к носилкам, чуть не достав своим носярой мелового лба бабульки; заметив это, чуть вздрогнул. Я крутанулся, пытаясь прикинуть, как взять: задом идти или передом? Шинель толстая, тварь, задом будет неудобняк, да и поднимать придется на лестнице. Наконец понесли.

Мадам смотрела в окно, прижав тонкие пальцы к вискам.

Бабулька глаз не открывала, только сильнее сжимала губы. В лифт она не влезет никак, и мы с Пыжиковым забухали сапогами вниз. Дурак Пыжиков не просек моих мычаний, и потащили мы ногами вперед.

Генерал с врачихой закупорился в лифте, сдавленно что-то ответив на вопрос мадам: “Ингалятор взял?” Лифт ласково зашелестел, а мы перли носилки по заплыванным ступенькам мимо интересно оформленных допризывной молодежью стен, у меня начала ныть рука, и бабулькина ножка терлась через одеяло о мою грудь, когда я на лестнице подымал носилки, — вот так вот люди грыжу зарабатывают!

Она только судорожно хваталась своими птичьими руками с черными венами за края носилок, когда мы очень удачно складывали очередной вираж.

— Мамаша, еще что нести? — пропыхтел я.

Бабулька приоткрыла веки и уставилась вверх. “Вот стерва: помрет — обратно тащить придется”, — добродушно подумал я.

До третьего этажа — еще куда ни шло, а потом я понял, что еще немного — и выроним. Оставалось только выяснить: кто уронит первым? Головой бабулька приложится сперва или ногами?

— Погоди, — зашептал Пыжиков бесцветными от напряжения губами. — Секунду.

Мы чуть не грохнули носилки и блаженно разогнулись, поправляя шапки и утирая пот со лба.

— У нас во взводе... Валиахметов, знаешь? — Сердце у меня внутри металось, как груша, которую мутузил амбал-боксер. — Ну вот... он, как программа “Время”, вешал на ремне гирю на шею — и качал. Качает и качает. Шустряков подходит: “Ты чего, Валиахметов, качаешь? Шея, что ли, слабая?” А он говорит...

— Устали, мальчики? — глубоким протяжным голосом сказала вдруг бабулька.

— Да ничего, — быстро сказал я, — ну, так вот, Валиахметов ему говорит: “Товарищ старший лейтенант, знаете, когда снимаешь — такой кайф!”

— Устали, — опять повторила бабулька.

— Ну, вы чего там? — шумнул снизу генерал. — Застряли?

— Идем, товарищ генерал! — заорал вниз Пыжиков.

— Его зовут Толик, — улыбнулась бабулька и поглядела прямо на меня голубыми, как речной лед, глазами.

— Еще чего нести? — бодро осведомился я.

Она кивнула влево и вправо — нет.

И слава богу! Я наклонился к носилкам. Пыжиков тоже сказал:

— Какой тогда кайф будет после армии.

— А самый большой кайф будет на кладбище.

Пыжиков улыбнулся своим мыслям, бабулька снова закрыла глаза и склонила лицо на бок, а я считал ступеньки, поклявшись, что на сороковой, если не дойдем, брошу все к чертовой матери наземь — копать мой лысый череп!

В машине уже шуровал зёма, наскоро устилая пол брезентом и футбола сапогом огрызки и окурки по дальним углам.

— Давай, помоги им, — тронула его за рукав врачаха, сидевшая на лавочке, выставив из-под халата свои налитые коленочки.

Зёма глянул на меня с немым хохотом — вот поржем потом, — ухватился за носилки, наливаясь натугой, и прошипел мне в ухо: “Во тебе и фортепяна. Рояль!”

— Лезьте в машину попридерживать там, — распорядился генерал, устроивший себе наблюдательный пункт на подножке, и поторопил зёму: — Живее, сынок!! — Посмотрел, высчитав, на свой балкон и потом по сторонам.

Зёма закрыл борт, глянул на нас: все пучком? И мы с Пыжиковым расползлись по лавкам: он вглубь, я — с краю, чтобы полюбоваться окрестностями.

— Придерживайте, — попросила врачаха. — Чтобы не ката-лась.

Пыжиков бессмысленно потрогал рукой носилки.

## Мемуары срочной службы

— Здравствуйте, — вдруг сказала бабулька.

— Здравствуйте, — внятно ответил Пыжиков. Я что-то тоже изумленно бормотнул в этом роде и, подняв воротник шинели, сунул правую руку за пазуху: вот интересно, вернемся мы к обеду или как?

Привычно вздохнув, врачаха подседа к бабульке поближе и раздельно сказала:

— Вера Петровна, ну, как вы?

— Я не расстраиваюсь, Ниночка, — твердо произнесла бабулька и часто заморгала, укрывая блеснувшие глаза. — Знаете, просто мой муж как-то мне сказал: старость — это общепит: еще не поел, а посуду уже убирают.

Машина выбралась со двора, и рогатые деревья перестали стучать по брезенту, роняя ледяные капли мне на лицо.

— В больницу? — тихо спросил Пыжиков у врачахи.

Она отрицательно покачала головой:

— В интернат. — И бодро повернувшись к бабульке: — Он у нас самый лучший в Москве.

— Ниночка, я себя ощущаю совершенно спокойно, — выразительно сказала бабулька срывающимся от сотрясений кузова голосом. — Я согласилась к вам переехать лишь с единственным условием — я никому не хочу быть обузой. Лежать сложа руки я не буду! Вы мне это гарантировали. Я способна читать вслух людям с плохим зрением. Если товарищи не будут стесняться — буду писать письма. Если дадут все необходимое — с удовольствием займусь ремонтом книг библиотеки. Что вы там еще говорили?

— Коробки для мороженого клеить.

— Да, и это... У меня есть опыт работы с лежачими. Себя я поэтому очень хорошо держу в руках. И товарищей смогу всегда поддержать. Я в девятнадцатом году работала в Варшавском военном госпитале, в Москве такой был. Меня раненые называли "товарищ комиссар", хотя я работала по культмассо-



вой части. Если я заходила в палату и видела: играют в карты на кусочек сала или хлеба — я сразу брала колоду в руки и говорила: “Товарищи, нельзя играть на продукты. Может, вот ему мать свое последнее прислала. Вы завтра пойдете Советскую власть защищать — а ему надо выздоравливать. А если вы будете продолжать играть на продукты, эти карты полетят в печку-буржуйку”. И следующий раз приходила, заглядывала осторожно — нет, не играют, или на копеечки. В госпитале у нас каждый месяц, вы знаете, устраивали вечера Бетховена. Я приглашала профессоров Московской консерватории — стакан чая им, конечно, сахара... По два куса. И кусок хлеба...

Машина мчалась по дороге, и светофоры были все зеленые, я вцепился рукой в борт и хмуро слушал дребезжащую, торопящуюся речь.

— А тогда пошла волна... колхозами все заинтересовались, коммунарами. Мне комиссар сказал: “Сходи в Наркомпрос, книжек, что ль, каких понабери, а то раненые товарищи интересуются”. И вот в Наркомпросе встречается меня такая милая женщина с чуть выпученными глазами, начинает подробно так расспрашивать; я сама не знаю, почему я ей все так рассказывала? Что братик мой на каторге умер. За “Искру”. Отца жандарм камнем убил, и про госпиталь наш рассказала, про концерты. А она, знаете, так прямо вся удивилась: “Как Бетховен?” — говорит. “А что, — сказала я, — у нас всем очень нравится музыка”. “Когда у вас следующий раз?” — быстро так она спросила. Я ответила, что как раз скоро. Она себе пометила в календарике. Я книжки взяла, а сама спрашиваю у секретаря: “А кто сейчас со мной говорил, товарищ? Такая милая”, — описала ее. “А это товарищ Крупская, жена товарища Ленина”, — ответили мне. Вы себе представить не можете, как я шла в госпиталь...

Она мелко подергала кадыком и жалобно спросила:

— Ниночка, вы не захватили ничего пить?

Врачиха достала желтый термос и плеснула в пластмассовый стаканчик чуть дымящийся чай, кивнула Пыжикову — дай.

Пыжиков с испуганными глазами достал свои клешни из карманов и, схватив стакан, коряво уселся на пол, склонившись к бабульке.

Она сморщилась и приподняла голову, поймала своими липовыми с черными пятнами губами край стаканчика, в горле у нее что-то булькнуло, и чай запорожскими усами потек от уголков рта на носилки. Пыжиков отпрянул, вопросительно глянув на врачиху, уже протянувшую к бабульке чистую салфетку.

— Вы извините, товарищ, — жалко улыбаясь, говорила бабулька, — товарищ, как?

— Аркадий, — сухо ответил Пыжиков.

Я больше всего боялся, что сейчас она поинтересуется и моим именем. Бабулька меня пугала так же, как и весна.

— Товарищ Аркадий, — пробубнила бабулька сквозь салфетку, которой врачиха елозила по ее лицу. — И я хочу еще сказать, что комиссар госпиталя сразу мне сказал: “Не волнуйся. Она не придет. При ее занятости...” А на концерте мне сказали: “Здесь Крупская”. И она сама захотела со мной поговорить. Спросила: “Как вы достигаете такой тишины?” Я ответила: “Никак. Просто все хотят послушать. Даже лежачие просят их кровати принести”. Тогда она сказала: “Удивительно. Я обязательно расскажу про это Владимиру Ильичу”. Это... это был самый счастливый... самый счастливый день в моей жизни. И я сейчас...

Бабулька замолчала, уставившись на железные ребра, обтянутые брезентом и напоминающие своды склепа или храма, на потолке которого, как сияние свечей, пробивался через дыры колючий, яростный мартовский свет, глухо пел мотор, и каменными ангелами скорби застыли бледный Пыжиков и толстая врачиха, обхватившая ручкой круглый подбородок.

Я придерживал ногой под лавкой ведро — чтоб не звякало.

— Как мы жили... — зачарованно тянула бабулька. — Для ранных товарищей играли Мольера — “Мнимый больной”, — на сцене стояла кровать. Больным была я. Лежала прямо на матрасе. А матрас оказался из сыпнотифозного отделения — я четыре месяца провела без сознания. Пришла в себя, когда кто-то сказал: “Ну что, в морг?” С палочкой, в платочке умершей соседки пришла в госпиталь — комиссар увидел меня и заплакал: “Вера, ведь ты умерла!” Я после этого работала в детдоме под Харьковом. С беспризорниками. И там рядом был графский дворец, и старик садовник при нем остался. Совсем старый такой... Поляк. Он все мне одно и то же толковал: “Золото все равно вернется. Вернется”. Но ведь не вернулось! — иступленно крикнула бабулька. — Но ведь не вернулось... Мы были голодны, бедны, но мы были счастливы — это правда! Я в ужасе от того, что сделал Сталин, — он убил моего мужа, но мы все равно победим. Мы пробьемся! Мы выстоим и победим!

Разминувшись с мусоровозом, мы въехали в ворота интерната, украшенные румяным лицом сталевара и бронзовой фигурой пловчихи.

— Я теперь... Когда просыпаюсь по ночам — сколько всего доброго я вспоминаю, сколько добрых, чистейших, честнейших людей было вокруг. Я была знакома с женой Бела Куна, когда работала машинисткой в Институте марксизма-ленинизма. А какой чудесный человек кассирша Ирина Петровна — всего лишь за сорок копеек я могла пройти на бельэтаж, на ступеньках посмотреть спектакль... Я на пенсии посмотрела всю театральную Москву... Сколько я прочла, сколько... — Она еще не знала, что мы приехали. — И сколько добрых, хороших людей вокруг. Сколько надо людям сделать добра. И я буду помогать всем, кто вокруг.. Их так много. Были б силы, были б только силы, — лопотала бабулька, а машина уже остановилась. — И самое славное. Самое главное, вы запомните!..

— Приехали, — объявил с улицы зёма и опустил борт.

Вокруг обсушенной солнцем лавочки, под свежим лозунгом “Больше социализма”, стоял десяток инвалидных колясок с раскоряченными инвалидами, как стая грифов над падалью; они вовсю косились, кто во что горазд, в нашу сторону.

— Не туда! — крикнула одна инвалидка, наметанным взглядом определив, что мы целимся в первый подъезд. Мы потащили присмирившую бабульку во второй — генерал шел слева от носилок, неуверенно улыбаясь.

— Здравствуйте, — сказала бабулька инвалидам. Кто-то кивнул в ответ головой с безумно вытаращенными глазами. Зёма глядел по сторонам с неменьшим идиотизмом. Мы втащили носилки в бесцветный коридор. У меня ныли руки, но я неотрывно смотрел на седые, чуть рассыпавшиеся по сторонам, как у куклы, кудряшки и голубые горькие глаза. Стены были салатовые, двери туда-сюда.

— Двадцать третья палата, — шептал генерал, сверяя курс с бумажкой, вытасченной из кармана.

Из оставшегося позади кабинета кто-то вежливо вещал:

— Мест сейчас нет совсем! Ну как что делать: потерпите. И зимой — пожалуйста, мест навалом будет. Да у нас за год треть состава обновляется.

— Вот! — указала врачиха Ниночка искомую дверь. — Заносите!

В крохотной палате стояли впритык три кровати и тумбочка с иконостасом фотографий плюс электрический обогреватель на полу. Как только мы вперлись, даже плюнуть стало негде. Я вертел головой: свободной кровати не вырисовывалось. В палате был полный комплект — одна бабулька с присвистом слушала, что в подушке творится, повернувшись к нам равнодушным задом значительных размеров, вторая, деревенского вида из-за коричневого платка, с горбатым носом, что-то жевала тут же, скомкав в мозолистой ладони газе-

ту, третья в цветастом халате растерянно озиралась с ожидающей улыбкой.

Мы стояли, как истуканы, ожидая, когда генерал наскребет в себе сил закрыть изумленно распахнутый рот.

— Обед, что ль, Марь Ванна? — предположила бабуля с растерянным лицом.

— Рано ишо. Обед. Охфицеры каки-то. В шинелях, — цыкнула зубом Марь Ванна, заметно борясь с отрыжкой, и указала крючковатым пальцем на растерянную. — Слепая она, ни черта, стало быть, не видит, прости меня, Господи, грешницу, — и досказала: — А слышит хорошо. Враг ее знает, почему.

— Ну как же так, как же так? — затараторил генерал. — Ничночка, где главврач? Сейчас, мамочка. — И скрылся за дверями.

— Мамочка, ишь ты... — повторила Марь Ванна и подперла голову рукой. — Генерал, должно...

— Здравствуйте, — отчетливо проговорила наша бабулька.

— Здравствуйте, — охотно откликнулась Марь Ванна, и слепая, вращая головой, как пограничник прожектором, повторила то же.

В палату осторожно вступил зёма, сдержанно присвистнув, и присел на краешек кровати, на которой мгновенно прекратила сопеть обладательница обширного зада.

— На пайку опоздаем, — грустно сказал зёма, наблюдая, как у нас с Пыжиковым отваливаются руки, а у меня вдобавок поперек лба проступала синяя жила.

Хозяйка кровати повернула к нему рыхлое лицо.

— Доброе утро, мамаша, — ласково сказал зёма.

— Громче ей, слышит она плохо, — посоветовала Марь Ванна.

— Что это у вас за фотокарточка?! — спросил зёма, показав на лицо юной красавицы с курносом носом и изогнутой бровью, так громко, что я подумал, что кого-то из инвалидов на улице может трахнуть инфаркт.

— Я плохо вижу, — пробасила спавшая и, взглядевшись, сказала: — Это я. У меня двадцать два хронических заболевания.

Зёма заржал. Пыжиков дергался, пытаясь пристроить коленку хотя бы под одну из ручек носилок.

Дверь бухнула, растворясь, и в палату прошаркала коренастая санитарка, позвякивая ведром с синими буквами “холл”. Она сунула швабру по зёмным ногам, и он переместился в коридор. Санитарка не поднимала от пола свой крохотный лоб, перетянутый белой косынкой, и равнодушно шваркала обильно смоченной тряпкой под кроватями.

— Машенька, — вдруг очень ласковым голосом разродилась зёмина собеседница. — Можно тебя попросить?

— Рот закрой, — буркнула санитарка, почесав затылок. — Сходи сама. Лакеев в семнадцатом году отменили.

Марь Ванна сверкнула глазами и по-куриному расхохоталась:

— У нас тута советская власть!

— Я после операции... — вкрадчиво напомнила просительница после вздоха.

— Потужись — не лопнешь, — посоветовала Машенька, ухватила швабру под мышку и вышла, бормоча, что “каждая тут...”, и недовольно ответила “здрасти” на ласковое — “а это, товарищ генерал, наша санитарочка”.

— Ща я схожу, — сказала слепая и пошлепала тапками к выходу.

Лежавшая, не обернувшись, качнула ей головой. Тут залетели генерал и бородатый главврач с толстыми руками, которыми сразу уже и принялся махать.

— Вот здесь, здесь. Здесь вид из окна отличный, воздух лучше некуда, летом особенно, соседи вот...

— Какая кровать?! — отрывисто спросил Пыжиков. Я только кусал губу.

— Что?! Да любая. Какая нравится, такая и будет. Какая вам нравится? — наклонился главврач к бабушке. Та закрыла глаза.

— Ну вот, наверное, у батареи, да? Здесь потеплее, стеночка, да? Вот здесь и давайте, да? — указал главврач на кровать Марь Ванны, с улыбкой наблюдавшей за этим, и тут же уложил свою лапищу ей на плечо:

— Марь Ванна, давайте пока в коридор — обождите чуть, а после обеда идите в дежурку. Пару ночей переспите, а там что-то освободится. Собирайте вещи пока.

— Да что мне собирать — все на мне, — хохотнула Марь Ванна. — Мне куды хошь, лишь бы не к мужикам — храпят дюже.

— До свиданьица, слепая, — обратилась она к застывшей в дверях слепой. — Может, свидимся ишо! Выселяють меня.

— До свидания, — пролепетала слепая.

— Вы любите читать? — спросила наша бабулька у слепой, но та с застывшим лицом оставалась в дверях, безропотно ожидая, когда и ей скажут что-нибудь.

Генерал бухнул:

— Вот сюда, сынки!

И мы с Пыжиковым немеющими руками чуть не выронили носилки на кровать — все! Все!

— Да здесь такой вид из окна, деревья, липы, старушки ходячие цветов понасажали, — не успокаивался главврач, продолжая махать своими оглоблями.

За окном были видны белый бетонный забор и скамейка с инвалидами. Старуха в бордовом платке совала в рот парню неопределенного возраста папироску, а сверху прогибался колесом небесный мундир с единственной, зато надраенной на славу солнечной пуговицей. Мне стало тошно от запаха нечистого белья, скучной морды Пыжикова и нашего ублюдка-генерала, и я выбежал в коридор, подняв плечи, чтобы не оглянуться на бабульку.

— Э, погодь, носилки заберешь, — тормознул меня генерал.

— Извините, товарищ генерал, я в туалет хочу, — доложил я,

прикрыл дверь за собой, заскрипел линолеумом по коридору и плюхнулся на скамейку за первым поворотом, сжав шапку в руке и подумав про себя: кретин.

— Ну... служивый, — опустила рядом Марь Ванна. — Девка-то ждет али нет?

— Солдата дождетса одна мать. Нету девки, — мрачно ответил я.

— Ну и что? Плюнь да разотри, нынче девок, ты не поверишь: кинь палкой в березу — попадешь в девку. И все развратны, хто знат какие. Ходют, зубы всем оголяют, и матершанники, матюшатники, матерошники!

— Вы переезжаете? — спросил я лишь бы что.

— А мне недолго, вона у Петровича жена приберетса — я на ее место в шестую, к двум парализованным, — указала она пальцем на седого мужика, листавшего дрожащей рукой газеты. — Да мне что, разве привыкать? Нас как в тридцать третьем кулачили: как белку обобрали — и в Казахстан. Во, как ездили! Мужик на фронте сгиб, я в землянке десять годов жила, а перед тем девять ребенков у меня было, все от скорлотины померли. А посля войны меня Сталин на шесть лет посадил — купила у трактористов зерна и самогоном их угостила с салом. Мне бы, дуре, сказать — деньгами... Три раза судили! Показательным судом! А как выходила, конвойный молодой смеетса, зубы каже: “Ну что, Данилова, будешь еще горилку гнать?” Я говорю: “Со-ломина колхозная за пояс зацепится — и то сниму, к двору не понесу”. Он засмеялся, а я стою — плачу. Вот ты скажи мне! — пригнулась она ближе, предварительно оглядев пустой коридор, и сказала в самое ухо: — Мы вот тутa вдвоем, скажи мне: ну разве прав был Сталин тот? Ведь за ведро картох судили, за охапку соломы...

Я пожал плечами.

— А правду говорят, что сейчас за горилку уже не судят?

Я еще раз пожал.



— А мой, как на фронт уходил, все мне наказывал: береги детей, не сбережешь — приду, все виски повыдеру. А я говорю: эх, ворота туда широкие, а оттуда — узкие.

— Да, туда — широкие, оттуда — узкие, — кивнул я.

— Курицын! — Злой и красный Пыжиков стоял в коридоре с носилками в руках. — Иди. Прощайся.

— За каким..?

— Она сказала... прощаться.

— Черт!!!

Пыжиков пошел к выходу, за ним под ручку с журчащим главврачом протопал генерал, а я подошел к палате, оглянувшись на крестящую меня Марь Ванну, и приоткрыл дверь.

Послеоперационная мамаша дернулась на кровати и почти с ненавистью глянула в мой адрес. Ошеломленная слепая что-то грохнула под кровать и не знала, чем занять руки. Наша бабулька была неподвижна, как мертвая, только тарщила свои зоркие глазищи. Она лежала головой к окну — ни черта здесь летом не увидит.

Бабулька приподняла свою правую руку, не разжимая пальцев, я шагнул вперед и осторожно взял ее тонкие, как весенние ветки, пальцы. А она вцепилась по-кошачьи цепко в мою ладонь, судорожной последней силой.

— Товарищ, — шевельнулись ее губы. — Руку надо пожимать вот так. Чтобы чувствовать силу. И передавать ее.

— Да, — сказал я.

Наши руки распались.

— Спасибо, всего вам... до свидания, спасибо, — бормотал я и качал головой. Слепая, как дура, заторможено кивала мне вслед, и болезненно морщилась ее подопечная. Глаза у бабульки блестели росой, и безобразный корявый рот дергался жалко и мелко, задергались брови, щеки, птичьи руки вцепились в толстое одеяло...

Я захлопнул дверь. Старик Петрович поднял свою большую голову и отставил в сторону газетный лист. Мне показалось, он похож на меня.

Я вылетел в коридор — и на улицу. Генерал, важно обняв свой живот руками, напутствовал:

— Ну, доберетесь? Повнимательней там, без происшествий, да... Ну...

— Плохо вот только, что на обед мы опоздали, — вдруг тихо сказал зёма, слегка под нос, естественно и бездумно, так вдруг просто солдатская мысль выскочила нечаянно из души, как кусок солдатского белья из-под кителя.

Седову стало стыдно — он даже глаза опустил, прикрыв их седыми бровями. Он замычал что-то с припевом: “Да, конечно”, неловко засовывая руку в карман.

“Если даст трояк — посвящу зёме остаток жизни. Кормить буду с ложечки”, — свято поклялся я, случайным шагом влево перегораживая вид набычившемуся чистоплюю Пыжикову.

Молодцевато откозыряв, мы быстренько забились в кабину, и зёма с невероятной проворностью вырулил на автостраду.

— Ну, чама, чего молчишь? — выпалил я. — Трояк?

— Хреном по лбу, — важно отрезал зёма и разжал ладонь: — Пятерка!

Ох, как мы ехали по весне, расплескивая радость на обочины и раздевая взглядом попутных баб и сосок. И было нам по девятнадцать, и ни черта мы не смыслили ни в чем, и ох, как нам весело было, и смеялись до визга шипящего и слез, матерились впереводку, и даже Пыжиков вдруг прыскал тихим смехом, зажав ладонями уголки рта, склоняясь вперед по ходу ЗИЛа. Жизнь метала нам карты лиц, домов, дорог, машин, гадая веселое будущее, и играло нами счастье, пусть серое и корявое наше солдатское счастье, но ошутимо и зримо было оно, да и много ли нам надо — мы молодые, мы одни, работы нет, живы-здоровы наши родители — и хватит!

— Вишь, соска тащится! Соска, поехали с нами!

— Агхы-агхы...

— Может, та поедет, с ребенком?

— То не ребенок. То — другая соска.

— Я бы еу...

— Ногой по заду!

— Гы-ы-ы...

— А может, эту?

— Да у ей ноги кривые — как три года на бочке сидела, вон та получше.

— Фанера! Ее в постель и три месяца кормить — пока не поздоровеет.

— Пихать ее будут двое. Я и мой взвод.

— Я такую после армии выберу... Такую... На работу чтоб уходил — шмяк по ляжке! С работы приходишь — ляжка еще дрожит!!!

— Уыгх!

— Зёма, а ты мне после армии писать будешь?

— Я тебя после армии встречу и узнавать не захочу.

— Ну, ты и борзанул, гы-гыгы...

— Что возьмем на пятерик?

— Колбасы, три пива. Актер, будешь? Все одно — три. И батончиков. И курить.

— Может, и мороженое купим? — робко сказал Пыжиков.

— Обязаловка, зёма, обязателька, — загорелся я и заорал в чаду сумасшедшей кабины. — Тормози, мать твою нехорошо!

Зёма тюкнулся в обочину, и, сиганув за Пыжиковым на асфальт, я вразвалочку забацил подковками к ларьку с синими выпученными буквами “Мороженое”, где уже таяла лицом седая вялая бабушка.

Недалеко был киоск от “зилка”. Только вот проехал его зёма почему-то. Возвращаться бы нам пришлось. Метров, может, тридцать всего. Я бабке пятерку сунул, а кретин Пыжиков сто-

ял и мною любовался, будто у меня титьки по ведру. Он даже не услышал, как зёма тронулся. Это я уловил и голову вздернул за спину Пыжикова. Наш “зилок” по-резвому втопил и ходко затерялся меж серого каравана кузовов и фургонов, а прямо по обочине целеустремленно к нам вышагивал офицер в белой португее и каракулевой шапочке с большим золотистым знаком на груди, и по бокам его бухали отдраенными сапожищами двое рослых воинов в белых ремнях и с белыми штык-ножами.

Комендантский патруль.

Наконец и Пыжиков оглянулся и, побледнев, куснул воздух. А чего было кусать....

Я грустно опустил голову, сгреб аккуратно сдачу в кулак и прыгнул за угол, отбросив мрачного пенсионера в сторону.

Я помчался вдоль дома, молясь на первый переулок, глухие дворики и млявость патруля. Дурак Пыжиков бежал за мной. Господи, кто же бежит вместе от патруля! Надо сразу разбежаться! Надо, чтобы верзилы-белоременники имели в виду перспективу в случае догонки остаться с глазу на глаз с солдатиком-самоходчиком, которому уже мало что можно потерять, да и к тому же он и десантником может оказаться или просто амбалом с солидной репой, что хрен промажет. И какой же тогда толк — этому верзиле нас ловить?! Денег же за это не платят! Ну не может ведь он за одно удовольствие брата своего душить?

Я крикнул бы все это Пыжикову, я бы объяснил. Если бы не боялся, что, обернувшись, увижу слишком близко красные морды и жадные руки, и не побегут тогда мои ноги ни за что...

Я оглянулся, лишь влетая в проходняк: Пыжиков с трясущимися руками медленно шел к начальнику патруля, кусая воздух с одышкой и стоном, а ребятки резво, разгоряченные удачей, мчались за мной с интервалом метров тридцать.

Влетел я во двор — раз, два, три — голый дворик, песочница и бетонный заборчик на валу, гаражи бережет. Я пропахал

склон и замешкался вроде как у заборчика, вроде как примериваюсь, как бы его поспоровистей ухватить да осилить. Верзила, что мчался первым, прямо с лету и прыснул на меня, с рыком целясь за плечи ухватить. А я тут некстати оскользнулся и шваркнул навстречу ему ногой по склону (все-таки сырая нынче весна), и его малость подбил. Верзила, крутанувшись, вытер подолом аккуратнейшей шинели измызганный склон и даже съехал вниз на пару метров.

Я, вбив воздух внутрь себя, перевалил за заборчик и свалился на выдохе в узкую щелку меж забором и гаражами. И дернулся, заизвивался, всем телом протискиваясь по ней, тесной, как кишка, и душной, скотине. Понял я сразу, что надо было по гаражам бежать, да теперь не подтянешься уже. Я бежал и летел с натугой по железобетонным аппендиксам, тыркаясь во все углы и загогулины, и дыхание стало биться в черную жесьть, и мерзко стало в животе — детство протянуло сквозь годы свою лапу, и вдруг в горле как запершило чем-то, щипнуло в глазах, и подумал про маму, про себя, по которому скучаю, про то подумал, о чем сердце всегда болит, — ну, хватит, стервы, хватит, хватит...

— Хватит, сынок, отбегались, — ласково сказали сверху. На гараже, измученно вытирая рукой пот, стоял второй белоременник. Он отдохнул еще малость, нагнулся, схватил меня чужим жестким движением за воротник и повел обратно по чертовой щели меж забором и равнодушными боками гаражей.

Я тяжело перевалил обратно забор и стал рядом с проводником, теперь привычно уцепившим меня за ремень. Я стоял еще спокойно, еще оценивая соску в окне напротив, и даже думал, не попросить ли у краснотика закурить. А второй, терпеливо матерясь, очищал шинель, брезгливо кривя морду. И где только набирают таких амбалов? Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.

— Пойдем, — сказал первый.

— Погоди, Ефим, — разогнулся второй от шинели. — Погоди.

## Мемуары срочной службы

Он, сморщив лоб, быстро размахнувшись, ударил меня в грудь с горловым звуком “ум-м” так, что я никак не мог уцепить зубами воздух и шагал назад, заполошно вздыхая, и шагал, стараясь не упасть, пока не уперся спиной в стену, и опустил лицо на грудь, будто налаживая дыхание, — не будет же он по лицу бить — не дурак ведь, синяки останутся.

Он аккуратно приподнял мое лицо и, запрокинув его, обтер грязные обшлага шинели о щеки, особенно вдавливая ее жесткий ворс меж губ, до скрипа.

— Погоди, погоди, бегунок, — шептал он. — Вот приедем в Алешки, ты у меня еще свои зубки в кулачке потрясешь.

Они, ходко и размеренно вышагивая, подвели меня к начальнику патруля — майору с серым тусклым лицом, растянувшим бесцветные толстоватые губы в пластилиновую усмешку: “А-а”...

Рядом стоял в до упора затуженном ремне, судорожно вытянувшись в команде “смирно”, рядовой Пыжиков.

Мне почему-то показалось, что Пыжиков сейчас лопнет от дикого напряжения какой-то струны, дрожащей в нем с тоскливым воем. Я никак не мог отвести взгляда от его рыхлого студенистого лица с никакими пятнами глаз, от его крайнего, до затекания, выверта вскинутого подбородка, от его напряженно вздрагивающего комка кадыка.

Армия — это страна без табличек. Ни объявлений, ни стрелочек, ни плакатов “Добро пожаловать сюда, дорогой товарищ!” Просто скромные, тихие заборы и железные калитки, и гадай на здоровье — боевая ли это часть или пристанище макаронной фабрики. И обязательно же приютится где-нибудь вход в этот материк как-то хитро, с вывертом, вроде ждешь его, вот-вот приедем, дескать, и дух уже обуяли страхи и ужасы — а нет: машина рулит дальше, и улочки все милей и мирней, и вот уже вздохнешь облегченно и шеей для разрядочки произведешь па-

ру маневров — вдруг колеса враз и парализует супротив черной щеки ворот с прыщиком звезд. Сразу так и поймешь, что такое земное притяжение.

Плац на гауптвахте пустой и чистый, как обеденный стол. На его сером ковре, зажатою краснотой бараков, четверо сонных часовых (пятый топчется на вышке) в белых линялых пилотках с сияющими автоматами.

До сих пор не пойму: где они таких амбалов берут?!

В середине плаца на табуреточке, свалив на затылок фуру и подперев бледное лицо рукой, сидит лобастый старлей, начальник караула — начкар. За ним, благоговейно косясь на красивого, статного начкара с орлиным ликом, затаив дыхание и восторженно чуть ли не привставая на цыпочки, находится младший сержант — помначкар.

Мы сделали три шага. Раз. Два. Три.

— Стоп! Наза-ад! Солдаты... — тонким голосом по возрастающей завизжал начкар, и сонное царство чуть дернулось: часовые, блестя глазами, принялись поправлять подсумки, совсем рassiялся помначкар. Сам старлей встал, еще сутулясь от долгого сидения и зябко подергивая плечами, продолжал, запрокинув голову с прыгающим горлышком тонких губ:

— Солда-ааты! На территории центральной гауптвахты города Москвы — Алешинских казарм входят только строевым шагом! Равняйся! Смирна! Ша-агом арш! — Командовал он здорово, со смаком. Мы шлепали напряженным шагом, немислимо вскидывая судорожно прямые ноги, не дрожа ни клеточкой застывшего лица.

— Отставить! Команда “отставить” выполняется в два раза быстрее первоначальной. На исходную бего-ом марш!

Старлей широко улыбнулся, окаймив рот скобками морщин, и пропел, пестуя звук во рту:

## Мемуары срочной службы

— Сержа-ант! — Помначкар сделал стойку суслика за его спиной. — Сержант, мля... солдаты совсем не умеют ходить. Видимо, их не смогли научить в свое время. Займитесь этим вы. Если не хотите, чтобы я занялся этим с вами. — И пошел себе, скомкав зевок, ленивоватый и здоровый старлей, начальник караула, влитый в форму, вялой и сильной тигриной поступью.

Помначкар даже не взглянул ему вслед. Медленно стеклянная взором, он приблизился вплотную к нашим налитым паршивым ознобом лицам.

— Та-аа-ак... — хрипло вышло у него. — Счас изучим строевой шаг. Степан!

Сзади вырос один из караульных.

— Ты займешься с тем... со шнобелем, а я этого обучу. — Растя восторженность в краешках глаз, он без устали ласкал меня взором.

И звонко заголосил:

— Рав-няйсь! Смирна! Ша-гом марш! И рэз, и рэз, и рэз, два, три... Нога параллельна плоскости плаца!

Рота почетного караула плакала бы по ночам в подушку от зависти, если б увидела мой чеканный шаг.

Оценив, как я отсобачил шесть кружков, помначкар решил дать волю душе.

— Равнение вверх!

Я вскинул лицо на серую хмарь, закрыв глаза и слушая буханье крови в тесном, набрякшем нездоровой горечью теле.

— Равнение вниз!

А теперь подбородком в шинель, в крючок, до боли, и шагать, шагать, шагать...

— Равнение... назад!

И назад, с затекшей шеей.

— Равнение вперед!

У-фф. Пришли.



Степан оказался без особой фантазии. Он долго и нудно гонял нашего Пыжикова по плацу, разместив у него перед грудью автомат и призвав нашего актера расстараться доставать его сапогом, и каждый раз чуть качал автоматом вверх, когда старательный Пыжиков вот уже было достигал нужного подъема ноги.

В результате Пыжиков три раза грохнулся навзничь на асфальт, и часовые пару раз скупо улыбнулись.

На этом нас и спровадили в камеру, предварительно обыскав и отобрав все необходимое.

...Мы давно уже люди. И все уже простили и забыли. Если было что. Все скостили и подвели нужный итог. Сдали в архив. Все хорошо и местами нормально. И как-то даже не вспоминается.

Вот только раза два, когда осень и холодно, когда дует в комнатах и диван трет щеку, когда сам не поймешь, хоть и нечего думать — откуда? — в душу заходит цепная изголодавшаяся тоска, царапая старую память, когда вдруг протекает писками, шорохами, скрипами тишина, и мурашки толпами бегут по телу, и щекотка выступающего пота в каждой складке, и сквозь осень и мрак встает опять черное мягкое марево, и фигуры-тени в потоках тусклого света, и тонкий звяк подковок по коридору и по душе: туда и обратно и входит вся разом, огромная и мощная, вползает пустая неподвижность, растирая по нарам все до капли и крохи, кроме усталости и страха, — и тогда мне ничего и никогда не надо от жизни.

Хоть и не вспоминается. Это правда.

Бр-р-р. Нам не повезло. Зацепили во второй половине дня — дознаватели уже по домам расползлись, в часть никто звонить не будет, из части, на ночь глядя, тоже охотников ехать нет — значит, куковать до утра. От такой радужной перспективы я перестал улыбаться и дышал через раз. Но глубоко и размеренно.

— Я говорю: “Р-раз!” — и вас уже нет в коридоре — поставил задачу очередной амбал, распахнув двери камеры.

Только он открыл рот — Пыжиков уже примостился на дальней лавке, а я, сидя рядом, даже поднял руку, чтобы поковыряться в носу.

— Вон тот, — пробасил выявившийся в дверном проеме мой старый знакомый белоременник, не разделявший моих восторгов по поводу весны, и деликатно указал на меня кулаком часовому, значительно покачавшему головой.

Дверь с воем грохнула. Мрачность возросла в квадрате. Придется огрести. Мало не покажется.

Обнаружив, что под лавкой и на потолке неизвестные доброжелатели бычков не оставили, я огляделся.

В камере предварительного заключения скучало несколько человек. Три урюка-строителя довольно жизнерадостно что-то обсуждали на своем диалекте. Маленький и грустный урюк сидел у стены, облаченный в гражданский пиджак и синие кроссовки. У стены же стоял с приглашающей к сочувствию улыбкой краснотик-курсант в маленьких и металлических очках под густыми белобрысыми бровями, чистый, как с витрины шукинского военторга. Грустный морячок откровенно морщил лоб, обхватив голову ладонями, пытаясь задремать. Обросший связист все время фыркал и начинал что-то бойко рассказывать, поводя головой налево и направо. Пыжиков сидел на лавке прямо, будто ему провели серпом по жизненно важным органам.

Я метнулся в люди. Как раз один саксаул — аксакал-урюк — принялся расспрашивать своего соплеменника в полувоенной форме одежды. Курсант тоже краем уха цеплял эту беседу.

Забитый урюк отвечал тихо и жалобно, дергая вверх бровями. Он вроде был спокоен, только очень грустен. Я раскрутил любопытного саксаула на синхронный перевод.

— Говорит, увезли его куда-то. В увольнение пошел, два мужчин подошли, говорят: “Поедем кататься на машине”. Это на базаре было. Он поехал. А они завезли, это он говорит, в деревню... Или лес? В общем, там и оставили. Неделю, значит,

семь дней он там побыл, дороги обратно не знал, говорит, а потом... потом его обратно привезли. Ботинки и китель отобрали, вот это дали. Ха-рошие кроссовки! — Урюк-переводчик сладко щурил маслянистые запятые глаз и качал головой. — Ну и все? Неделя.

Чумазенький и лохматый связист в очередной раз фыркнул и залился колючим мелким хохотком.

— Все! Я хренею! Пусть расскажет лучше, как его брали, папуас драный, чурка недоделанная...

Взяла, оказывается, грустного урюка милиция. И урюк с перепугу (боялся, что вещи на нем ворованные) побежал. И даже ударил одного милиционера. Да и второго потом тоже ударил. Спротивление оказал. Так боялся, что вещи ворованные.

— Лепит — хрен знает что! — сиял связист маленькими глазками меж рыжеватых косм. — Хоть бы думал, что лепить! Да что ему думать? Голова-то — одна кость! Дисбат тебе, милый. Еще два годика. Деда, небось, в части драли?

Веселый урюк перевел. Грустный закивал быстро, прикрыв глаза, и зачмокал губами. А потом вдруг бессвязно залопотал про семью, что он старший, и еще что-то про зеленые долины и орла в небе или вверху, потом про мать, много и всякого про мать разного, а потом веселый урюк устал переводить и бросил, а тот все еще говорил быстро и тонко, блестя в сумраке маленькими, до крика грустными глазками, налитыми болью, и черными, как смола, а урюк-переводчик самодовольно пояснял кому-то:

— Что-о? Нэ, ет нэ нашш. Эт тадшик, а мы узбеки. Ты разве разницу не видишь? Он же черный! Охрюнел, что ли. — Он так и говорил: “Охрюнел, что ли?”

Вдруг белобровый курсант аккуратно выговорил:

— А марку машины, в которой тебя увозили, ты не помнишь? Ну, с базара.

Забастовавший было урюк-весельчак перевел.

Чмошный чурка коротко ответил-отрубил.

Марку машины он не помнит. Нет, вообще он в марках разбирается. Но эту не запомнил. Внимания не обратил.

— Им, чуркам, один хрен — водка или пулемет, лишь бы с ног валило, — фыркнул связист, — Вот так и живут: раз с гор за солью спустился, а его схватили — и в армию.

— А сам ты где служил? — поинтересовался у него один из чурок.

— Я с Тюмени. С болот. Я такую службу видал.

Он весело крутил головой, с удовольствием ощущая себя в центре внимания, и коротко фыркал от этого удовольствия, потряхивая головой.

— Долго ты?.. — участливо спросил я.

— Второй день — а я уже в Москве. И учти — я сам сдался. Сам. У меня нервы не в порядке. И до армии так было, да-да, было, — сиял он ярче лампочки болезненным неприятным светом. — По ночам сны там всякие разные... А в армии в течение и ходе службы это ухудшилось, обострилось, вот — обострилось. И до такой меры, ну, степени, что уже не могу я достойно нести ратный долг перед Родиной по охране рубежей нашей священной Родины. Да и преступно это было бы скрывать. Я по месту службы обращался к начальству, оно заботы не проявило, не почесалось, а я — оп! — и в столице. И папаня мой уже здесь, в гостинице, случайным проездом, и вина у него хватает. Из Молдавии мы. С теплых мест. И Тюмень! Хы-ы!

Он быстро оглядывался на честно пытающихся что-то понять изумленных уроков, раскатавших варежки и забывших моргать, и только повторял все, важно пофыркивая:

— Все чинно. Все чики-чики. Тока сны, придумать, долго ли, сны эти, — и подмигивал: знаем, дескать, об чем всякие такие разные сны бывают.

— А старослужащие, — опять открыл рот курсант, опрятный и держащий строгую фуру только на отлете, чтобы не за-

марать невзначай. — А старослужащие вас не трогали? В части вашей?

Связист замер, поднял лицо и с медленно-тягучей ненавистью выжал из себя, дрогнув щекой:

— Трогать можно... девку за сиськи. Деда нас гасили. Непонятно? Это когда... когда десять одного в туалете, ногами, всем... это когда... Голым... По казарме... Ночью маршируешь. Когда каждой твари обязан. Это когда... каждый день. Каждый день! — Он задохнулся и посмотрел под ноги, а потом вскинул лицо и тихо, но совершенно спокойно уже сказал:

— Так что, если меня не комиссуют — а меня обязательно комиссуют, — но если нет, а переведут в другую часть... Это ведь будет не сразу: недели четыре я по комиссиям и диспансерам прокантуюсь — это точно, а там уж до приказа рукой подать. Я после приказа духам шороху дам. Я всласть позверствую! Ученый.

— Как же это так? — Курсант все так говорил, холодно и равнодушно, — нравился он мне чем-то.

— А так. Раз нас, значит, и мы должны. Традиции это армейские. Не могут ведь все на службу болт забить. Нужен порядок. Очередь. Кому-то ведь надо и службу тащить...

— А если война... — улыбнулся курсант, — салабоны в бой первыми? Вперед, а то — вечером на парашу?

— Классовая борьба! — не в строчку ляпнул морячок, не поняв, о чем разговор, а молдаванин почему-то грустно добавил:

— У меня отец поседел за четыре месяца, а волосы были...

Мы сошлись с курсантом с ироническими улыбками и понимающими взглядами и пошептались немножко в уголке.

Он на “губу” попал по глупости — приехал в отпуск, десять дней отгулял, а тут мамаша приболела — он бросился в училище звонить, объяснять: мол, так и так... Ему посочувствовали и отпуск продлили — утешал курсант мамашу целых шесть дней, а по окончании их, наглаженный и начищенный, устре-

мился в военную комендатуру закрывать отпускной. Тут и вынырнула досадная накладочка — отцы родные из училища забыли отчего-то сообщить о великодушном продлении отпуска на место, и чистюлю-курсанта грубо засунули в неаккуратный “уазик” с зарешеченными окошками, и Алешинские казармы распахнули ржавый рот, принимая очередного клиента. Походив пару часиков четким строевым шагом и раздевшись раз шесть за тридцать секунд для удобства обыска, курсант был препровожден в камеру, где и коротал вечерок, душой мечась меж московской квартирой, где стоит в холодильнике недоеденный им салат и мамаша на грани очередного криза, и училищем, где поутру поет труба и где белобрысого курсанта готовили на завклубом.

Я бы еще что-нибудь узнал о курсанте, да приятность беседы улетучилась с мелодичным хрипом двери и деловитым лязгом конвоира:

— Лятун, бягом сюды.

Туалет был небольшой, но чистый. Даже очень. Я застыл у стены, стараясь удержать вибрацию колен в допустимых пределах. У окошка на подоконнике задумчиво теребил ножны штык-ножа красивый сержант — начальник этажа, что-то насвистывая тягучее и заунывное. Еще пара конвоиров курили, повернувшись ко мне спиной. У них были круглые и крепкие затылки с серебристой щетиной волос, и застиранные кители без единой морщинки облегали мощный разворот плеч.

Приведший меня часовой покрутил головой с явным предвкушением веселья и, видя, что оно еще не наступило, хрюкнул: “Вот он”. — И, с сожалением покачав головой, вышел, обернувшись в дверях.

Один из курцов чуть обернулся на меня и основательно продолжил курить, что-то тихо рассказывая своему напарнику. Было тихо, и цокали подковки в коридоре, да сильный звонкий голос орал во дворе: “Егор! Его-ор! Егор! Мать твою...”.

— Иди сюда, — тихо сказал вдруг красивый кареглазый сержант и, качнувшись, прошел в душевую. Ох, как мне не хотелось отрывать незащищенную спину от гостеприимной стены и проходить мимо курцов, как назло, чуть притихших. Прикладом меж лопаток — это подходящее начало для таких дебатов в парламенте.

Я тенью скользнул вдоль стены, бесшумно, как мимо вахтера женского общежития в пять часов утра.

В душевой задумчивый и томный сержант с чистым лицом вязко прошагал к окошку и смел с подоконника на пол “хэбэ” с красными засаленными погонами, щетку и осклизлый кусок мыла замазочного цвета.

— Вот, — сказал он. — Постираешь.

Все смотря мне в глаза с какой-то полугримасой, он чуть крутанул баранку вентиля, и вода запела свою шелестящую песенку. Он все смотрел на меня, не моргая даже, — это зверье зверьем, у которого была мать, которая звала его как-то по-своему, и который краснел, когда его знакомили с девушками, у которого отбили все человеческое за полгода в учебке и за полгода салабонства, который всю жизнь будет выдавливать этот гной, так и не выдавив до конца, — да что же я все о себе-то...

Он ушел, обронив:

— Синий кран — холодная вода, красный — наоборот.

Я опустился на колени, я подвинул работу под кран — “хэбэ” стало темнеть, напившись водой, я по инерции тер мылом щетку, чувствуя, как какая-то шальная, сорвавшаяся невеста откуда шестеренка лихо крушит все вокруг, ломая связи и терзая душу, оставляя после себя пустоту, провислость и боль. И опять защипало в глазах, и взмок страхом лоб.

Я теранул щеткой пару раз и слабо отшвырнул ее в угол, уронив лицо на плечо, изогнувшись во вздохе, натяжном и бесполезном.

Так, бил я себе в башку, так. Мне крупно повезло. Краснотик не злой — бить не будет. “Хэбэ” постирать... всего-то... это полчаса под настроение. Тем более — один и без присмотра, — твердил я себе. — Лафа. Можно подзатыгнуть и с часовым поговорить — обиду загладить. И вообще все хорошо. Завтра нас заберут в часть. Отбрешемся — случай глупый. Ну, впаяют суток пять, так это ведь на нашей, гарнизонной “губе” — там только чурок и урюков дерут. Все здорово и чинно. Все здорово. Я — рядовой Курицын. Я — гражданин СССР, я — член ВЛКСМ. И сегодня мне повезло. Краснотик не злой. После армии? А что после армии? Я приду к врачу, я скажу: заснул на политзанятиях, ударился головой о стол — все забыл. Потеря памяти. И скоро будет весна. И май придет безбрежным весенним ливнем, когда земля вспухает, опоясанная лакированными ремнями морщинистых ручьев, блестят тропинки, вытягиваясь в сумраке осклизлыми дождевыми червями, капли впиваются в плечи острыми осаами, и машины спят у обочин, подстелив себе последние коврики сухого асфальта, пузыри лесосплавом путешествуют по дорогам, а водосточные трубы цедают козлиные бородки серых струй, когда в набрякших зеленой кровью капиллярах веток мокрой растрепанной рюмкой торчит воробей, и земля пахнет тополиными почками, а солнце утром подыметса и высветит просторы вымытой громады земли и серые глаза домов, опушенные ресницами деревьев, — это все, когда дождь, весна и май.

И в такие дни так не верится, что прибежит когда-нибудь мокрая рябая курица и завалит белой скорлупой все на свете.

Мне страшно хотелось плакать. Это все проклятая старуха, это все весна, дура и тварь.

Сержант-симпатяга внимательно читал газету у подоконника, слушая, как кряхтит один из конвойных, сгруппировавшийся в кабинке, и насвистывает другой, натирая сапоги войлочной лентой.



— Уже постирал? — тихо сказал он, подняв свои печальные глаза.

Вода шелестела, как далекий веселый ливень в кроне густого тополя.

— Нет, — качнул я головой. С трудом качнул.

— А чего?

— И не буду! — Лопнуло во мне, и потекла горячая зыбь по телу, застывая ноющими сосульками в пальцах, делая ноги ватными и звуки глухими.

— И почему? — Забил по шляпку очередной гвоздик-вопрос грустный сержант, ничуть не меняясь лицом.

— Та-ак, мля-а... — заревел конвойный за спиной, делая ко мне два широченных шага, по-хозяйски расправляя складки под ремнем.

— Да погоди, Никита, — сморщился сержант и повторил тихо и скучно: — Так почему?

— Я и по салабонству никогда не стирал. Пахать — пахал, получать — получал, а стирать не брал, хоть и били. Я не шестерка. У нас это только шестерки делали. Я свое честно отпахал.

— Что-о? — Весь аж искривился конвойный, дернув рукой; я резко отпрянул к стене с бешеным замиранием сердца.

— Да подожди ты, — резко сказал сержант. — Так почему? У нас все “хэбэ” стирают. Шестерки сапоги чистят. Да и не узнает никто об этом у тебя в части... Если только поэтому. — Он медленно улыбнулся, и качнулся немного грустный мирок в его глазах, закачалось немного их озерное таинство — и не понять, что выплывет из этих смешавшихся капелек за камышом ресниц. — Если только поэтому..

Я тупо отрицательно качнул головой, стараясь не смотреть на конвойных, и понял, что вряд ли что еще скажу. Выждал, что мог. Вышло, что получилось. А что из чего — сам черт не разберет.

— Ну... идите в камеру. Скажете, я вас отпустил, — вежливо кивнул наконец сержант и усталым неловким движением отодвинул в сторону багрового от ненависти Никиту — без пяти минут Везувий.

Вода все шелестела и шелестела и потрескивала, как дрова на жарком огне. Сержант уже нетерпеливо морщился, теребя в руках газетку, на которой держал пальцем место, где бросил читать.

— И-ди-те.

Я сделал два шага, раскачав онемевшее тело; воду стало слышно глуше, а в коридоре весело перецокивали подковки и звенели ключи на связках.

Еще шаг — и в закатном солнечном луче, распиленном шоколадкой решетки, плыли серебристые пылинки и падали на доски, дочиста выдраенные, с чуть заметными островками краски — темно-коричневой, цвета болотной недвижимой трясины, вязко подрагивающей от внутренних ломаных судорог.

Я обернулся, сглотнул исчезающий комок в горле:

— Все равно это неправда. Все равно вы... краснотики дражные и чмошные. Душить вас надо, тварей, и с поездов под дембель сбрасывать... Волки вонючие. Раздолбаи поганые, рвачи, дешевки...

Сержант внимательно углубился в газету, отогнав ладонью вялого комара, очнувшегося от зимнего тихого часа и занывшего обиженно в тишине.

Из кабинки, на ходу застегивая штаны, вывалился любитель подремать в глубоком присесте, но прежде, чем он попал ремешком в пряжку, я, уже сломавшись в поясе, сполз на пол, выдыхая хриплое “а-а-ах”, что есть силы жмурясь, будто боль угнездилась в глазах и надо только сжать ее посильнее, а она вытечет, расплывется, забудется, как смывает волна легкий след, как пряталась она в детстве в страну кощеев и хулиганов, когда мама дула на ушибленную руку, и тепло было, и всегда был свет.

Когда все закончилось, Никита подвел меня к желтоватому зеркалу и нежно прошептал на ухо:

— У нас все нормально?

Морда у меня была плакатно-румяной. Все остальное — под “хэбэ”.

— Иди, бегунок, — по-братски ласково потрепав меня за ворот, напутствовал Никита и вытолкал в коридор к с трудом сдерживающему улыбку часовому. Тот, насвистывая, косясь на меня и строя важные гримасы, сопроводил меня до дверей.

Сокамерники поглядели на меня испуганно. Как на разведчика погоды, принесшего весть о грозе.

Я присел, аккуратно уложив ладони на коленях, и стал тихонько дышать животом, пытаясь разогнать ломоту по всему телу, стараясь чем-то занять себя, чтобы не думать...

Пыжиков, чувствуя свой обязательный долг сослуживца — утешить и исцелить, тяжелыми шагами, на ходу вздыхая и скорбя, подошел и опустился рядом на нары с таким скрипом, что все вздрогнули.

— Сволочь Швырин, — тихо сказал Пыжиков. — Хоть он тебе и зёма.

Мне захотелось поговорить.

— Почему это?

— Как почему? Эта скотина бросил нас и уехал. Это мерзость!

— Видишь ли, сынок, мы допустили вопиющее нарушение воинской дисциплины — уговорили рядового Швырина изменить маршрут следования и сделать остановку у киоска с мороженым, самовольно покинули машину, несмотря на протесты рядового Швырина, — скривив морду, заканючил я. — Когда увидели комендантский патруль, попытались скрыться. Рядовой Швырин, убедившись, что мы уронили настолько низко свое достоинство, что оказываем пассивное сопротивление патрулю, вынужден был уехать — ведь мы даже не были внесены

в путевой лист. Перевозка пукающих развалин не входит в выполнение боевой задачи нашей части...

Пыжиков вдруг вскинулся и еле прошипел со злобой:

— Я... Если б ты знал, с какой бы радостью я набил бы тебе морду! Эта старуха... Она...

— Закрой рот, сынок. — Я тоже что-то психанул. — Ты за ней походил бы лет десять, ты бы дерьмо потаскал в тазике, ты бы одно и то же сто раз послушал — я бы поглядел на тебя. Она ведь уже не человек! Что ты понимаешь в жизни, сынок? Как ты можешь судить?! Кто тебе вообще дал право рот разевать? Завтра тебе старшина разъяснит политику партии — я гляну, как ты запоешь!

— Ну зачем ты?.. — Затер руками Пыжиков, побледнев до дрожи. — Этот идиот бросил нас, поэтому мы и побежали, испугались... Мы расскажем завтра, мы...

— Что расскажем?! Рядовой Швырин уже объяснительную написал. Если б сомневался хоть бы чуть — представители нашей славной части уже стучались бы в ворота Алешинских казарм. Да и какая разница? Неужели обязательно тащить еще одного в прорубь... Что делать, как — это его личное дело. Нам от этого хуже не будет. Мы, вот мы, мы лично виноваты? Да, виноваты. Понесем наказание. Зачем путать сюда Швырина? За то, что ему повезло? Ты не суй морду в чужое корыто. Поспокойней, сынок.

— Ни хрена себе спокойней! Я начинаю людей ненавидеть в армии, мне вот и сейчас любому... И тебе... Хочется в морду...

— Оставь в покое армию, кретин! Неужели ты так ничего и не понял?

— Но Швырин все равно подлец.

— Я бы на его месте тоже уехал. Если б он не уехал — дураком бы назвал.

— Не ври... На черта тогда ты не стал стирать “хэбэ” этим изуверам?

Я усмехнулся и сжал зубы. Пока меня не было, в благих целях назидания товарищам было объяснено, как надо себя вести и как не надо на моем скромном примере; небезынтересно — в ходе этой познавательной беседы было оглашено, что мое лицо два раза опускали в унитаз?

— Они не изуверы. Они хорошие ребята. Надо их понять. Они выполнили свой долг. Мы кто? Козлы, в общем-то. Нарушители дисциплины. Злостные. С такими, как мы, так и надо. С нами по-другому нельзя. Ну как по-другому? Если копать — дело другое. Ну, ты каждого копни, вот кто из этих виноват? Да никто. Бежать из армии вынудили: били, издевались. Те, кто бил и издевался, тоже чисты, их ведь еще больше били, над ними еще больше издевались. Сынок, ты плюнь на все. Ты как говорил: унитаз трещь — а про себя про свое думаешь...

— Только и осталось целоваться налево и направо, — выпалил Пыжиков. — Забыть все, и это забыть! И Швырину улыбаться? Хи-хи, как там твоя соска? И никто не виноват?! Не бывает так. Кто-то ведь виноват.

— Американский империализм, — заключил я и понял, что наговорился.

— Нет, ну а какого черта ты не стал им “хэбэ” стирать? — Пыжикова почему-то сильно волновало это обстоятельство.

А меня очень волновала боль в животе и крупно занимала мысль: что на практике означает расхожее выражение — опустить почки?

Урюк-переводчик осторожно подошел к “телевизору” (зарешеченное окно в двери камеры) и спросил у часового, внимательно изучавшего половицу:

— Скажи, пожаласта, сколько время? Спать можна?

Часовой посмотрел куда-то вбок и величаво качнул головой: “Можна”. Все повалились на нары, укладывая под головы шапки и пряча ладони под мышки, согнувшись, друг за другом, лицом вниз, забываясь косматым, невеселым сном.

— Встаа-ть!

Миг — и мы стояли напряженной шеренгой, глотая горьковатые и душистые комки дремоты.

Против нас шурил молодецкий взор орел-начкар с бесцветным лицом и вялыми губами. За его спиной тянулись с неистойвой физиономией помначкар и красивый сержант — начальник этажа с грустным умным взглядом, — мой приятный знакомец. Часовые деревенели в коридоре.

— Х-кто-оо?! — фальцетом, задыхаясь, выводил начальник караула. — Кто-о!!! Кто, сто чертов вашу мать, позволил спать? А? — крикнул он, и его голос, звякнув в потолке, бичом ударил по ушам.

Часовой в коридоре сожрал глазами строй и лишь втягивал носом воздух, зачарованно покачивая головой с видом “Ах, как вкусно пахнет”, что в данной конкретной ситуации означало: “Чего я только вам не сделаю, если скажете...”

Строй оскотинело молчал.

— Как?! Как?! — жалобно, со слезой изгибался начкар, тряся перед распаренными трясущимися веками корявой ладонью, приглашая в свидетели верных краснотиков, как неумолимо и страшно рушится самое святое, подвергается подлому растоптанию и неистовому растлению. — Ка-ак, — выстанывал он. — Это что-шше? Теперь в центральной гауптвахте города Москва — Алешинских казармах — мужички сами объявляют себе отбой?! А-аа?!!

Сержанты страдали.

Начкар резко выпрямился и уцепился ладонями за ремень.

— Часовой! Часовой, эти люди будут стоять всю ночь по стойке “смирно”. Ясно?

— Ясно! — светло чирикнул часовой с таким выражением, будто начкар распорядился принести в камеру вино и фрукты.

Едва не вздрагивая плечами, начкар вышел. Помначкар озверело поглядел на совершенно безучастного начальника эта-

жа, заковырявшего в зубе, обещающе вздохнул в нашу сторону и вылетел вослед.

Когда высокие гости отбухали сапогами на следующий этаж проводить вечернюю вздрючку, в камеру спокойно зашел часовой.

— Так, — сказал он, — ребята. Алешинские казармы — уникальное место. Здесь была казарма для рекрутов Петра I, потом женская пересыльная тюрьма — в частности, в этой камере сидела Надежда Константиновна Крупская. Когда здесь разместились гауптвахта, одну ночь в ней провел Юрий Гагарин. Проникнитесь этим. Значит, все знают, как выполняется команда “смирно”? Все. Это хорошо. По команде “вольно”, которую я буду периодически подавать, я разрешаю... — он глубоко задумался, — ослабить большой палец на левой ноге и опустить нижнюю губу, — он еще глубже задумался и подтвердил, тряхнув раздумчиво рукой, — да... нижнюю... Теперь... теперь надо выбрать дежурного. Дежурным будешь ты. — Ближайшим оказался Пыжиков, и его плечо удостоилось чести послужить опорой величавой длани часового, который, кинув оценивающий взгляд, заметил того на всякий случай. — Со шнобелем. Значит, слышь, дежурный. Как тока я замедляю свой шаг у вашей камеры — отметь, — наставительно воздел он указательный палец, — не останавливаюсь, а замедля-аю! Ты! — Палец уперся в качнувшегося неваляшкой Пыжикова. — Ты громко и отчетливо докладываешь: “Камера, смирно! Товарищ рядовой, камера задержанных в составе десяти человек! Дежурный по камере — арестованный Раздолбайчиков”. Усек?

— Да, — сипло сказал Пыжиков и повторил удачней, — да.

— Попробуй, — велел часовой.

Пыжиков уверенно и точно отбарабанил нужное. Часовой похвалил.

— Молодец. — И еще добавил: — Поближе к ночи говорить будем даже так: не товарищ рядовой, а “хозяин” или, — улыб-

нулся он, довольный своим остроумием, — или “господин штандартенфюрер”.

Выходило и впрямь звучно.

— Лучше фельдфебель, — тихо сказал курсант.

— Сынок, а ну-каними очки, — улыбнулся часовой.

— Я плохо вижу. Я очень близорук, — еще тише сказал курсант.

— Это меня не дерет. Задержанные не имеют права иметь очки. Я обязан исправить ошибку смены, принимавшей вас.

Курсант снял с раскрасневшегося лица очки, аккуратно сложил дужки и осторожно подал часовому, уже что-то начав говорить, но осекся — часовой с ходу швырнул очки за спину в коридор. Тонко хрустнуло стекло на серой каменной плите.

— Чегой-то, Федя!? — дурашливо спросил второй часовой из коридора, наступив каблуком на серебристую восьмерочку оправы.

— Ничего-то. Уронил что-то.

— Ну и ничего, — одобрил его приятель и пошел себе дальше, гоня перед собой позванивающую оправу от стены к стене. Когда она ударилась о железные двери камер, звук был чище и звучней.

— Смирно!

Мы вытягивались, и дверь зевнула, а я почему-то думал, что курсанту, наверное, эти очки подарила мама в пятом классе, и он каждый день протирал их замшевой тряпочкой, подышав на стекла, и хранил футлярчик, который носил в специальном отделении ранца или прямо во внутреннем кармане на груди. Глаза у курсанта влажно отблескивали тусклым светом почерневшего от времени фонаря.

Я даже не вздохнул. Все стояли, тупо опустив головы и смотря перед собой на нары. Мир был чужой и скучный до тошноты — неровные шербатые стены в грязных потеках цыплячьего света, наивно-салатовые доски нар, бело-зернистые, как кози-



наки, плиты под ногами и огромное твое тело, которое растет и растет. Мы стояли, тупо опустив головы, как стоят, наверное, ночью в цирке слоны после трудового дня, не шевеля лобастыми головами, упершись в пол одной большой мыслищей-хоботом о том, что где-то шумят влажные джунгли, и дикие птицы орут вразнобой, невидимые в диком скопище деревьев, и кипит жизнь, страшная и родная. Тишина вползает, крадется туманом и растет вместе с телом, гипнотизируя каждого змеиным ритмичным вздрагиванием сердца, а тело — огромная держава, иное уже далеко, бог весть где расположенное королевство, где уже помышляют о бунте, хотят уже нагло согнуть колено и дерзают о немыслимом — скинуть вообще тело, не держать его больше, а руки — удельное княжество, которое тоже правит в сторону, разжимает пальцы, а голова далеко, и что всем до бед ее и печалей, а ты думаешь и думаешь о чем-то пустом и темном и, скорее всего, смотришь и слушаешь пустоту и тишину, а тишина уже поднялась до горла и душит тяжело тебя. Ты начинаешь вдруг чувствовать свои веки и, когда моргаешь, вдруг ощущаешь удовлетворение от того, что веки глядят глазное яблоко и гасят эту пустоту, и моргаешь все протяжней, натужно слушая уходящий все дальше неторопливо-мявявый переговор часовых в коридоре, и решаешь, что лучше уж закрыть один глаз, а все силы сосредоточить на втором — дежурном. Выходит не очень — левое веко тяжелыми жалюзи рушится на левый глаз и неведомым физиологическим законом тянет за собой и второе веко, и приходится затрачивать дополнительные усилия, чтобы сохранить положение вещей.

Я один. Я даже меньше, чем один. Я просто желтое пятно на стене и тишина, где нет даже места мушинуму перелету. Я зыбкое, вязкое лицо, в котором качается тяжелая ртутная масса, и затвердевшее дыхание, как песок, засасывается в легкие. Я маяк, и руки мои и ноги — это далекие корабли, и не моему свету они служат, и не судья я им и не советчик, а где-то стонет

и плачет разоренная страна моего тела, избитого века назад. Вот и все. И дыхание будто замирает, становясь все глуше и глуше, сопение уходящего в туман парохода — и ничего уже нет, и тишина лишь качается слепо и устало.

Я вздрагиваю, потеряв равновесие. И с шумом выдыхаю дрожащий воздух, покрывшись испариной. И все начинается сначала.

Часовой, сам малость обмякший, доклацал сапогами до камеры и хмуро поглядел на нас.

— Товарищ рядовой, — мощно выдал ему Пыжиков.

— Угу, ясно-ясно, — озабоченно покачал головой часовой и грозно проговорил: — Бичи, кто будет давить на массу в строю, — вешайтесь сразу. И команды “вольно” никто не давал!

Он уцокал. Один из урюков прошептал в тишине свое абстрактное желание, чтобы матушку этого часового изнасиловали самым извращенным способом. Правда, выразил он это куда более кратко и общепринято.

Мы еще постояли. Я решил разжимать и сжимать правую кисть, чтобы не уснуть, и даже подумал, что к утру великолепно накачаю правый бицепс. Или трицепс? Вдруг морячок решительно вздохнул, бесшумно подошел к нарам и осторожно свернулся на них напряженным калачиком. Покосившись мрачно на “телевизор”, все ринулись к нарам. Пыжиков постоял немного один, осоловело и хмуро глядя и, шмыгнув носом, тоже подошел к нарам. Только не лег, а присел. Мы не спали — не пили взахлеб, просто лизали языком блаженное море сна, смачивали им глаза и губы, освежая лицо, возвращали верность ног и рук, чутко слушая тишину коридора, — как только раздавалось размеренное цоканье, все беззвучно прыгивали с нар и выстраивались замечательно ровной шеренгой, и Пыжиков звонко орал, что у нас все хорошо и радостно, господин штандартенфюрер, и как только тяжело несший голову

часовой уцокивал продолжать монотонное бормотание с коллегой, мы устремлялись к своим родным нарам с гораздо большей горячностью и любовью, чем если бы нас там ожидала Джина Лоллобриджида. Порой тревоги оказывались ложными, часовой, вместо того чтобы идти к нам, просто переступал с места на место; тогда мы, сделав выдержку, иронично переглядывались и занимали положение лежа, а моряк огорченно сплевывал и ужасно матерился шепотом. Быт налаживался.

Однажды мы вскочили как ошпаренные — по коридору мляво цокали сразу пары сапог. Пыжиков в очередной раз доложил нашу визитную карточку красивым баритоном, и в камеру, солидно позвякивая связкой ключей, заглянул красавец сержант — начальник этажа, мой приятный знакомый. Не разжимая губ отекавшего лица и сонно сдвинув брови, он бегло осмотрел строй и уже в дверях посмотрел внимательно на Пыжикова, напряженно задравшего остроносое бледное лицо.

— Вы дежурный? — тихо спросил сержант.

— Так точно! — Таким тоном говорили “Сударь, вы подлец!” в XVIII веке.

— Угу. Вы можете лечь. Слышь, Федя? — повернулся он к часовому и собрался уходить.

— Я спать лягу только вместе со всеми товарищами. И только так! — прозвенел голос Пыжикова.

Кареглазый начальник этажа даже не обернулся и пошел дальше. Часовой запер камеру и побегал его догонять. А мы ласковой шелестящей волной накрыли нары.

— Слушай, дежурный, ты все равно не ложишься — двинься на край, — пробурчал сумрачный молдаванин, приглядевший самое безопасное местечко у стеночки. Пыжиков пересел на край, болезненно сжав губы.

Не успели мы толком и губищи на сон раскатать, как по коридору опять покотился перецок, бодрый и летящий. Мы еле успели изобразить строй, а зазевавшийся Пыжиков вообще по-

шился и метнулся в шеренгу, когда “телевизор” заслонила голова гостя.

Дверь мигом распахнулась, как глаза изумленной девушки, и в камеру залетел красный и разгоряченный помначкар, за ним осторожно заглянул часовой.

— Та-ак, мля-а, хлопаны в... — выдохнул помначкар и зацепил за горло Пыжикова. — Сынок, тебе невнятно говорили, что спать нельзя, собака ты хлопаная. А?! — выкрикнул он прямо в судорожно выпученные глаза и слабо дрожащие губы Пыжикова. — Ты что-о, милый?! Служба медом показалась? Забил на все? Опух? — орал он, покрываясь блестками пота, и с каждым словом швырял Пыжикова на стену на вытянутой руке. Тот с каждым ударом все больше мяк и глубже переламывался в поясе, инстинктивно пытаясь нагнуть лицо, прикрывая глаза и болтая ненужными длинными руками.

— Егор, ему Кирсанов спать позволил, — басом пояснил часовой, выгадав паузу.

Помначкар брезгливо швырнул Пыжикова в угол, быстро выдохнул и, хрипло бросив часовому: “Прикрой дверь”, шагнул на нары. Оглядев дважды слева направо сонно равнодушный в покорности строй, хмыкнул:

— Чмо, а ну запрыгнул в строй! — Когда голова Пыжикова завиднелась на фланге, помначкар даже улыбнулся: — Та-ак. Ну что, сынки, любим поспать? А? Национальность? — ткнул пальцем в крайнего.

— Узбек.

Помначкар, аккуратно занеся правую ногу, метко двинул сапогом в грудь покачнувшегося посланца Средней Азии.

— Национальность?!

— Узбек.

— Н-на! Национальность!

— Русский...

— Дальше.

— Таджик.

— И тебе. Национальность!

— Украинец, — мрачно пробурчал себе под нос моряк.

— А? Хохол, что ли? Ну, ты дыши глубже... Национальность!

— Русский, — вяло ответил я.

Моему соседу урюку повезло меньше — пытливый анализатор национального состава нашей камеры на этот раз малость промазал и угодил ему в верх живота так, что урюку срочно приспичило посидеть, и он присел с тонким, рвущимся сквозь зубы стоном.

Опросив всех, помначкар легко прыгнул с нар и прислонился к стене, свалив на затылок пилотку.

— Та-ак, — пропел он. — Стол видим?

Столик, размером с вагонное стекло, был привинчен к полу в середине камеры.

— Р-рясь! Сир-на! Внимание, камера, строимся под столом на три счета. Раз! Два! Три!

Мы разом бросились к столу. Под ним уместилось только четыре урюка, которые после мгновенного замешательства встали на колени и уперлись головами в крышку. Остальные сгрудились на коленях и корточках рядом, теснясь в кучу и норовя засунуть и свои головы под крышку.

— Я же сказал, всем строиться под столом! — зарычал помначкар и щедро отвесил три-четыре пинка крайним. Среди лауреатов оказался и я.

— Моряк, слышь, хохол, ты туда не жмись. Лезь на крышку, мать ее так.

Моряк медленно взгромоздился на стол и, набычившись, посмотрел перед собой.

— Ты же моряк, так ведь? Вот и танцуй “Яблочко” на столе. А вы, чмошники, слышите? Качайте крышку — качку морскую изображайте. Ясно? — И сапог помначкара еще раз посетил нашу компанию. На этот раз без свидания со мной.

— Три-четыре!

Морячок забухал что-то неуверенно сверху, а мы, как на молитве, нестройно закачались под столом, изо всех сил пытаясь сотрясти его.

Помначкар сумрачно хмыкнул, а два часовых в коридоре ржали до потери пульса, даже прихлопывая в такт буханью морячка.

— Отставить!

Он еще раз быстро окинул строй пылающим взором и тихо прошипел:

— Мне сегодня скучно, я сегодня веселюсь. Если кто-нибудь прикроет хоть один глаз, тот будет коротать время со мной. Вопросы?.. Кроме вас, конечно, — ощерился он в сторону Пыжикова. — Ведь вам сержант Кирсанов разрешил спать? А почему у вас подворотничок грязный, солдат? Что вы говорит-тя?

— Я... я... — выдавал Пыжиков.

— А меня не дерет, что вы говорит-тя. Пачему нечетко отвечаем? Чмо паршивое. Та-ак...

Пыжикова била дрожь, и он лишь тупо дергал веками, мелко перебирая губами, будто шептал себе слова знакомой песни, бывшей когда-то родной и близкой, а теперь ставшей чужой и ужасающей поэтому.

— Сколько... так... осталось мне до дембеля? — обернулся помначкар к строю.

— Сто тридцать восемь! — вдруг звонко выкрикнул урюк в гражданке, до этого не сказавший ни слова по-русски.

— Ага, знаешь, — довольно улыбнулся помначкар. — Так вот, чама, я сейчас выйду, а ты прокричишь через это окошко в коридор “осень” — сто тридцать восемь раз. Не дай Бог, не дай Бог, ты пропустишь хоть раз. Ты у меня языком парашу вылижешь, я тебе обещаю. Я. — Он вышел, оглушительно хлопнув дверью, и рыкнул:

— Ну!

— Осень! — крикнул Пыжиков в окошко, упершись в него лицом, прислонившись плечами к двери, чуть согнув ноги в коленях. — Осень! Осень! Осень!

Я подумал, что сейчас, наверное, часа три. Может, чуть больше. Что осталось не так много — “губа” просыпается в пять, — что надо мне что-то сказать, и что все мне до лампочки, и что у меня расплывается пауком боль в боку, когда вдыхаю, что как жаль, что я не был никогда в театре и ни разу не подарил матери цветы, а дарил только седые волосы.

— Осень! Осень! Осень!

Чужой, сдавленный голос бродил по коридору, пьяно хватаясь за стены, толкая в проржавленные двери, и отирал белоснежные потолки. Я чувствовал его, как комариный писк, имеющий ко мне отношение лишь в свете агрессивности отдельной комариной твари, а думал я, что, будь я актером, я черта с два играл бы Гамлета, этого и без театра хватает, куда ни плюнь. Я только бы и делал, что дрыгал ногами под музыку и лапал бы девок взаправду. Ведь и за это деньги платят. И вспомнил свою математичку Лидь Максимну, которая подолгу ждала, родится ли что у меня в голове в ответ на ее героические потуги, а пауза все затягивалась так, что все в классе уже забывали, о чем спросили, и я забывал, и Лидь Максимна забывала — оставалась только пауза, тенью мысли висевшая в воздухе: надо что-то сказать... А что? Отвык я говорить.

— Осень!

— Да заткнись ты, раздолбень, кому ты на хрен нужен?! — вдруг тонко, по-бабьи, крикнул курсант, безобразно сощурился глаза и задергав головой, будто хотел вытрясти из головы песочные трели сирены, истязавшей его мозг. Моряк утрюмо поднял голову и опустил.

В коридоре хохотнули далекие голоса, и стало совсем тихо. Лохматый молдаванин с дефектами психики, замыкавший на-

шу милую компанию на левом фланге, осторожно выступил вперед и, лукаво блеснув глазами, присел на нары, вопросительно глядя на всех, преимущественно на моряка.

Было так тихо, что не слышно нашего дыхания. Будто стоял безмолвный ряд зеленоватых статуй, серых и безобразных, будто рядом висели тяжелые свиные туши на аккуратных белых веревочках на балке подземного склада нашего свинарника.

Молдаванин, с сожалением хмыкнув, принял вертикальное положение, но молчал недолго, а принялся что-то зло и быстро нашептывать маленькому урюку в кроссовках, большому поклоннику бега на средние дистанции и игры в кошки-мышки. Трое веселых чурок тоже малость расшевелились, потрогав одинаковым движением грудины. У дверей наконец повернулся Пыжиков, он медленно и тихо прокашлялся, заметно сглотнул пару раз и, сняв шапку с белесым пятном от кокарды, лег на нары. Он повернулся набок, подтянул колени к животу, шапку положил под голову, закрыл лицо локтем, вторую руку засунул под живот и так замер.

В камере все больше оживлялись, только моряк застыл со зверской отрешенной мордой да курсант болезненно шурился по сторонам, то и дело потирая указательным пальцем переносицу с красноватым следом от дужки. Я некоторое время взирал на большие скорбные сапоги Пыжикова, решил даже посчитать гвоздики на подошве: если четное выйдет — значит, все будет хорошо. Что “все” — это неважно. Посчитать не смог — сбился, а дальше просто стоял, то замирая, то раскачиваясь, вдруг теряя все вокруг себя, то в очередной раз оглядывая камеру, мертворожденный брезжащий свет, слышал сдавленный шепот и чувствовал ломоту в животе. И потом все пошло кусками, мозаикой, грязно-голубоватыми льдинами по реке, и на каждой льдине что-то находило уют.

Еще раз зашел кареглазый сержант Кирсанов с мокрыми бровями и посвежевшим лицом, пересчитал нас, улыбаясь всем,



кроме меня, вытолкал часового за дверь и тронул Пыжикова за плечо: “Как же так? Вы же сказали, что ляжете спать только вместе со всеми. Как же так?” — участливо спрашивал он и озабоченно барабанил пальцами по двери, мило улыбаясь. А Пыжиков смотрел смурным никаким взглядом перед собой и лишь прижимал к щекам уголки поднятого воротника и молчал.

Потом сочный голос крикнул вдоль коридора: “Гауптвахта, подъем!” — это значит, что уже пять часов, и зевнула дверью соседняя камера — повели на помывку подследственных; они плелись веселой гурьбой, базаря с часовыми, один заглянул к нам: “Зёмы, курить есть?”, на что моряк мрачно ответил, что кой-что, завернутое в газету, заменяет сигарету; подследственные галдели минут пятнадцать, а один даже спел под гитару песню в коридоре (гитара обитала в их камере самым загадочным образом) :

*Часовые тоже люди —  
В них усталость за весь день.  
Мы курить и ржать не будем,  
Мы курить и ржать не будем,  
Мы курить и ржать не будем —  
Их нервировать нам лень.*

*Что нам толку с перебреха,  
Если в брюхе пустота,  
Эх, пожрать бы щас неплохо,  
Эх, пожрать бы щас неплохо,  
Эх, пожрать бы щас неплохо,  
Да не выйдет ни черта.*

*Что за небо за решеткой —  
Грязь, свинец и ветра вой.  
Даже если срок короткий,  
Даже если срок короткий,*

*Даже если срок короткий,  
Он останется с тобой.*

Так вот он спел, а мы стояли, ничего не видя и не слыша, я вообще чуял, что мне на лоб надвинули теплую кепку, и я упорно дергал головой, чтобы разогнать тесноту в башке и мире. А потом вдруг заплакал урюк в кроссовках. Он как-то странно заплакал, простонал два раза и шумно задышал, все посмотрели на него, а у него по лицу льются слезы, медленно-тягучие; он стоял, а они текли, он их не утирал рукой — стояли мы по стойке “смирно”. Молдаванин старательно иронично улыбался, порой ужасно передергивая лицом.

Потом, слава Богу, рассвет дополз до нас чахоточным свечением коридора, а мы все стояли, уже вращая в пол, еще часа два или три. Затем нас раздели, обыскали и разрешили сесть. Но предупредили, чтобы спина была перпендикулярна нарам. Пару раз это придирчиво проверили, и у моряка стало красным ухо, в оставшееся время он так ужасно матерился, что я невольно зауважал флот.

Потом нас стали вызывать, дергать, как морковь с грядки. Первым вызвали моряка, потом курсанта, за ними шумною гурьбою отчалили три урюка с бравым видом. Потом Пыжиков меня разбудил и сказал, что зовут нас. Два толстых майора с красными околышами спросили, есть ли у нас претензии, а когда их не оказалось, мы увидели командира первого взвода родной части лейтенанта Шустрякова, апатичного и унылого лейтеху, обожающего нарды и бильярд, великолепно насладившегося по случаю вынужденного визита в Алешки и явно трусящего по этому же случаю.

Я очень долго смотрел на последнего часового у последних ворот. Тот понимающе и привычно улыбался. Все.

На воздухе я отомлел, кепка сдвинулась на затылок и там стояла, а я стал все потихоньку всасывать. Шустряков напряженным

голосом нас корил, оживляя речь “хлоп вашу мать”, я коротко и скорбно соглашался. А Пыжиков наплевательски молчал.

Шустряков приехал за нами на “урале”. Мы с Пыжиковым перевалились через борт. Шустряков по-отцовски обозрел, как мы устроились, и сел в кабину. Мы поехали.

— Алеша, вот и все, да? — неожиданно сказал Пыжиков.

Это меня зовут Алеша.

Мы ехали по сияющей талой водой улице, была суббота, и девочки из медучилища, высыпавшие в халатиках на улицу, помахали нам розовыми руками, а солнце барабанило лучами по крыше “урала”, по гордому лозунгу “Животноводству — ударный фронт!”, по всему миру.

— К пайке, наверное, поспеет. Если наряд не млявый — может, картошечки огребем, не хреново, да, — улыбнулся я ему. Нас сильно трясло.

— Весь этот ужас позади? — спрашивал Пыжиков, внимательно хмуря брови. Это он у меня спрашивал.

— Да, хлоп ты, о чем ты, зёма, дембель неизбежен! Мой милый друг, не надо грусти — весна придет, и нас отпустят! — Сладостная истома невыспавшегося тела подбиралась ко мне, и я подумал, что не сразу же нас посадят на “губу”, и я, пожалуй, прямо в столовой и наверну на массу. Копать мой лысый череп!

Как только мы подъехали к части, я полностью увлекся образом старшины в предстоящей драме.

Когда “урал” дернулся последний раз, Пыжиков взял меня за рукав:

— Алеша, я знаю, что ты меня презираешь, но я...

— Ты что, охренел? — удивился я. И полез через борт. За мной неуклюже прыгнул и Пыжиков. Я поправил шапку и увидел старшину. Он стоял с багровым лицом, уперев руки в боки, и скулы его ходили, как бедра портовой шлюхи.

— Та-ак, мля-а, сосунки драные, шлюхи паскудные, выродки рода человеческого, вонь подрейтузная, навоз из-под ног-

тей!!! — заработал старшина, как тюменская нефтескважина. Коротко развернувшись, он сунул Пыжикову в скулу левым кулаком, меня через паузу правым, я в тот момент неудачно оскользнулся, и кулак меня достал как бы вдогон, растеряв часть своей первозданной прелести. Лейтенант с горьким изумлением взирал на тщательно отполированные носки своих сапог.

Старшина выдохнул: “У-у, с-собаки”. И я понял, что это все. На моем лице было написано раскаяние и ужас, а душа пела, как капли на оттаявшей горбушке асфальта.

— Ты, — вдруг хрипло прошептал, опустив покрасневшее лицо, Пыжиков, — ты выродок, — и добавил, помолчав: — Сволочь.

У старшины было такое лицо, будто вышел закон о принудительной кастрации всех прапорщиков. Я похолодел — такого старшине не говорил даже выдающийся похренист Чана, проведший полслужбы на санузле.

Пыжиков, качнувшись, пошел в сторону. Лейтенант Шустряков заорал, чтобы Пыжиков немедленно вернулся и извинился перед Павлом Христофоровичем, а он все шел и шел, пока, протаранив худосочный сугроб, не уперся в красную кирпичную стену казармы, так и застыл, прижавшись щекой к кирпичу и нелепо раскинув руки.

Солнце светило ему в лицо и спину, и сияющие капли падали на шинель, оставляя черные круглые метки — будто шляпки на совесть заколоченных гвоздей.

Ну, что еще? Впяли по пять суток “губы” за бессовестное посягательство на высокое звание отличной нашей части. “Губа” была гарнизонная, а там, как я уже говорил, дерут только чулок. После “губы” я пару недель был основой всех кухонных нарядов, набрав от огорчения килограммов пять веса и солидно покруглев лицом, вследствие чего старательно избегал старшинского ока, дабы он не сделал из моего изможденного вида

скоропалительных и далеко идущих выводов. А к июню командир взвода мне намекнул, что если и дальше у меня будет все нормально, то ко Дню авиации я могу рассчитывать на ефрейторскую лычку. А то и на краткосрочный отпуск. И я принялся “рвать” с утроенной энергией.

А Пыжиков уехал служить на Дальний Восток, в родственную нам, правда, не столь отличную, часть, туда, где он сможет называть старшину как ему заблагорассудится, — так его напутствовал наш Павел Христофорович. На Дальнем Востоке Пыжиков вдруг женился — не выдержали нервишки на душевной вечеринке с обилием теплых уголков в местной общаге или соска попалась с мертвой хваткой последнего шанса — в общем, остался Пыжиков в этой части на прапорщика, сначала вроде на пять лет, а потом и продлил.

Говорят, заведует он там складом ГСМ или по интендантской службе пошел в родственном нам крохотном сибирском гарнизоне. Стал толстым и сильно изменился, только голос остался таким же звучным и красивым. Первые два года выписывал журнал “Театр”, а потом что-то перестал. “Союзпечать” там плохо работает, с перебоями, особенно зимой.

Но это все было не сразу. Это все было потом.

А в тот вечер я зашел после отбоя в туалет и увидел на подоконнике зёму — Сеньку Швырина, выцеловывавшего замусоленный бычок, источавший дистрофическую пародию дыма. Сеня наблюдал, как два салабона дряят щетками с мылом его “хэбэ”.

— Зёма, е-мое, наконец-то!!! — Мы заржали и обнялись.

Зёма был рад до невозможности и журчал игривым ручейком так бурно, будто боялся, что я открою рот и простужусь.

Я втиснулся на подоконник рядом с ним, упершись затылком в холодное весеннее стекло, и тихонько думал себе, что вот сейчас пойду прямо спать и буду спать, и все, вот так вот... А зёма сыпал новостями: что писем нет, еще напишут, что на

## Мемуары срочной службы

ужин — рыба, что послезавтра опять к генералу, но уже на похороны, что познакомился зёма с соской — такая шмара, и гых! На руке — наколка, и подруга у ней есть — Фикса, вот такой вот передок, в следующее увольнение наши будут, зуб даю, э, да ты спишь?

Я сидел и сладко моргал глазами, закутанный в байковое одеяло дремоты, и все было тихо и тепло. Пыжиков брился перед зеркалом, прислушиваясь к нашему разговору, и улыбаясь порой, и забавно морщась, когда водил станком по впалым щекам. Потом он тер покрасневшее лицо одеколоном “Саша”, и зёма сказал, что если бухать, то лучше всего одеколон “Эллада”. И надо бы нам отметить наше возвращение, а то ведь бухали последний раз аж 23 февраля, когда, помнишь, зёма, Чана надел на себя одеяло, подходит к дежурному по части и — гых! гых! — говорит: “Вставай — будем спать!” Гых-гих... А тот ему...

## Содержание

**Бабаев**

5

**Коммуналка**

Рассказы

205

**Мемуары срочной службы**

279

Литературно-художественное издание

**Александр Терехов**

**Это невыносимо  
светлое будущее**

Повести и рассказы

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*  
Технический редактор *Т.П. Тимошина*  
Корректоры *Е.В. Рудницкая, Н.П. Власенко*  
Компьютерная верстка *Н.Н. Пуненковой*

ООО «Издательство Астрель»  
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. За

ООО «Издательство АСТ»  
141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96

Электронные адреса:  
[www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ООО «Полиграфиздат»  
144003, г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25



Издательская группа «АСТ» представляет:

**Роман АЛЕКСАНДРА ТЕРЕХОВА**  
**Каменный мост**



Что можно увидеть с Большого Каменного моста? Кремль.  
Дом на набережной. А может быть, следы трагедии.

В июне 1943 года сын сталинского наркома из ревности  
выстрелил в дочь посла Уманского.

Но так ли было на самом деле?

Герой романа Александра Терехова, бывший эфэсбэшник,  
через шестьдесят лет начинает собственное расследование...

Шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА»

Александр Терехов родился в 1966 году. Выпускник МГУ, он еще в студенческие годы стал популярным журналистом “перестроечных” изданий “Огонек” и “Совершенно секретно”.

Автор “Мемуаров срочной службы”, романов “Крысобо́й” и “Каменный мост”, который сразу стал бестселлером и вошел в шорт-лист премии “БОЛЬШАЯ КНИГА”.

Герой новой книги “Это невыносимо светлое будущее” — молодой провинциал — начинает свое личное наступление на Москву в то смешное и страшноватое время, когда вся страна вдруг рванула к свободе, не особо глядя под ноги. Невероятно увлекательные, пронизанные юмором и горечью истории.

Никакой жалости — прежде всего к самому себе.

---

*Мне нравится... Мне всегда нравились сардонические истории Русских. Это целый отдельный жанр, в котором сатира доведена до предела.*

[ Дорис Лессинг ]

*Терехов, как все дети застоя, — рыба глубоководная. Он не виноват, что его тянет на глубину, хотя ему отлично известно, какие чудовища там таятся.*

[ Дмитрий Быков ]